ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ 2/2012

2'2012

- *Отиа Иоселиани*
  О, сколько лет живет во мне любовь!..
  Стихи
- *Михо Мосулишвили*
  Два рассказа
- *Максуд Ибрагимбеков*
  Обжалованию не подлежит
  Хроники переходного периода
- *Василий Голованов*
  Восхождение в Согратль
  Из книги «Тотальная география Каспийского моря»
- *Ваграм Мартиросян*
  Глупый человек
  Рассказ

ДРУЖБА НАРОДОВ

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

2'2012

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Отиа ИОСЕЛИАНИ. О, сколько лет живет во мне любовь!.. *Стихи. С грузинского. Перевод Николая Переяслова. Вступительная заметка Александра Эбаноидзе* **3**

Максуд ИБРАГИМБЕКОВ. Обжалованию не подлежит. *Хроники переходного периода* **7**

Сухбат АФЛАТУНИ. Три церкви. *Стихи. Из грузинских преданий* **66**

Михо МОСУЛИШВИЛИ. Два рассказа. *С грузинского. Перевод Майи Бирюковой* **69**

Геворг ГИЛАНЦ. Со взглядом, влюбленным в небо. *Стихи. С армянского. Перевод Сергея Надеева* **91**

Ваграм МАРТИРОСЯН. Глупый человек. *Рассказ. С армянского. Перевод Соны Бабаджанян* **94**

Ованес ГРИГОРЯН. И Господь пожелал написать... *Стихи. С армянского. Перевод Альберта Налбандяна* **114**

Гурам МЕГРЕЛИШВИЛИ. Писатель. *Рассказ. С грузинского. Перевод Татьяны Мерманишвили* **116**

Памяти Леонида Теракопяна **122**

Публицистика

Василий ГОЛОВАНОВ. Восхождение в Согратль. *Из книги «Тотальная география Каспийского моря»* **133**

Нация и мир

Гурам СВАНИДЗЕ. Бремя раздвоения. *Эссе на темы социологии* **197**

Критика

ПРОШЕДШЕЕ В НАСТОЯЩЕМ
ЭЛЬЧИН. Что дал нам соцреализм? *К постановке вопроса* **206**

Эхо

Неоплаканная боль. *Рубрику ведет Лев Аннинский* **218**

Summary **224**

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ **(МФГС)**

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ, Фарит НАГИМОВ (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ, Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЁДУШКИНА, Давид МУРАДЯН, Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, ЭЛЬЧИН, Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2012

Отиа Иоселиани

О, сколько лет живет во мне любовь!..

С грузинского. Перевод Николая Переяслова

Отиа Иоселиани вошел в литературу как подлинный самородок — ярко, самобытно, со своей темой и своим стилем, со своим прищуром и своей сванской шапкой. Первые же публикации выявили редкую особенность его дарования, которому в равной степени были присущи романтическая приподнятость и острый, можно сказать, рискованный интерес к темным глубинам человеческой природы. Художественным симбиозом двух течений представляется блистательный «Звездопад», ставший классикой и вошедший в хрестоматии. А грандиозная эпопея «Черная и голубая река» в самом названии отразила особенность творческого дара, с годами набравшего поистине фолкнеровскую мощь и глубину.

Серго Закариадзе — замечательный «Отец солдата» чутко расслышал в молодом писателе драматурга: Иоселиани автор многих пьес, одна из которых — «Пока арба не перевернулась» — двадцать лет не сходила со сцены многих театров.

Написанные Мастером книги для детей разошлись по всему миру; японцы до сих пор переиздают чудесные «Сказки для Бачо».

На склоне лет Отиа Иоселиани еще раз удивил почитателей — выпустил свой первый сборник стихов. В нем размышления о прожитом и наставления потомству, но главное место занимает любовная лирика.

Вот подробность, быть может, в какой-то мере объясняющая великолепный анахронизм.

Незадолго до 80-летия Отиа в очередной раз сменил автопарк — завел мощный японский вездеход, без труда вскарабкавшийся к моему дому в ущелье Дзирулы. В ответ на мою похвалу японской технике Отиа с легкой гримасой пожал плечами: «Машина-то хорошая, но у нее ограничитель на 160 километров...».

Только мужчина, недовольный подобным ограничением, мог завершить творческий путь сборником любовной лирики.

Минувшим летом Отии Иоселиани не стало. Задуманный на долгий век, он проиграл упорную борьбу со злокачественной агрессией. Эта публикация дань памяти яркому самородку, одному из крупнейших грузинских писателей ушедшего века, моему дорогому и незабвенному другу.

Александр ЭБАНОИДЗЕ

Николай Владимирович Переяслов — поэт, прозаик, критик. Родился в 1954 году в Донбассе, окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Работал шахтером, геологом, журналистом, директором Самарского отделения Литературного фонда России, помощником мэра Москвы. Лауреат литературных премий имени Андрея Платонова, Расула Гамзатова и Большой литературной премии России.

Пролог

Где суждено родиться и расти —
туда душа до старости стремится.
Мы к матерям привязаны всю жизнь,
словно телята к колышку веревкой,
и все права, что в жизни нам даны,
зависят только от ее длины,
и как бы нас по свету не носило —
нам эту связь вовек не разорвать.
Душа болит, но не хватает воли...
Иное дело — Люций Цинциннат,
что в пятом веке жил до нашей эры,
ни громким званьем не кичась ничуть
и не гордясь накопленным богатством...
Он — консул был. (Сегодня этот чин
принадлежит повсюду президентам.)
С мечом в руке он сокрушал врагов —
так, чтоб никто не возжелал вернуться;
от частых ссор удерживал Сенат,
чтоб меж собой никто не передрался;
судил народ, политиков мирил...
И вдруг — исчез. Покинул Рим вельможный.
Раздал долги и навсегда уехал
к родной земле, где он когда-то рос.
Но тут страна подверглась нападенью,
и стал всем нужен пламенный стратег.

Он — в это время находился в поле
и что-то сеял, стоя в борозде.
Гонец смутился, но сказал неловко:
«Ужель не мир важнее, а — морковка?
Иль больше нет работников в селе?..».
«Я этим долг свой отдаю земле», —
ему на то ответил полководец,
от борозды не отрывая взгляд.
«Прорвались к Риму эквы и сабины, —
сказал гонец, — а римляне — теснимы
и без тебя врага не победят...».
Тогда ступни от глины Цинциннат
омыл водой, надел на плечи тогу,
сел на коня и за гонцом в дорогу
помчался в Рим — империю спасать.
Шестнадцать дней — как тамаде для пира —
понадобилось консулу, чтоб вновь
над центром Рима встало солнце мира
и воцарились праздник и любовь.
И он сказал: «Я выполнил свой долг
перед своей страною и народом.
Теперь в долгу я перед огородом —
во всем ведь должен чувствоваться толк».
И он ушел домой. Туда, где густо
всходили свекла, брюква и капуста...

...Я — не солдат. Вояка из меня —
по сути никакой. Мой долг — огромен!
Кто ж дал мне право в кресле восседать,
а не пахать родительское поле?
Кто мне позволил позабыть свой сад,
не поливать деревья молодые,
не сеять кукурузу и отдать
свой отчий дом ветрам на разоренье?

Земля моя! Я всем тебе обязан.
Я, — как телок, — навек к тебе привязан...

Посвящение

Я посвящений не люблю в стихах.
(Но милой моей бабушке и тетушкам —
я посвятил бы все, что написал,
и даже то, что сочинится после,
поскольку жизнью им своей обязан...)
Я ничего не посвящаю даже
тому, кто жаром своего огня
на эту книгу вдохновил меня, —
ее я просто тайно адресую
читателю тому, что год назад
мне саженец принес зеленый лавра,
его тайком оставив у ворот.
Чтоб корни не засохли — их бумагой
даритель неизвестный обернул,
на ней оставив дарственную надпись:
«Дай Бог, чтоб этот благородный лавр
наполнил дом ваш светом и друзьями,
и вам принес отраду и тепло», —
и подпись неразборчивая ниже,
мол, ваш читатель. (Кто — не разобрать...)
Тот лавр — прижился. Стал мне
словно брат.
На семь вершков подрос в теченье года.
(Видна порода!..) Что еще желать
поэту, если есть такой читатель?
Солдатов бы подобных полководцам!..
(Хоть мне все время кажется, друзья,
что это была женщина — так скромно
лежал зеленый лавр возле ворот...)
Коль у поэта есть такой читатель —
не нужен ему лавровый венок!
И если он не очерствел душою
и в сердце слез источник не иссяк,
кто у него отнимет это право —
за свой народ болеть и личной кровью
писать стихи о родине больной?..
Он посвящает труд свой — ей одной.

* * *

Если кто-нибудь скажет «люблю» тебе —
ты не спеши
принимать это сладкое слово в объятья души.
Ну за что нас любить —
вместе с тем, что мы слышим, чем дышим,
что творим каждый день,
в чем горим, как в огне, и что пишем?..
Ну за что нас любить —
никаких,
незначительных, невосхитительных,
прозябающих в жизнях растительных?..
Для любви — надо переродиться.
Надо много душою трудиться.
Ибо — не меньшее таинство,
чем священным помазанье мирром...

Если жаждешь любви — то себя к встрече с нею готовь:
развивай ясновиденье, ум и все прочие чувства,
чтоб освоить их все, как науки, иль, может, искусства.
Тренируйся угадывать, верить, жалеть, исцелять и прощать.
Будь достойным ее. Соверши что-то очень великое!
Ведь, встречая любовь —
ты вторично рождаешься в мир,
создавая себя, как художник ваяет скульптуру,
выпуская из мраморной глыбы на свет существо,
что как будто в темнице томилось столетия в камне...
А без этого в жизни —
не будет любви никогда.

* * *

Я исходил весь мир. Не знаю даже,
где не был я, чего не повидал...
От шарканья подошв моих ботинок
на свете прохудилось сто дорог!
Моря, ручьи и вспененные реки —
я, словно лужи, вброд переходил.
Я на Памир всходил. Был на Тянь-Шане —
глядел на мир в клубящемся тумане
с вершин, где только горные козлы
в снегу тропинки вяжут, как узлы.
На ста дорогах я мог быть убитым,
но я не помню их — они забыты!
Одну лишь тропку память бережет,
ее я ясно вижу пред собою —
ту, по которой я ходил с тобою...
Она и ныне жаром душу жжет.
Как след костра, что виден среди поля,
так я ношу на сердце — оттиск боли...

* * *

Тебя никто не назовет *богиней*,
не вскрикнет: «Боже, как ты хороша!»
Никто рукой не схватится за сердце,
от красоты твоей остолбенев.
Никто, тебя увидев ненароком,
не позабудет обо всем на свете,
не задохнется, испытав восторг.
Ты мимо них пройдешь — и не заметят,
на твой привет и словом не ответят
и не отметят твой горящий взор.
Лишь я один, лишь я, тебя встречая,
впадаю в транс, в тебе души не чая,
другую видя сквозь лицо твое —
ты так похожа чем-то на нее!..
Ты для других — бесплотна и бесцветна,
ты для других — как воздух, незаметна,
мужчины смотрят взглядом сквозь тебя,
в упор не видя (где уж там — любя!).
Ты для других — одна из миллионов,
неотличима от таких же клонов,
и одному лишь мне ты вновь и вновь
напоминаешь ту, что и поныне
жжет мою душу, как песок в пустыне,
смущая ум и будоража кровь.
(О, сколько лет живет во мне любовь!..)

Для всех других — любить тебя — нелепо,
а для меня ты — как для поля — небо...

Максуд Ибрагимбеков

Обжалованию не подлежит

Хроники переходного периода

Часть первая

Большинству людей свойственно полагать, что их судьба зависит в основном от них самих. Если не учитывать стихийные бедствия и техногенные катастрофы, то до некоторой степени это так и есть. Действительно жизнь человека складывается в зависимости от его умения использовать задатки, заложенные в нем при рождении. При удачном стечении обстоятельств развитый интеллект, физическое здоровье и честолюбие изначально предоставляют ему преимущества в предстоящей жизненной гонке. И все же, и это общеизвестно, человеческая жизнь в силу других, как правило, непредсказуемых обстоятельств складывается у всех по-разному.

Когда Сеймур Рафибейли учился в школе, он очень удивился бы, если узнал, что его дальнейшая судьба будет зависеть от незнакомых людей, вернее, от их конкретных поступков, которые в определенный день и час им еще предстоит совершить вдали от Баку. Уже в детстве ему было известно, что они существуют — Сталин, Гитлер и Черчилль. Имя Шарль де Голль ему довелось услышать позже.

Красивого товарища Сталина он ежедневно видел на портретах в документальной хронике, которую обязательно показывали во всех кинотеатрах перед просмотром фильма. Сталин Сеймуру нравился. С детства по радио и от всех окружающих он слышал, что он мудрый, добрый и старается изо всех сил ради того, чтобы советские граждане жили еще зажиточнее и веселее. В Баку все знали дом, где он до революции укрывался от недремлющего ока царской охранки, и всей школой ежегодно посещали подпольную типографию «Нина», в которой под руководством товарища Сталина выходила пролетарская газета «Искра», в свое время признанная буревестником революции на всем Кавказе. Сталиным все восхищались и любили. На вопрос физрука: кого они больше любят — Ленина или Сталина, дети уже в первом классе отвечали — Сталина! О Гитлере он знал немного, только то, что он канцлер Германии, которая в силу присущим всем странам капитализма порокам воюет с другими странами Европы, страдающими такими же врожденными язвами капитализма. К фашистской партии отношение советских граждан тогда было положительное из уважения к немецкому народу, именуемому вплоть до 1940-го товарищем Сталиным и его соратниками братским.

Ибрагимбеков Максуд Мамед Ибрагим оглы — народный писатель Азербайджана. Родился 11 мая 1935 года в Баку. Окончил строительный факультет Азербайджанского государственного политехнического института (1955—1960), Высшие сценарные курсы (1962—1964) и Высшие режиссерские курсы (1971—1973) в Москве. Автор многих романов, повестей и рассказов. Прозаические произведения «За все хорошее — смерть», «Кто поедет в Трускавец», «И не было лучше брата», «Пусть он останется с нами», «Прилетала сова», «История с благополучным концом» и др. экранизированы. Автор многих пьес и киносценариев. Проза Максуда Ибрагимбекова переведена на 36 иностранных языков. Давний друг и автор «ДН».

О малоизвестном в Баку Черчилле Сеймур узнал от отца — знатного нефтяника страны Искендера Рафибейли. Рассказывая сыну о причинах бурного расцвета нефтяной промышленности в Баку, он упомянул Уинстона Черчилля. Еще тридцать лет назад нефть использовалась главным образом в качестве горючего в лампах освещения и печах отопления. Все изменилось в 1905 году, когда Черчилль стал морским министром Великобритании. Это ему первому пришло в голову перевести военный флот, а вслед за ним и торговый, с угля на нефть. Вслед за английскими кораблями на нефтяное горючее перешли все флоты мира.

Эффект от перехода на новый вид горючего был колоссальный. В результате спрос на нефть возрос в сотни тысяч раз, а в Баку начался нефтяной бум, который продолжается и поныне. Закончив рассказ о Черчилле, отец спохватился и попросил Сеймура в институте никому об этом не рассказывать. В разговорах следует быть сдержанным, сдержанным и осторожным, сказал отец Сеймуру. Уинстон Черчилль живет в капиталистической стране, ходят слухи, что он ушел в политику и нефтью больше не занимается. Если ни в одном современном справочнике или учебниках по нефти Черчилль не упоминается, значит, какому-нибудь наивному человеку разговоры о нем могут показаться антисоветской пропагандой, и как сознательный гражданин он из лучших побуждений сообщит о тебе куда надо.

О де Голле Сеймур Рафибейли в свои двадцать лет вовсе ничего не знал. Само собой разумеется, что ему не было известно и о том, что де Голль, Гитлер, Черчилль и Сталин никогда друг с другом не встречались. Зато ему, как и большинству бакинцев, было известно много интересного о Ганди и Долорес Ибаррури. Потому что о них регулярно писали бакинские газеты и сообщало всесоюзное радио.

Это вовсе не означало, что Сеймур не был любознательным или общительным человеком. Бакинская молодежь в то время много читала. Издавалось множество книг. Практически читателям была доступна вся мировая литература. Чехова, Вальтер Скотта и Александра Дюма большинство его сверстников прочитали еще в школе до поступления в институт. Книги продавались в магазинах по смехотворно низкой цене. Самыми популярными писателями были Марк Твен, О. Генри. Можно сказать, что главным развлечением студенческой молодежи в те годы было чтение хорошей литературы.

Баку в те времена был после Москвы, Ленинграда и Киева четвертым в СССР по величине городом, но так уж получилось, что почти все мало-мальски приметные обитатели этого большого города были между собой знакомы или знали друг о друге понаслышке. Ах, какой это был город! Если бы кому-нибудь вздумалось предъявить миру образец лучших достижений бурно развивающегося социализма, то он назвал бы Баку. Это был город наилучшим образом приспособленный к обитанию человека. Четыре театра — оперы и балета с постоянным репертуаром, два драматических и один театр юного зрителя, несколько кинотеатров, там перед сеансами в сопровождении оркестра пели популярные певцы. Любители спортивных зрелищ проводили свободное время на ипподроме, где в тотализаторе при максимальной ставке в два рубля при удачном раскладе можно было выиграть хорошие деньги; или же бескорыстно наслаждались на двух стадионах футболом и состязаниями по легкой и тяжелой атлетике. Детей водили в зоопарк и ботанический сад, где можно было посмотреть, как живется в условиях победившего социализма многочисленным представителям флоры и фауны.

Не пустовали и рестораны, кухня нескольких из них была способна, по отзывам знатоков, удовлетворить самый изысканный вкус. По выходным дням на приморском бульваре играл духовой оркестр. Оркестр считался хорошим и поэтому его часто приглашали играть на похоронах уважаемых людей. Для похорон у оркестра был особый репертуар, в котором отсутствовали музыкальные произведения духовно-божественного содержания. Во избежание неприятностей дальновидные музыканты независимо от культурных потребностей родственников покойника играли преимущественно печальные отрывки из известных шедевров мирового музыкального искусства. Делалось это полюбовно, по согласованию с организаторами похорон. Жители Баку были сплошь атеистами. В Бога перестали верить почти одновременно все, после того как было объявлено, что Бога нет, а религия это опиум для народа. Народ, убедившись на опыте печальной судьбы некоторых людей в том, что религия действительно вещь очень вредная, а временами даже опасная для жизни, повсеместно

перестал молиться. Действующими оставались считанные храмы культов, которые продолжали посещать разве только доживающие свой век старики, родственникам которых в этой жизни терять уж совсем было нечего. Мечети, церкви и синагоги использовались в качестве библиотек и музеев. Они были объявлены архитектурными памятниками, и сохранность их заботливо охранялась государством. «Бывшие божьи храмы» использовались также в качестве политпросветучреждений, где для трудящихся демонстрировались научные атеистические фильмы и читались лекции по научному коммунизму.

На похоронах этот оркестр играл лишь в будни, а в выходные и праздничные дни он выступал для бакинцев на их любимом бульваре. Солнце отражалось в морской воде, пахло цветами и хвоей. Нарядные люди прогуливались по тенистым аллеям под волнующие звуки «Большого вальса» или «Марша энтузиастов», полной грудью вдыхали морской воздух и приветливо раскланивались со знакомыми. Нагулявшись всласть, горожане удалялись под парусиновые тенты с видом на море, где всегда можно было выпить свежее бочковое пиво. Детям давали вкусные газированные напитки, «вишневый» и «ситро». Здесь же, под навесами в больших котлах варили крупных морских раков. Пахнущие укропом и лавровым листом, горячие раки пурпурного цвета продавались по пять копеек за килограмм. «Баварское» пиво было двух видов, светлое и темное, последнее почему-то называлось «мартовским». Вот уже пятнадцать лет как «баварское» пиво варили на местном заводе специалисты, переехавшие в Баку из Германии. Вполне приличное с виду пиво варили в Баку и до немецких умельцев, и трудовой народ его пил, но без всякого удовольствия. И тогда советская власть, подобно чуткому камертону, незамедлительно отзывающаяся на чаяния народа, наладила в Баку производство баварского пива. В случае необходимости приглашались иностранные специалисты для работы и в других отраслях народного хозяйства. Идя навстречу пожеланиям трудящихся, в Баку приехали ихтиологи, а вместе с ними специалисты смежники, которым было дано задание наладить на основании последних достижений науки разведение осетровых рыб. В ударные сроки были спроектированы два завода по искусственному оплодотворению икры, после чего из-за границы стали закупать за валюту нужное оборудование. Строительство заводов планировалось завершить в 1943 году, и тогда первые миллионы мальков осетровых должны были начать осваивать просторы Каспийского моря. Немногочисленные скептики отнеслись к плану искусственного разведения рыбы с сомнением, но вслух свои настроения уклонистского свойства выражали только в кругу проверенных временем близких друзей, да и то вполголоса. Их вводило в заблуждение то обстоятельство, что осетровые в те времена бурно размножались самостоятельно без посторонней помощи. Рыбы добывалось много, и предложение намного превышало спрос. Живую рыбу продавали на рынках и в магазинах, завернутых в мокрую рогожу осетров разносили на продажу по домам, ее коптили и перерабатывали на консервном заводе, но довольно-таки увесистая часть улова частенько пропадала даже в зимних условиях... А вывозить этот чрезвычайно скоропортящийся продукт по причине отсутствия холодильников было невозможно. Знали это и доморощенные ревизионисты, и вообще им казалось, что если полукилограммовая банка белужьей или осетровой икры стоит три рубля, включая стоимость стеклянной банки, то так будет продолжаться всегда. А те, кто верил в советскую власть и знал, что ей свойственно видеть то, что до поры до времени недоступно другим, отнеслись к проекту с пониманием и постарались высказать свое одобрение на страницах газет «Коммунист», «Бакинский рабочий» и «Вышка», а также на собраниях представителей общественности и производственных совещаниях.

При сильном желании к недостаткам Баку можно было отнести затруднения с жильем для трудящихся. Даже в частных беседах эти затруднения непременно назывались временными. Благодаря советской власти многие люди, в большинстве молодые, верили в свое светлое будущее и поэтому размножались беззаботно и с удовольствием, вследствие чего темпы строительства жилья со временем начали заметно отставать от темпов роста численности населения. В связи с этим были обнародованы планы с конкретными цифрами, в соответствии с которыми в обозримом будущем все нынешнее поколение советских граждан и частично следующее получит благоустроенное, естественно, бесплатное жилье. Но бездомных в городе не было. Нуждающимся семьям регулярно выписывали в райсовете ордера на постоянное жилье. Как

правило, каждой семье доставалось по одной комнате в многокомнатной квартире с общей кухней и туалетом. Квартиры предоставлялись с мебелью, посудой и постельными принадлежностями, иногда с детскими игрушками. Так как все это добро изначально было рассчитано на одну семью, то новым обитателям квартиры приходилось кое-что докупать самим — в основном недостающие кровати, по одной на каждого новосела, и кухонные шкафчики по числу вселившихся семей.

Хозяев квартир выселяли по ночам. Приходили два-три вооруженных человека в сопровождении управдома и участкового милиционера, производили обыск и через полтора-два часа, выводили людей на улицу, где их ждала машина. Соседи об этом знали, но вопросов не задавали, а утром вели себя так, как будто ничего не произошло.

Сеймуру было десять лет, когда глубокой летней ночью он проснулся от громкого женского плача. Он подбежал к открытому окну и увидел соседей из второго подъезда — доктора Мамедбейли с женой и двумя детьми. Четыре человека в форме помогли им сесть в крытый грузовик, загрузили несколько чемоданов, а затем вспрыгнули в кузов сами. Управдом и участковый стояли у ворот до тех пор, пока грузовик не скрылся за углом. После чего, не попрощавшись, пошли в разные стороны.

Сеймур вышел из спальни и увидел своих родителей. Одетые, они сидели за столом и молчали.

Побледневший отец объяснил ему, что доктора арестовали на основании решения народного суда из-за того, что он является троцкистом и членом тайной протурецкой националистической организации. Сеймур уже взрослый мальчик, — сказал отец, — и должен понимать, что цель врагов народа разрушить советское государство и навредить всем советским гражданам, в том числе и Сеймуру. Ничего не поделаешь, идет борьба не на жизнь, а на смерть, и об этом всем надо помнить.

Мать обняла Сеймура и повела его к детской. Она плакала.

— А тетя Халида, Намик и Леля тоже враги народа? — спросил Сеймур.

— Нет, конечно. Я думаю, они скоро вернутся.

Прошло еще два месяца, и Сеймур понял, что вернутся они не скоро. В квартиру Мамедбейли вселили две семьи нефтяников — бригадира и рабочего. До этого они жили в общежитии на Биби-Эйбате. Новые соседи трогательно суетились, когда все вместе, взрослые и дети, перетаскивали через весь двор чемоданы и узлы со своим скарбом в предоставленное им жилье. И у них у всех были взволнованные и очень счастливые лица.

Может быть, о семье доктора Мамедбейли и вспоминали, но не вслух. Как-то получилось, но соседи избегали в ежедневных беседах дома или во дворе упоминать их имена, хотя никто этого не запрещал. И так было не только во дворе Сеймура, во всем Баку люди говорили о чем угодно, но только не о тех, кто на их глазах исчезал и никогда не возвращался. Прошло несколько месяцев, и от ночного происшествия в памяти Сеймура остались туманные отрывки, похожие на странный сон без начала и конца.

Как раз в это время партия и правительство преподнесли городу замечательный подарок, на некоторое время затмивший все другие городские события. Впервые в СССР была построена электрическая железная дорога, и произошло это именно в Баку. В просторном прохладном вагоне на дорогу до их дачи в Амбуране теперь уходило минут сорок. Раньше поездка занимала около трех часов. Извозчик подавал к воротам транспортное средство. В отличие от остальных людей, пассажиров и прохожих, уверенных, что перед ними телега, сам извозчик гордо именовал свое транспортное средство экипажем. Вначале в заднюю часть «экипажа» загружался багаж, после чего семья в полном составе — Сеймур, его родители и кошка Пакиза усаживались на удобные сиденья с поручнями в передней части транспортного средства. И два могучих «першерона», правнуки племенных лошадей — тяжеловозов, закупленных советской властью во Франции в целях улучшения жизни трудящихся, без видимых усилий везли их через весь Апшеронский полуостров на северное побережье, где были расположены санатории и дачи трудящихся.

В то время он учился на втором курсе самого престижного в Баку Индустриального института, был членом команды яхт-клуба по классической гребле, занимался боксом и был обладателем костюмов из легкой чесучи кремового цвета и двубортного из черного шевиота. У него также были шесть сорочек из белой рубчатой ткани пике как с отложными, так и с обычными воротниками под галстук и две пары ботинок,

сшитых на заказ в самой лучшей мастерской города, куда его отвел отец и познакомил там с мастером своего дела, бывшим холодным сапожником Егановым. Одежду ему выбирали и покупали на свой вкус родители, отец — Рафибейли, знатный нефтяник республики, и мать — София, в девичестве Салам-заде, учительница итальянского языка в бакинской консерватории. С детства Сеймура баловали, но в одном мать была непреклонна — дважды в неделю она занималась с ним итальянским языком. Времени это занимало немного, часа полтора, учение давалось мальчику легко, и уже в девять лет он, не заглядывая в либретто, понимал, почему любимая ария герцога причиняет жестокие страдания несчастному Риголетто и его доверчивой дочке. Мать никому не доверяла и выбор одежды, сама выбирала в магазине ткань и сама вместе с сыном ходила на все примерки к портному. Регулярно обновляемый гардероб в сочетании с атлетической фигурой и улыбчивым лицом позволяли ему выглядеть нарядным во все времена года.

Сообщение о вероломном нападении фашистской Германии особого впечатления на бакинцев не произвело. Население было уверено, что фашистская Германия еще горько пожалеет, начав войну с самой могучей страной в мире, коей, несомненно, являлся Советский Союз, но, зная это, с первого же дня дружно поддержало мероприятия партии и правительства, направленные для надежной защиты от случайного прорыва вражеской авиации на любимый город Баку. О том, что нефтяная столица мира — Баку является лакомым куском для любого капиталистического агрессора, все знали давно и гордились тем, что им выпало счастье жить и работать там, где добывается девяносто процентов нефти, из которой производится горючее для всех моторов, работающих в воздухе, на земле и на море. Поэтому одни бакинцы стали в массовом порядке наклеивать на оконные стекла куски бинтов и марли. Делалось это с целью предохранить людей от осколков стекла в случае воздушного налета, а другие — те, что пошустрее, в тесном сотрудничестве с чекистами начали повсеместно устраивать шумные облавы на диверсантов, шпионов и вредителей, число которых с первых же дней войны несоизмеримо увеличилось по сравнению с мирным временем. На всех крышах домов на случай попадания зажигательных бомб стояли бочки с песком и водой, а также установлены стенды с развешанными щипцами для обезвреживания зажигательных бомб и другое противопожарное оборудование. Там же по ночам добровольно дежурили обитатели домов.

Городские власти испытали кратковременный шок, когда на крыше одного из пятиэтажных зданий по соседству со штабом военного округа было обнаружено полотнище, на котором была выведена огромная свастика. Всем стало веселее после того, как оперативники доложили, что эта свастика нарисована на крыше психиатрической больницы. Еще через час выяснилось, что полотнище сшито из восьми простыней, взятых из больничной палаты, а на рисование свастики ушло пять бутылок чернил, украденных обитателями больницы из канцелярии. В итоге нескольких долгих откровенных бесед оперативников с психопатами было установлено, что пятеро больных, впавших еще глубже в состояние тяжелой депрессии, решили исключительно по собственной инициативе установить на крыше плакат со свастикой, с целью ввести в заблуждение воздушного фашиста, пожелавшего разбомбить психиатрическую больницу. После того как независимая экспертиза подтвердила, что виновные действительно являются неизлечимыми психопатами, больных вернули в больницу, а главврача больницы из-за проявленной халатности разжаловали в заведующего отделением.

Что же касается немецких специалистов-пивоваров, то доподлинно всем было известно, что они психически здоровы, поэтому никто не удивился, когда все они были уволены. Уволены навсегда и тут же заменены местными сотрудниками, после того как было доказано, что немецкие пивовары готовились добавить в продукцию пивного завода привезенные из Германии токсичные вещества, что неизбежно привело бы в Баку к отравлению подавляющего большинства любителей пива. Пивоваров и членов их семей больше никто в городе не видел.

Еще одно событие, случившееся в эти же дни, осталось почти незамеченным потребителями пивного завода: в полном составе исчез единственный в городе джаз-банд, концерты которого посещал только ограниченный круг ценителей этого порочного вида искусства. Оркестр дважды в неделю нелегально играл в клубе «Бакпорт», и зарплату музыканты оркестра получали неофициально из рук в руки.

Когда пришедшие на концерт поклонники джаз-банда узнали, что концерт отменен, они очень расстроились и стали громко требовать немедленной встречи с любимым коллективом. Вместо оркестра на сцену вышел новый директор клуба и поделился с переполненным залом своими соображениями. Он сказал, что если руководство порта по неизвестным причинам до сих пор не пресекало вредную деятельность оркестра, в состав которого проникли саксофонисты и тромбонисты, то сейчас в военное время с этим покончено. Руководство не может допустить, чтобы в стенах прославленного клуба «Бакпорт» молодые люди слушали упадническую буржуазную музыку, неизбежно приводящую к моральному разложению и ослаблению патриотических чувств советского человека. Директор клуба посоветовал всем разойтись, пока он не приказал переписать имена и фамилии любителей джаза, для того чтобы передать их в комсомольские организации каждого из присутствующих.

А вот другим гражданам радиолюбителям не понадобилось объяснять, как может отразиться на их сознании тлетворная вражеская пропаганда и музыка, пересекающая границы в виде невидимых глазу радиоволн. Все они в течение трех дней добровольно расстались с радиоприемниками, когда им официально сообщили адреса, где они временно будут храниться. Сознательные граждане добровольно сдали на временное хранение и пишущие машинки, которые, попав в военное время в руки шпионов, также могли стать средством вражеской пропаганды

Сеймур успел попасть в первую волну добровольцев. Он был студентом третьего курса Индустриального института и как будущий нефтяник имел право на отсрочку от призыва, но он вместе со всеми однокурсниками отправился в военкомат, где в письменной форме они отказались от предоставленных им льгот и потребовали незамедлительной отправки на фронт.

В честь студентов-добровольцев был дан концерт в театре оперы и балета. Перед концертом к защитникам родины со сцены обратился первый секретарь Центрального комитета компартии республики Мир Джафар Багиров. Высокий, в строгом костюме и в очках с блестящими стеклами, он вначале произвел на студентов впечатление сурового партийного деятеля, но по мере того, как он говорил, в зале прекратились все разговоры и наступила полная тишина. В середине приветственного выступления Багиров, улыбнувшись, сообщил, что в зале сидит и его сын, который завтра тоже отправится на фронт в первом отряде студентов-добровольцев. И еще Багиров сказал, что сегодня он провожает на фронт не только своего сына, но и всех, кто сидит в зале. Потому что считает их тоже своими детьми, и все то время, пока они все до одного не вернутся в Баку целыми и невредимыми, будет для него временем тревоги и ожидания.

Когда товарищ Багиров закончил выступление, зал встал и приветствовал его бурными аплодисментами.

На концерт Сеймур не остался, он торопился на свидание с любимой девушкой по имени Севда. Они познакомились неделю назад на вечере в институте иностранных языков. Она была красавицей, и он влюбился в нее с первого взгляда. Свидание было коротким, но приятным. В связи с всеобщим затемнением, в городе не горело ни одного огонька. Море освещалось лишь бледным светом ущербной луны. Они сидели на приморском бульваре и между страстными поцелуями обещали никогда не забывать друг друга. Ему было девятнадцать лет, и на следующий день он уходил сражаться с врагами своей страны. Если бы ему сказали, что это и есть счастье, то он, конечно, согласился бы.

На перроне духовой оркестр играл марши. Провожать объединенный студенческий отряд пришел весь Баку. Мама Сеймура плакала, отец крепился, но говорил с трудом. Севда бросилась ему на шею и сказала, что любит и гордится им, потому что он самый лучший на свете. Сеймур познакомил ее с родителями, они успели побеседовать, и ему показалось, что Севда им понравилась. К нему беспрерывно подходили знакомые, кто-то поздороваться, другие прощаться. Казалось, конца этому не будет, поэтому, когда был подан состав, сплошь из новеньких плацкартных вагонов, он испытал облегчение. Представители военкомата по списку рассадили призывников по вагонам, и поезд медленно отошел от перрона.

Через два часа поезд остановился на станции «Баку — Насосная». Удивленным призывникам объявили, что здесь им предстоит пройти двухмесячные военные сбо-

ры. Поселили их в старых казармах. С первого взгляда было заметно, что прежние обитатели покинули их совсем недавно в спешном порядке. Койки были незастеленными, а на большинстве столов оставалась немытая посуда.

При казармах был учебный полигон и стрельбище. Здесь будущих фронтовиков обучали умению рукопашного боя, инструкторы вместе с ними ползали по-пластунски, показывали, как идти в атаку, и отрабатывали в окопах приемы отражения атаки противника. Утро начиналось с тренировки на стрельбище. Стреляли из винтовок и наганов. В Индустриальном институте была военная кафедра, поэтому обучение на сборах далось легко, и через месяц всем бывшим студентам было присвоено звание младшего лейтенанта. День присвоения звания получился менее праздничным, чем ожидалось, потому что уже рано утром все узнали, что их объединенный студенческий отряд распущен, а новоиспеченные младшие лейтенанты группами по два-три человека направляются в различные воюющие подразделения на линии обороны, растянувшейся на тысячи километров вдоль западной границы. На место нового назначения на Украине они прибыли вдвоем, Сеймур и его однокурсник Зафар Зейналлы. В институте Зафара привыкли называть Зефиром. Начиная с первого курса он всеми доступными ему средствами давал понять, что оно ему не нравится, но ненавистное прозвище за ним закрепилось прочно. Зефиром назвали его в детском саду, кличка вместе с ним проследовала в школу, а затем и в институт. Отличник Зафар был тихий воспитанный юноша с хорошими манерами. Он никогда не сквернословил и краснел, когда сокурсники при нем употребляли слова из уличного жаргона. Сокурсники увидели его рассвирепевшим всего один раз, в день его рождения. Перед началом лекции группа преподнесла ему подарок — большую коробку с зефиром, на коробке была сделана поздравительная надпись с поэтической цитатой — «Ночной эфир струит зефир». Не обращая внимания на вошедшего преподавателя, Зафар вышвырнул коробку в окно и, громко выкрикивая проклятия в адрес самой мерзкой группы института, выбежал из аудитории. Извиниться перед ним поручили Симе Гулиевой, с которой у него всегда были хорошие отношения.

— Зефирчик! — встретив Зафара в коридоре, начала Сима и тут же осеклась, сердито отмахнувшись от Симы, Зафар зашел к декану. По причине отсутствия внятного объяснения в деканате в переходе в другую группу Зафару было отказано. Избавился он от опостылевшей группы только благодаря вероломному нападению фашистской Германии на доверчивый Советский Союз.

После того как на полуторке они добрались до места назначения, Зафар обратился к Сеймуру с просьбой. Остановив его перед входом в здание комендатуры, он вкратце изложил суть дела — сказал, что без промедления, именно сейчас хочет покончить с прошлым, так как опасается, что унизительная для офицера кличка вместе с ним проникнет в ряды Красной Армии. Сеймур должен был обещать — впредь никогда не называть его Зефиром. Зафар был взволнован и говорил очень серьезным тоном. Сеймур тут же дал торжественное обещание навсегда забыть о наличии в природе слова зефир, после чего они зашли в здание и предъявили там документы о своевременном прибытии на службу.

В один из осенних дней 1941 года полуголые Сеймур и Зафар, сдавшие одежду команде дезинфекционной машины, терпеливо ждали, когда шипящая горячим паром машина выплюнет сданные на обработку вещи. Горячая, насквозь прожаренная форма, надетая на чистое, вымытое под полутеплым душем тело, каждый раз, даже в лесу или в окопе вызывала приятное ощущение уюта. Машина эта обычно приезжала на день-два, и к ней тут же выстраивалась очередь жаждущих чистоты. Одежда всего наличного состава стиралась и дезинфицировалась, после чего машину тут же отправляли в другие части, но на этот раз по всему было видно, что увозить ее никто не собирается.

По причине неприбытия полевой кухни наличному составу довольствие и в этот день было выдано сухим пайком. Сеймур и Зафар разломили брикеты пшенной каши, залили их крутым кипятком и прикрыли алюминиевые миски тарелками. Пайковые двадцатиграммовый кусочек масла и соль, добавленные в поспевшую горячую кашу, превращали ее на вкус изголодавшихся за сутки людей в изысканное блюдо. Кашу полагалось заедать сухарями из черного хлеба, но истинные гурманы предпочитали съедать их отдельно на десерт, запивая это хрустящее лакомство компотом из

сухофруктов. Обеденный перерыв подходил к концу, друзья все еще молча пребывали в состоянии мрачного ничегонеделания. События в последнее время происходили невеселые, но говорить об этом не хотелось. Последнюю неделю на позиции ни разу не появилась полуторка военно-полевой почты, и оказалось, что это даже неприятнее, чем отсутствие кухни. Из дому писем теперь никто не получал, а треугольники своих неотправленных писем бойцы постоянно носили при себе. К приходу Глеба Харламова Сеймур и Зафар отнеслись спокойно. Все трое были в звании младшего лейтенанта, и поэтому его появление на поляне приветствовали, не отдавая чести. Человек он был веселый и общительный, считался опытным офицером, много курил и, видимо, в связи с этим часто и надрывно кашлял. Бросать курить он не собирался, так как был убежден, что всем, кто вынужден постоянно заниматься усиленной умственной деятельностью, курение необходимо. Глеб Харламов в первые же дни войны ушел на фронт добровольцем со второго курса сельскохозяйственной академии, и считалось, что он лучше всех разбирается в вопросах сельского хозяйства. Поэтому на улаживание проблем хозяйственного свойства с местным населением полковое начальство обычно отправляло его.

— Отдыхаете?

— Ведем полемику, — объяснил Зафар, — можно сказать, научную. Вроде все ясно, а договориться не можем.

— Полемика — это хорошо,— похвалил Глеб. — О чем речь, в двух словах?

— Вопрос простой, — сказал Сеймур. — Короче говоря, как, по-твоему, водились ли у королевских мушкетеров вши?

Глеб тщательно растер о землю докуренную самокрутку и одновременно зашелся в затяжном приступе кашля, было видно, что он тянет время.

— Мнений у нас в основном два,— сказал Сеймур, — я, например, считаю, что с учетом полевых условий среди мушкетеров вшивые встречались сплошь и рядом.

— Тут ты ошибаешься,— голос Глеба обрел привычную уверенность. — Подумай сам, мушкетеры были офицерами и кавалеристами. Верно? А у офицеров вшей быть не должно. Они все в основном ходят порознь. Я сам читал специальную инструкцию, там дословно сказано, что насекомые заводятся в условиях скопления людей в замкнутом пространстве. То есть в пехоте случаи завшивления бывают, а у тех, кто не скапливается, например, у летчиков или у тех же кавалеристов, вшей не должно быть. Все ясно?

— Ясно, но нуждается в проверке, — с сомнением в голосе сказал Зафар.

— Это можно. В Дубках, в полутора километрах отсюда, расквартирован кавалерийский полк, давай сходим туда и спросим там у любого кавалериста, есть ли у него вши, — предложил Глеб.

Сеймур неодобрительно покачала головой.

— Кавалеристы, они все нервные. Поэтому как спросите, бегите со всех ног. Не дай бог догонят, — посоветовал Сеймур. — Короче говоря, Зафар, не будь занудой, отдай махорку. Глеб победил.

Глеб был заядлый спорщик, друзья постоянно придумывали для него новые темы, и делалось это исключительно для увеселения души.

Теперь молчали все трое. Отчетливо был слышен звук мотора вконец обнаглевшего самолета-разведчика со свастикой на крыльях, второй раз пролетевшего без сопровождения на небольшой высоте.

— Не нравится мне все это,— оглянувшись по сторонам, сказал Глеб.

— Что именно?

— Все не нравится.

— У меня в Баку приятель был, Элик Казиев, когда ему вокруг все не нравилось, он обычно говорил: «Хаты нет, денег нет, кругом шашнадцать!» — вспомнил вдруг Зафар.

— Дурак набитый твой Эдик! — раздраженным тоном сказал Глеб.

Сеймур внимательно посмотрел на Глеба.

— Плохое настроение?

— А ты не чувствуешь, что происходит?

— А что происходит?

— В том-то и дело, что ничего. В каждой роте половина состава, а то и меньше. Пополнение ждем не дождемся, где оно? То же самое боеприпасы. В нагане четыре

патрона, на сегодня это все мое вооружение. Радиосвязи нет, ни с кем связаться не можем. Сидим как на острове. Немцы же нас голыми руками возьмут. Не пойму только, чего они ждут.

Зафар ждал, что скажет Сеймур. Сказанное Глебом уж очень сильно напомнило то, от чего чуть ли не ежедневно их предостерегал с плакатов суровый политрук, прижимающий к губам указательный палец: «Враг не дремлет!» или «Болтун находка для врага» и «Провокаторов за ушко на чистую воду!», но Сеймур слушал Глеба не возражая. А тот не мог остановиться.

— У артиллеристов всего два грузовика, и на тех нет бензина, пушки приходится разворачивать вручную.

— Это артиллеристы тебе рассказали?— недоверчиво спросил Зафар.

— Мне и фашисты ничего не рассказывают, только я по ночам слышу с их стороны автоматные очереди. А у наших бойцов только винтовки Мосина, и те без боекомплекта.

Все молчали. В наступившей паузе Глеб спросил у Зафара:

— Напомни-ка, что говорил твой приятель Эдик насчет денег и хаты.

— Он не Эдик, Элик его зовут. И он не дурак.

— Это хорошо, что не дурак. Ну!

— «Денег нет, хаты нет, кругом шашнадцать!» — повторил Зафар.

— Вот именно! Кругом шашнадцать! — мрачно повторил Глеб, — прошлую ночь с той стороны было слышно, как подтягивается тяжелая техника, а у нас на сегодня за ударную силу только кавалерия.

— Лучшие танки производятся в Советском Союзе. И прямо с конвейера своим ходом идут на фронт! Я сам читал в «Вестнике фронта», — возмутился Зафар.

— А где они?— в поисках танков Глеб, вытянувшись во весь рост, огляделся по сторонам. — Не видно танков.

— Извини меня, Глеб, но сегодня тебя понесло не в ту степь, совсем не в ту! Скажу откровенно, я с тобой не согласен! — сказал Зафар.

— В чем не согласен?— удивился Глеб.

— Извини, во всем не согласен,— внушительным тоном отчеканил Зафар. — Сеймур, ты идешь?

— Нет.

— Ты иди. Мы с Сеймуром еще побеседуем. — сказал Глеб, чем окончательно испортил настроение Зафару.

— Уже и в своем окопе нет покоя,— ни к кому не обращаясь, недовольно пробормотал Зафар, направляясь в сторону землянки.

Оставшись наедине с Сеймуром, Глеб поделился с ним результатами своих наблюдений. По мнению Глеба, в руководство армии проникла группа диверсантов, которая, безнаказанно орудуя, со знанием дела лишила боеспособности части, которым предстоит защищать от наступления фашистов этот участок фронта. Обо всем этом Глеб собирался подробно сообщить в письме товарищу Сталину. Он был очень взволнован, у него горели глаза, но мысли свои он излагал четко и понятно.

— Ты думаешь, письмо до него дойдет? — спросил Сеймур.

— До Верховного главнокомандующего. Не сомневайся, письмо, посланное полевой почтой, товарищу Сталину передадут. Подпишутся еще несколько офицеров, я с ними договорился. Ты подпишешь?

— Да, — сказал Сеймур. — Где письмо?

— Иду писать, к утру будет готово. Завтра, наверное, почта появится.

— А тебе известны имена диверсантов? Хотя бы одного?

— Нет. Но я знаю, что они есть. Ты разве не видишь, что они здесь творят? Стольких уже разоблачили и расстреляли, предателей генералов и полковников, а они все никак не уймутся. Мы же с тобой вместе подробно обо всем читали!

— Читали. Помнится мне, что предатели в приказе были указаны поименно. Поэтому мне кажется, что будет убедительнее, если мы напишем о том, что здесь на наших глазах происходит, укажем факты, которые нам известны. А фактов много. Я думаю, так будет лучше. А кто конкретно предатель или вредитель, пусть выявит командование, — подумав, сказал Сеймур.

— Командование может подключить контрразведку или военную прокуратуру,— согласился Глеб.— Ты прав, завтра передам письмо из рук в руки Виталику Самойло-

ву, почтарю нашему, он не подведет, доставит по адресу. Ладно, спасибо за совет. Пойду составлять донесение. Не знаю только с чего начать.

— Ну что ты сказал Глебу? — спросил Зафар, как только в землянку протиснулась голова Сеймура.

— А что я должен был сказать?

— Все, что думаешь о его вредной болтовне! Нам все равно придется давать показания перед военным трибуналом. Глеб вел антисоветскую пропаганду, а мы с тобой слушали его и не арестовали. Причем молчали, развесив уши, то есть как бы соглашались с ним. Тебе известно, что за это полагается?

— Не преувеличивай, если на Глеба донесут, трибунала не будет, все обойдется военно-полевым судом, — доброжелательным тоном объяснил Сеймур.

Зафар внимательно посмотрел на приятеля.

— Ты, кажется, согласен с тем, что говорил Глеб?

— Если честно, я с ним не во всем согласен, — подумав, серьезным тоном сказал Сеймур.— Например, наш друг Глеб при тебе сказал, что в барабане его нагана осталось четыре патрона, а теперь вот смотри, в моем револьвере всего три. Видишь, у меня с ним серьезные расхождения.

— Извини, если это шутка, то неудачная. Ты подумай лучше, что нам теперь делать?

— Воевать. Окопы рыть. — Увидев выражение лица Зафара, шутить Сеймуру расхотелось.

— Ты лучше подумай, что о нас скажут в Баку, если узнают, что мы с тобой разоблачены как враги народа, — чувствовалось, что Зафар встревожен по-настоящему.

— Успокойся, никого еще в нашей стране зря не разоблачали и не обвиняли. Ты же читал конституцию?

— Не успел, — сказал Зафар. — Собирался, но не успел.

— Я тоже не читал, но знаю, что она не зря называется сталинской. Так что успокойся, никто нас разоблачать не будет, потому что ни Глеб, ни мы ни в чем не виноваты.

Ссылка на конституцию Зафара не убедила.

— Еще как виноваты! Мы слышали, что он говорит, и не остановили его. Что теперь делать?

Сеймуру надоело спорить.

— Да, я слушал его и не возражал. Потому что Глеб прав и я во всем с ним согласен.

Зафар был очень испуган и расстроен.

— Посмотришь. Это кончится очень плохо, — тихо сказал он. О Глебе в тот день они больше не разговаривали.

Ночью Сеймур прочитал письмо, написанное Глебом. Под ним стояли подписи четырех офицеров. Сеймур подписал его и положил в планшет, утром он собирался вернуть его Глебу. Но послать письмо Сталину они не успели. Позиции начали бомбить в пять часов утра. Десятки самолетов, выстроившись как на параде, на низкой скорости проходили над их головами ряд за рядом. Пронзительный вой и удары падающих бомб сливались в звук, невыносимый для человеческого уха. Люди прятались в окопах, душераздирающий визг и оглушительный грохот лишил их воли, и они лежали там, прижавшись к спасительной земле, не силах заставить себя поднять голову и осмотреться по сторонам.

Бойца, не успевшего спуститься в укрытие, жесткой воздушной волной подбросило на полметра и отшвырнуло в сторону. Он был уже мертв еще до того, как с размаху всем телом ударился плашмя о дно траншеи и теперь лежал на спине, уставившись в небо глазницами с вытекшими глазами.

Внезапно взрывы прекратились. Несмотря на затихающий гул удаляющихся бомбардировщиков, казалось, что наступила полная тишина. Обитатели окопов стряхивали с себя песок и налипшие местами к одежде сырые комья глины. Со стороны противника как будто из-под земли вдруг выросли цепи немецких солдат. Уже через несколько минут все пространство перед окопами было усеяно идущими во весь рост в атаку шеренгами фашистских пехотинцев. По ходу они беспорядочно стреляли и то

ли для устрашения врага, то ли ради усиления боевого духа молодецкими голосами пели неизвестную в здешних окопах грозную боевую песню.

По команде командиров красноармейцы вышли им навстречу. В атаку пошли все, в окопах остались лежать только раненые и контуженные. Недалеко от роты Сеймура, опередив своих бойцов, шел Глеб. «За Родину, за Сталина!» — кричали все, но их перекрывал высокий голос Глеба. Глеб замолк за несколько мгновений до того, как атакующие с двух сторон сшиблись в ближнем бою. Короткая очередь из автомата, выпущенная с двух метров, разнесла на части его череп.

А потом на его глазах убили Зафара. Потрясенный Сеймур бросился к нему, но оглушенный сильным ударом приклада в голову рухнул как подкошенный. Когда пришел в себя, над ним стоял солдат и с усмешкой прокручивал барабан его нагана, в котором не было ни одного патрона.

Все происходило как во сне. Немцев оказалось в десятки раз больше, и они неторопливо в упор расстреливали наступающих. Скоро стрельба прекратилась, и немцы стали сгонять безоружных пленных в колонну. Раненых пристреливали там же, где они лежали. Ощущение сна усиливалось тем, что победители по очереди с улыбкой фотографировались над телами поверженных врагов. Снимались в одиночку и небольшими группами. Бросались в глаза их добротное обмундирование и автоматы, которыми все они были вооружены. Немцы были как на подбор рослые, упитанные и веселые.

У всех мировых религий есть один общий недостаток: описанный в них ад в глазах профессионального грешника выглядит как исправительное заведение, при создании которого были недостаточно продуманы существенные детали. Вечное медленное горение в геенне огненной или столь же долговременное пребывание в кипящем котле, так же как другие разновидности вечных мук, поначалу действительно производят сильное впечатление, но только на людей с хорошо развитым воображением, среди которых, как правило, закоренелые грешники встречаются крайне редко. Так уж получилось, что по причине отсутствия нужного опыта люди не в состоянии представить себе, что это такое — вечность, и поэтому заведомо относятся к этим видам наказания с почтительным недоверием. Вдобавок, почти во всех описаниях ада отсутствуют упоминания о таких эффективных наказаниях, как круглосуточные пытки холодом, постоянное недоедание и каждодневно применяемые изощренные формы унижения, превращающие человека в существо без чести и достоинства. В описаниях классического ада эти и другие, еще более изысканные наказания, естественно отсутствуют, потому что придумавшие их нелюди появились на свет гораздо позже первых организаторов ада.

Пленных привезли на грузовиках на станцию, здесь их погрузили в товарные вагоны и два дня везли в неизвестном направлении. В битком набитых вагонах отхожих мест не было. Поезд часто останавливался, но из запертых вагонов выходить не разрешалось. Поезд остановился один раз на полчаса в открытом поле. Пленных встретили солдаты с собаками, и они на глазах солдат, под злобный собачий лай справили нужду.

В открытые ворота поезд въехал на огороженную территорию с однотипными унылыми строениями. Здесь пленных, разделив на группы по десять-пятнадцать человек, стали загонять в бараки. В барак впускали по одному. У входа Сеймур получил сильный удар дубинкой, когда он обернулся, той же дубинкой получил тычок в зубы. Глядя в лицо Сеймуру, охранник злорадно ухмыльнулся и замахнулся для нового удара. И тут Сеймур совершил первую и, может быть, самую серьезную ошибку за всю свою предыдущую жизнь. В прямой удар правой рукой он вложил всю ненависть, накопившуюся в нем за последние несколько дней. Охранник с разбитым носом упал, а Сеймур, прижав ладонь к разбитым губам, перешагнул порог.

Мигом набежавшие охранники скопом набросились на Сеймура. Слаженно работая дубинками, они избили его до потери сознания. Утомившись, четверо охранников отошли в сторону, но двое продолжали избивать его дубинками и ногами и после того, как он перестал подавать признаки жизни.

К лежащему на полу подошел заключенный Виктор Самарсков, здешний старожил. С помощью одного из заключенных он втащил бесчувственное тело на нары.

Бывший рядовой Виктор Самарсков попал в армию в 1939 году после того, как был исключен из 1-го московского медицинского института.

Причины, побудившие его помочь незнакомому человеку, в тот момент были неизвестны ему самому. Хотя он и знал, что такого рода проступки подлежали наказанию как за серьезное нарушение дисциплины. Никогда прежде в проявлениях благотворительности Самарсков замечен не был.

В бараке Виктор Самарсков ходил в изгоях. За три месяца пребывания в бараке за ним закрепилась репутация неуживчивого и злопамятного человека, от которого можно ждать любой пакостной выходки.

Не нравились заключенным и его частые беседы с надзирателем Збышеком. Действительно, Виктору Самарскову непостижимым образом удавалось вовлекать старшего надзирателя Збышека в беседы на религиозные темы, и тот, отложив дубинку, слушал его с мистическим блеском в глазах. В свою очередь к обитателям барака Самарсков относился с нескрываемой неприязнью. Он презирал их за покорность и угодничество и знал, что многие из них готовы донести на товарищей за лишнюю порцию еды или старое обтрепанное одеяло.

В половине пятого утра завыла сирена, и барак пришел в движение, утром заключенным отводилось полчаса на гигиенические процедуры в открытых всеобщему обозрению туалетах без дверей, с последующим вслед за этим завтраком, состоящим из стакана кипятка и ломтя черного хлеба с кусочком жесткого как резиновая подошва пожелтевшего сала.

Самарсков менял на лбу Сеймура компресс из мокрой тряпки, когда к нарам в сопровождении двух помощников подошел надзиратель Збышек. Ткнув Сеймура дубинкой в ребра, он приказал надзирателям отвести «симулянта» в карцер.

И тут между ними и Сеймуром встал тщедушный рыжий Самарсков.

— Нельзя его в карцер, — сказал Самарсков. — Он там не выживет.

— Это хорошо, что не выживет, — ухмыльнулся Збышек. — Встать!

Стоящий рядом с Самарсковым надзиратель толкнул его в грудь и тот, отлетев через проход между нарами, с размаху ударился о стенку. На происходящее никто в бараке не обратил внимания, заключенные торопились проглотить завтрак до того, как прозвучит сигнал к работе.

Сеймура повели к выходу. Два надзирателя, придерживая его за локти, шли по бокам, а старший надзиратель Збышек, следуя за ними небрежной прогулочной походкой, наблюдал за соблюдением общего порядка во всем бараке.

— Камо грядеши, Домине?! — встав во весь рост, звучным высоким баритоном вдруг возопил Самарсков.

В бараке все замерло. Коренастая фигура в черной форме вздрогнула и остановилась. Надзиратель Збышек развернулся на месте и вернулся к нарам.

— Ты что сказал? — спросил Збышек у Самарскова.— Я не понял.

— Не я. Так сказал Бог апостолу Петру, когда тот оставил христиан на растерзание язычникам и ушел из Рима. И тогда Бог призвал апостола — Камо грядеши, Домине! Больше Бог ничего не сказал, и святой Петр ему на это ни слова не ответил. Он вернулся в Рим спасать от мученической смерти христиан.

Збышек выслушал описание явления Бога апостолу Петру с почтительным вниманием, но при этом его не сразу покинули сомнения, присущие человеку на должности старшего надзирателя.

— В библии об этом не сказано,— неуверенно пробормотал Збышек.— А ты как узнал?

— Это свидетельство святого человека земли польской, великого писателя Генриха Сенкевича.

Свидетельство писателя, причем поляка, кажется, начало производить на Збышека положительное воздействие, но Самарсков не стал рисковать и тут же постарался закрепить достигнутый успех.

— В эту ночь мне опять явился скорбный лик святого Стефания,— проникновенно сказал Самарсков. — Меня бросило в дрожь, до того у него был опечаленным взгляд, устремленный на страдальца.

Збышек посмотрел в угол над нарами и перекрестился.

— Не пойму. Этого,— он показал пальцем на Сеймура, которого подвели к нему

надзиратели, — привезли сюда ночью, и ты тут же стал молить святого Стефания заступиться за первого встречного?

— Божий промысел, — глубоко вздохнув, сказал Самарсков. — В том-то и дело, что он не первый встречный. Его зовут Толик. Восемь лет мы не виделись, но никогда не забывали друг друга. Пан Збышек, вы должны знать все! Мы с Толиком родились в один день в одной палате калужского роддома. Пьяная медсестра перепутала при рождении младенцев, и мы до сих пор не знаем, кто из нас он, а кто из нас я, то есть кто из нас настоящий Виктор, а кто Толик. Поэтому родители решили нас не разлучать, и мы вместе с родителями жили в одном доме. Потом родителей неизвестно кого, то ли Анатолия, то ли Виктора, арестовали и сослали в Сибирь. Они до сих пор там. Наша встреча здесь — это божий промысел, и ночью во взгляде святого Стефания я прочел, что сотворение этого чуда угодно Богу и будет зачтено пану Збышеку как при жизни его, так и впоследствии.

Сеймур не мог себе представить, что к истории о младенцах в роддоме можно отнестись всерьез, но слова Самарскова подействовали на старшего надзирателя Збышека как гипнотическое внушение. Выслушав историю о происшествии в калужском роддоме, он задумчиво, сосредоточенно пожевав губами, спросил:

— А за что их в Сибирь?

— Пану Збышеку известно, что большевики отменили веру в Бога?

— Слышал об этом, но думал, что такого не может быть, — побагровев от возмущения, сказал Збышек.

— Из-за того, что церкви в нашей стране закрыты, они молились дома, — с невыразимой печалью сказал Самарсков. — Соседи-безбожники донесли на них. Родителям дали двадцать четыре часа на сборы. Остальным двум родителям и нам, то есть Толику и Виктору, провожать их запретили. Обычное дело в СССР. — Самарсков долго и вдохновенно рассказывал о страданиях верующих, рассказал он в подробностях и о том, как большевики взрывали храм Христа спасителя, свидетелем чего, по его словам, он был. Говорил он беспрерывно, не делая пауз, и без сбоев, Сеймуру даже показалось, что впавший в странное состояние Самарсков не сумеет сам остановиться и, может быть, ему надо помочь, но все обошлось.

— Молитесь и радуйтесь, пан Збышек, что вы живете в благословенной Польше, — сказал Самарсков прослезившемуся надзирателю, и на этом сеанс был закончен.

— Матка боска Ченстоховска, сбереги от большевиков Польшу и всех нас, — Збышек перекрестился. — Помяните мои слова, изверги рода людского будут наказаны,— торжественно провозгласил Збышек.

— Аминь,— звучным эхом отозвался Самарсков.

Еще раз перекрестившись, Збышек, поигрывая дубинкой, пошел к выходу исполнять и дальше служебные обязанности.

В опустевшем бараке они остались вдвоем. Самарсков сказал Сеймуру, что можно быть спокойным, Збышек не подведет и сделает все как надо. По его словам, добивать Сеймура никто не придет, и сегодня его ни в карцер, ни в карьер не погонят. Самарсков говорил беспрерывно. По ходу продолжительного монолога, изредка прерываемого ответами Сеймура, дополнительно выяснилось, что Виктор Самарсков очень любопытный человек, любопытство было всеобъемлющим, но в это утро он интересовался главным образом конкретными сведениями и фактами, связанными с Сеймуром. Сеймур на вопросы отвечал медленно, слегка приоткрывая рот, потому что на малейшее движение острой болью отзывались челюсти и мышцы лица, кроме того, ему очень хотелось спать. Самарскову он был благодарен, но преодолеть дремоту оказался не в силах.

— Извини,— прервав собеседника на полуслове, объяснил он, — это оттого, что очень уж тянет ко сну.

— И правильно. Поспать необходимо. Ты мне только скажи напоследок, из-за чего ты затеял драку с охранником?

У Сеймура прошел сон.

— Он первый на меня набросился с дубинкой, я его ударил в ответ. А что я мог сделать?

— Непонятно. Дубинкой здесь каждый день бьют всех и все до одного терпят.

Трусливые рабы! Даже огрызнуться никто не смеет. Презираю! А ты на глазах у всех подрался с охранником.

— Ты лучше посмотри сюда, результат драки лежит перед тобой и с трудом разговаривает.

— Вот-вот, это и непонятно. Ты же знал заранее, чем все кончится?

— Ничего я не знал, — искренне сказал Сеймур. — Он ударил, я, как полагается, ответил. Ты мне лучше объясни, этот надзиратель такой наивный и добрый человек от природы или стал таким в лагере?

— Надзиратель Збышек садист и религиозный фанатик, — усмехнулся Виктор.— Я не понравился ему с первого взгляда, и он без всякого повода прохаживался по мне дубинкой по нескольку раз в день. А я, между прочим, ни разу даже пикнуть не посмел. Этот Збышек без всяких причин, ради садистского наслаждения искалечил несколько заключенных. Их унесли на носилках, больше их здесь не видели. Збышек тяжелый дегенерат. Здесь все надзиратели выраженные дегенераты. Немцы молодцы, для меня загадка, как им удалось собрать в одном месте столько дегенератов. Сплошная клиника.

Сеймур молча ждал продолжения.

— Объясняю, — сказал Виктор. — Если человек хочет выжить, он обязан использовать ради этого любую случайность. А я хочу выжить. В тот день я был в туалете и случайно услышал, как во дворе за окном Збышек жалуется другому надзирателю, западному украинцу Опанасу на то, что ему отказали в двухдневном отпуске, зная, что жена его на сносях, вот-вот должна родить, а присмотреть за ней, кроме глухой бабки, некому. Я сразу сообразил, как можно использовать инстинкт размножения дегенерата. Вечером того же дня я отозвал Збышека в сторону и специальным вещательным голосом сообщил, что мне было видение с ним и его беременной женой. Это его поразило. На этом я не остановился и тем же вещательным голосом предсказал, что с благословения святого Стефания жена вот-вот благополучно разродится сыном. Ночью родился сын весом в четыре с половиной килограмма, а с утра он сходил в собор и зажег свечку во славу святого Стефания. Мальчика мы решили назвать Стефаном.

— Кто это мы?

— Я и Збышек.

— Красиво! Очень красиво! — одобрил Сеймур. — Я вот только не очень понял, как ты догадался, что у него родится сын, причем в ту же ночь?

— Ты, кажется, хотел спать? — как бы вскользь напомнил Виктор.

— Расхотелось. Серьезно, как ты догадался, что родится сын, а не дочь?

— Ничего я не знал. Конечно, я рисковал. Ну и что? Если бы я ошибся и родилась дочь, то ничего плохого не случилось бы, ну ошибся святой Стефаний, с кем не бывает. А святой не ошибся, и с тех пор я, когда захочется, использую тупость и мракобесие в благородных целях. До просьб не унижаюсь, только советую и одобряю. В конце концов, развитый интеллект выше всего,— сказал Самарсков и в его зеленых глазах на веснушчатом круглом лице засветилось самодовольство. — Чьи это слова, не помнишь?

— Само собой святого Стефания, но я с тобой согласен. Молодец! До сих пор, как вспомню, дрожь по коже пробегает. Камо грядеши, Домине! Это же еще суметь надо с такой сокрушительной силой выкрикнуть слова Бога!

— Да, это я умею, — сказал польщенный Виктор. — После того как я сыграл роль Гамлета в институтском театре, режиссер предложил мне прийти к нему для пробы в Театр имени Ермоловой, но я отказался. В артисты меня не тянет, а тогда у меня было лишь одно желание — стать врачом-психиатром. Хочешь послушать монолог Гамлета в моем исполнении?

— Как-нибудь в другой раз, — вежливо отказался Сеймур. Он подумал, что Виктор может обидеться, и решил исправить ситуацию. — Ты лучше расскажи, почему ты ушел из института? — исключительно из вежливости спросил.

— Потому что выгнали, — сказал Виктор. — А через месяц я загремел в армию рядовым строевой службы. Я бы с удовольствием рассказал, за что исключили, но не могу. Не обижайся, для откровенного разговора у нас с тобой слишком короткий стаж знакомства, а тема болезненная и щекотливая. Расскажу. В свое время.

— Какие могут быть обиды, — испытав облегчение, ответил Сеймур. — Подожду.

Рабочий день в карьере продолжался двенадцать часов, заключенные дробили в щебень камень, надзиратели — поляки и западные украинцы — наблюдали за качеством работы, а состоящая из немцев охрана следила, чтобы никто не сбежал.

Истощенные люди умирали как мухи от воспаления легких и простуды. Больные туберкулезом своей смертью не умирали, по приказу санитарного врача заболевших выводили из барака, а их постель сжигалась. Очень часто с виду здоровые, без признаков болезни люди ложились вечером спать, а утром не просыпались.

За те два года, что Сеймур и Виктор прожили в лагере, построенном в неизвестной им части Польши, время от времени случались побеги. Чаще всего заключенные пытались бежать ночью. Это были отчаянные бессмысленные попытки любой ценой вырваться на свободу, и ценой этой каждый раз становилась их жизнь. Вырваться за пределы лагеря никому не удавалось, тех, кто не погиб убегая, расстреливали утром на глазах всего лагерного населения.

Однажды в сопровождении лагерного охранника немца в карьер пришли двое военных в эсэсовской форме. После короткого разговора охранника с надзирателем Сеймуру было приказано бросить работу и идти с приезжими военными. Задавать вопросы надзирателям с дубинками было бессмысленно, кроме того, Сеймуру было безразлично, куда его поведут, лишь бы подальше от карьера. Он положил кувалду на холм из щебня, поискал глазами Виктора, но не увидел его и вместе с конвоирами прошел мимо охраны с овчарками к ожидающему их к черному автозаку без окон.

Дорога до деревни заняла минут двадцать. Машина остановилась у одноэтажного здания с вывеской на польском языке. Сеймура ввели в комнату, похожую на приемную кабинета начальника средней руки, где один из конвоиров прошел в кабинет и закрыл за собой дверь, а второй, не спуская глаз с Сеймура, сел в кресло у выхода. Автомат лежал у него на коленях. Ждать пришлось недолго.

В комнате его ждали два человека в штатской одежде. Один из них сидел за большим письменным столом, у него было интеллигентное холеное лицо, усы. На вид ему было лет сорок. Второй, переводчик с неприметной, невыразительной внешностью, был одет в двубортный темно-серый костюм. Он расположился так, чтобы одновременно видеть обоих собеседников.

Судя по их городскому лоску и двум нераспакованным кожаным чемоданам на полу можно было предположить, что прибыли они сюда недавно и, скорее всего, на короткое время.

Сеймур даже отдаленно не подозревал, зачем его позвали, но ничего хорошего от встречи он не ждал.

Оба они приветливо поздоровались с Сеймуром и пригласили сесть в кресло у стола. Сеймур запомнил имена новых знакомых. Старшего звали Иоганн Шведенклей, младшего Николай Астапчук. Конвоир по знаку переводчика Астапчука вышел, а вместо него пришла молодая официантка, которая принесла три чашки кофе. Кофе был сплошь цикорным, но Сеймур выпил его с наслаждением, напиток показался ему очень вкусным. В плену Сеймур научился с первого взгляда со стопроцентной точностью определять вероятность очередного избиения. Здесь он понял, что бить не будут, и позволил себе поэтому расслабиться, удобно усевшись в темно-бордовом кожаном кресле.

Шведенклей, обращаясь к Сеймуру, не отводил от него цепкого взгляда. Говорил он медленно, так, чтобы за ним поспевал переводчик.

Сеймур узнал много интересного. Шведенклей объяснил ему, что война с Советским Союзом — это великая миссия, которую добровольно взяла на себя Германия. Цель этой трудной миссии — освобождение народов, порабощенных Россией. Через полгода на территории союзных республик будет установлен новый порядок, они станут независимыми государствами, а все народы, населяющие их, получат право самостоятельно распоряжаться своей экономикой и природными ресурсами, так как будут навсегда избавлены от грабительского диктата России. В качестве наглядного примера Шведенклей привел Азербайджан, чьи несметные богатства, получаемые от нефти, на протяжении многих лет присваиваются русскими. Шведенклей подкреплял свое повествование цифрами и фактами, и перед внутренним взором Сеймура все отчетливее и ярче возникала заманчивая картина независимого Азербайджана. Сеймур слушал внимательно и одновременно пытался догадаться,

зачем Шведенклею понадобилось тратить свое красноречие и время на бесполезного во всех отношениях военнопленного.

Казалось, Шведенклей разгадал его мысли. Он сказал, что война закончится весной будущего года. Поэтому командование германской армии уже приступило к формированию национальных дивизий, которым, совместно с армией-победительницей, предстоит участвовать в освобождении своих народов. Для этих дивизий тщательно отбираются из массы военнопленных перспективные люди, которые после окончания войны могли бы участвовать в управлении своей страной. Шведенклей сказал, что ему поручено предложить бывшему советскому офицеру Сеймуру Рафибейли принять участие в освобождении своего народа. Он ткнул пальцем в папку с личным делом Сеймура и сказал, что ему известно о том, что Сеймур принадлежит к известной семье, которая пользуется в Азербайджане почетом и уважением. Известно также, что имущество его деда, нефтепромышленника и землевладельца, было присвоено большевиками. Естественно, после провозглашения независимости конфискованное имущество будет возвращено семье.

Азербайджанская дивизия, по словам Шведенклея, была сформирована почти полностью. Сеймуру будет предоставлена возможность войти в командный состав дивизии, которой через полгода предстоит вместе с германской армией войти в Баку и установить в Азербайджане новый порядок.

Шведенклей сообщил Сеймуру, что все без исключения пленные офицеры, которым было сделано это предложение, восприняли его как честь и поклялись оправдать доверие великой Германии.

Сеймур ответил не сразу, потому что совсем некстати в его голове калейдоскопом прошли отрывки увиденного недавно — вначале он увидел голову Глеба, превратившуюся в розовое месиво из крови и мозга. На смену этому явился умирающий на земле Зафар, до которого он не добежал. Он увидел солдат, которые позировали стоя над неостывшими трупами красноармейцев. И еще по необъяснимой причуде сознания перед его глазами промелькнули праздничные проводы уходящих на фронт призывников в театре оперы и балета.

В заключение Шведенклей сказал, что офицеры национальной дивизии будут получать такую же зарплату и пользоваться теми же льготами, как равные им по рангу офицеры германской армии. Наступило молчание. Тем временем он перебрал несколько вариантов ответа и ни один из них ему не понравился. Он подумал, что ему самому показалось бы странным, если он, Сеймур, взрослый человек, которого на протяжении нескончаемых двух лет представители «освободительной армии» избивали, пинали ногами и называли красным ублюдком, примет сделанное ему предложение. Не стал говорить и о лютой ненависти, которую он испытывает днем и ночью к фашистской армии и к ее миссии, в чем бы она ни состояла.

Николай Астапчук придвинул к Сеймуру ручку с чернильницей и лист с текстом заявления о желании вступить в азербайджанскую дивизию и показал, где подписаться.

Сеймур машинально взял у него ручку, но в чернильницу ее не макнул.

— Я очень благодарен за ваше предложение, но я надеюсь, вы согласитесь с тем, что я не могу его принять, — медленно произнося каждое слово, сказал Сеймур. — Видите ли, я в присутствии двух тысяч солдат давал присягу на верность своей стране. Я не могу ей изменить. Это невозможно! По моему убеждению, офицер, нарушивший присягу, обязан застрелиться, — последнее предложение показалось ему наиболее убедительным.

Лицо Шведенклея оставалось невозмутимым.

— Я считаю, что вы приняли неправильное решение, — равнодушно сказал он. — Но мы никого не уговариваем. О нашем разговоре забудьте. Обращаться к вам в дальнейшем мы не будем.

В передней переводчик Астапчук что-то сказал конвоиру, и тот, кивнув головой, вышел на улицу. Сеймуру это не понравилось. Переводчик сам проводил его до выхода.

— Я вам все-таки советую принять наше предложение. В силу обстоятельств его нельзя будет повторить даже при желании.— сказал переводчик.

— Да, конечно, я понимаю, но, к сожалению, согласиться не могу, — с грустным видом сказал Сеймур, думая о том, что его ждет на улице.

Ничего не произошло. В том же автозаке его отвезли в лагерь. Там солдаты сдали его охране, после чего втолкнули в барак и захлопнули за ним дверь.

Витек сидел на нарах, с мрачным видом держась за окровавленное ухо. Увидев Сеймура, он изобразил удивление.

— Извините, вы кто?

— Не узнал? Братец Кролик, пришел навестить братца Опоссума. Проходил мимо, постучался. Что с ухом?

— Побочный эффект... Дубинкой задело. Спросил Казимира, куда ты исчез, а он мне сказал «пся крев!» и дубинкой дал два раза по спине, теперь не могу поднять руку. Слушай, говорю серьезно, я хочу убить Казимира.

— Хоти, хоти. Ты убьешь одного дегенерата, а другие дегенераты через десять минут повесят тебя. Это невыгодно.

— Кому невыгодно?

— Мне невыгодно. Когда отсюда выберемся, не знаю как, но выберемся, вот тогда мы с ними посчитаемся.

Витек скривился от боли, он смеялся.

— Слушать приятно!... Лучше расскажи, где тебя носило?

— Обычное дело, позвали на чашку кофе.

— С одной стороны, ты поступил глупо, как последний, ну скажем несмышленыш, а с другой — абсолютно правильно, то есть очень мудро и дальновидно, — сказал Витек, выслушав рассказ Сеймура. — Если бы ты согласился пойти к ним на службу, то со временем у тебя появился бы шанс сбежать. Теперь ты как был, так и остался жалким остбайтером, а мог бы стать процветающим предателем Родины. Это с одной стороны. А с другой, вернувшись сюда, ты не дашь умереть в одиночестве своему несчастному другу Виктору Самарскову, который день и ночь мечтает хотя бы перед смертью съесть опоссума в жареном или вареном виде. А чего хмуришься?

— Вспоминаю одну фразу переводчика Астапчука. На прощанье он сказал, что в силу обстоятельств меня больше не позовут. Я почувствовал, что сказано это неспроста. Узнать бы, что это за обстоятельства ожидаются.

— Обстоятельства налицо. Котлован вырыли, фундамент забетонировали!.. Товарищи фашисты перестреляют всех к чертовой бабушке, вот и все обстоятельства!

Виктор замолчал, когда перед ними появился взбешенный Збышек. В правой руке он держал дубинку, а левой размахивал листом бумаги.

— Что это? — он сунул в лицо Виктору лист бумаги.

— Не знаю, я по-немецки не понимаю.

— Это разрешение на ввоз в лагерь заключенного. — Збышек по слогам прочитал имя заключенного. — Сей-мур Ра-фи-бей-ли. Получается он не Толик? Значит, ты меня обманул?

— Пан Збышек зря волнуется, — сладчайшим голосом сказал Виктор, — это невозможно, обмануть пана Збышека.

— Разрешение на выезд и въезд в лагерь выдают немцы. Был бы он Толик, они бы написали Толик. Немцы никогда не ошибаются!

— Никогда не ошибается только папа римский! Будь папа римский здесь в нашем бараке, он объяснил бы пану Збышеку, что одни имена иногда заменяются другими.

— Здесь? Его святейшество... — сбитый с толку Збышек торопливо перекрестился.

Виктор явно наслаждался произведенным эффектом:

— Напомните, как зовут его святейшество? — попросил он Збышека.

— Пий двенадцатый, храни его Бог!

— А ведь у папы римского есть и второе имя, то есть первое?

Настоящее имя папы римского истово верующий католик Збышек вспомнил не сразу.

— Пинелли,— запинаясь, сказал он.

— Не совсем так, но в целом пан Збышек прав. Его звали Джованни Пачелли. Нам это объяснили в институте безбожники из политпросвета, и я запомнил. Убедились, у его святейшества папы римского два имени.

Если ворвавшийся минуту назад в барак надзиратель Збышек был похож на

разъяренного быка, то теперь после разговора о папе римском он больше напоминал добродушного вола, покорно поедающего отруби.

— Пан Збышек когда-нибудь слышал имя — Ленин?!

— Кто ж его не слышал? Имя посланника Сатаны!

— У пана Збышека сведения в целом почти верные, но товарищ Ленин признан также вождем всемирного пролетариата. На Волге среди татар он жил под именем Ульянов, а как переехал в Москву, сразу стал Лениным. Все из-за того, что СССР состоит из республик. Пану Збышеку трудно представить себе, какие строгие законы в республиках. Вот я, например, Самарсков, если переехал бы на Украину, то меня переименовали бы там в украинца Самаренко. Толян в Калуге был Толяном, а в Азербайджане его сразу же переименовали в азербайджанца Сеймура Рафибейли. В Польше, наверное, не так?

— Не так. Божьей милостью я и в Кракове Збышек, и в Варшаве.

Оба они вздохнули с облегчением лишь после ухода надзирателя.

— Ты заметил, всем заключенным для удобства дают прозвища? — сказал Виктор. — Ты не против, если я буду тебя называть Сейка? Правда, здорово. Звучит как выстрел. Сейка! Ты тоже можешь называть меня как хочешь.

— Я вспомнил Виктора Волкова, отличный парень, его в школе звали Витносным.

— Витносный мне не нравится, — наотрез отказался Виктор от нового прозвища.

— Ему тоже не нравилось. Все. Теперь ты Витек.

Витек поморщился, но возражать не стал. Так и решили.

Спустя месяц, когда они работали на карьере, к ним подошел надсмотрщик Казимир и повел их по направлению к лагерю.

— Будь человеком, не дерись, — издалека начал Виктор. — Хочу тебя спросить.

— Будь человеком! Пся крев! Я и так человек, — мирно прорычал Казимир, это могло означать, что сегодня он настроен на конструктивный разговор. — Чего тебе?

— Только узнать, куда мы идем?

— Вас вызвал пан Збышек.

— Что-то случилось?

Казимир насмешливо оглядел Виктора.

— А сам догадаться не можешь? Ты же все наперед знаешь?

— Все не все, но про нас троих кое-что сказать могу.

— Ну?

— Внимательно посмотри на меня. Видишь? Знай, я умру в ноябре от воспаления легких, Толян проживет дольше, дотянет до будущего года и умрет в страшных муках от заражения крови, — вещательным, с легким подвывом в голосе сказал Виктор, глядя на ненавистную казимирову дубинку. — А тебя в ноябре заберут на фронт. Именно в начале ноября.

Побледневший надзиратель шел рядом.

— Наверно, заберут, если лагерь закрывается, — вслух подумал Казимир.— Меня убьют там?

— Ночью я все разузнаю, а утром расскажу, — пообещал Виктор нормальным голосом. — Ты только скажи, когда лагерь закроют.

— Сказали, что скоро. Только о фронте разговора не было. Смотри, как все обернулось, — надзиратель заметно сник и выглядел крайне озабоченным.

Ничего нового о своей фронтовой судьбе Казимиру узнать не удалось, потому что утро следующего дня Виктор и Сеймур встретили в товарном вагоне, который вез их во Францию, на германский военный завод. Збышек под большим секретом сказал Виктору, что в связи с нехваткой продовольствия в Германии и на фронте их лагерь закрывается, а сорок три человека, в том числе Виктор и Сеймур направляются туда, где нужны дополнительные трудовые ресурсы. О том, что будет с остальными обитателями лагеря, Збышек ничего не знал. На прощанье Збышек в виде подарка дал Виктору несколько крупных картофелин, два пайковых куска сала и полкаравая хлеба. При этом он, заглядывая Виктору в глаза, попросил при возможности замолвить за него словечко перед святым Стефанием. О дальнейшем трудоустройстве пана Збышека немцы пока не говорили, поэтому будущее представлялось ему неясным и тревожным.

В тот же день перед отъездом заключенным выдали ботинки, изготовленные из эрзац-кожи.

Ехали в товарном вагоне, с оборудованными внутри двухэтажными нарами. Решетчатая перегородка отделяла небольшое караульное помещение с четырьмя охранниками от остальной части вагона. Пассажирам — сорока трем заключенным — мест хватило на всех. Кроме Сеймура и Виктора, ни одного обитателя четвертого барака в вагоне не оказалось.

Подарок Збышека — три свертка с едой — были завернуты в газетные листы на немецком языке. Немецкий Сеймуру довелось изучать на протяжении двух недель во втором классе, прежде чем его перевели из общеобразовательной сто семьдесят первой в двадцать восьмую экспериментальную школу в районе проживания, в которой вместо немецкого его стали обучать итальянскому и латинскому языкам.

Надпись на немецком — Анна унд Марта баден — была сделана под картинкой с двумя купающимися девочками в бассейне. Эта единственная немецкая фраза и картинка из учебника почему-то навсегда застряли в его памяти.

Полосы армейской газеты были заполнены текстом и фотоснимками, сделанными в Берлине, Риме, Париже, Минске, Киеве. Фюрер, военные парады, танки, авиация... Сеймуру часто бывало грустно, но такую пронзительную и безысходную тоску он испытал только сейчас, когда явственно почувствовал, что этот новый порядок со свастикой, уничтоживший мир, в котором он был так счастлив, останется с ним навсегда.

— Что случилось? — заметив изменившееся лицо Сеймура, спросил Виктор.

— Ты понял? Это навсегда.

— Не навсегда. Я над этим беспрерывно думаю. Вспомни историю. Человечество тысячелетиями благополучно переваривало любые вредные продукты. Каждый раз оставался неприятный запах, но со временем он исчезал.

— Вот именно, со временем, — усмешка получилась безрадостная. — А что если Германия временно будет править еще лет сорок-пятьдесят?

— И как один умрем в борьбе за это! — пропел Витек. — Прекрати. Бессмысленно переживать о том, что невозможно исправить.

— Значит, надо перестать думать вообще, — сказал Сеймур.

— Все впереди. Надо ждать и надеяться! Подумай, воспоминания — самая ценная собственность человека. Сиди и вспоминай на здоровье что-нибудь приятное из прошлой жизни.

— Если нет будущего, только и остается, что перед смертью вспоминать прошлое, — согласился впавший в мрак Сеймур.

— За что?! — вещательным голосом вопросил Витек, обращаясь к вагонному потолку, — за что ты караешь меня руками друга?!

— Утром встречался со святым Стефанием? — по знакомым интонациям определил Сеймур.

— А не осталось теперь у меня никого, кроме святого Стефания. Я, Сеймур, ведь только на тебя и рассчитывал. Это ты мне обещал, «выберемся отсюда и тогда посчитаемся с ними», — голосом Сеймура сказал Витек. — Я тебе верил, а ты на моих глазах только что сбежал в кусты. Вот так вот!

Сеймур не смог сдержать улыбку, глядя, как, сидя на нарах, Витек изображает его бегство в кусты.

— Ладно. Из кустов ты меня только что выманил, и я туда не вернусь

— Нервишки у меня — одни лохмотья, я ведь могу и с ума сойти! — серьезным тоном сказал Витек. — Имей в виду, это не шутки. В последние годы я испытал несколько серьезных потрясений. Ты знаешь, за что меня исключили из института? Так вот, формально меня исключили за аморальное поведение. Эта подлая лживая формулировка занесена в мое личное дело. А на самом деле они цинично растоптали чистую любовь двух людей. Один из них я, готовый ради нашей любви, не задумываясь, отдать жизнь, и она — самая красивая женщина на свете по имени Евгения Максимовна.

— Я правильно понял? — спросил несколько сбитый с толку Сеймур. — Только что любимую женщину ты назвал по имени и отчеству?

— Это так, по привычке, — смутился Виктор. — Дело в том, что Женя — преподавательница биологии. Я полюбил ее с первого взгляда. И не один я, ею восхищались

все студенты нашего института. Мне не могли этого простить, и не простили. Я и она. Студент и преподавательница. Весь месяц ректор и партком занимались нашим аморальным поведением.

— Ты неправильно себя повел, — сказал Сеймур. — Такие вещи надо держать в секрете от коллектива. Например, я на втором курсе месяца полтора встречался с преподавательницей политэкономии. До сих пор храню в душе это воспоминание под номером пять по степени приятности. Если всем не рассказывать, ничего аморального в этом нет.

— Мы говорим о разных вещах, — объяснил Виктор. — Пойми, у тебя с ней был краткосрочный роман, назовем это приятной легкой связью. А я полюбил беззаветно и навсегда. Речь идет о первой и последней любви.

— А она?

— Она меня очень любила. Пойми, все происходило на грани жизни и смерти!

— Ты что-то недоговариваешь или я ничего не понимаю, — признался Сеймур. — Ты любил ее, она любила тебя, что ж в этом аморального?

— У нее муж страшный негодяй, — преодолев внутреннее сопротивление, сообщил Виктор.

— Ага, значит, был и муж... Наверно, ему не нравилось, что у жены появился юный возлюбленный, который моложе ее всего на...

— На семь лет, — сказал Виктор. — Зря я тебе рассказал.

— Не зря. Ты облегчил душу, а это немало.

— Ее муж — заведующий кафедрой психиатрии. После того как он застал нас у себя дома, он устроил ей бурный скандал, причем только ей, как будто я пустое место, затем пошел к ректору и потребовал моего исключения.

— Значит, этот склочник побежал жаловаться ректору?

— Тут же. Они давние друзья-приятели, вместе учились.

— И он, конечно, встал на его сторону. А она ушла от мужа?

— Нет, до сих пор мучается с ним. Вдобавок ей дали выговор по партийной линии.

— Бедняжка. Ты прав, этот муж действительно мерзкий тип! На его месте интеллигентный приличный человек сразу развелся бы с женой, чтобы ты мог на ней жениться, оставил вам квартиру, а тебе создал бы на своей кафедре условия для работы над кандидатской диссертацией. И вместе с тобой встречал каждый Новый год.

— Ты все-таки циник, ничего святого. Наговорил кучу гадостей. И нечего подмигивать, — сердито сказал Виктор. Вид у него был обиженный, но на последних словах он не удержался и хмыкнул.

Поезд шел медленно. Дважды в день в дверь снаружи стучались, охранники изнутри отпирали замок и, откатив дверь, забирали у солдат коробки с продовольствием и котел с горячей водой. Рацион был похож на лагерный, только вместо сала здесь выдавали маргарин и вместе с двумя кусочками сахара в каждую ладонь высыпали чайную ложку чая. Что ели конвоиры, остальные пассажиры не знали. После еды обитатели вагона замолкали, они наслаждались музыкой. Один из конвоиров по имени Максимилиан играл на большой, размером сантиметров двадцать пять, губной гармошке с клавиатурой и меняющим регистр рычажком сбоку. Играл замечательно, закрыв от удовольствия глаза. Принимал он и заказы трех боевых соратников конвоиров. Прежде чем приступить к исполнению, он каждый раз с очень серьезным видом, уточнив заказ, настраивал инструмент и начинал в очередной раз играть какую-нибудь уже всем знакомую мелодию вроде «Роземунды», «Брызги шампанского» или «Дождь идет». Заключенные наслаждались и в паузах награждали артиста дружными аплодисментами.

Взрыв оглушил всех, судя по тому, как подпрыгнувший вагон отшвырнуло в сторону, бомба попала в поезд. За первой бомбой последовали другие. Самолетов из-за взрывов слышно не было. Взрывы прекратились так же внезапно, как начались. Конвоиры, поднявшись с пола, побежали к двери. Поезд стоял на полустанке, окруженном лесом. Стреляли со всех сторон. Солдаты обороняли поезд от неизвестных людей, вооруженных автоматами. Конвоиры пытались отогнать заключенных в глубь вагона. Стоящий у выхода Максимилиан обернулся и поверх голов выпустил автоматную очередь, отчего передняя шеренга в панике опрокинулась. Несколько человек

упали под ноги напирающим сзади. В следующее мгновение те, кто пытался остановить заключенных, были выдавлены людской массой из вагона. Конвоиры в военной форме были убиты прицельным огнем, как только оказались на земле.

— Максимилиана застрелили, музыканта? Видел? — сказал Витек, пробегая мимо лежащего ничком конвоира. Из отворота его мундира выглядывала губная гармошка.

— Дохлого фашиста видел с гармошкой и автоматом.

— Фи! Грубиян! — переведя дыхание, восхищенным тоном возмутился Витек. — Ничего святого!

Недавние попутчики, прижавшись спинами к вагону, смотрели им вслед.

— Ты видел? Чего-то ждут? — забежав за полуразрушенную будку, удивился Виктор.

— Вернемся, спросим? — не останавливаясь, предложил Сеймур.

— Береги дыхание. Беги!

Они бежали долго. Звуки перестрелки до них уже не доносились, но они не останавливались. И только вконец обессилев, упали на пожелтевшую осеннюю траву.

— Пошли дальше, здесь оставаться нельзя, — отдышавшись сказал Сеймур. — Пошли!

— Куда?

— Лишь бы подальше от проклятого вагона. Нас будут искать.

— Я заметил, что из двадцати вагонов поезда лишь наш был товарным. Похоже, это был воинский состав. Интересно, как это нашим бомбардировщикам удалось добраться в такую даль.

— Ты думаешь наши? — спросил Сеймур.

— Конечно. А кто еще?

День был пасмурный, им скоро стало холодно. Даже им, привыкшим голодать, очень хотелось есть. Теперь они не бежали, но шли не останавливаясь. Витек как всегда говорил без умолку.

— Тебе есть хочется?

— Еще как, только думать об этом не хочется.

— А думать надо. Представь себе: нам удалось сбежать, нас еще не убили, а теперь мы идем по лесу. Представил? И вдруг в дополнение к этому еще одно чудо, нам навстречу выходит опоссум, и мы на прутьях жарим из него вкуснейший шашлык, — размечтался Виктор. — Ты меня слышишь?

— По-моему, во Франции опоссумы не водятся, — сказал Сеймур.

— Не веришь ты в чудеса, — вздохнул Витек. — Ну и что? Теперь здесь и фашисты водятся, а раньше не было... Ладно, обойдемся без опоссума. Зато наверняка кролики водятся. Хочу шашлык из кролика.

— Кролика придется зарезать. Сумеешь?

— И не надейся. Ни разу в жизни ради еды я не убил ни одного млекопитающего. Это мой жизненный принцип.

— Значит, и кролик отпадает.

— Я где-то читал, что во Франции иногда кролики и мясники гуляют в лесу парами,— мечтательным голосом сказал Витек.

— Это ты от голода! Лучше береги силы, еще пригодятся.

— Силы? Да я переполнен энергией! Хочешь, на этом месте, не останавливаясь, спою каватину Фигаро?

— Нет, нет! Только не это! — взмолился Сеймур. — Сейчас октябрь, сезон охоты, тут же на твое пение набегут охотники на кабанов.

— Опомнись, человече! Идет война, какие к черту охотники? Сейка! — во весь голос закричал Витек. — Ты еще не понял. Мы на свободе, мы во Франции! Мы дикие кабаны! — от радости он плакал.

До сих пор им никто не встретился. Во второй половине дня стало очень холодно. Левую ногу Сеймура сильно натерло, и он сильно прихрамывал. Витек нашел в траве ветку и, отломав верхушку, превратил ее в толстую узловатую палку.

— Теперь ты похож на пилигрима с посохом, — сказал Витек.

— Если не встретим людей, то до утра не доживем, это я говорю тебе как опытный пилигрим, — усмехнулся Сеймур.

Еще километров пять они прошли молча. Первым заговорил Витек.

Ты совсем-совсем не веришь в чудеса? — ехидным голосом спросил он.

В наступивших сумерках впереди между деревьями стоял приземистый дом под старой побуревшей от времени черепицей и ждал их прихода. На стук в доме не отозвались, но дверь открылась при легком нажиме. Кажется, это действительно был их день.

Изнутри дом выглядел таким же убогим как снаружи. Судя по специфическому нежилому запаху, хозяева покинули его давно. Как и следовало ожидать, на некрашеных полках небольшого шкафчика друзья обнаружили лишь несколько кастрюль и чайник. Посуда была чистая, видимо, перед тем как покинуть дом, хозяева успели прибраться. Закрыть дверцы шкафа они не успели, потому что услышали за спиной негромкий голос, который, судя по интонации, сказал им что-то неприятное. Обернувшись, они увидели на расстоянии нескольких шагов двух человек в гражданской одежде с пистолетами в руках. Пистолеты были направлены на них, обладатель пистолета повторил те же слова, и Сеймур с Виктором, сразу же правильно истолковав их значение, подняли кверху руки.

У одного из них, того, что молчал, из-за плеч высовывался объемистый рюкзак, второй же, если не считать пистолета, пришел налегке, у него было крупное значительное лицо со шрамом через всю правую щеку. В нем угадывался человек, привыкший приказывать.

— Кажется это не немцы, а французы, — сказал Виктор. Они показали незнакомцам запястья правой руки с бирками. Судя по всему, бирки с лагерными номерами впечатления не произвели, взгляды пришельцев оставались настороженными.

— Не немцы, но тоже с пистолетами, — сказал Сеймур. Надеясь на сходство языков, он обратился к пришедшим на итальянском. Тщательно и медленно выговаривая слова и невольно дополняя речь жестами, он попытался объяснить, что они советские офицеры, военнопленные, три дня назад бежали из немецкого лагеря. Кое-что из сказанного Сеймуром французы, кажется, все-таки поняли. Во всяком случае, пистолеты были спрятаны. Тот, с рюкзаком, снял рюкзак и положил на стол. Вынул из него два завернутых в газету бутерброда с сыром и протянул Сеймуру с Виктором. Есть пришлось стоя, потому что сесть было не на что. Французы, в буквальном смысле слова вытаращив глаза от изумления, смотрели, с какой поразительной скоростью два скелетообразных существа в лохмотьях, ни разу не подавившись, в два приема проглотили по увесистому бутерброду.

Тем временем французы, поглядывая на своих новых знакомых, негромко, почти шепотом о чем-то переговаривались.

— До чего вкусно, — сказал Виктор. — Конечно, это не фашисты. Ты спроси у того, со шрамом, как сыр называется.

— Чуть позже, — пообещал Сеймур. — Мне кажется, они решают, что с нами делать.

— Мы не в лагере. Кто это может без нас решать?

— Те, у кого пистолеты, — усмехнулся Сеймур.

У Виктора по этому поводу, похоже, было свое мнение, но прежде чем он успел его высказать, в открытую дверь вошел немецкий офицер в эсэсовской форме в сопровождении двух солдат с автоматами. По его команде все прежние обитатели комнаты подняли руки.

Взгляд офицера ненадолго задержался на Викторе и Сеймуре, он оглядел беглецов равнодушно, обычно люди так смотрят на привычные неодушевленные предметы. Его интерес вызвали французы. Он смотрел на них тяжелым настороженным взглядом. Он дважды что-то им приказал, но ни один из французов на это не прореагировал. Они молчали и смотрели на немцев без всякого удовольствия, скорее с досадой на себя, чем с неприязнью к немцам. Казалось, им было неприятно, что немцы так глупо поймали их врасплох. Офицер вынул из кобуры пистолет, спустил предохранитель и с расстояния шага направил дуло в лоб француза со шрамом. Неизвестно, что он спросил, но, судя по интонации, спрашивал он в последний раз.

И тут произошло необъяснимое. Заговорил Сеймур. Он вдруг громко и раздельно произнес единственную известную ему фразу на немецком языке, которую он запомнил во втором классе.

— Анна унд Марта баден! — пристально глядя в глаза офицера, сказал Сеймур. Неожиданное сообщение на короткий миг отвлекло эсэсовца от текущих событий.

— Где?! — спросил он Сеймура. То есть вопрос он задал по немецки — «Во?», но все присутствующие поняли его правильно.

Сеймур с готовностью показал левой рукой на дверь. Дальнейшее произошло со скоростью, значительно превышающей возможности истощенного длительным голоданием человеческого мозга.

В то же мгновение, когда любознательный офицер и два солдата повернулись посмотреть на купальщиц, а дуло пистолета отклонилось от переносицы француза, Сеймур что есть сил ударил офицера палкой по голове. Тот рухнул как подкошенный, а оба француза, выхватив пистолеты, открыли стрельбу в упор по солдатам.

Не издав ни звука, немцы, дергаясь в конвульсиях, лежали на полу. Помещение заполнил тошнотворный запах пороха и крови.

— Что ты ему сказал?! — закричал ошарашенный Виктор.

— Все, что знал!

Виктор сосредоточенно разглядывал тела немцев. Одного он даже перевернул на спину. Сеймур не выдержал:

— Доктор хочет оказать первую помощь захворавшим эсэсовцам?

— Ты посмотри, — сказал Виктор, — в них стреляли из автоматических пистолетов. Скорострельных. Просто мечта. На одном немце десять, на другом — одиннадцать отверстий. И все это меньше чем за секунду!

— Тридцать четыре миллисекунды. Включая удар палкой. Я следил по часам, — подтвердил Сеймур.

— Очень хорошие часы. Кстати, их можно продать или обменять на сыр или, например, на половину жареной курицы, — мечтательным тоном сказал Виктор.

— И не надейся. Часы не продаются.

Разговор о несуществующих часах прервали французы.

— Клод,— протянув руку, сказал тот, что со шрамом. — Клод Вернье.

Второго звали Бастиан Жанно.

Жанно спустился в подвал и, вернувшись с двумя электрическими фонариками, отдал их новым знакомым.

— Надо забрать с собой автоматы, — сказал Виктор. — Мне кажется, никто возражать не будет.

Затем вчетвером они выволокли из дома трупы. Убитых немцев оставили под открытым небом в десятке метров от дома. В полном безмолвии, ни разу не сбившись с пути, они вышли через полчаса на проселочную дорогу и здесь, глянув на часы, остановились. Появившаяся вскоре машина остановилась, после того как ей посветили фонариком.

Вскоре в свете автомобильных фар появилась улица, и машина остановилась у двухэтажного дома с тускло светящимися окнами.

Бывших заключенных привели в большую гостиную с дорогой мебелью и коврами и усадили на диван, оставили их одних.

— Автоматы не отобрали, это хороший признак, — сказал Витек. — Интересно, кто они такие. На бандитов не похожи.

— Во-первых, их хотели убить немцы, значит, они хорошие люди. Во-вторых, они сами застрелили немцев, а это означает, что это очень хорошие люди. Даже если они бандиты.

— У них была рация, значит, скорее всего они разведчики, — сказал Витек. Развить догадку он не успел, потому что в комнату вместе Клодом Вернье вошли несколько человек. На первый взгляд они были разного возраста, одетые в блузы свободного покроя и спортивные костюмы, они напоминали людей, вернувшихся с загородной прогулки. Все они сели за большой стол и с откровенным любопытством уставились на Сеймура с Витьком. Жизнь стала еще более привлекательной, когда в сопровождении Жанно пришел переводчик по имени Михаил Астахов. Как выяснилось позже, французский гражданин Астахов был сыном полковника Астахова, осевшего во Франции после первой волны русской эмиграции 1917 года. Это был высокий молодой человек с учтивыми манерами и правильной речью, но при всех этих достоинствах разговаривал поначалу он со своими бывшими соотечественниками с легким оттенком высокомерия.

Клод Вернье подробно рассказал о происшествии в лесном домике, куда он и Жанно зашли спрятать рацию. Раздался дружный хохот, когда, выкрикнув «Анна унд

Марта», он мимикой и жестом показал, как немецкий офицер прореагировал на слова Сеймура. Он сказал, что Сеймур и Витек спасли его и Жанно от неминуемой смерти.

Из дальнейшего стало понятно, что все участники разговора принимали участие в нападении на поезд.

Оказывается, это очень приятное ощущение — сидеть в комнате вместе с другими нормальными людьми и разговаривать с ними так, как это обычно происходит между нормальными свободными людьми. Впервые за мучительно долгое время они испытали ощущение, от которого успели давно отвыкнуть.

Уходя, каждый из гостей пожал им руки и пожелал, судя по интонации и улыбке, что-то хорошее. Последними ушли Клод и Жанно. Клод сказал, им всем надо хорошо отдохнуть и привести себя в порядок. По его словам, остаться до утра с советскими офицерами изъявил желание Михаил Астахов. Видимо, на Астахова произвел впечатление рассказ Клода, или ему понравились ребята, но как бы то ни было, уважение читалось в его теплом, доброжелательном взгляде.

Михаил рассказал им, что утренней наземной операцией руководил Клод Вернье, которого все называли не иначе как командор. С воздуха военный эшелон атаковала британская авиация, вызванная им по радио. В городе Лиме шли бои между участниками Сопротивления и солдатами местного горизонта, и немцам было необходимо срочно доставить в город военную технику. В результате операции ни один танк или бронетранспортер со свастикой до Лима не доехал.

Первые несколько дней они привыкали к тому, что они люди. Оказалось, что это необычное, можно сказать, изысканное ощущение, проснувшись утром сразу почувствовать себя человеком, а не презираемым существом, которого могут безнаказанно пнуть ногой или оскорбить убогие представители самозваного «нового порядка». Оказалось, что утреннее бритье, душ и скромный завтрак с самообслуживанием — это роскошь и наслаждение, доступные лишь свободным людям. В кабинете Клода на стенах висели написанные от руки объявления, вырезки из газет, фотографии и несколько портретов. На одном из них был изображен человек с надменным лицом в военном мундире в орденах, на нем из угла в угол черным грифелем крупными неровными буквами была сделана надпись — предатель! Это был портрет маршала Петена, подписавшего в 1940 году в Компьене капитуляцию Франции. Клод сказал, что немцы потребовали от Петена подписать протокол в том же вагоне, где в 1918 году капитулировала Германия. Трус и предатель, Петен согласился на капитуляцию, хотя страна, имея рядом такого союзника, как Великобритания, обладала всеми ресурсами для того, чтобы сражаться и дальше. На трех других портретах были изображены де Голль, Сталин и Черчилль. Переводчик Михаил сказал, что Клод Вернье, как и все патриоты Франции, считает, что сражения под Курском и Сталинградом сломали военную машину Германии и обрекли ее на поражение. А великий полководец Сталин, по их убеждению, является спасителем Европы от фашистского нашествия.

После того как Петен в 1940-м подписал капитуляцию Франции, в стране установился профашистский режим Виши. Великобритания осталась один на один с Германией. Англия была в тот момент несоизмеримо слабее Германии, которая обладала людскими и промышленными резервами всех покоренных ею европейских стран. Казалось, Великобритании не на кого было рассчитывать, она была бессильна перед военной авиацией Германии. Бомбардировщики со свастикой наносили безответные удары по городам и военным объектам днем и ночью. Черчилль сумел объединить нацию. В тяжелейших условиях англичанам удалось увеличить производство самолетов. Их ученые создали присадку, которая при добавлении в бензин увеличивала скорость самолетов, и теперь английские истребители летали на пятьдесят километров в час быстрее немецких. Воодушевленные успехами Советской армии английские бомбардировщики начали совершать рейды в Германию. К 1943 году с господством Германии в воздухе было покончено.

Благодаря титаническим усилиям Черчилля разрозненные боевые отряды французских патриотов начали объединяться в общенациональное движение Сопротивления «маки». На руководство Сопротивлением претендовали известные военные деятели, но выбор Уинстона Черчилля пал на генерала Шарля де Голля. В июне 1940 года британское правительство признает бригадного генерала де Голля в качестве главы

Свободной Франции. Первые два года он руководит движением Сопротивления из Лондона по радио по одному из каналов Би-би-си.

Одним из самых лучших помощников де Голля во Франции стал Клод Вернье. Он, как и де Голль, считал Францию униженной, ненавидел Петена и мечтал отомстить немцам. У них было много общего, и главное — властный характер, мгновенная реакция, позволяющая быстро и безошибочно принимать решения. Клод, как де Голль, окончил военное училище Сен-Сир, на 14 лет позже его, в 1936 году. На территории Франции было создано несколько организованных центров Сопротивления, и одним из них руководил полковник Клод Вернье.

Об отряде Клода Вернье ходили легенды. Сам Клод лично принимал участие в самых дерзких операциях против немецкой армии. За голову Клода Вернье германское командование назначило награду в 20 тысяч марок. И рядом с ним неизменно принимали участие в боях Сеймур и Виктор. Бесстрашие этих людей вызывало уважение товарищей. Сам Клод скромно объяснял безрассудную отвагу ненавистью, которую он и его друзья испытывают к немцам. Он утверждал, что при равной силе противников выигрывает тот, кто одержим ненавистью и отвращеньем к врагу. В рядах «Сражающейся Франции» были люди разных взглядов, от католиков и эмигрантов до коммунистов, но все они доверяли командору Клоду и беспрекословно выполняли его приказы.

В коротких перерывах между вылазками против немецких гарнизонов Сеймур и Виктор учили французский язык. Их учитель Самуэль Курбе, преподаватель школы в Альби, был приглашен для них Клодом Вернье. Самуэль оказался добросовестным педагогом и очень сердился, когда его ученики пропускали занятия. Виктору рвение Самуэля перестало казаться чрезмерным, когда Микаил показал им бухгалтерский отчет, из которого явствовало, что за обучение двух великовозрастных учеников из бюджета отряда ему ежемесячно выплачивается жалованье, в два раза превышающее зарплату школьного преподавателя.

Наступил день, который с нетерпеньем ждала Франция. Немецкие войска были разгромлены, а многочисленные поименно названные коллаборационисты были публично заклеймены позором и в соответствии с действующими законами подвергнуты наказаниям, тяжесть которых определялась судом присяжных. Маршал Петен был приговорен за предательство к смертной казни, но Шарль де Голль, избранный президентом Франции, в 1945 году помиловал его. Позже он помиловал и уравнял в правах с порядочными людьми всех коллаборационистов, заявив, что дает им шанс на новую жизнь ради интересов страны, так как Франция не должна быть впредь разделенной изнутри.

Праздник победы Сеймур и Виктор встречали в Париже. Это был грандиозный праздник, казалось, что вся Франция опьянела от счастья, люди на улицах пели и обнимались, бросались цветы под ноги солдатам де Голля.

Сеймур и Виктор впервые в жизни надели смокинги и украсили их боевыми наградами. Награды у них были равного высокого достоинства — Военный крест, Крест добровольца и две боевые медали. В этом парадном виде Клод представил их вернувшейся вместе с отцом своей жене Марион, красивой высокой женщине. Сам Клод, казалось, помолодел лет на десять и выглядел так, как должен выглядеть очень счастливый человек. Своим друзьям он приготовил сюрприз, сообщил им, что они приглашены на прием, который вечером в ознаменование победы дает Шарль де Голль. Это был незабываемый вечер. Шампанское лилось рекой, присутствующие пели «Марсельезу», обнимались и плакали от радости. Клод и Марион весь вечер были рядом с де Голлем, и многие в зале отдали бы все за то, чтобы оказаться вместе с ними.

Прошли праздники, и Сеймур счел возможным в который раз напомнить Клоду о его обещании помочь им вернуться на родину.

— Я дал обещание и надеюсь в скором времени выполнить его, но сейчас это невозможно. Я это сделаю, как только во Франции откроется советское посольство, консульство, или любая другая дипломатическая миссия. Ты пойми, для Советского Союза война не закончилась, Германия еще не капитулировала. Потерпи.

Терпение давно было на исходе, но они ждали. Поэтому, когда Михаил Астахов сказал им, что Клод собирается что-то им сообщить по поводу их возвращения, они, не дослушав его до конца, помчались к Клоду.

Клод и Марион были не одни. В гостиной сидели все знакомые им люди — двое уже бывших маки — оба коммунисты. Сеймур заметил, что у всех присутствующих озабоченные лица, и у него в предчувствии неведомой беды тревожно сжалось сердце.

Клод сказал, что месяц назад в правительство Франции поступило письмо от советского руководства с настоятельной просьбой вернуть всех военнопленных и других лиц, эмигрировавших в период войны с территории СССР. Отказать одному из главных победителей фашизма, союзнику Франции, правительство не сочло возможным.

Коммунист Мартин Ксавье был возмущен и не старался это скрыть:

— Я не понимаю наших советских коллег, которых всегда уважал. Не понимаю, почему это происходит, но экстрадиция военнопленных из стран союзников продолжается. Из наших источников нам известно, что насильственно перемещенных людей по прибытии в Советский Союз судят, а затем отправляют в ссылку, — сказал французский коммунист, когда наступил его черед высказаться. — Наши друзья сообщили, что близкие родственники офицеров, попавших в плен, также подвергаются репрессиям, а родственники рядовых военнопленных лишаются пособия.

— Наверное, это все-таки ошибка, — обдумав услышанное, сказал Сеймур. — Потому что во всем этом нет смысла. Мартин, а ты сам веришь, что людей, попавших в плен во время войны, сегодня насильственно вывозят из США, Англии и Франции, для того, чтобы отправить их в ссылку. Ты можешь сказать — за что?

Ответом ему было красноречивое молчание французского коммуниста.

— Очень странно, — сказал Витек. — Если в это поверить, то придется пойти дальше и предположить, что все происходит с согласия товарища Сталина или по его приказу. Может быть такое?

Марион с надеждой посмотрела на мужа.

— Клод, что думаешь ты?

— «Если человек долго сражается с чудовищами, то он и сам может превратиться в чудовище». Когда в училище я впервые услышал это изречение Ницше, оно показалось мне лишенным смысла. Я и в эту чудовищную историю с военнопленными не поверил, если бы сегодня не поговорил с помощником президента Франции. Все подтвердилось — по требованию советской стороны высылка военнопленных началась. Из Франции в СССР уже выслано сто шестьдесят тысяч бывших военнопленных. Об их судьбе ничего не известно. Я думаю, скоро волна выселений докатится и до юга Франции. Ситуация непреодолимая. Судите сами: Советский Союз потребовал у своих союзников по антигитлеровской коалиции выдачи своих граждан, и те согласились. Все происходит в соответствии с законами этих стран.

— И ты останешься спокойным, когда за Сеймуром и Виктором придет полицейский в сопровождении советских конвоиров?

— Будем спокойно отстреливаться! — усмехнулся Клод. — Успокойся, Марион. За Сеймуром и Виктором не придут. Оба они награждены орденами и медалями Франции, у них есть вид на жительство. Очень скоро они получат французское гражданство и с того дня будут подчиняться только законам французской республики.

— Сучий потрох! — вдруг вырвалось у Виктора.

При всеобщем молчании Клод вопросительно посмотрел на Виктора:

— Первый раз слышу. Что эти слова означают?

— Ну как тебе сказать, чтобы было понятно, — смутился Витек. — Видишь ли, Клод, с точки зрения, например, кулинара, стоматолога или военного летчика эти слова абсолютно бессмысленны. Употребляются они только в тех случаях, когда надо объединить в одно целое честь, достоинство и заслуги какого-нибудь человека. Тогда они становятся незаменимыми. Вот послушай: товарищ Сталин, несомненно, освободитель Европы, генералиссимус, отец народов, Герой Советского Союза и уже в довершение, исключительно ради справедливости, — объединяющий смысл: сучий потрох, чтоб он сдох, ублюдок! Ну, как?

— Я не думаю, что гражданину Франции следует так резко отзываться о руководителе союзного государства,— рассудительно сказал командор Клод Вернье. — Но, в конце концов, если очень хочется, это твое право.

— Да, — сказал Виктор Самарсков. — Очень хочется! И право это я заслужил.

Виктор довез Сеймура домой. Всю дорогу они молчали.

— Не пойму, отчего это ты такой мрачный? Чем ты расстроен? — спросил Виктор, когда Сеймур выходил из машины. — Все ведь устроилось лучшим образом.

— Ты понял, нас хотят вернуть домой как преступников?! Стыдно…

— Зря тебе стыдно. Ты не предал свою страну, это она тебя предала, пусть ей и будет стыдно.

— Страна не может предать, предают люди.

— Вот именно, люди, а еще точнее один человек: сучий потрох, сдох бы поскорее, усатый ублюдок!

Еще через две недели Клод пригласил их к себе домой. Не скрывая радости, за празднично накрытым столом Марион и Клод объявили им, что наконец-то преодолена бюрократическая волокита и с сегодняшнего дня они официально признаны гражданами Франции. И отныне, куда бы они ни поехали с французским паспортом, им везде гарантирована безопасность. Марион рассказала, что, будучи с отцом в США, они как французские граждане никогда не испытывали ни малейшей дискриминации и всегда ощущали себя полноправными членами тамошнего общества. Обычно немногословный Сеймур от имени Виктора и своего сказал искреннюю благодарственную речь, потому что действительно был на седьмом небе от радости.

Дальше оказалось не все так просто. Когда были оформлены все документы, Виктор отказался уезжать из Франции. Он сказал, что ему некуда ехать, дома его никто не ждет и сам он никого не жаждет там видеть. А без этого, — сказал Виктор, — слово родина для нормального человека пустое сотрясение воздуха.

Сеймур знал, что родственников у Виктора в Перми нет, мама умерла, когда ему было четырнадцать лет, а с отцом, после того, как тот женился второй раз, их отношения разладились окончательно. Он уговаривал Виктора поехать с ним, привел множество заманчивых доводов, способных убедить его переехать на постоянное жительство в Баку и окончить там медицинский институт.

— Ты подумай и скажи мне, где человеку лучше быть чужим — в Париже или в Баку? — в ответ на это спросил Витек.

— Подумал и говорю, в Баку чужим ты себя ощущать не будешь.

— Виктор Самарсков везде чужой, — серьезно сказал Витек.

— Спорить с Чайльд Гарольдом в двадцатом веке труднее, чем я думал,— усмехнулся Сеймур.

— Чайльд Гарольд для меня пустой фанфарон, который бесился с жиру. Ты лучше не спорь, а записывай, говорю бесплатно: быть чужим в Париже или в Алби гораздо лучше, чем быть чужим в Баку или Перми. Ну как, нравится тебе афоризм? Эхо до тебя доносится?

— Ничего не понимаю. Ты ведь так надеялся вернуться!

— Я и тебе не советую ехать.

— Не поеду, если объяснишь, почему после стольких лет ожидания мне не надо возвращаться.

— Говорю тебе: не надо! Я в этом уверен. Ты же знаешь, я человек интуитивный и все чувствую. Короче говоря, я не боюсь, но знаю, что еще один концлагерь я не выдержу. И ты тоже не выживешь.

— Странные мысли. Никаких концлагерей больше не будет! Витек! Ты подумай. Прошу тебя. До отхода поезда еще сутки. Подумай.

— Подумаю, — безучастным тоном обещал Виктор Самарсков. — Ты прав. Надо подумать.

Часть вторая

Жизнь большинства людей при внимательном рассмотрении являет собой нескончаемую вереницу упущенных возможностей. В основном успеха добиваются те, кто наделен способностью на перегруженной магистрали Жизни, не пропустив неприметный поворот, успеть в нужный момент свернуть на заветную дорогу с односторонним движением, ведущую к счастливой любви, богатству и славе, и катить по ней вплоть до полного достижения цели.

С этим утверждением, основанным на жизненном опыте людей, склонных к обобщениям, возможно, не согласился бы главный субъект хроник переходного периода Сеймур Рафибейли. Если бы кому-нибудь удалось его разговорить, он попытался бы на примере собственной жизни убедить собеседника в том, что к нему это

сомнительное суждение ни с какой стороны не относится. Он рассказал бы, что, начиная с самой юности и кончая текущим днем, не пренебрег ни одной из полезных возможностей, время от времени возникающих на его жизненном пути, но удачи ему это не принесло.

Будучи по природе правдивым человеком, Сеймур признал бы, что если он остался в живых и сейчас, сидя в котельной шафранного совхоза в селенье Амбуран, беседует со своей собакой, то все же произошло это исключительно благодаря стечению необъяснимых обстоятельств. Он рассказал бы, что добирался сюда четырнадцать лет по дороге, которую выбрал сам. Но так как Сеймур в конце пути стал скрытным и неразговорчивым, то он наотрез отказался бы откровенно поговорить даже с очень приятным и доброжелательным человеком.

Ему никогда не приходило в голову жаловаться на судьбу, но и благодарности ни к Богу, ни к людям он не испытывал.

В кочегарке было тепло. Это было единственное место, которое ему предложили после возвращения в Баку. Он просился на любую работу в рыбачью артель, но председатель сельсовета Самандар ему отказал, потому что в сопроводительной бумаге указано, что деятельность поселенца не может быть совместима с пребыванием в трудовом коллективе. Об этом Сеймур узнал в день прибытия в Амбуран. В Амбуране он очутился вследствие одного странного обстоятельства. По первоначальному замыслу, оформленному в виде решения особой комиссии НКВД, он должен был выехать в Дашкесан и работать там разнорабочим на тамошнем железном руднике. Но в день выезда из Баку неизвестный высокопоставленный чиновник этого ведомства собственноручно изменил решение особой комиссии и пунктом временного пребывания Сеймура Рафибейли указал шафранный совхоз в Амбуране, что и нашло свое отражение в сопроводительных документах временно перемещенного зэка. Ходили маловероятные слухи, что сделано это было по личному распоряжению первого секретаря ЦК Багирова. Слухи не подтвердились. Отражения этого факта не нашлось и в архивах НКВД.

В Амбуран Сеймур приехал на черной «эмке» вместе со старшим лейтенантом НКВД Гудретом Назимовым, очень худым молчаливым молодым человеком в сером выутюженном сером костюме и застегнутой на все пуговицы темно-синей рубашке. Лейтенант ехал впереди рядом с водителем, а конвоир и Сеймур на заднем сиденье. Назимов всю дорогу молчал, и лишь когда подъехали к одноэтажному зданию сельсовета, бросил конвоиру одно лишь слово «введи!». В кабинет председателя сельсовета Самандара Калантарлы старший лейтенант вошел также предельно бесшумно. Он прижал носок ботинка к двери и с силой толкнул ее. Дверь бесшумно распахнулась, и Сеймур в первый раз увидел Самандара Калантарлы. Человек, которого он увидел, не понравился ему сразу и навсегда. Самандар сидел за столом и, сосредоточенно разглядывая в зеркале на своем лбу созревший фурункул, осторожно прикасаясь кончиками пальцев, мазал его кремом. Увидев товарища Назимова в своем кабинете, Самандар мгновенно обтер руки об живот и выскочил из кресла ему навстречу, одновременно изображая улыбкой и телодвижениями радость и удовольствие от неожиданной встречи.

— Прежде вымой руки, — в ответ на попытку рукопожатия хмуро сказал Самандару Назымов. Упитанное тело Самандара с поразительной резвостью прошмыгнуло на всех своих нижних конечностях к умывальнику в противоположном углу кабинета и принялось, как хирург перед операцией, долго и тщательно мыть руки. Лейтенант пальцем показал Сеймуру на стул, а конвоиру на дверь. Конвоир тут же вышел, а Сеймур занял указанное ему место напротив лейтенанта Назимова.

Лейтенант сказал Самандару, что гражданин Рафибейли определяется на работу кочегаром-истопником в котельную шафранного совхоза. Самандар почтительно слушал, его почти квадратное лицо с массивным подбородком и узким лбом над маленькими, узко поставленными колючими глазками выражало готовность выполнить любой приказ, но Сеймуру показалось, что планы Назимова по поводу его трудоустройства хозяину кабинета не понравились.

— Я договорился с проверенным человеком, он член партии, кочегар с большим стажем, — сказал Самандар, но Назимов его не слышал, он внимательно читал какой-то документ, извлеченный из планшета.

— Ты понял, что я тебе сказал, — вдруг перебил его Назимов. — Говори по делу.

Если у тебя есть какие-нибудь серьезные соображения, не скрывай, можешь быть откровенным.

Самандар настороженно посмотрел на Назимова. На его лице появилось выражение бывалого подследственного, почуявшего подвох со стороны коварного прокурора.

— Извините, товарищ Назимов, никаких своих соображений у меня нет! Я свое место знаю, — сказал он. — Хочу только сказать, что нужен ночной сторож на новые виноградные плантации. Прошлой зимой сто тридцать лоз кто-то выкопал.

— Ты хочешь сказать, что украли сто тридцать лоз элитного винограда?! Это же саботаж в чистом виде.

— Восемьдесят пять мы уже нашли и посадили на прежнее место.

— Разыщи и остальные. А то люди подумают, что у сельсовета кончился остаток авторитета.

— Найдем, разыщем, сегодня, завтра... В дальнейших целях безопасности хочу взять сторожа.

— При чем здесь сторож? Я сегодня хоть один раз сказал тебе слово «сторож»? Сколько я должен повторять — шафранный совхоз, кочегарка, истопник. Ты все понял? — судя по изменившемуся цвету лица, который приобрел оттенок незрелой фисташки, он начал сердиться.

— Все будет сделано, товарищ Назимов! Прошу вас, не сомневайтесь.

Сеймур заметил, что ботинки одетого с иголочки Назимова слегка испачканы и ему почему-то стало интересно, как поступит Самандар, если товарищ лейтенант изъявит желание их срочно почистить.

— Имей в виду, если ты при мне еще раз скажешь это слово — «сторож», я на тебя очень обижусь. Ты меня понял? — успокаиваясь, сказал старший лейтенант. Он вынул из планшета папку и протянул Самандару. — Это сопроводительные бумаги. Распишись в получении.

После того как Самандар подписал каждый из двенадцати листов содержимого папки и запер ее в сейфе, они поехали в совхоз. Впереди ехала «эмка», за ней полуторка, в кабине которой рядом с водителем возвышался Самандар.

Дорога шла вдоль берега. Впервые после возвращения в Баку Сеймур увидел Каспий. Дул северный ветер, и так же, как в прежние времена, пронзительно и тревожно кричали чайки. Весь песчаный берег вдоль дороги был в черных пятнах нефти. Этого раньше не было. Сеймур сразу перестал думать о загрязненном береге, когда увидел в открытом море, почти на линии горизонта, две нефтяные вышки. У него было острое зрение, и, приглядевшись, он понял, что не ошибся, это были не мачты кораблей, а обычные нефтяные вышки, которые стояли, по всей видимости, на искусственных основаниях — островах. Назимов перехватил его удивленный взгляд.

— Это вышки морской нефтедобычи, — объяснил он Сеймуру.

— Раньше такого не было...

— За четырнадцать лет вашего отсутствия здесь многое изменилось. Теперь нефть добывают и в открытом море.

Сеймуру хотелось узнать, насколько давно это началось, но, вспомнив, как Назимов разговаривал с словоохотливым Самандаром, рисковать не стал.

Охранник военизированной охраны открыл ворота, как только подъехал Назимов, после чего обе машины въехали на территорию совхоза. Приземистое одноэтажное здание кочегарки с двумя окнами и черной чугунной трубой находилось в полусотне метров от въезда. Справа у здания росло раскидистое тутовое дерево, нижние ветви которого лежали на плоской крыше кочегарки. Ближе к дороге на двухметровом металлическом «табурете» стояла цистерна с темными потеками мазута. Судя по трубе, которая шла от нее в здание, назначением ее было снабжение котельной топливом.

Внутри стены кочегарки, как и снаружи, были оштукатурены и покрашены в белый цвет. На стене рядом с огромным котлом висели портреты Сталина и Багирова. Портрет Багирова был поменьше и висел ниже сталинского. В дополнение к двум цветным портретам белое однообразие стен приятно разбавлялось благодаря красному манометру и черному круглому радиорепродуктору.

Назимов заглянул в шкафы, осмотрел маленькую смежную комнату, заглянул в

душевую и там проверил, идет ли вода. Все это он делал молча, после чего обратился к Самандару:

— Пока я здесь, сходи в правление совхоза и получи для кочегара три комплекта постельного белья — простыню, пододеяльник и три наволочки.

— Три?!

— Еще три полотенца и мыло. И предупреди, что с завтрашнего дня он будет приходить обедать в совхозную столовую. Скажи, что кормить его следует отдельно от коллектива в подсобном помещении. И попроси, чтобы в кочегарке восстановили радиотрансляцию.

Оставшись наедине с Сеймуром, Назимов доброжелательным тоном объяснил ему, в чем главным образом состоят его обязанности. Он сказал также, что органы безопасности сурово карают преступников, посягающих на безопасность родины, но они же протягивают руку людям, оступившимся по недомыслию или случайно, в тех случаях, когда эти люди своим поведением доказывают, что они хотят встать на путь исправления. Назимов сказал, что, по его личному мнению, для Сеймура еще не все потеряно. Если, сказал Назимов, Сеймур приложит усилия и убедит органы безопасности своим дальнейшим поведением, что он может быть законопослушным и полезным членом общества, то эти усилия не останутся незамеченными и будут оценены по достоинству. Сеймур вежливо слушал Назимова и в паузах кивал головой, но для него единственным существенным и самым важным из всего услышанного в этот день было распоряжение Назимова включить в кочегарке радио.

Назимов сказал, что Сеймуру запрещается покидать территорию совхоза и вступать в разговоры с работниками, так как это — нарушение правил, которое неотвратимо влечет за собой наказание.

— Здесь, в совхозе, работает общественный представитель органов. Если вам захочется нам что-то сообщить, обращайтесь к нему, его зовут Ахлиман Фаталиев, это проверенный человек. Все, что вы ему сообщите, он немедленно передаст нам.

Странные порядки в здешнем совхозе. В Тайшете имена сексотов вслух не произносились, мельком подумал Сеймур.

— Какие же сведения я могу ему передать? — искренне удивился он.

— Все, что заслуживает внимания органов. Скажу вам откровенно, инициатива и активность всегда нами поддерживаются, — сказал Назимов. — Как говорил товарищ Сталин, каждый человек кузнец своего счастья.

Назимов говорил предельно любезным тоном, и Сеймур ради приличия решил разговор поддержать.

— А как я его узнаю?

— Ахлиман Фаталиев работает здесь в совхозной лаборатории. Он доцент, специалист по шафрану. Он сам вас найдет.

На вопрос, сколько времени ему предстоит здесь пробыть, Назимов уже сухим официальным тоном ответил, что Сеймур будет здесь жить и работать вплоть до особых распоряжений. Когда поступят эти особые распоряжения, от кого и что произойдет после них, Назимов не сказал. И Сеймур понял, что старшему лейтенанту Назимову ничего на этот счет неизвестно.

Самандара Назимов дожидаться не стал. На прощание он тоном заботливого старшего брата еще раз посоветовал Сеймуру быть законопослушным и благоразумным.

Самандар появился в сопровождении водителя, который принес постельное белье и брошюру по технике безопасности. Так в кочегарке появилась первая книга.

После отъезда Назимова поведение Самандара заметно изменилось, взгляд его теперь был высокомерным, а в голосе появились начальственные нотки.

Прежде чем войти, он, расставив ноги, остановился в дверях и окинул взглядом помещение.

— Ты понял, как тебе повезло? Курорт! Просто курорт.

Сеймур оглядел потолок и стены, потом перевел взгляд на Самандара. Со стороны было видно, что человек размышляет.

— Где курорт? — после паузы спросил он.

— Как где? Здесь. Ты не согласен, что для тебя это курорт?

— А мне сказали, что это кочегарка,— глядя в глаза Самандара, искренним

тоном объяснил Сеймур. Еще по тайшетскому опыту ему было известно, что искусное придуривание зэка в отдельных случаях выручает его в разговоре с начальством.

Самандар испытующе посмотрел на собеседника.

— Я-то знаю, откуда тебя привезли! Разве в лагере были такие условия? Поэтому я и говорю, что здесь курорт. Ты согласен?

Самое страшное в Тайшете был холод, вспомнил Сеймур, холодно было всегда и везде. Не было ни одного места, где можно было согреться. Даже постоянное чувство голода — пустяки по сравнению с холодом. Спустя два месяца после прибытия в тайшетлаг он отморозил на лесоповале ноги. В лагерном госпитале врачи их ему сохранили, но большой палец левой ноги все-таки пришлось ампутировать. С тех пор он стал слегка прихрамывать на левую ногу.

— Там были двухэтажные нары, а здесь кровать. Удобство все-таки.

— Ты везучий. Таких, как ты, отбывших срок, еще недавно мы отправляли на поселение куда подальше, чаще всего в мингечаурскую степь, там начиналось строительство гидроэлектростанции. Из каждых десяти в живых оставались двое. А тебя, нате вам, прямиком в Амбуран, чуть ли не в Баку. Тебе в скольких городах СССР запрещено жить?

— Не помню, — хмуро сказал Сеймур.

— Должен помнить. В тридцати двух городах не то что жить, таким, как ты, появляться запрещено, особенно в Баку. А тебя в Амбуран прислали, курортное место рядом с Баку. Недаром же дача твоих покойных родителей здесь была... На всю страну известные люди были. А их сын предатель родины. Такого отца опозорил.

Сеймур посмотрел на Самандара оценивающим взглядом. Конечно, самое правильное, это дать ему правой в челюсть, и тут же, а это уже ради чистого удовольствия, с размаху ногой пах,— подумал он и сразу постарался отогнать эту мысль.

Тугодумие Сеймура начало раздражать Самандара.

— В общем, я ухожу... И еще. Это, конечно, твое дело, но бежать отсюда я тебе не советую.

— Куда?.. Может быть, ты знаешь, куда я могу бежать?

— Ты со мной на «ты» разговариваешь?! — изумился Самандар. — Как ты посмел?! Тьфу!— он вышел, не закрывая за собой дверь.— Лишенец неблагодарный!

Считается, что радио — одно из полезнейших изобретений в истории разумного человечества. Сеймур об этом вспомнил, когда через полчаса после ухода Самандара неожиданно громко заговорил репродуктор. Он сидел на скамье и, облокотившись на покрытый облезлой клеенкой стол, с наслаждением слушал все подряд, что в этот день передавалось по всесоюзному и республиканскому радио, слушал, не выключая репродуктор, вплоть до окончания всех передач в двенадцать часов ночи. На следующее утро, проснувшись, он вначале полностью выслушал гимн Советского Союза, а затем с перерывом в один час — гимн Азербайджана, музыкальную физзарядку, новости, утреннюю пионерскую зорьку, а также без исключения все другие передачи. И так изо дня в день. Все, что звучало по радио, было жизнерадостным по содержанию и укрепляло в человеке оптимизм и веру в будущее.

Однажды вечером передали репортаж из Тайшета. Зрители и строители выступали на открытии нового широкоэкранного кинотеатра. И в голосах их звучали искренняя радость и гордость за свой прекрасный город, привольно раскинувшийся на берегу Бирюсы. Сеймур вспомнил, как бывший майор гвардии зэк Анатолий Борисович Гуслинский сказал ему, что кочевые тюрки, первыми прибывшие сюда, назвали это место — Тайшет, что по-тюркски означает Ужас. Сеймур во время пребывания в Тайшетлаге понял, что древние тюрки были людьми неглупыми и дальновидными. О бывшем майоре в лагере ходили легенды. Рассказывали, что новый начальник лагеря узнал из личного дела, что он на гражданке руководил эстрадным оркестром, вызвал к себе вместе с пятью другими зэками, тоже бывшими представителями искусства и литературы, и по неопытности обратился к ним с предложением о сотрудничестве.

— Вы, наверное, все помните, что через десять дней мы будем праздновать день рождения великого чекиста, любимого народом Лаврентия Павловича Берия. Я вас зачем вызвал? Хочу, чтобы в порыве вдохновения вы создали художественное произведение и в день праздника исполнили бы его. Даю вам десять дней, на это время освободим вас от работ вплоть до дня праздника! Ну как?

Зэки угрюмо молчали. Но на предложение начальника любезно отозвался бывший майор Гуслинский.

— А как же! Мы понимаем. Дело полезное, — с воодушевлением сказал Гуслинский. — Только дожидаться вдохновения, гражданин начальник, это последнее дело. Можно и не дождаться. Стихи уже есть, как раз сегодня утром я их сам сочинил, за день-два сварганим на них музыку, вот вам будет новая песня на праздник. Стихи могу вам прочитать прямо сейчас. Пока придумал только начало, если вам понравится, сочиню до конца. Читать или как?

— Читай, послушаем, — сказал начальник. Майор встал и прокашлялся.

Цветок душистых прерий
Лаврентий Палыч Берий.

— Ну, как вам стихи, гражданин начальник? По-моему, вроде бы складно.

В молодости, до того как стать чекистом, начальник лагеря был полотером и навыки прежней профессии закрепились в нем навсегда. Как всегда, в момент наивысшего нервного напряжения, он начал автоматически делать перед собой круговые движения, какими привык, стоя на коленях, натирать мастикой паркет.

— Все! Замолчали! — с трудом уняв разгулявшиеся руки, обратился он к группе бывшей творческой интеллигенции. — Вы мне ничего здесь не читали, а я ничего не слышал! Мне говорили, что вы закоренелые преступники и мошенники, теперь верю. Всех на десять дней в карцер!

Эту историю Сеймур слышал в разных вариантах, но автором неизменно назывался Гуслинский.

В его памяти навсегда остался пасмурный декабрьский день 1953 года. На лесоповале Сеймур работал рядом с Гуслинским. К ним подошел бригадир, выключил пилу и в наступившей тишине сообщил, что в Москве расстрелян агент империализма Лаврентий Павлович Берия.

— Умер Лаврушка, ну и хрен с ним! — Гуслинский обратился ко всем, кто был рядом. — Вы хоть поняли, что это означает?! С этой минуты всем нам свобода, равенство, братство!

Все слушали его молча с неподвижными лицами. Отозвался только бригадир.

— Помолчал бы, Борисыч, — сказал он. — Хоть бы людей пожалел. Работаем, ребята!

Но возбужденный Гуслинский не унимался.

— С горем вас! — обратился он к подошедшему офицеру конвоя. — Со всенародным горем вас, начальник!

В Тайшетлаге Гуслинский давно ходил в отпетых, поэтому выходок его начальство старалось не замечать, но сегодня что-то в словах конвойного его задело.

— Человека похоронить не успели, а шпана радуется, — презрительно сказал тот.

— Какая же радость? Горюю и скорблю в ожидании перемен.

— У брехливой собаки век недолог, весной тебя похороним, вот тебе и будет перемена. Других перемен не жди.

— Ошибочка ваша, начальник! Не о себе я. Перемены у вас ожидаются. Скоро погонят вас в Симферополь, американскому слону яйца качать. Слона жалко, вы и его покалечите.

— Слона будешь в карцере жалеть. Посидишь неделю, дальше видно будет, — распорядился конвойный, и как только заключенные вернулись в лагерь, Гуслинского без ужина отправили в карцер.

Из карцера бывшего гвардии майора вынесли на руках, сам он передвигаться не мог. Первое, что спросили у него вечером сокамерники, почему в Симферополь, где слоны не водятся?

Тот же Гуслинский поделился с Сеймуром своим опытом общения с тайными осведомителями.

— С виду его не раскусишь, — объяснял он. — С виду он нормальный зэк. Сексот животное опасное, причем очень хитрое. Но определить, что он сексот, все-таки можно — по глазам. У самого хитрого сексота глаза сразу же начинают бегать, стоит внезапно заглянуть в них. Вот так, — бывший майор показал, как следует внезапно

заглядывать в глаза стукачу. — А у некоторых при разговоре начинает подрагивать средний палец правой руки. Ты присматривайся.

Судя по тому, как часто Гуслинский из-за доносов попадал в карцер, то знание повадок сексотов если ему самому и помогало, то очень редко. Но его описание сексотов Сеймур невольно вспомнил перед тем, как встретиться с общественным уполномоченным НКВД Ахлиманом Фаталиевым. Тот ждал его в совхозной лаборатории на втором этаже. Фаталиеву на вид можно было дать лет под шестьдесят. Глаза его по сторонам не бегали, взгляд был прямой и открытый, и смотрел он на Сеймура вполне доброжелательно. Своими манерами и умением излагать мысли он произвел на Сеймура впечатление умного интеллигентного человека. При дальнейшем общении это впечатление подтвердилось. В просторной светлой лаборатории кроме них двоих находилось еще несколько лаборанток в белых халатах, которые время от времени украдкой с любопытством поглядывали на Сеймура. Фаталиев сказал, что все они выпускницы биофака Бакинского университета, и он возлагает на них большие надежды, связанные с распространением в республике культуры шафрана. Его очень удивило, когда Фаталиев при них представился ему как общественный представитель НКВД. Так и объявил, не понижая голос, что он общественный уполномоченный, и Сеймур, если ему захочется сообщить что-то представляющее интерес для органов, может к нему обращаться. После получасовой беседы он вышел в коридор и здесь столкнулся с одной из лаборанток, которую несколько минут назад впервые увидел в кабинете. Стройной фигурой в белом накрахмаленном халате, слегка курносым носом над свежими розовыми губами она привлекала внимание. Окинув его долгим выразительным взглядом, она прошла мимо, а перед тем как войти в кабинет, обернулась и улыбнулась. Сеймуру показалось, что эта встреча была не случайной, подумал он об этом мельком, и, спустившись по лестнице, постарался эту мысль, несомненно, бесполезного свойства выкинуть из памяти.

На выходные дни закуток запирали, и Сеймура усадили за отведенным ему отдельным столиком в общем зале. В эти дни немногочисленные посетители, в основном это были механизаторы, могли за отдельную плату заказать порционные блюда и напитки. Сегодня меню предлагало посетителям долму из виноградных листьев с начинкой из говядины. В первое же посещенье воскресной столовой между Сеймуром и посетителями встала невидимая стена, она возникала, где бы он ни появился, и он уже к ней привык. Поэтому он не сразу понял, что один из посетителей обращается к нему.

— Извините, — сказал тот, — я хочу у вас спросить. Мне сказали, что вы Сеймур Рафибейли, внук Шахлар-бека. Это правда? — человек держал в руках бокал, широко улыбался и по всему было видно, что пребывает он в приподнятом настроении.

— Да,— сказал Сеймур. — Покойный Шахлар-бек был моим дедом.

— Я вот сейчас сижу здесь и думаю, как интересно все получается. Ему одному принадлежал весь Амбуран, вся эта земля и этот дом... Все принадлежало ему. И еще рассказывают, что он любил шампанское. Каждый вечер бек сидел здесь на первом этаже и пил шампанское. — Сеймур ничего не знал об этой привычке деда, поэтому решил с незнакомцем не спорить. — Это же удивительно! А сегодня сижу здесь и пью шампанское я, Идрис Мамед оглы Мамедов. А мой дед вообще не знал, что это такое — шампанское. Разве это не удивительно?

— Чего же удивительного, — добросовестно подумав, прежде чем ответить, сказал Сеймур. — Пьете и пейте на здоровье.

— Нет, все-таки это удивительно! — не унимался тот. — В то время шампанское пил ваш дед, богач и знатный дворянин, а теперь благодаря советской власти его пью я, простой техник-механизатор. Вы чувствуете разницу? — спросил он, и у него на глазах выступили слезы умиления.

За соседними столами все замолчали. Окружающие прислушивались к их разговору с каменными, равнодушными лицами. Сеймур понял, что любитель шампанского не отстанет, поэтому с целью мирного завершения разговора решил пойти на компромисс.

— Отчасти вы, конечно, правы, — сказал он. — Но мой дед никогда не пил шампанское с долмой из говядины, а вы пьете и, по-моему, с удовольствием. Я подумал и понял, что разница в этом.

— А при чем здесь долма? — удивился Идрис.

— Из говядины...

— Не понял... — в некотором замешательстве возразил Идрис Мамедов. — А почему это он не пил шампанское с долмой из говядины?

— Такой уж характер был у деда, ни за что не соглашался пить шампанское с долмой из говядины, — глядя в глаза Идриса, проникновенно сказал Сеймур. — Вы же сами сказали — дворянин, землевладелец, что с покойника взять? Во всяком случае, шампанское с долмой из говядины он никогда не пил. А вы, я вижу, пьете. Вся разница в этом, вы согласны? — он подождал ответа, но сбитый с толку Идрис лишь обиженно покачал головой, всем своим видом показывая, что он не согласен ни с Сеймуром, ни с его привередливым дедом.

Итоги воскресной беседы подвел в понедельник заведующий столовой. Он сказал, что произошло недоразумение и, начиная с этой недели, Сеймур будет попрежнему столоваться в подсобном помещении и поэтому ходить в общий зал по выходным дням ему уже не придется. Кроме того, перед тем как уйти, заведующий вызвал уборщицу и подавальщицу и строго-настрого приказал им убрать из закутка веники и ведро и впредь поддерживать здесь чистоту и порядок. Разговорчивого Идриса Мамедова на территории совхоза Сеймур больше не встречал.

Редко случающиеся сюрпризы производят на человека особенно приятное впечатление и запоминаются надолго. Например, появление почтальона с денежным переводом неизвестного происхождения или официальное приглашение дирекции завода на дегустацию пива с прилагаемым меню закусок из морепродуктов могут изменить в лучшую сторону его мнение о прогрессивной части человечества. Говоря о приятных сюрпризах, уместно вспомнить, что они подобно денежным купюрам делятся на мелкие и крупные. В Амбуране, где Сеймур жил третий месяц, никаких сюрпризов из категории приятных не предвиделось. Поэтому сюрприз, который выпал на долю Сеймура в тот весенний дождливый вечер в Амбуране, мог смело претендовать на звание самого приятного и неожиданного. Сеймур открыл дверь и увидел ее. Это была та самая миловидная лаборантка, которую он видел в кабинете Фаталиева. Ее звали Марьям, ей было двадцать три года, и в первый приход ей очень понравилась кочегарка.

Марьям нельзя было назвать застенчивой. Каждый раз, раздевшись, она ходила весь вечер голой, не стесняясь своего тела. В темной комнате, освещенной лишь неровным пламенем топки, ее стройное тело выглядело частью картины, написанной влюбленным художником. Говорила она без умолку, но Сеймура это не раздражало. Со временем он приучил себя видеть только ее, и это неизменно доставляло ему несказанное наслаждение, а ее беспрерывная болтовня доносилась до него как лишенный смысла, но приятный шум сопровождения.

— У тебя удивительная кожа, — сказал Сеймур, когда, перестав разгуливать, она, тесно прижавшись к нему, села на кровать.

— Что значит, удивительная? Тебе она нравится или нет?

— Очень нравится. А удивительная, потому что она всегда прохладная, даже когда очень жарко. На ощупь всегда шелковистая и прохладная.

— Хорошо что заметил, наконец... А у нас в семье у всех такая кожа,— сказала она. — У всех.

Некоторое время Сеймур добросовестно размышлял над последним сообщением.

— Поздравляю! Только я не совсем понял, у кого в вашей семье кожа похожа на твою.

— У мамы и у сестры, — сказала она. — От рождения такая кожа. Слава богу, кремами не мажемся. Наследственность у нас такая... А вообще ты невнимательный. Ты заметил, что я всегда хожу без лифчика? А знаешь почему? Потому что у меня грудь сама стоит постоянно, без лифчика. Посмотри, посмотри. Видишь, и соски торчат кверху. Они всегда твердые. Да ты потрогай!

Сеймур убедился, что оба соска твердые и торчат кверху, после чего все разговоры о груди и коже, и на все другие темы, на некоторое время прекратились.

Они в изнеможении молча лежали рядом.

— Ты хихикаешь! — вдруг с возмущением обнаружила она. — А чего смешного? Нет, ты скажи, над чем ты хихикаешь?

— На самом деле я улыбаюсь. Мне сейчас очень хорошо, вот я и улыбаюсь, — самым серьезным тоном сказал он. Она продолжала подозрительно смотреть, и ему снова стало смешно.

— Знаю, знаю, — обиженно сказала она, — из-за лифчика. Больше ничего не буду тебе рассказывать.

Она приходила к нему по вечерам. Их свидания длились не дольше трех часов. В десять она быстро одевалась и торопливо выскакивала за дверь.

На вопросы Сеймура она с серьезным выражением лица каждый раз говорила, что она семейная женщина и к десяти ей обязательно надо быть дома.

В своей кочегарке Сеймур за ненадобностью не всегда знал, какое с утра число, у него и календаря не было, и он давно перестал интересоваться, какой сегодня день недели. Но через полтора-два месяца после их первого свидания он совершенно случайно обнаружил, что приходит она к нему по определенным дням недели — во вторник и пятницу. Когда он поинтересовался, отчего так происходит, она снова напомнила ему, что она семейная женщина и все остальные дни по вечерам должна быть дома.

— Думаю, твой муж по вторникам и пятницам занят на вечерней работе, — предположил Сеймур. — Может быть, дежурит? И зря ты от меня скрываешь.

— Все-таки ты зануда! Какая тебе разница, где мой муж! Я могу приходить тогда, когда прихожу, или не приходить совсем, если тебе не хочется.

— Извини, — сказал Сеймур. — Не пойму, отчего ты вдруг рассердилась. Я спросил только потому, что это связано с тобой.

— Вот и спрашивай о том, что связано со мной. Тебе хорошо со мной? Я тебе нравлюсь? Вот я вся перед тобой. Делай со мной что хочешь. Какая тебе разница, кто мой муж, где он, он тебя тоже не знает!

— Если бы я знал, что ты так расстроишься...

Она, как всегда, быстро оделась и пошла к выходу.

— Когда я с тобой, я все время заставляю себя забыть, что я гулящая девка, что изменяю мужу. И нечего мне об этом напоминать,— обернувшись, сказала она и сразу же вышла. Дверь перед Сеймуром захлопнулась в самый подходящий момент, потому что ему нечего было ей сказать.

Он пришел в закуток при столовой и там занял свое место за единственным столиком. В тот день давали рисовый суп и куриные котлеты. Он старался есть медленно, но через несколько минут, несмотря на старания продлить удовольствие, с обедом было покончено.

Путь из столовой в котельную проходил через поле, заросшее высокими, почти в рост человека кустами тмина. Осенью здесь можно было увидеть нескольких работниц совхоза, которые после работы собирали созревший тмин. В этот холодный мартовский день на поле никого не было видно. Сеймур торопился успеть к дневному выпуску новостей, когда до него донесся звук, напоминающий жалобный писк неизвестного существа, явно небольшого размера. Рядом с кочегаркой, в двух шагах от дороги за кустом тмина на траве неподвижно лежал маленький худой щенок, он был до того истощенным, что казался скелетиком, обтянутым грязной кожей. То, что он еще живой, можно было определить только благодаря слабому писку. Когда он открыл глаза, Сеймур увидел, что они слезятся и покрыты мутной пеленой. По всем признакам было заметно, что щенку безразличен весь окружающий мир вместе с его представителем Сеймуром.

— Умереть проще всего, но ты на это не надейся, — посоветовал щенку представитель окружающего мира. — Будешь жить, другого выхода у нас нет.

Сеймур взял его на руки и отнес в кочегарку. Весил щенок еще меньше, чем можно было предположить по его внешнему виду. Во время купания щенок не сопротивлялся и перестал издавать звуки. Сеймур насухо вытер его, после чего с завернутым в полотенце щенком на руках побежал в столовую. Там он со двора зашел в кухню. Здесь он никогда не бывал. Две немолодые женщины в белых халатах молча смотрели на Сеймура со щенком.

— Извините, — сказал Сеймур, — У меня к вам огромная просьба. Мне нужен стакан молока,— он вынул из кармана несколько монет и протянул им. — Ему можно только молоко.

Одна из женщин принесла трехлитровую банку, налила в эмалированную кружку молока и протянула ее Сеймуру.

— Кипяченое. Деньги уберите, мы молоко не продаем.

— Спасибо. Вы не представляете себе, как я вам благодарен.

Одна из женщин, та, что постарше, подошла поближе и внимательно посмотрела на щенка.

— Похоже, не жилец.

— Надеюсь, все-таки выживет.

— А для чего он вам нужен такой?

Сеймур пожал плечами.

— Подумал, может быть, наоборот, я ему нужен.

— Если будет живой, приходите за молоком завтра в это же время.

— Спасибо, приду. Меня зовут Сеймур.

— Знаем, что Сеймур. Вы в котельной работаете. А я Сурайя. Повариха Сурайя. А это моя помощница Ирада.

Молоко удалось донести, не пролив по дороге ни капли. Оно показалось ему холодным, поэтому он добавил в блюдце немного кипятка из чайника. Блюдце он вплотную подвинул к щенку, но тот и не подумал лакать. Сеймур обмакнул в блюдце палец и мазнул им по губам щенка. Пришлось это повторить несколько раз, прежде чем тот согласился лизнуть палец. Писк прекратился, но дрожать щенок все-таки не перестал. А еще через некоторое время он все-таки начал самостоятельно лакать.

Щенок выжил. Сеймур дал ему кличку Алби, так назывался город, в котором прошли несколько лучших лет его жизни.

Кроме Алби на территории совхоза жили шесть сторожевых собак — все немецкие овчарки. Днем их держали взаперти в просторной вольере, зато ночью они всласть наслаждались волей. Всю ночь напролет они перелаивались со всеми собаками в селенье и за его пределами, рычали и грызлись между собой. Среди соседей — крестьян постоянно ходили слухи о загрызенных насмерть путниках, случайно забредших на территорию шафранного совхоза. Своих — людей, новую собаку и двух джейранов директора совхоза — они узнавали издали, но, не проявляя ни малейших признаков добрососедства, обходили их стороной.

Алби вырос в довольно-таки большую собаку с крупной головой и длинными ногами. С первого взгляда было заметно, что интимная жизнь его породистых предков, по крайней мере, в нескольких поколениях не подвергалась контролю людей. Свободный выбор партнеров, как это иногда бывает, дал прекрасный результат в виде их потомка по кличке Алби. У собаки была приветливая морда лайки со стоячими ушами, массивное мускулистое туловище на длинных лапах, гончей и серповидной формы хвост, выражающий все оттенки настроения его обладателя. Все это сооружение было покрыто короткой шерстью двух цветов — белым с темно-коричневыми пятнами, в беспорядке разбросанными по всему телу. Ел он все, что ему предлагал Сеймур, но дополнительно к этому самостоятельно находил и другие источники питания. Когда Сеймур в первый раз увидел, как его собака пасется в тени деревьев, он вначале решил, что проголодавшаяся собака ест траву, и успокоился, поняв, что умный пес подбирает опавшие спелые ягоды инжира и тута.

В тот вечер они — Алби и его хозяин — были одни. Говорил в основном диктор радио.

Сеймур накрошил хлеб, вылил на него полбанки мацони, перемешал все это и поставил миску на пол. С удовольствием проглотив вечернее угощение, Алби долго до блеска вылизывал миску, после чего поднял голову и с ожиданием во взгляде уставился на хозяина, который ужинал, сидя за столом.

— А ничего больше нет. — Сеймур показал собаке пустую банку из-под мацони, — видишь, и у меня то же самое. Конечно, ты прав, я бы сейчас тоже съел кусок мяса. Ничего не поделаешь... Предложил бы тебе закурить, но знаю, махорку ты не любишь.

Алби махорку и впрямь не любил, поэтому, когда Сеймур закурил трубку, он отошел от стола и, удовлетворенно вздохнув, улегся на половичок рядом с пылающей топкой.

В дверь постучали. Так поздно к нему еще никто не приходил. Сеймур очень удивился, увидев Газанфара. Это был двадцатитрехлетний племянник Самандара. У

Самандара было много родственников. Он их равномерно распределил по всему Амбурану, а также в соседних селах и их окрестностях. На его родственников можно было наткнуться во всех местах, приносящих пользу старательному человеку с развитым чувством благодарности. Население относилось к Самандару как к владетельному князю и знало, что его правая рука и единственный доверенный человек это Газанфар. Целыми днями он слонялся по поселку, свой длинный нос совал повсюду, давал советы, и все, кто жил и работал на территории Амбурана — сельчане и рыбаки, и госслужащие, беспрекословно выполняли все его пожелания, так как понимали, что на самом деле они исходят от самого Самандара. Времени у Газанфара было много, официально он числился спасателем на пляже дачного поселка, но плавать не умел и на пляже не бывал даже летом. Дачники о существовании спасателя не знали и купались в море на свой страх и риск.

Сеймур с трудом успокоил собаку, но даже лежа она продолжала негромко рычать, не отводя глаз от Газанфара.

— А что собака здесь делает?

— Лежит, — сухо ответил Сеймур.

— На ночь она здесь остается?

— Здесь кочегарка, служебное помещение. Ночью она обычно спит там. — Сеймур кивнул на вход в свою комнату. — А почему ты спрашиваешь?

— Интересно. Я до сих пор думал, что собаки во дворе живут. И кличка у нее странная.

— Во Франции есть город Алби. Кличка в память о нем.

— Ты был во Франции?

— Да.

— Как это?!

— Переходи к делу.

— Первый раз такое слышу, Алби... У дяди Самандара, например, три собаки, все три и зимой и летом живут во дворе, службу несут, в дом ни одна не посмеет войти. И кличка у них нормальная, собачья, на всех одна — Боздар. Как крикнет Боздар, все бегут к нему со всех ног, а вместе с ними и охранник.

— Тоже Боздар?

— Нет, у него свое имя есть, бежит на всякий случай, раз зовут.

— А у тебя самого собака есть?

— Нет, мне собаки не нравятся, — Газанфар поморщился, — я ими брезгую... Ты догадался, почему я вдруг взял и зашел к тебе? — загадочно улыбаясь, спросил Газанфар.

— Вначале нет, а теперь, кажется, понял — захотелось о собаках поговорить?

— Шутишь?.. — с сомнением в голосе спросил Газанфар. — Пришел я к тебе по поручению Самандара. — Он испытующе посмотрел на Сеймура. — Самандар сказал мне, поговори с Сеймуром, это человек умный, из хорошей семьи, мы с ним одногодки. Сеймуру я доверяю. Так и сказал — доверяю!

— Это приятно, когда тебе доверяют. Внимательно тебя слушаю. Да ты садись.

Газанфар сел за стол так, чтобы видеть собаку. Он выложил на стол перевязанный крест-накрест шпагатом увесистый сверток и большую металлическую коробку из-под американского порошкового молока.

— Это лично тебе. Пользуйся на здоровье! — сказал Газанфар, разворачивая сверток, в котором оказались палка твердокопченой колбасы, пачка растворимого сахара, упаковка из десяти пачек «Казбека» и пять банок сгущенного молока.

— Спасибо, это щедрый подарок. — Сеймур удивленно смотрел на разложенное на столе богатство. — И неожиданный... Скажи честно, случайно это не данайцы мне прислали?

— Кто-кто?.. Нет не они, и Красный крест здесь ни при чем. Подарок лично от Самандара. Это означает, что он к тебе очень хорошо относится.

Газанфар придвинул к Сеймуру металлическую коробку.

— А здесь что? — ему понадобилось приложить усилие для того, чтобы открыть хорошо пригнанную крышку. Все пространство кочегарки заполнил чудесный аромат шафрана, который сразу же перебил запах мазута и нагретого металла. Коробка была доверху набита плотно спрессованным шафраном. Приподняв над столом коробку, Сеймур прикинул ее вес.

— Содержимого в ней килограмма два, не меньше, — сказал он. — Это тоже мне?

— Молодец, именно два килограмма... Значит, так. За коробкой через недельку-другую прибудет человек. Ехать ему придется издалека, поэтому день приезда пока неизвестен. Не беспокойся, вместе с ним к тебе приду я.

— Это хорошо, приходи. А у кого из вас будет коробка?

Газанфар с досадой посмотрел на Сеймура.

— Коробка будет храниться здесь, в кочегарке. Самандар сказал, что твоя кочегарка самое надежное место. Здесь можно спрятать десять таких коробок, и никто их не найдет. Никому в голову не придет, что она здесь. И вообще, сам знаешь, в совхоз посторонних не пропускают.

Сеймур еще раз раскрыл коробку и с наслаждением понюхал ее содержимое.

— А ты сам нюхал? Ты знаешь, чем это пахнет?

— Чем, чем? Шафраном, чем еще! — Газанфар все же встревожился, перегнувшись через стол, он попытался дотянуться носом до раскрытой коробки.

— Нет, нет, ты понюхай с этой стороны, с моей!

Пренебрежительно усмехнувшись, Газанфар обошел стол и склонился над коробкой.

— Ну?

— Почуял, чем это пахнет с моей стороны? Конечно, почуял, ты же не какой-нибудь там деревенский дурачок... Ты согласен, что с моей стороны это пахнет расстрелом? По глазам вижу, ты со мной согласен.

— Какой расстрел, почему расстрел?.. — заверещал от неожиданности Газанфар. — Странные вещи говоришь.

— Странные? Ты знаешь, сколько стоит килограмм шафрана?

Газанфар раздраженно пожал плечами.

— Я шафран не покупал и не продавал, но знаю, что дорого. Ну и что?

— Я скажу тебе. Килограмм шафрана стоит дороже килограмма золота. Ненамного, но дороже. Стоимость шафрана со временем не меняется. Теперь ты скажи мне, что будет, если у меня, лишенца, найдут два килограмма шафрана? В совхоз посторонних не пускают, и вообще спрятать коробку в кочегарке могу только я. Значит, и украл я. А дальше меня как расхитителя народного имущества в особо крупных размерах расстреляют еще до приезда твоего приятеля. Ты знаешь, что такое расстрел? А я видел несколько раз.

— Ну, ты бояк! Никто не будет знать, что коробка здесь. Слава богу, никогда ничего здесь не искали. До тебя каждую осень прятали, и до сих пор ничего не случалось. Самое безопасное место.

— Это для тебя оно безопасное и для твоего дяди. Поэтому поскорее уходи со своей коробкой. Вставай, вставай!

Газанфар с любопытством смотрел на Сеймура.

— А ты Самандара не боишься? Я серьезно спрашиваю.

— Я тоже серьезно. Конечно, боюсь Самандара. И тебя тоже. Ты даже представить себе не можешь, какой я пугливый. Всех боюсь.

— Поступай, как знаешь, — Газанфар взял со стола коробку. — Но о нашем разговоре забудь.

— Ты тоже. И сверток с продуктами забери!

— Подарок Самандара нельзя брать назад, он останется здесь, — гордо отчеканил Газанфар и величественной походкой направился к выходу. Величественными получились первые три шага, потому что проснувшийся Алби вдруг громко залаял и погнался за Газанфаром, а тот с громкими проклятиями, резким рывком преодолев расстояние до выхода, успел захлопнуть дверь перед самым его носом.

За весь последующий после этого год Сеймуру довелось увидеть Самандара всего несколько раз, когда тот, по каким-то делам захаживая в административный отдел, проходил мимо кочегарки. Но один раз Сеймур был вынужден обратиться к нему с просьбой. Самандар неохотно остановился, когда Сеймур, поздоровавшись, сказал, что им нужно поговорить. Самандар по инерции сделал еще два шага и после этого развернулся к Сеймуру массивным туловищем.

— Если нужно, говори, — неприязненно глядя мимо собеседника куда-то вдаль, сказал он, — только короче, у меня дела.

— Через две недели исполняется пятая годовщина со дня смерти моей матери. Я хочу навестить могилы родителей, они похоронены рядом. Поездка на кладбище займет не более двух часов. Отпустите меня в сопровождении охранника, — сказал Сеймур.

— Это ты хорошо придумал, — усмехнулся Самандар, — только где я охранника возьму, чтобы он тебя сопровождал. Ты хоть соображаешь что говоришь? Ты же знаешь, что тебе запрещено приезжать в Баку.

— Мне запрещено жить в Баку, а насчет посещения кладбища или проезда через город в инструкции нет ни слова.

— Нет, так добавим! Твои родители похоронены в Аллее почетного захоронения. Правильно? Что люди подумают, если тебя увидят в таком месте? Что они мне скажут? Нет, я из-за такого, как ты, закон нарушать не буду. — Самандар вошел в раж, от возмущения его квадратное лицо побагровело. — Слушай, ты хоть подумал, с каким лицом предстанешь перед могилой своих родителей?! Если бы они были живы, они от тебя отказались бы. Совесть у тебя есть? Иди, займись кочегаркой!

И Сеймур отправился в кочегарку, действуя машинально, проверил давление пара и прочистил форсунки. Подошел Алби и лизнул ему руку. Горло перехватило и заговорил он не сразу.

— Ничего Алби, обещал же один великий человек — и на нашей улице будет праздник. А вдруг и мы с тобой дождемся.

В столовой, прежде чем уйти, Сеймур завернул одну котлету в салфетку, изготовленную из какой-то специальной водоотталкивающей бумаги, и положил ее в карман куртки.

Выстрел он услышал, выйдя из столовой, но не придал ему значения, сезон охоты на дичь уже наступил, и по выходным дням на побережье из Баку съезжалось множество охотников. Он встревожился, когда издали увидел у здания кочегарки охранника Гахрамана, — тот, наклонившись, что-то разглядывал в траве. Подбежав, Сеймур увидел у его ног Алби. Собака была вся в крови и громко скулила от боли, но когда подошел Сеймур и сел рядом с ней, скулить перестала и, тихо постанывая, прижалась к нему головой. Рана была на бедре, кровь продолжала обильно течь. Сеймур принес из кочегарки чистую рубашку, сложил ее вчетверо, плотно приложил к ране и попросил Гахрамана подержать, пока он сбегает, поищет доктора.

— А чего его искать? Он весь день сидит в медпункте, играет с кем-нибудь в нарды, — сказал Гахраман. — Только возвращайся поскорее, пока не увидели, что ворота без охранника.

Доктор, высокий человек спортивного сложения лет двадцати пяти по имени Аслан, действительно играл в нарды с человеком с забинтованной головой, видимо, своим пациентом. Продолжая играть, он выслушал Сеймура.

— Дорогой мой, пойти-то я с вами, может быть, и пойду, но должен предупредить, вам нужен ветеринар. А я терапевт.

— Я это знаю. Собаку перевяжу я, вы скажете, что делать... Я вас очень прошу.

— Вернусь, продолжим, без меня к доске не подходи, то есть до шашек не дотрагивайся. Пузырь со льдом держи на голове до моего возвращения. Понял? — строгим голосом сказал он партнеру, затем, продолжая говорить на ходу, подошел к стеклянному шкафу, взял с полки какие-то инструменты, вату и бинты и все это побросал в хозяйственную сумку.

— Пошли, там разберемся.

К их приходу Гахраман продолжал сидеть в прежней позе рядом с Алби.

— Твоя работа? — кивнув на Алби, спросил Гахрамана доктор.

Тот задохнулся от возмущения.

— Вы что говорите?! Как можно такое...

— Не ты, так и скажи, а кричать не надо. Нужен стол. Где у вас стол?

Сеймур и Гахраман перенесли Алби в кочегарку и уложили на стол. На траве там, где лежал Алби, осталась лужица запекшейся крови. Доктор посмотрел на нее и покачал головой.

Осторожно прикасаясь пальцами, он ощупал рану, позвоночник, после чего, ухватившись за хвост у самого основания, несколько раз с усилием нагнул его в разные стороны. Хвост каждый раз возвращался в прежнее положение. По-видимому, доктору это понравилось, но не Алби, он заскулил сильнее.

— Нравится не нравится, терпи. Я хоть не ветеринар, но могу сказать, что позвоночник цел. Будет ходить, бегать и прыгать. Займемся раной.

— Хотите, я вам помогу, — предложил Сеймур. — Вообще-то он не кусается.

— А почему он меня должен кусать? Он умный пес и чувствует, что я хочу купить ему кусок говяжьей печенки, — нарочито льстивым голосом сказал доктор. Разговаривая, он вытаскивал из раны дробинки. — Дробь мелкая, на перепелов, кучное попадание, — он вынул последнюю дробинку и смазал рану какой-то мазью с острым неприятным запахом, после чего плотно перебинтовал бедро. Вскипятив на плите воду в металлической коробке со шприцем и иглами, доктор сделал в раненое бедро укол. — Обезболивает и успокаивает, — объяснил он Сеймуру. — Со стола он может во сне свалиться, лучше уложить его на полу. — Теперь слово за природой, — он слил в раковину воду из коробки со шприцами и собрался уходить. — Кто это сделал? Говори!

— А я откуда знаю?! — обиделся Гахраман. — У всех уже привычка такая, как что, так Гахраман.

— Не кричи. Будешь кричать и врать — у тебя вырастет хвост. Здесь у многих уже хвосты выросли, под одеждой незаметно пока, — для Сеймура доктор счел нужным дать дополнительное пояснение. — Удивительная история, здесь все врут, микроклимат, наверное, здесь такой.

— Я вам очень благодарен, — сказал Сеймур,— но врачу полагается гонорар. Скажите, пожалуйста, сколько я должен?

— Ну вот, — сказал доктор,— я вам собаку лечу, а вы мне говорите обидные вещи. Завтра утром зайду, посмотрю, как больной себя чувствует. До свидания.

— Гахраман, я и сам догадываюсь, кто это сделал, — оставшись наедине с охранником, сказал Сеймур. — Но мне надо знать точно. Ты видел, кто ранил собаку? Говори, ты же знаешь, я тебя не выдам.

— Кто? Ты думаешь, доктор, сам не догадался, что это Самандар? Еще посмотрим, у кого хвост вырастет! — сказал Гахраман.

— Алби лаял на него?

— Алби смотрел в сторону столовой, он ждал тебя. Самандар и Газанфар проходили мимо. Самандар прицелился и выстрелил, а мне сказал, что пошутил. Когда собака упала и задергала ногами, они засмеялись и ушли.

— Гахраман, мы же с тобой друзья? Ты мне разрешишь на полчаса, от силы на сорок минут, отлучиться из совхоза. У меня срочное дело в сельсовете. Вполне официальное.

— Что я могу сказать? Иди, только не задерживайся.

Расстояние до сельсовета он пробежал на одном дыхании. Самандар был в кабинете один. При виде Сеймура он оторопел от неожиданности и смотрел на него так, как будто увидел привидение.

— Ты, ты как здесь оказался? — сказал он, прежде чем Сеймуру удалось перевести дыхание. — Тебя кто выпустил из совхоза?

— Ты почему стрелял в мою собаку? — Сеймур старался говорить спокойно.

— Посмотрите на этого обнаглевшего зэка! Ты с кем разговариваешь? «Почему стрелял в мою собаку?»— передразнил он Сеймура. Потому что она такая же наглая, как ты, жалею, что не убил. А я тебе разрешал заводить собаку?.. Всегда говорил и буду повторять, что никого напрасно не сажают! Все-таки ты очень наглый негодяй! И опасный, я тебя сразу раскусил, — он потянулся к телефону. — Сейчас, сейчас... Сперва посидишь до суда месяц в карцере, а потом тебя навсегда отправят куда надо. — Он набрал номер, но на другом конце провода трубку не взяли.

— Не отвечают? — сочувственно спросил Сеймур. — Тебе очень не повезло, что не отвечают.

— Дозвонюсь, не сомневайся! Свое получишь. Сполна, — уверил его Самандар. — Ты чего это?! — он вскочил, с шумом отодвинув кресло, и уставился на Сеймура, когда тот обошел стол и подошел к нему вплотную.

— Не надо было стрелять в собаку! — с сожалением сказал Сеймур и тут же сделал, наконец, то, что давно ему хотелось. С Самандаром он был одного роста и тот стоял неподвижно. При таких условиях качество удара всем корпусом правой в Самандарову челюсть признал бы безупречно правильным даже его институтский тренер Агаларов. И тут же почти одновременно с ударом в челюсть он сделал то, что

до глубины души возмутило бы любого тренера, с размаху ударил ногой Самандара в пах. Обмякшее тело он подхватил в падении и, обхватив его толстую шею правой рукой, несколько раз ударил квадратной головой о стену, монотонно приговаривая при этом: «Не будешь больше стрелять в собак, не будешь делать гадости людям, не будешь стрелять в собак, не будешь...».

Он отпустил шею, и вместе с ней на пол рухнуло все остальное. Самандар лежал на спине посередине своего кабинета с закрытыми глазами, из его носа стекала на мундир тонкой струйкой кровь. С давно не испытываемым чувством удовлетворения Сеймур подошел к умывальнику и умылся. О неизбежных последствиях происходящего он думал, но не испытывал при этом ни малейшего страха. Сеймур потянулся за полотенцем и вдруг увидел, что Самандар очнулся и внимательно наблюдает за ним. Тот сразу же закрыл глаза, но было уже поздно.

— Ах ты, мошенник! — наклонившись над ним, с легким упреком сказал Сеймур. — Прошел, значит, у барышни обморок, а она молчит?

Несмотря на шутливый тон, Самандар истолковал эти слова как сигнал опасности и машинально закрыл лицо руками.

— Бить не буду. Я уже руки вымыл, — успокоил его Сеймур. — Пожалуй, побегу. Ты можешь себе такое представить, какой-то мерзавец ранил мою собаку? Вот вспомнил сейчас, и меня всего опять затрясло от злости. Ты случайно не знаешь, кто бы это мог быть? Знаешь?

Самандар с сожалением покачал головой, проникновенным взглядом давая собеседнику понять, что он скорбит вместе с ним, но ему, Самандару, ничего по поводу раненой собаки неизвестно.

Выйдя из кабинета, Сеймур увидел во дворе Газанфара, который, судя по дымящимся судкам на большом подносе, привез Самандару обед.

— Ты здесь прогуливаешься, а твой больной дядя как раз в этот момент лежит без сознания в кабинете на полу, — сообщил ему Сеймур. — Если помрет, тебе от этого лучше не будет.

Побледневший Газанфар застыл на месте.

— Как болен? Что с ним?

— Уши. Нужно срочно сделать горячий компресс на оба уха. Иначе помрет от боли. Сковородка у тебя есть? Надо на сковородке сильно нагреть соль, завернуть ее в тряпочку и приложить поочередно к обоим ушам. Беги! — несмотря на сочувственный тон Сеймура, Газанфар все-таки насторожился.

— А ты что здесь делаешь?!

— Блестящую карьеру я здесь делаю... А дядя твой как раз в эту минуту помирает в судорогах. Беги, дурачок, пока не поздно!

Газанфар положил поднос на землю и, невнятно причитая, побежал к крыльцу.

Охранник Гахраман ждал Сеймура у ворот.

— Я боялся, что тебя не отпустят, — с заметным облегчением сказал Гахраман.

— Кто меня не отпустит?

— Как кто? Самандар! Я боялся, что тебя посадят за то, что ты ушел, а меня за то, что я тебя выпустил. Стоял и ждал прихода Самандара или Газанфара, а тут смотрю, ты идешь, обрадовался.

— Рано обрадовался. Все еще впереди, — пообещал Сеймур. — Ты не знаешь, Фаталиев здесь?

— С утра здесь и никуда не уходил. Он весь день у себя в лаборатории.

— Ладно, пойду к Фаталиеву. Гахраман... Если у тебя будут неприятности, вина моя, извини.

— Если будут неприятности, какая мне разница, кто виноват, — подумав, сказал Гахраман.

Прежде чем идти в лабораторию, он зашел в кочегарку проведать раненого.

Алби не спал. Завидев Сеймура, пес попытался встать и слабо вильнул хвостом, а когда Сеймур наклонился долить в поилку свежей воды, все-таки изловчился и лизнул его в нос.

Фаталиев что-то объяснял двум лаборанткам. Марьям не было. К приходу Сеймура он отнесся как к обычному явлению, скорее даже приятному, приветливо улыбнулся и провел его в свой кабинет.

Сеймур сказал, что пришел к нему с просьбой. Дело необычное, но для него,

Сеймура, чрезвычайно важное. Обратиться, кроме Фаталиева, не к кому. После этого, давшегося с трудом предисловия, он попросил Фаталиева позаботиться о собаке в связи с предстоящим отсутствием ее хозяина. Просил в убедительных и теплых выражениях.

— С твоей собакой все уладится. Я обещаю. Теперь поговорим о тебе, дорогой друг. Может быть, расскажешь, что произошло?

Слушая Сеймура, общественный представитель внутренних органов Ахлиман Фаталиев старел на глазах.

— А нельзя было без этого обойтись? — спросил он, так как будто теперь это могло иметь значение.

— Нет. Невозможно.

— Понимаю. Ты из-за минутного удовольствия поставил под угрозу свое будущее, а может быть, даже жизнь. Скажу честно, я растерян. Ты понимаешь, что с минуты на минуту за тобой должны прийти? Так... Давай-ка подумаем вместе. Прежде всего Самандар должен поставить в известность товарища Назимова. Обязан!.. Хорошо бы, если бы мне удалось встретиться с ним раньше Самандара.

— А что это даст? — усмехнулся Сеймур.

— Хоть что-нибудь, может быть, и даст... Надо использовать любую возможность. Ты посиди здесь, а я поднимусь в кабинет директора и позвоню товарищу Назимову. Конечно, это не телефонный разговор, но позвонить надо. Расскажу ему, что произошло, и попрошу его...

— О чем? — невесело усмехнулся Сеймур.

— Еще не знаю, — откровенно признался Фаталиев. — Но просить буду.

— А может, не надо просить Назимова. Мне не поможете, а Назимов, если ему понадобится, вашу просьбу может использовать против вас. Я знаю о таких случаях.

Фаталиев улыбнулся.

— Спасибо за заботу о судьбе престарелого товарища. Жди меня здесь и никуда не уходи.

На телефонный разговор Фаталиева с Назимовым Сеймур никаких надежд не возлагал. Да и ко всему, что может произойти, он относился с надежно выработанным безразличием. Но теперь он был спокоен, потому что Фаталиеву он верил и был убежден, что собака на улице не останется.

Фаталиев вернулся минут через двадцать. Он не скрывал удивления.

— Товарищ Назимов узнал о том, что произошло в кабинете Самандара, только сейчас от меня. Самандар ему еще не звонил. Это удивительно... Странно и подозрительно. Слушай, ты его случайно не убил?.. Ладно, будем ждать приезда товарища Назимова.

— А директор совхоза вам что сказал?

— Директор, когда я прихожу звонить, сразу выходит из кабинета. Я ведь хоть и общественный, но как-никак уполномоченный органов внутренних дел, — усмехнулся Фаталиев. — Уважают.

Лаборантка принесла им чай. Сеймур удивился, увидев, что вместо чая она принесла стаканы с кипятком. Все объяснилось, когда Фаталиев пинцетом вынул из маленькой картонной коробочки несколько тычинок шафрана и опустил их в оба стакана. Каждый стакан он накрыл блюдцем, для того чтобы, по его словам, чай настоялся.

— Это своего рода научный эксперимент. Причем исключительно приятный. Настой шафрана — стимулятор нервной системы, — объяснил он Сеймуру. — После шафранного чая у большинства людей улучшается настроение и нормализуется давление крови. Все данные мы заносим в этот журнал. Сейчас впишу в него и твое имя.

Сеймур выпил чай необычного рубинового цвета, но настроение его после этого не изменилось.

— Стабильный эффект наблюдается спустя две недели каждодневного употребления: шафран — замечательное растение. А вы знаете, как выглядит отравление от больших доз шафрана? Если стакан шафрана залить кипятком и полученный настой выпить, то у человека начнется неудержимый приступ смеха, который через полчаса закончится параличом органов дыхания.

— Это как от укуса тарантула? Или я что-то путаю, но где-то еще в той жизни я

читал, что укушенные тарантулом перед смертью не то заливаются смехом, не то танцуют. Считается, что так произошло название танца — тарантелла. Конечно, я что-то перепутал. — попытался предложить свою версию Сеймур.

Фаталиев неопределенно пожал плечами:

— Может быть. Но не на Кавказе. Это в Америке или Африке укус тарантула смертелен. Здешние тарантулы помельче — их яд не смертелен. Меня лет десять назад в мингечаурской степи укусил за плечо тарантул. Смеяться и танцевать не хотелось, я только корчился от боли. И осложнений с дыханием не было. Через несколько дней прошло.

Сеймур чувствовал, что, затеяв беседу о шафране и тарантуле, Фаталиев что-то обдумывает:

— Не скрою от тебя, мне вот что интересно. Самандар сильное и злобное животное. Здешним крестьянам и рыбакам он известен как большой любитель рукоприкладства. Его здесь все боятся. А у тебя на лице ни царапинки. Как это получилось? — с сомнением в голосе спросил Фаталиев.

— Не знаю. — Сеймур улыбнулся. — Может быть, все дело в раненой собаке.

— Значит, из-за раненой собаки... Удивляюсь, что Самандар не застрелил тебя в своем кабинете. Ему никто слова не сказал бы... Ну ни одной царапинки. Ты просто неправдоподобно везучий, — невесело усмехнулся Фаталиев. — Ладно, пусть так. Поглядим, чем это везение обернется завтра.

Они попрощались. Фаталиев был встревожен и не старался это скрыть — от завтрашнего дня хорошего он не ждал.

Сеймур около часа простоял в саду перед зданием. Ему очень хотелось перед неизбежным отъездом попрощаться с Марьям, но ее нигде не было видно.

Ночью Алби мучили тревожные сны, он жалобно поскуливал, в перерывах на кого-то лаял, но как только Сеймур подошел к нему, замолчал. По тому, как он в один прием проглотил вчерашнюю котлету, было видно, что проснулся он в хорошем настроении. Нос его был все еще теплый и сухой. Но глаза были блестящие, и смотрел он ими на своего хозяина как всегда с обожанием и вполне жизнерадостно.

Кто-то постучался. Сеймур распахнул дверь, это пришел доктор Аслан. Он принес своему пациенту обещанный подарок, увесистый кусок свежей печени. Состоянием здоровья Алби он остался доволен, сказал Сеймуру, что через неделю-другую здоровье восстановится полностью.

После ухода доктора Сеймур позвал собаку на прогулку, отозвалась она с готовностью, но во двор вышла, заметно прихрамывая на заднюю ногу.

— Итак, что мы имеем? — сказал Сеймур. — Теперь мы хромые, причем оба на левую ногу. Вижу по морде, тебе это кажется смешным. А вот мне, скажу тебе откровенно, в ожидании приезда Назимова и сопровождающих лиц совсем не смешно.

Назимов приехал утром. Чувствовалось, что настроение у него плохое, обычно бледное лицо было землистого цвета, а в полумраке кочегарки казалось зеленоватым и еще более исхудавшим. Он усадил Сеймура за стол напротив окна и некоторое время с нескрываемым интересом молча разглядывал его.

— Расскажите, что произошло после того, как вы самовольно покинули территорию совхоза, — сказал он, выложив на стол блокнот и ручку. — Предупреждаю, ничего не скрывая.

Сеймур подробно рассказал обо всем, что произошло в сельсовете. Назимов внимательно слушал, но ничего не записывал.

— Теперь покажите, как именно вы били Самандара. Подробно. Итак, он сидел за письменным столом, вы подошли к нему, он вскочил... Показывайте!

Сеймур изобразил удар правой в челюсть, после чего предельно похоже показал, как ударил его ногой в пах.

— С размаху, значит, ногой в пах? — потирая руки, но все тем же сухим тоном уточнил Назимов. — Удар был нанесен вами, наверно, вполсилы? Удар с размаху ногой в пах, это вам не шутки!

Сеймур упираться не стал.

— Можно сказать, бил в полную силу. — Он чуть не онемел от удивления, когда ему вдруг показалось, что Назимов слушает его с откровенным выражением удовольствия на отчасти порозовевшем лице.

Властным жестом он прервал дальнейшее повествование Сеймура в той части событий, в которой произошла встреча с Газанфаром.

— Не отвлекайтесь! Итак, сколько раз вы ударили Самандара головой о стену?

— По-моему, три-четыре раза, — подумав, сказал Сеймур.

— Что значит, по-моему? Точнее!

— Четыре раза.

— А когда он лежал на полу, сколько раз вы его пнули ногой?

— Ни разу.

— Почему? — заинтересовался Назимов. — Как могло произойти, что вам вдруг расхотелось?

— Ну... он уже лежал и еще мне показалось, что он сильно напуган, наверно, поэтому.

— Неубедительно, — Назимов недовольно пожевал губами. — Он лежал на спине?

— Да.

— Вот мне непонятно, почему в самый подходящий момент вы его не пнули ногой в ребра, хотя бы два-три раза. Это странно... Вы отдаете себе отчет в содеянном? — спросил Назимов. — Вам известно, что нападение зэка на представителя власти строго карается законом? Вплоть до высшей меры!

Сеймур в ответ молча кивнул головой.

— Это хорошо, что знаете. Не забывайте об этом!

Назимов позвал водителя и попросил его позвать товарища Фаталиева.

Дознание в устной форме продолжилось и после прихода Фаталиева.

— Что у вас здесь происходит, достопочтенный товарищ Фаталиев?! По дороге в совхоз я заехал в сельсовет и что? Пусто, никого нет. А племянник руководителя совхоза официально сообщил мне, что товарищ Калантарлы вчера был отправлен домой в связи с полученными травмами. Он представил мне справку из районной поликлиники. В справке, заверенной главврачом, указано, что у Самандара Калантарлы обширная гематома на волосистой части головы, подозрение на сотрясение мозга, повреждение левой лицевой кости, а также обширный отек и воспаление мошонки. В связи с чем Калантарлы на весь период лечения в стационаре освобожден от работы. Племянник официально утверждает, что все эти повреждения были получены на его глазах при падении товарища Калантарлы лицом вниз со скалы на другую, нижестоящую скалу во время охоты. Не понимаю, почему в рабочее время руководитель сельсовета охотится? На кого этот проходимец охотился?

— На уток, товарищ Назимов, на диких уток.

— Вы составили список свидетелей происшествия?

— Кроме племянника, ни одного свидетеля не было. Надо его опросить?

— Племянник уже дал показания, собственноручно в письменной форме... — сухим тоном сказал товарищ Назимов. — Настоятельно прошу вас, дорогой товарищ Фаталиев, в будущем во избежание недоразумений предоставлять мне сведения о таких серьезных происшествиях своевременно.

Фаталиев в ответ молча кивнул головой. Вид у него был растерянный. Возникла долгая пауза, в конце которой Назимов встал, давая понять участникам расследования, что вопросов у него к ним не осталось.

Он попрощался, обменявшись рукопожатием не только с Фаталиевым, но почему-то и с Сеймуром. Перед тем как уйти, Назимов подошел к Алби, который насторожился при его приближении, но не зарычал.

— Сразу видно — славный песик! Как сказал товарищ Дзержинский на слете передовиков пограничников — собака верный друг человека,— одобрительно повторил Назимов слова Дзержинского, упорно не замечая запачканную кровью повязку на бедре друга. — Как зовут собачку?

— Алби, — сказал Сеймур.

— Алби. Интересно. Это что, сокращенно от Альбиона? От туманного Альбиона. В честь Великобритании?

— Не совсем, — опередив Сеймура, осторожно объяснил Фаталиев. — Кличка в память небольшого города Алби во Франции. Там мэр города коммунист.

— Это правильно, товарищ Фаталиев, — продолжил Назимов, не отходя от Алби, — что вы разрешили завести при кочегарке служебную собаку. Но хорошее дело

надо доводить до конца. Поэтому обратитесь, пожалуйста, от моего имени к директору совхоза, пусть он обеспечит собаку Алби довольствием наряду с другими сторожевыми собаками совхоза.

Алби все-таки глухо заворчал, но Назимов пожелал истолковать это как проявление благодарности.

— Все-таки очень умная собака,— сказал он и в сопровождении Фаталиева вышел из кочегарки.

Сеймур пошел провожать Фаталиева.

— Должен вам признаться, я ничего не понял, — сказал Сеймур.

Прежде чем заговорить, Фаталиев по привычке оглянулся по сторонам.

— Это потому, что вам ничего не известно об отношении товарища Назимова к Самандару Калантарлы. Я вам кое-что расскажу, но, надеюсь, все это останется между нами, — он говорил громким шепотом. — Назимов терпеть не может Самандара и откровенно презирает его еще с тех пор, как Самандар работал в органах. В то время Самандар был начальником закрытого лагеря строгого режима под Кировабадом. В основном там содержались бывшие чекисты и бывшие работники милиции и прокуратуры. Как стало известно позже, Самандар в течение трех лет занимался самоуправством, за малейшую провинность собственноручно истязал заключенных. Ему не только все сходило рук, за семь лет службы ему дважды объявляли благодарность. Он вошел во вкус и незаконно застрелил оскорбившего лично его заключенного, якобы при попытке к бегству. Дело получило огласку, и его отстранили от занимаемой должности.

— Все это произошло после того, как расстреляли товарища Берию?

— Бывшего товарища Берию. До того. Мне рассказывали, что, давая показания офицерскому суду чести в центральном аппарате НКВД, Самандар свои действия объяснял желанием укрепить дисциплину, полностью расшатавшуюся при прежнем руководстве. Чекисты лишили его звания майора, и он с позором был изгнан из системы органов внутренних дел. Вот и все. Самандар оказался в Амбуране председателем сельсовета только благодаря родству с Афрасиабом Куткашенлы, который возглавляет наш район.

— А Назимову известно, что здесь вытворяет Самандар?

— Товарищу Назимову известно все! — внушительно сказал Фаталиев. — Но против Самандара он бессилен. Самандар политически подкован, неоднократно доказывал преданность партии. И самое главное — первый секретарь сталинского райкома партии товарищ Куткашенлы женат на сестре Самандара. Он всеми уважаемый и очень влиятельный человек в республике.

— Согласен. Товарищ Назимов, несомненно, доволен ухудшением здоровья Самандара, в конце концов я сделал то, что хотелось бы сделать ему. Но с какой стати товарищ Назимов сделал вид, что поверил в историю с охотой. Ведь, арестовав меня, товарищ Назимов мог бы получить дополнительное удовольствие от выполнения служебного долга.

— Не все так просто, не все так просто. Я все время над этим думаю, — признался Фаталиев. — Товарищ Назимов всегда был законником. Согласен, сегодня он повел себя странно.

Все это действительно выглядело странным и необъяснимым, и Сеймур вдруг подумал, что, может быть, где-то вдалеке от шафранного совхоза происходят какие-то события, о которых ни Фаталиеву, ни ему здесь ничего не известно.

— Как в Тайшете, — вслух подумал Сеймур.

— Что в Тайшете? — спросил Фаталиев.

— Там тоже иногда происходили необычные явления, — туманно пояснил Сеймур.

На прощанье Фаталиев сказал Сеймуру, что прежде всего он зайдет к директору совхоза, чтобы передать пожелание Назимова об официальном выделении продовольственного пайка и ошейника служебной собаке по кличке Алби.

Вернувшись в кочегарку, он поздравил «служебную» собаку с переходом на казенное довольствие, а затем включил радио. Из Москвы передавали последние известия. То, что услышал Сеймур, показалось ему невероятным: «В Баку в клубе имени Дзержинского сегодня начался судебный процесс по делу бывшего первого

секретаря Центрального комитета компартии Азербайджана Мир Джафара Багирова. Государственным обвинителем на суде выступает товарищ Руденко».

Он не мог усидеть в кочегарке и в надежде что-то узнать отправился к Фаталиеву. Сообщение Сеймура Фаталиева расстроило.

— В Азербайджане все очень удивились, когда его без всяких объяснений сняли с работы, а теперь... Вы не ошиблись, вы сами слышали, что товарища Багирова судят?

— Нет, конечно, не ошибся.

— Непонятная история, непонятная с начала до конца. На своем посту он сделал для страны столько хорошего. Все, что было сделано во время войны в Азербайджане, — это его заслуга, а теперь судят! — Фаталиев был потрясен и не скрывал этого.

— Его сын в Баку живет? Меня с ним в один день отправляли на фронт.

— С войны он не вернулся. Сообщили, что он геройски погиб на фронте... Значит, Багирова судят? Невероятно! Теперь я понимаю, чем сегодня был так расстроен товарищ Назимов.

— Вы давно знакомы с Назимовым?

— Шесть лет. Мы познакомились шесть лет назад, когда совхоз наводнили крысы. Тысячи крыс кишели на полях, они пожирали все, что им попадалось на пути, съедали побеги и цветы, выкапывали луковицы шафрана. Руководство района обращалось за помощью в министерство сельского хозяйства, в республиканскую санэпидстанцию. Специалисты приезжали, изучали обстановку, что-то каждый раз делали, но результатов от их деятельности не было. Крыс травили ядом, ставили десятки капканов, а их становилось еще больше. От посевов шафрана в тот год ничего не осталось. Это было невиданное бедствие, катастрофа. Единственное в Советском Союзе шафранное хозяйство безнадежно погибало на глазах. А для меня это была личная трагедия, рушилось дело всей моей жизни Тогда я написал письмо в НКВД. Кроме меня, никто не согласился его подписать, отговаривали и меня. Я поехал в город и там передал его дежурному у входа. На следующий день приехал товарищ Назимов. Так мы познакомились. Он вместе со мной походил по полям и уехал. А еще через два дня на нескольких автобусах приехали люди не то в комбинезонах, не то в скафандрах. Судя по всему, военные, целый полк. Они эвакуировали с территории всех служащих, даже сторожевых собак заперли в здании, и приступили к обработке полей. Скажу вам, зрелище очень неприятное! Что они там делали, не знаю, могу только сказать, что ядохимикаты они не употребляли. Команда из двенадцати человек на с виду бронированных машинах работала всего три дня. Это при том, что площадь полей составляет почти сто гектаров. Крысы выскакивали из нор и в судорогах умирали на поверхности. Свыше двухсот тысяч дохлых крыс. В тот же день их всех до одной собрали люди в защитных костюмах и увезли в закрытых контейнерах. Товарищ Назимов сказал мне, что это новейшее экспериментальное оружие. Решили вначале испытать его на крысах. Прошло шесть лет, хозяйство полностью восстановилось, а на всей территории совхоза невозможно найти ни одной крысы. Все благодаря Назимову. Вот тогда-то он официально был назначен куратором нашего поселка. Я всю жизнь буду благодарен ему и его организации. Я вам говорю со знанием дела: если бы не НКВД, единственный шафранный совхоз давно прекратил бы свое существование.

— И вы с тех пор общественный представитель внутренних органов?

— Я всегда чувствовал, что тебе это не нравится!

— Нравится, честное слово, нравится, — искренне сказал Сеймур. — Насчет органов не скажу ни слова, а вот должность общественного руководителя мне нравится. Зарплата хорошая?

Фаталиев сказал, что зарплату ему не платят, но дал понять, что общественный представитель обладает кое-какими льготами и при этом пользуется подчеркнутым уважением и поддержкой начальства по всем вопросам, связанным с его основной служебной деятельностью, в том числе и бытовыми проблемами, время от времени возникающими у его сотрудников.

Преимущества звания общественного представителя подтвердились, когда Фаталиева стали приглашать на заседания суда во дворце имени Дзержинского. Рассказывал об этом событии он взволнованно, местами даже с восхищением.

— Ты не представляешь себе, как он себя достойно ведет! Вместе с ним по делу проходят бывшие руководители НКВД и МВД Сумбатов-Топуридзе и Атакишиев — ничтожные трусливые люди. На глазах огромного зала чуть ли не на коленях умоляли о снисхождении, Атакишиев — тот даже заплакал. А ты знаешь, как на это отреагировал товарищ Багиров? Он рассердился и сказал Руденко: «Оставь их в покое, ты-то знаешь, что они выполняли только мои приказы! И ответственность за все несу только я!». С генеральным прокурором Руденко он разговаривал на «ты», а тот неизменно обращался к Багирову на «вы». Причем каждый раз непременно вежливо, и в спор с ним не вступал, только каждый раз говорил: «Это ваше показание, гражданин Багиров, будет приобщено к делу». В зале все понимали, что генеральный прокурор Руденко, которому прекрасно известно, что товарищу Багирову признаваться не в чем, вынужден вести процесс на пустом месте. Неужели его могут признать виновным? — он почему-то с надеждой посмотрел на Сеймура, но тот молча покачал головой. Благодаря опыту, полученному в лагере, он был уверен, что по причинам, неизвестным непосвященным вроде Фаталиева, система отторгла Багирова, и он обречен, а суд — это всего лишь зрелище для тех, кого система допустила в зал. Фаталиев испытующе посмотрел на Сеймура. Ему явно хотелось что-то сказать, но решился на это он не сразу:

— Сеймур, я вам доверяю... Мой старый друг, он член ЦК компартии Азербайджана, рассказал мне, что товарищу Багирову на следующий день после ареста Берии звонил из Москвы товарищ Хрущев и спросил его мнение о Берия, которого должны были судить как врага народа и агента международного империализма. На это Багиров сказал, что он знает Лаврентия Берию по совместной работе в Баку и Москве как верного ленинца, который всю жизнь боролся с врагами народа в мирное время, а с первого дня войны стал одним из организаторов победы советского народа! Багиров был готов представить в Политбюро свое мнение о Лаврентии Берии в письменном виде, но товарищ Хрущев его предложение отклонил, сказал, что необходимости в этом нет. Может быть, его поэтому решили устранить?

— То есть потому что Багиров не согласился с Первым секретарем ЦК КПСС?

Хмурый Фаталиев в ответ кивнул.

— Да. Как член партии, он, конечно, нарушил субординацию. Это серьезный проступок, но не преступление. Может быть, за это следовало дать ему выговор по партийной линии или с учетом былых заслуг перед партией и государством ограничиться устным порицанием, но не судить. Судить его не за что. Я же сам был на суде. Его обвиняют в преступлениях, которые он не совершал. Багирову памятник надо поставить при жизни, а его судят!

— Неизвестно еще, чем суд закончится. Неужели вы можете подумать, что в нашей великой стране средь бела дня могут ни в чем не повинного человека отправить в тюрьму или еще хуже в концлагерь, где ни за что ни про что будут всячески унижать и подвергать нечеловеческим мучениям. — Сеймуру не хотелось, чтобы в его голосе прозвучала ирония, и, кажется, ему это удалось.

Побледневший Фаталиев ответил не сразу. Сеймур уже жалел, что поставил в трудное положение убежденного коммуниста, общественного уполномоченного внутренних органов безопасности республики.

— Да, я могу так подумать. По всему видно, что Багирова признают виновным, — твердо сказал Фаталиев, не оглядываясь по сторонам, как он обычно это делал, разговаривая на сомнительные, по его мнению, темы.

— Отец мне рассказывал, что Берия и Багиров до революции в Баку вместе работали в каком-то учреждении, забыл только где, — чтобы отвлечь Фаталиева от темы несправедливости, вспомнил Сеймур.

— До революции при мусаватском правительстве Мир Джафар Багиров служил начальником полиции, а Лаврентий Павлович был его заместителем. Они были друзьями, — безучастным голосом подтвердил Фаталиев.

— Значит, он защищал друга. Багиров поступил как благородный человек. Он-то, наверно, понимал, чем ему это грозит, — сказал Сеймур, но Фаталиев ничего не ответил. Он сидел, молча уставившись перед собой неподвижным взглядом.

Судебный процесс закончился в апреле. Врага народа Мир Джафара Багирова приговорили к расстрелу, и Президиум ЦК КПСС с решением суда согласился. А еще

через месяц, в мае 1956 года, диктор сухим безразличным голосом зачитал по радио сообщение о расстреле.

По мнению Фаталиева, в стране происходят странные события и трудно представить, к чему это приведет. Чтобы как-то утешить его, Сеймур вспомнил, с каким восхищением говорил о Багирове отец.

Постепенно тема расстрела Багирова иссякла, и Сеймур совсем было собрался уходить, но Фаталиев его задержал. Они пили «экспериментальный» шафранный напиток, и Фаталиев рассказал Сеймуру о своем впечатлении после случайной встречи с Самандаром.

— Я его три месяца как не видел, а сегодня так просто с первого взгляда не узнал. Даже походка изменилась. С первого взгляда видно, что у Самандара пропал кураж. Сеймур, а тебе его совсем не жалко?

Сеймур чуть не поперхнулся.

— Вы меня удивили. Вы считаете, я должен его жалеть?

— Самандар — человек, несомненно, мерзкий, и ты абсолютно правильно поступил с ним. Но, когда прошло время, ты не думаешь о том, как ему теперь непросто здесь жить.

— И вы его жалеете.

— Сам удивляюсь. До сегодняшней встречи мне в голову не пришло бы его пожалеть. Это при том, что я продолжаю думать, что он получил по заслугам. А сегодня я вспомнил, что у него есть жена, дети. Подумал, как к нему теперь относятся подчиненные. До той встречи с тобой у всесильного Самандара в Амбуране было прозвище «танк»... Он и был вроде танка на самом деле. Ты можешь понять, почему Самандар не сообщил о том, что лишенный прав зэк до полусмерти избил его, председателя сельсовета, в его же собственном кабинете? Стоило ему пожаловаться, неизвестно что с тобой сделали бы. Вернее, известно.

— Если вы не можете догадаться, почему он на меня не донес, — усмехнулся Сеймур,— то мне это уж точно не под силу. Я только удивляюсь и жду, когда он донесет.

— Ему было стыдно, ему до сих пор стыдно. Ни товарищу Назимову, ни своему родственнику Куткашенлы он не мог сказать, что в его собственный кабинет, прихрамывая, пришел посторонний дистрофик и в одиночку избил его так, что он не мог ни ходить, ни разговаривать.

— Почему это я дистрофик? — удивился Сеймур.

— Потому что ты весишь килограммов на двадцать-двадцать пять меньше, чем полагалось бы... Извини, дистрофика я добавил ради эффекта. Сеймур, вы меня сбиваете с мысли! Так вот теперь все это откуда-то стало известно в Амбуране. Он из сельсовета теперь почти не выходит, знает, что втихомолку над ним все смеются.

— А от кого бы амбуранцы могли узнать, что Самандара избили? — Сеймур испытующе посмотрел на Фаталиева. — Знали только вы, Назимов, Газанфар и я. Кто, по-вашему, мог оповестить местное население?

— Вот именно, — усмехнулся Фаталиев.

Оба были уверены, что население было оповещено стараниями товарища Назимова.

— Значит, пострадавшему Самандару вы сочувствуете? А меня, например, вам не жалко? — изобразив простодушие, полюбопытствовал Сеймур.

— Тебя-то за что? — удивился Фаталиев.

— Ну, как за что? — замялся Сеймур, он уже жалел, что заговорил об этом с Фаталиевым. — Вам же все обо мне известно.

Фаталиев внимательно посмотрел на него:

— Да. Но только ты не рассчитывай, что за все твои тяжкие испытания тебя кто-нибудь пожалеет.

— Да я и не хочу, чтобы меня кто-то жалел, — возмутился Сеймур. — Я же сказал — например! Я убежден, что если уж кого жалеть, то тех, кто был покалечен на войне или без вины заживо был похоронен в лагере, а не крокодила Самандара. Например, товарища Багирова, которого на ваших глазах несправедливо приговорили к расстрелу, вам не жалко?

— Нет, конечно. Как его можно жалеть. Багиров, к твоему сведению, сильный, значительный человек. Таких людей не жалеют. Я уверен, что, если бы Мир Джафар Багиров почувствовал, что его кто-то жалеет, для него это было бы хуже расстрела.

Кто-то сейчас радуется и злорадствует, кто-то возмущается тем, как с ним обошлись, но чтобы его не дай бог жалели, он не заслужил. Пойми, что бы с человеком ни произошло в жизни, сущность его от этого не меняется. К чему я это говорю? Таких, как ты, дорогой мой Сеймур, не жалеют. В каком бы ты тяжелом положении ни оказался, всегда найдутся люди, которые тебе будут завидовать.

— Приятная шутка, — усмехнулся Сеймур. — В меру веселая и неожиданная.

— Никаких шуток, — серьезным тоном сказал Фаталиев. — Тебе известно, что всем людям, скажем, подавляющему большинству, непременно свойственны такие качества, как зависть и жалость?

— Возможно, — Сеймур пожал плечами.

— Поверь, это не я придумал! Так вот, мир устроен так, что на жалость способны только сильные люди по отношению к слабым. А на зависть обречены слабые. Они завидуют сильным, это неприятное чувство, иногда мучительное, но избавиться от него в редчайших случаях удается только тому, кто становится сильным сам.

Сеймур вдруг обнаружил, что слушает Фаталиева с интересом.

— И что, неужели не встречаются люди, никогда не испытывающие зависти или жалости? В виде исключения хотя бы.

— Среди обычных нормальных людей таких исключений не бывает. Понял? Так что ни от кого жалости не жди. Ты не тот человек. А завидовать тебе будут.

— Если хоть раз встречу безумного человека, который в чем-то мне позавидует, я вам обязательно расскажу, — усмехнулся Сеймур.

На этом беседа на научные темы прекратилась, и Сеймур ушел. При виде хозяина Алби вначале исполнил, как всегда при его возвращении, радостный танец, а затем уткнулся ему в колени. Сеймур положил ему руку на голову, и Алби замер от счастья.

— Как хорошо, что ты не способен жалеть или завидовать, — серьезным тоном сказал ему Сеймур.

Они еще долго сидели рядом, человек и собака, которая умеет только любить, молча смотрели на вечернее небо и думали каждый о своем.

В пятницу она опоздала. Было девять часов, когда залаял Алби. То был особый радостный лай, перемежаемый визгом, которым он каждый раз встречал ее, прежде чем она успевала постучаться в дверь.

В каждую их встречу его охватывало ощущение праздника, на смену грустных мыслей приходила уверенность, а надежды на будущее при ней обретали туманные очертания далеких, но приятных событий. Сегодня она выглядела очень уставшей, Не улыбнулась и уклонилась, когда он хотел ее обнять. Сеймур спросил, чем она расстроена.

Оказалось, что Марьям беременна. Она сказала, что ее ребенок будет носить фамилию мужа, который никогда не узнает, что ребенок не от него. Для нее всегда семья была главной ценностью жизни, и она ее должна сохранить любой ценой. Еще она сказала, что пришла попрощаться. Сеймура она никогда не забудет, но сюда больше не придет.

Неожиданное известие о ребенке отозвалось в нем неизведанным прежде ощущением. Он был оглушен, но при этом в беспорядочном ворохе мыслей одна отчетливая все-таки промелькнула — он подумал, что ему нечего ей предложить, кроме нищенского существования в кочегарке с бесправным человеком без паспорта.

Она сказала, что ей будет очень тяжело без Сеймура, но она окончательно решила расстаться с ним.

— Я ухожу, — сказала Марьям. Сеймур слушал ее, продолжая неподвижно сидеть за столом. Он слушал с застывшим лицом, ни разу не перебив ее, и ничего не спросил, после того как она замолчала. С пронзительной тоской он почувствовал, что ему не хочется жить. Он видел, как она встала с кровати, подошла к столу и, сев напротив, уставилась на него долгим внимательным взглядом. — Плохо тебе? — тихо сказала она. — Не переживай так, не надо. — Не дождавшись ответа, Марьям встала с кровати, подошла к Сеймуру и, обхватив обеими руками его голову, заплакала. Она рыдала так, как будто от горя у нее разрывается сердце.

Сеймур гладил ее, говорил ласковые слова и просил успокоиться. Говорил он с трудом, потому что перехватило горло. Постепенно она перестала плакать и стала,

как всегда, длинно и путано рассказывать. — Ты не переживай. Теперь я поняла, что делать. Я как та раненая кошка, все время от боли бросаюсь из стороны в сторону, а теперь успокоилась. — Марьям вытерла слезы и улыбнулась. — Ты, наверно, видел, у нас в лаборатории живет кошка. Никто не знал, что по ночам, когда холодно, она забирается в газовую печь и там спит в теплом дымоходе. В то утро зажгли газ, когда она была в печке. Это было ужасно, слышать, как в печке кричит перепуганная кошка. Она сильно обгорела. Когда она выскочила, шерсть на ней тлела. Она металась по лаборатории, но в руки никому не давалась, и никто ей не мог помочь. От боли она не соображала, что делает, бросилась на окно и разбитым стеклом порезала морду и лапы. И тут в лабораторию вбежала кухонная посудомойка. Кошка как будто ее ждала, сразу вспрыгнула к ней на руки, и они обе — эта несчастная кошка и пожилая посудомойка Сара — плакали вместе. Фаталиев отвел их в медпункт, там кошке сделали укол, смазали обезболивающей мазью и обернули полотенцем. Сара носила ее на руках, плакала от жалости и убаюкивала как ребенка. Я тоже как та кошка, до прихода сюда не могла найти себе места, и помочь мне никто не мог. Думала, сойду с ума. Только сейчас я наконец-то поняла, что, кроме тебя, мне никто не нужен. Теперь я знаю, без тебя я умру. Ты мое спасение, ты моя жизнь. Только ты.

Они сидели, прижавшись друг к другу в темной комнате, освещенной только тусклым пламенем топки, и молчали. Слышно было, как, забившись под стол, похрапывает Алби.

— А что с кошкой? — спросил Сеймур, когда она собралась уходить.

— Только ты не смейся! — предупредила Марьям, в полумраке глаза ее светились, и почему-то показалось, что она похожа на кошку.

— Над чем? — удивился Сеймур.

— Не знаю... — нерешительно сказала она. — Кошка оказалось беременной, через месяц она родила двух здоровых котят.

Сеймур все-таки рассмеялся.

Наступила жара, и Сеймур большую часть суток проводил на воздухе, под навесом, сооруженным им в задней части котельной, недоступной глазу редких прохожих. Они пришли вдвоем, Назимов и Фаталиев. Сеймур провел их под навес и усадил за стол, который он перенес сюда из кочегарки. Алби приветствовал гостей заливистым лаем и размахиванием хвоста.

В этот приезд Назимов показался Сеймуру непривычно оживленным.

— Может быть, пойдем ко мне в лабораторию и поговорим там? — предложил Фаталиев.

— Зачем? Здесь прохладно, нет посторонних. Хорошие вести можно сообщить где угодно, хуже они от этого не становятся, — сказал Назимов.

Вести, привезенные Назимовым в планшете, действительно показались Сеймуру неправдоподобно хорошими.

Сеймур не поверил своим ушам, когда узнал, что он амнистирован и в скором времени полностью будет восстановлен в правах.

— То есть теперь я могу отсюда уехать и встречаться с кем хочу? — спросил он.

По всему было видно, что Назимов доволен. И хотя он разговаривал официальным тоном, чувствовалось, что происходящее приятно и ему.

— Само собой, с этой минуты куда хотите. Завтра, например, я вам советую съездить в Баку и в управлении МГБ получить документы и валюту, изъятые у вас при пересечении границы в 1951 году представителем органов государственной безопасности в Бресте. Изъятую валюту вы можете получить в рублях по курсу, предусмотренному законом.

— Поздравляю! — сказал Фаталиев, всем своим видом излучая радость. — Сеймур, вы не представляете себе, как это важно, что вы восстановлены в гражданских правах.

— Все это неожиданно и поэтому особенно приятно. Но мне очень хочется, чтобы мне вернули боевые награды, — сказал Сеймур. — Для меня, может быть, это самое главное.

— Да, да, да, — ответил Назимов и потупил взгляд, — насчет наград разговора пока не было... Извините, странный вы человек. Вам только что сообщили, что вы

свободный человек. Остальное приложится. Можете вот прямо сейчас уйти, уехать отсюда.

— Куда?

Назимов развел руками.

— Я думаю, и этот вопрос прояснится в ближайшее время. Больше ничего вам сказать не могу. Не имею права раньше времени.

После ухода Назимова и Фаталиева Сеймур включил радио. Спустя час в дверь постучали особым бодрым стуком, пришел Аслан.

— Говорят, ты от нас переезжаешь?— спросил он, выставив на стол бутылку коньяка и плитку шоколада. Кусок докторской колбасы он отдал Алби.

— Кто говорит?

— Народ говорит, в лице профессора Фаталиева. Кстати, что ты думаешь об этом человеке? — он показал Сеймуру на репродуктор, из которого доносилась речь Хрущева.

— Сообщаю тебе официально, я ему благодарен. И я знаю, что миллионы людей ему благодарны за то, что он вернул их к человеческой жизни. Они готовы на него молиться. Больше ничего о нем не знаю. Я в политике не разбираюсь.

— А-а, боишься?!

— А ты не боишься? Еще успеешь. Бояться начинаешь постепенно, дорогой доктор Аслан, когда уже бывает поздно.

— Я с детства всего боюсь. Но свое мнение тебе скажу. Я прослушал его выступление дважды, вчера и один раз сегодня утром, и могу сказать, что либо этот человек сумасшедший, либо платный агент империализма, но в любом случае антисоветчик. Помяни мои слова, наша страна никогда уже не будет прежней.

— Надеюсь. Если обманешь, обижусь навсегда.

— Ты посмотришь, страна разделится на две части, как Германия, а его самого расстреляют как агента международного империализма.

— Что ж получается, кого ни возьмешь, все агенты империализма?! — не выдержал Сеймур.

— Вот именно. Кого ни возьмешь. Согласно официальным источникам — их большинство, могу перечислить поименно. — Он откупорил бутылку и разлил коньяк по стаканам. — А теперь скажи мне откровенно, когда нашей страной будут руководить не агенты международного империализма, а нормальные приличные люди?

— Спросишь у товарища Назимова, он тебе откровенно все расскажет, — рассеянно посоветовал Сеймур, он размышлял над последними словами куратора.

— Это у тебя защитный рефлекс, очень полезный, но со временем, привыкнув к безопасности, человек становится откровенным.

— Я подумаю над этим,— сказал Сеймур, слегка пригубив коньяк. Аслан, с готовностью приняв это обещание за тост, выпил до дна.

— Будь здоров! Я же говорю, опасное время прошло, глупые стукачи попрятались, а умные записываются в жертвы культа личности.

Аслан поздно вечером ушел, на прощанье туманно объяснив Алби, что его хозяин — человек, конечно, умный, но не умеет по наивности использовать себе во благо достоинства и недостатки советской власти. Алби, который с детства испытывал отвращение к запаху алкоголя, чихал и фыркал. Сеймур довел приятеля до проходной и попросил Гахрамана проводить доктора Аслана до автобусной стоянки.

Следующий день положил начало цепи событий в Амбуране, претендующих, по мнению Сеймура, по крайней мере на звание грандиозных или фантастических или на то и другое вместе. Утром за ним приехала машина Назимова и доставила его к зданию сельсовета. В кабинете Самандара за столом сидели Назимов, Фаталиев, два незнакомых молодых товарища в черных костюмах с серыми однотонными галстуками. Самандар, как и полагается гостеприимному хозяину в присутствии начальства, молча сидел на стуле в углу и выражением лица почему-то напомнил Сеймуру большой кусок овечьего сыра. Назимов пригласил Сеймура к столу и познакомил его с двумя представителями райкома партии.

В присутствии Сеймура Назимов объявил, что им всем вместе предстоит организовать дело, можно сказать, государственной важности. 27 августа, то есть через десять дней, в Баку приезжает иностранная, точнее, международная делегация, в состав которой входят лица, представляющие ООН, Красный Крест и общество «Фран-

ция — СССР». Возглавляет делегацию господин Клод Вернье. Назимов выложил на стол список членов делегации, которых вместе с переводчиками было одиннадцать человек.

Теперь-то Сеймур понял, что означали намеки Назимова. Он не сразу услышал, что Назимов обращается к нему.

— Вы знакомы с президентом общества «Франция — СССР», вице-президентом «Эр-Франс» Клодом Вернье?

— Во время войны я знал Клода Вернье, военного летчика, командира одного из отрядов Сопротивления, — сказал Сеймур. — Но он не был тогда ни президентом, ни вице-президентом. Может быть...

— Подтверждается,— с довольным видом перебил Сеймура Назимов. — Из прилагаемой справки явствует, что вице-президент общества «Эр-Франс» господин Клод Вернье заявляет о своем намерении встретиться с Сеймуром Рафибейли, его боевым товарищем в войне с германскими оккупантами. Встречу он просит организовать по месту жительства соратника. В Азербайджане делегация пробудет трое суток, из них целый день будет отведен на поездку в Амбуран. За два дня в Баку делегация посетит Сумгаит и крупнейший в СССР Бакинский нефтеперерабатывающий завод. Предстояли встречи в Министерстве культуры и в историческом музее.

В Амбуран зарубежные делегации никогда еще не приезжали. По словам Назимова, руководству Сталинского района, то есть секретарю райкома и председателю райисполкома, были даны указания провести прием делегации на самом высоком уровне. Была составлена программа однодневного пребывания делегации в Амбуране. После посещения единственного в мире местного шафранного совхоза было запланировано морское купание, а затем обед. Встречу Клода Вернье с его боевым товарищем Сеймуром Рафибейли предполагалось провести в перерывах между мероприятиями коллективного характера.

Назимов объяснил, что текущее совещание носит предварительный характер, и попросил присутствующих внести свои предложения. Все внесенные предложения были короткими и деловыми. Встретить делегацию рекомендовалось с плакатами, посвященными советско-французской дружбе под звуки «Марсельезы» и «Марша нефтяников» Кара Караева. Хорошее впечатление на приезжих могут произвести девушки в платьях с национальными узорами, которые преподнесут всем членам делегации большие букеты лилий и букетики цветов шафрана в керамических горшочках с национальным орнаментом.

По поводу этого пункта программы Назимов спросил Самандара, может ли он обеспечить встречающих национальными платьями и горшочками. В ответ Самандар вскочил с места и особым молодецким голосом доложил, что за обеспечение национальными предметами и обычаями в Амбуране всю ответственность он берет на себя.

Совещание вскоре закончилось, Назимов признал его результаты положительными, и все его участники разъехались.

Фаталиева и Сеймура Назимов довез до совхоза на своей машине. По дороге он спросил Сеймура, с какой, по его мнению, целью Клод Вернье собирается с ним встретиться. Сеймур сказал, что ему это неизвестно, но то, что ему самому очень хочется увидеть Клода и его жену Марион, он знает точно.

Подготовка к приезду делегации началась немедленно. Вдоль дороги, ведущей в шафранный совхоз, высаживались какие-то невиданные в этих местах кусты оранжевого цвета. Откомандированный из районного центра в Амбуран эстрадный оркестр по нескольку раз в день репетировал «Марсельезу» и «Марш нефтяников», ежедневно «окончательно» согласовывалось с руководством района меню торжественного обеда. Все шло нормально, но начальство все равно волновалось, и волнение это усиливалось по мере приближения дня приезда делегации. Больше всех волновался Сеймур, но об этом, наверно, не догадывался даже Алби.

Над селеньем вертолеты обычно пролетали несколько раз за день. Некоторые из них отвозили дежурные бригады на Нефтяные камни, два других, также цвета хаки, принадлежащие рыбнадзору, в поисках браконьеров облетали побережье в те дни, когда, по мнению инспекторов, обстановка считалась благоприятной для незаконного вылова осетровых посредством крупноячеистых сетей. На лету винты вертолетов скрежетали, скрипели и посвистывали. Надсадный рев их моторов был слышен изда-

ли. Вертолет, который неожиданно появился из-за холма и начал плавно снижаться, двигался бесшумно. Он был дивной красоты, с линией хрустальных иллюминаторов вдоль всего блестящего цвета морской воды корпуса, а своей совершенной обтекаемой формой напомнил встречающим белугу, несущую в чреве крупнозернистую икру высшего сорта. Шума от него было не больше, чем от лопастей ветряной мельницы при умеренном южном ветре — гилаваре.

Пораженные роскошным зрелищем сельчане перевели взгляд на председателя сельсовета.

— Правительственный...— многозначительно поджав губы, объяснил Самандар. Он жестом пригласил присутствующих подойти к вертолету, который приземлился на лужайке в десяти метрах от трибуны с микрофоном.

Дальнейшее происходило в строгом соответствии с планом. Как только раскрылась дверь и на землю начал плавно сползать трап, все его четыре ступени тут же были засыпаны цветами, а оркестр в зажигательном темпе сыграл «Марсельезу». По плану предполагалось, что после «Марсельезы» будет исполнена увертюра оперы «Кер-оглы». Первыми из вертолета вышла чета Вернье, но так как трап был узким, Пьер пропустил улыбающуюся жену вперед. Встречающие в восторге закричали приветствия на вполне французском языке и разом подняли над головами плакаты с портретами Хрущева и де Голля. Самандар не спускал зоркого ястребиного взгляда с трапа, и как только нога Марион Вернье коснулась земли Амбурана, дал условную отмашку правой рукой. Встречающие делегацию по четко отработанной схеме расступились, и мадам увидела у своих ног лежащего на боку барана с позолоченными рогами, который, как ей показалось, смотрел на нее пристальным взглядом, исполненным укора и печали. В то же мгновение Самандар дал второй знак, и нарядный Газанфар под звуки «Марсельезы» мгновенно в одно касание острым ножом от уха до уха перерезал барану горло, из которого бурным потоком хлынула кровь. Баран очень неприятно захрипел, и в его глазах уже нельзя было прочитать ни печали, ни укора. Мадам пронзительно вскрикнула и упала навзничь на обагренную кровью траву рядом с бараном.

Переполох начался такой, что Сеймуру подойти к Марион не удалось. Клода он тоже видел лишь поверх голов взволнованных сельчан. Он подбежал к стоящему поодаль сельсоветскому грузовику, борта которого были обклеены приветственными лозунгами, и попросил водителя, чтобы тот быстро съездил в совхоз и привез доктора Аслана.

— Быстро! Доктору скажешь, что у женщины сердечный приступ.

Сеймур не был уверен, что водитель Самандара его послушается, но тот, почтительно выслушав его, услужливо кивнул, и машина рванула с места выполнять распоряжение.

Сеймур вернулся к вертолету. Самандару вместе с двумя заместителями и Газанфару удалось к этому времени оттеснить зевак и теперь рядом с телами мадам Вернье и усопшего барана оставались лишь члены делегации. Две дамы из Красного Креста совершенно без пользы для выздоровления Марион заламывали руки и искусно манипулировали кружевными платочками. Было заметно, что по крайней мере одна из них вот-вот тоже упадет в обморок, но, по-видимому, отсутствие вблизи предмета, напоминающего диван или тахту, заставило ее раздумать.

Внешне спокойствие сохраняли только Клод и представитель ООН, высокий сутулый человек, напоминающий зорким взглядом и крючковатым носом престарелого горного орла, случайно залетевшего на морское побережье. Клод стоял на коленях, склонившись над Марион со стаканом воды, а похожий на орла внимательно вглядывался в безоблачный горизонт. У входа в сельсовет Сеймур увидел Назимова, он стоял неподвижно со странным выражением лица человека, внезапно увидевшего, как в его спальне дворовая кошка доедает мышь на его любимой подушке. Сеймуру удалось подойти совсем близко к Клоду, он пытался поймать его взгляд, и в это время он услышал, как не замеченный им ранее член ЦК компартии Азербайджана, первый секретарь Сталинского райкома Афрасиаб Куткашенлы сказал Самандару:

— Чтобы сегодня же заявление об уходе было на моем столе!

— Как я могу уйти раньше срока, если меня избрал народ? — огрызнулся Самандар в ответ на неожиданное предложение высокопоставленного родственника. — Я-то уйду, что народ скажет?

— С народом я договорюсь сам. А ты... После того как иностранцы уедут, чтобы ноги твоей не было в Амбуране! Не дай тебе бог здесь хоть раз появиться!

— За что? Что я тебе сделал?! — ноющим голосом спросил Самандар.

— Что сделал? Ты погубил меня! Сегодня средь бела дня при свидетелях ты меня убил. И весь Сталинский район опозорил.

Торопливым шагом вернулся Назимов. По его решительной походке и выражению лица было видно, что командование дальнейшими событиями поручено ему. Почти одновременно с возвращением Назимова подъехал грузовик, из кабины которого выскочил доктор Аслан.

Сеймур крепко ухватил его под руку и подвел к Марион.

— Это доктор, — сказал он. Это были первые слова, которые он сказал Клоду. Со времени приземления вертолета прошло девятнадцать минут.

Доктор внимательно послушал сердце Марион. Она открыла глаза и удивленно смотрела на незнакомого человека в белом халате.

— Все в порядке, — сказал он ей. — Мы сейчас вас перенесем.

Сеймур перевел ей слова доктора.

— Сейка,— Марион улыбнулась слабой улыбкой. Дыхание у нее было прерывистое, ей было больно, и говорила она с трудом. — Вот мы и увиделись.

Она ответила на все вопросы врача. Аслан удовлетворенно кивнул головой и попросил Сеймура доставить из совхозного медпункта носилки.

— Вставать ей нельзя. Перенесем на носилках.

Сеймур тут же послал водителя в совхозный медпункт за носилками. И тут вмешался Назимов. Ни к кому конкретно не обращаясь, он, раздельно произнося слова, объяснил, что носилки не понадобятся, потому что он получил указание незамедлительно отправить на вертолете иностранную делегацию в Баку, где в лучшей городской клинике мадам Вернье будет оказана квалифицированная помощь.

Назимова перебил доктор Аслан.

— У больной предынфарктное состояние. Перепад давления в вертолете может ее убить. И по трапу ее поднять невозможно, — объяснил Назимову Аслан. — Необходимо, чтобы она осталась здесь.

— Вы не поняли, — сказал Назимов, и в голосе его прозвучал металл. — Вертолет с делегацией отправится в город. Сейчас же! А вам я запрещаю вмешиваться!

На доктора Аслана слова Назимова произвели совсем не то впечатление, на какое тот рассчитывал.

— Иди! Слушай, иди, лови своих шпионов! — сказал внезапно рассвирепевший доктор. — А в лечение больных не вмешивайся, не твоего ума это дело!

Политичный Назимов не счел для себя возможным на глазах международных представителей препираться со взбунтовавшимся сельским лекарем. Он что-то пробормотал себе под нос и отошел в сторону.

— Что они говорят? — нетерпеливо спросил Клод.

— Они говорят, что Марион нельзя лететь и она останется здесь, пока состояние ее не улучшится.

В обстановке всеобщей растерянности руководство взял на себя Аслан, который объявил, что больную незамедлительно следует перенести на носилках в теплое помещение, но ему неизвестно, есть ли поблизости такое помещение. Он обратился к Назимову:

— Вы можете, что-нибудь предложить?

В ответ Назимов молча кивнул и указательным пальцем поманил к себе Самандара.

— Ты слышал, что сказал доктор?

— Нет.

— Очень хорошо. Подбери несколько человек, пусть они отнесут носилки с мадам иностранкой на ближайшую благоустроенную дачу. То есть на дачу родителей Сеймура.

От неожиданности у Самандара вытянулось лицо.

— Почему туда?

— Ты понял, что я сказал? Быстро!

Марион перенесли на носилках на дачу. Все полчаса пока ее несли, зонтик над ней поочередно держали две дамы из Красного креста и полумесяца. Эта дача до

войны считалась лучшей в Амбуране. К удивлению Сеймура и дом, и сад выглядели ухоженными. Со второго этажа спустили двуспальную кровать и поставили у окна с видом на море. Еще через пятнадцать минут из города примчались с включенной сиреной две машины скорой помощи, вызванные товарищем Назимовым. На одной приехала бригада медиков, на второй привезли оборудование, которое немедленно перенесли в дом.

Приехавший профессор Таривердиев, маститый кардиолог, высокий человек с жизнеутверждающим выражением тщательно выбритого лица, осмотрел Марион. Узнав, что прежде сердечных приступов у нее не бывало, улыбнулся ей и бодрым голосом сказал, что волноваться не стоит, следует спокойно лежать и думать о приятных вещах, все остальное — дело медицины. Он приказал медсестре сделать больной две инъекции и установить рядом с кроватью капельницу. В открытую дверь Сеймур видел, как Назимов, который все время стоял за спиной врача, вынул из коробки с ампулами листки описания, украдкой сунул их в свой нагрудный карман.

С Марион осталась медсестра, а все остальные вышли в соседнюю комнату, где состоялся врачебный консилиум с участием профессора Таривердиева, доктора Аслана и товарища Назимова. Маститый кардиолог к доктору Аслану относился уважительно и называл его коллегой.

Состояние спящей Марион было признано удовлетворительным. Профессор рекомендовал во избежание неожиданностей и с учетом перемены климата оставить больную в селенье еще на сутки, и куратор с ним спорить не стал.

Решили программу пребывания делегации не отменять. Клод остался с Марион, а все иностранные гости в сопровождении Назимова и Фаталиева отправились на экскурсию в шафранный совхоз. После шафранного совхоза делегации предстояло посещение Сумгаита, а затем прием во дворце профсоюзов. Уехали и городские врачи. В гостиной при больной остались дежурить доктор Аслан с прикрепленной медсестрой.

И Клод и Сеймур, по мнению их знакомых, считались людьми немногословными, но сегодня оба они не могли наговориться. У них было общее ценное достояние — воспоминания. И они вспоминали.

Клод в нерешительности потер лоб.

— Виктор умер... Ты знал? — спросил он Сеймура, но ответа не дождался. — Он умер ночью во сне, смертью праведника. Похоронили его с воинскими почестями. — Клод заставил себя улыбнуться. — Почти никого не осталось. Надо держаться друг друга.

Сеймур молча кивнул. Он ощутил пронзительную печаль, когда вдруг услышал слова Виктора — я везде чужой, и увидел его улыбку.

В комнату заглянул Аслан.

— Буду краток,— сказал он Сеймуру. — Жена твоего друга чувствует себя нормально, и, проснувшись, она может встать и вести привычный образ жизни. Второе, в той комнате слышно, как от беспрерывных разговоров у вас пересохло горло. Спроси у своего друга, может быть, ему хочется выпить чая или чего-нибудь другого?

— Чего-нибудь другого. Он пьет сухое вино, — сказал Сеймур.

— Пойду, скажу.

Все, что рассказал Клод после ухода Аслана, казалось Сеймуру невероятным, хотя он и был уверен, что все сказанное чистой воды правда.

Недавно генерал де Голль встречался с господином Хрущевым. Встретились для того, чтобы разрешить проблемы, накопившиеся за время войны. Проблем накопилось много, но одна из них относилась к числу главных — судьба военнопленных, бывших участников Сопротивления, вернувшихся в СССР. Узнав от де Голля о том, как с ними поступили в его стране, Хрущев был потрясен. Он дал слово восстановить справедливость и свое обещание выполнил. На сегодняшний день все они освобождены и восстановлены в гражданских правах.

Клод замолчал, когда в открытой двери появился Аслан.

— Вы можете разговаривать и при мне, ты же знаешь, по-французски я не понимаю. А вино и еду сейчас принесут, — при желании можно было заметить, что Аслан чем-то смущен. По его словам, первое, что он увидел, выйдя из ворот, был Самандар, непринужденно прогуливающийся в сопровождении племянника.

— Непринужденно прогуливающийся Самандар, это ты хорошо придумал, — одобрил Сеймур.

Он сказал, что гуляет здесь главным образом по своей инициативе, но с одобрения куратора. Горит желанием выполнять указания членов делегации и сопровождающих лиц, для чего государство в лице руководителя района выдало ему безразмерную скатерть-самобранку. Вот и все. Я вежливо попросил его сходить в ресторан и принести нам вина и еды.

— И он пошел?

— Побежал. После того как мы с ним подробно обсудили меню. По-моему, таким поведением он пытается загладить впечатление от утреннего жертвоприношения... Ладно, вы беседуйте, а я в ожидании обеда пойду непринужденно прогуляюсь в саду.

— Я тебя прошу, посиди с нами, Клод рассказывает поразительные вещи, послушай.

Клод, не скрывая удовольствия, рассказал, что на Первого секретаря Центрального Комитета Хрущева произвело также приятное впечатление письмо Генерального секретаря компартии Мориса Тореза, в котором тот просит восстановить справедливость и способствовать беспрепятственному выезду гражданина Французской республики Сеймура Рафибейли за пределы СССР.

— Вопрос. Каким образом Морису Торезу пришло в голову ходатайствовать за незнакомого человека, о котором прежде он ничего не слышал? — Сеймур испытующе посмотрел на Клода. — Да?

— Да, — подтвердил Клод. — Попросил его я. И еще за тебя поручились все оставшиеся в живых коммунисты нашего с тобой бывшего отряда. Письмо Торезу подписали сто четырнадцать человек. Что ты можешь на это сказать?

— Говорю. — Сеймур был взволнован. — Сказка! Прекрасная сказка, в которую хочется поверить.

Произведенным эффектом Клод остался доволен.

— Тогда послушай продолжение сказки. Завтра ты вылетаешь вместе с нами в Москву, а оттуда через день в Париж. Согласие властей получено. — Клод положил на стол паспорт. — Это твой французский паспорт с визой.

Аслан был потрясен.

— Первый раз в жизни вижу человека, который уезжает за границу, — благоговейно прошептал он, листая французский паспорт Сеймура. — И ты теперь будешь там жить? Молчи, молчи. Пусть ответит товарищ иностранец. Переведи.

Клод сказал, что Сеймур будет жить во Франции, где у него есть друзья, домик в городе Алби и счет в банке.

— Счастливец! Чувствую, как от зависти у меня начинается диабет! — диабетом Аслан заболеть не успел, потому что как раз в это время раздался стук, и в комнату просунулась голова Газанфара:

— Нести?

— Быстро! — приказал Аслан. — Наверно, все уже остыло.

Появившийся вслед за Газанфаром официант с тележкой стал проворно накрывать стол.

— Вижу по твоей физиономии, что в ресторане ты хорошо поел. Никуда не отлучайся, иди в сторожку и сыграй с охранником в нарды. Может быть, позже придется еще раз съездить за вином. Все понял?

Газанфар послушно кивнул.

— А Самандару что сказать? Он там. Стоит в коридоре.

Получить приглашение к столу Самандару в этот день было не суждено.

— Откуда я знаю? Скажи ему, что хочешь, я в ваши дела не вмешиваюсь, — мастерски изобразив приступ мимолетного скудоумия, пожал плечами Аслан.

Под аплодисменты участников застолья в комнату в сопровождении медсестры вошла Марион. Она выглядела здоровой и подтвердила это интересным комментарием к сегодняшнему происшествию, после того как Клод усадил ее рядом с собой. Медсестра села рядом.

Веселье за столом достигло высшей точки, когда приехал товарищ Назимов. За стол он сел, но пить наотрез отказался. Он ел осетрину на вертеле и запивал ее минеральной водой.

— Я приехал, чтобы узнать ваше мнение, — сказал куратор Назимов Клоду. — Завтра с утра мы прямо отсюда поедем на нефтеперегонный завод, затем на прием в Министерство культуры, а оттуда прямо в аэропорт.

Прежде чем ответить, Клод посмотрел на Аслана.

— Это невозможно, — сказал Аслан, выслушав перевод. — Мадам Вернье следует подготовиться. Самолет до Москвы летит шесть часов с двумя посадками — это серьезная нагрузка на организм, и рисковать я ей не советую. Лучше всего, если в аэропорт она поедет отсюда.

— Прежде всего безопасность мадам Вернье, — от себя добавил Сеймур.

Слова Сеймура куратор пропустил мимо ушей.

— Имей в виду,— криво усмехнувшись, сказал Аслану товарищ Назимов, кивнув на Сеймура. — Он уедет с ними, а ты-то останешься здесь.

— Договорились, с этой минуты мы с тобой на «ты». Только, ты тоже имей в виду, они уедут, а ты-то останешься здесь, хе-хе! — шутливым тоном, в котором явственно сквозил вызов, сказал Аслан.

— Ты что хочешь этим сказать? — с потемневшим лицом спросил Назимов. Чувствовалось, что куратор теряет самообладание.

— Хочу сказать, что и вы, и я, и наши дети, и внуки будут до конца жизни жить здесь и за границу не переедут, — доброжелательно объяснил Аслан. — Потому что ни вас, товарищ Назимов, ни меня переехать во Францию никто не пригласит.

— Что-нибудь случилось? — заинтересовалась Марион, поняв, что речь идет о ней.

— Товарищ куратор спрашивает, хотите ли вы завтра утром поехать на нефтеперерабатывающий завод и посмотреть там на самую мощную в Европе крекинг-установку, перерабатывающую сырую нефть в бензин, дизельное топливо и мазут?— через переводчика объяснил ей доктор.

— Нет,— решительно отказалась Марион,— мне не хочется ехать смотреть на нефть и бензин. Я не люблю запах бензина.

Товарищ Назимов посмотрел на бокал с вином в руке пациентки доктора Аслана и рассмеялся.

— Все сошли с ума,— ни к кому не обращаясь, сказал он. — Невозможно работать.

Беседа на тему здоровья Марион продолжилась. Она рассказала внимательно слушающему доктору, что в первый раз в обморок упала в 1944 году в городе Алби. Она увидела, как на улице трое мужчин, один из них полицейский, садовыми ножницами насильно стригут наголо молодую женщину. Женщина билась всем телом, истошно кричала, но бесполезно, стрижка продолжалась. Марион попыталась помочь несчастной, но полицейский приказал ей не вмешиваться, и она потеряла сознание.

Аслан не мог понять, как это могло произойти, что во Франции средь бела дня какие-то посторонние люди насильно стригли женщину. Вмешался Клод. Он рассказал, что в 1944 году во Франции не осталось ни одного германского оккупанта. И тогда французы воспряли и начали очищать страну от предателей коллаборационистов. Сотрудничавших с немцами мужчин сажали в тюрьму, а женщин, повинных в горизонтальном коллаборационизме, то есть оказывающих оккупантам интимные услуги, публично подвергали стрижке наголо. Насильственно были пострижены двадцать тысяч женщин. Это продолжалось год, а затем вмешался де Голль и все, мужчины и женщины, были прощены и приравнены в правах ко всем остальным французам.

Узнав о том, что у Марион случались обмороки и до приезда в Амбуран, Назимов почему-то воодушевился:

— Очень хорошо. Вот видите! Выясняется, что мадам Вернье падала в обморок и до Амбурана. Это обязательно надо отметить в отчете, — одобрительно сказал он и, подняв бокал, до которого прежде не дотрагивался, предложил выпить за здоровье мадам Вернье, которая мужественно перенесла выпавшие на ее долю неприятности средней тяжести.

Вспоминали Виктора. Клод рассказал, что после отъезда Сеймура Витек получил лицензию и открыл на главной городской улице кафе под непонятным для горожан названием «Анна унд Марта баден».

— Очень популярное кафе с баром, — сказала Сеймуру Марион. — Управляет им Мишель Астахов. В каждый приезд в Алби мы с Клодом туда заходим. Между

прочим, над стойкой бара висит большая фотография. Ты на ней в смокинге, весь в орденах и улыбаешься.

Назимову, судя по всему, застолье понравилось. Во всяком случае, он произнес несколько прочувственных тостов. А когда говорил о вечной неувядаемой дружбе народов Советского Союза, Азербайджана и Франции, у него трогательно дрогнул голос.

— Я на твоем месте плясал бы от радости, а по тебе не поймешь, рад ты или нет, — сказал Аслан, когда, попрощавшись, они вдвоем шли по направлению к совхозу.

— Рад? Когда Клод выложил на стол мой паспорт с визой, я понял, как выглядит счастье.

— Это и есть счастье! Но все равно такое у меня ощущение, что ты непрерывно что-то обдумываешь.

— Так и есть, нормальный человек перед долгой поездкой должен все обдумать.

— У тебя вид как на похоронах доктора Аслана. Перед отъездом и поговорить бы не помешало. И долго еще ты собираешься думать?

— Боюсь, что до самого утра,— усмехнулся Сеймур.

— Тогда до завтра, прощаться приеду в аэропорт.

Они расстались на остановке, когда подошел последний автобус.

Вещи были собраны, Марион и Клод ждали машину.

Сеймур смотрел на улыбающегося друга и никак не мог заставить себя сообщить ему свое решение.

— Я решил остаться, — сказал Сеймур.— Спасибо тебе за все, но я остаюсь, — Клод молча смотрел на него. — Ты должен понять меня. У меня было время над всем подумать, и я понял, что не сумею жить на чужбине.

Марион и Клод растерянно переглянулись.

Клод покачал головой.

— Черт тебя побери, Сейка! Приятные вещи я от тебя слышу. На чужбине! Ты забыл, что ты гражданин Франции.

— Никогда не забываю. Если у меня будут дети, я уверен, они тоже будут гордиться этим.

Пораженный Клод посмотрел на жену, но та лишь в недоумении покачала головой.

— Ты шутишь?

— Нет.

— Ты уже забыл о том, что они с тобой здесь сделали?

— Все помню и никогда не забуду.

— Объясни, что случилось? Я ничего не понимаю, во Франции у тебя есть все — друзья, солидное положение, всеобщий почет. А здесь? Кто ты здесь? Я-то хорошо знаю, что здесь происходит. Если тебя до сих пор не уничтожили, то по чистой случайности. Я не прав?

Сеймур молча кивнул.

— Тогда в чем дело? Извини, но кто ты здесь? Изгой. Причем нищий и бесправный изгой.

— Да. И единственный способ исправить все это — уехать на все готовое во Францию? Когда я там жил, то всегда ощущал, какая это прекрасная страна. Клод, ты хоть раз задумался, кто Францию сделал такой, какая она сегодня? Я тебе напомню. Это сделали многие поколения французов — великие короли, рыцари, королевские мушкетеры, бесстрашные мореплаватели, писатели, ученые...

— И еще менестрели, шуаны, Гильотен и Гобелен,— насмешливо добавил Клод. — Ты о них забыл.

— Они тоже, — согласился Сеймур. — Но не я. Я не сумею забыть, если перееду во Францию, что я всего лишь чужестранец, к которому хорошо относятся друзья и знакомые. Во Франции я буду каждый день вспоминать свою больную и несчастную страну, из которой я, как расчетливая крыса, сбежал туда, где всем так хорошо живется. Марион, скажи, разве я похож на крысу? — спросил он, и ему самому стало смешно.

— Ты как две капли воды похож на стреноженного агнца,— грустно сказала Марион. — Бедный мой Сейка.

Клод с изумлением смотрел на Сеймура так, как будто увидел его впервые.

— У меня не получится это забыть, — сказал Сеймур. — Там эта мысль будет со

мной каждую минуту, а потом я сойду с ума... Прости меня, Клод. Франция прекрасна, но это не моя страна. Все могилы здесь.

— Рассуждения сумасшедшего человека, — сердито сказал Клод. — Ты лучше вспомни, что происходит здесь, в стране, которую ты считаешь своей.

— Все помню, например, и то, что ты не сбежал из Франции, когда ее оккупировали немцы... Здесь все гораздо сложнее и хуже, чем ты себе можешь представить. Тебе воображения не хватит понять, что здесь происходит на самом деле. Я не спорю. Ты абсолютно прав. Жить здесь невозможно! Можно только существовать, да и то если позволят. Но что-то же надо с этим делать?

— У тебя есть план?

— Только намерения, — усмехнулся Сеймур. — Я не заблуждаюсь на свой счет, я здесь ноль, зеро... Но в будущем... Надо же хоть когда-нибудь попытаться. Я очень хочу, чтобы Марион и ты знали, что я буду любить вас до конца своей жизни. Клод, ты меня слышишь?

В дверь постучали, это был водитель Назимова. Приоткрыв дверь, он тактично, лишь наполовину просунув голову вовнутрь, попросил поторопиться.

Они обнялись.

— Ты сумасшедший, Сейка, — повторил Клод. И тут Сеймур увидел, что по лицу несгибаемого командора Клода Вернье текут слезы.

От внезапно нахлынувшей острой тоски защемило сердце, когда Сеймур вдруг отчетливо почувствовал, что они видятся в последний раз.

Он проводил их до калитки. На улице Марион и Клода ждали Назимов, Фаталиев и другие официальные лица. На трех машинах они поехали в аэропорт.

Сеймур спустился к морю. Алби бежал по самой кромке воды и лаял на чаек.

Он долго гулял по берегу. Сеймур думал о будущем. Изменившийся мир манил его к себе. Прежние вершители судеб были мертвы, новые ждали своего часа. Он уже понял, что людям, искалечившим лучшие годы его жизни, судьба незнакомого им Сеймура Рафибейли была столь же безразлична, как судьбы миллионов других щепок лесоповала. Ненавидеть было некого. Сеймур впервые за долгое время ощущал себя в жизни без постоянной изнурительной ненависти.

Белопенные волны разбивались о скалы, призывно и радостно кричали чайки, прохладный ветер с моря обдувал лицо. Сеймур шел, и ему казалось, что он выздоровел после долгой тяжелой болезни.

Наступил вечер, когда он позвал Алби и пошел домой.

Гахраман стоял у входа в совхоз. Вид у него был непривычно понурый.

— А мне только что сказали, что ты навсегда уехал за границу, — увидев Сеймура, сказал он.

— Ты поверил?

— Да, — с виноватым видом признался Гахраман, — стоял здесь и переживал.

— Никуда я из Баку не уеду.

— Ты умный человек, Сеймур. Объясни мне, почему в этом совхозе все врут? Раньше доктор говорил, теперь сам убедился, врут. Я сидел на проходной и слушал по радио музыку. Пришли, соврали, испортили настроение.

— Очень просто: все дело в шафране! — объяснил Сеймур. — Я выяснил. Главная причина всеобщего вранья, взаимного недоверия и группового браконьерства кроется в шафране, и бороться с этим бесполезно. В Амбуране все происходит под воздействием шафрана. Верь в это, и жить станет легче, жизнь станет веселей. — Он попрощался с заметно повеселевшим Гахраманом и направился в кочегарку.

Алби шел рядом и, как всегда, сосредоточенно думал, что ему дадут на ужин.

— Не грусти, собака, будет когда-нибудь и на нашей улице праздник,— сказал ей Сеймур. — Знать бы только, где эта улица?

Собака в ответ одобрительно залаяла, давая понять, что адрес неизвестен и ей, но она всегда готова принять участие в любом мероприятии на любой улице, лишь бы быть рядом с Сеймуром.

Баку

Сухбат Афлатуни

Три церкви

Из грузинских преданий

1

и вот однажды обедни после
когда открыты еще двери церкви
и пахло ладаном и пасся ослик
и пес шуршал полуденной цепью

и расходились прихожане
и луч качался в тумане жарком —

вбежала лиса в самую церковь
Бог ведает как это удалось ей
схватила зубами грошовую свечку
и к выходу бросилась рыжая гостья

может голодна была или
оборотень так старики говорили

но вдруг у выхода окаменела
и церковный сторож что был напуган
обратился к Богу упав на колени
избавить святое место от каменной куклы

нехорошо когда в церкви лисы
или изображения завелись их

и внял Господь его молитве
лиса ожила — свечку бросила
и убежала — возле калитки
проводили ее взглядами пес и ослик

с тех пор церковь назвали
церковью Лисы во Дверях — Мелискари

я там был — молитву сотворил
лисы не видел — историю записал

Сухбат Афлатуни (псевдоним; настоящее имя — Евгений Абдуллаев) — поэт, прозаик, литературовед. Постоянный автор нашего журнала. Живет в Ташкенте.

2

и вот однажды на полях Двани
когда жнецы с утра хорошенько
поработав собрались перед котлами
где призывно булькала им похлебка

только разливать — вдруг громко
каркая заметалась ворона: кар-

кар! не заметили — мало ли что низко
летает каркает и дождем сыплет перья
прочитав молитву разлили по мискам
а ворона мешает им ну и стерва

повар бросил камень чтоб прекратила
раскаркалась тут — слушать противно

ворона отлетела — потом р-раз! и прямо
в котел бросилась и сварилась конечно
жнецы обступили да неприятно
испоганенную пищу уже не поешь ты

кто шутит кто разводит руками плюется
что делать? вылили из котла всё

и о диво! рядом с кусками мяса
и — не за столом будет сказано — птичьим трупом
лежала выплеснутая змея
ядовитая очень и довольно крупная

в честь спасенья от отравы там церковь построена
Воронья церковь так и назвали Воронья

ее развалины видны поныне
островерхий купол что клюв вороний
остатки стен как вороньи крылья
и старик-чернец застыл на пороге

я там был — молитву сотворил
с чернецом выпил — историю записал

3

там где кончался Цицианский лес
и начинались степи Саджавахо
случился бой — дым достигал небес
шипела кровь и смешивалась с прахом

потом решили там построить храм
и замесили глину для постройки

но белый камень для церковных стен
окрасился той глиной точно хною

назвали церковь Красною затем —
к той Красной церкви каждою весною

стекается народ — там свечи жгут
все те кто на войне лишились близких

зажги и ты — пусть кровные твои
в степях не погибали Саджавахо
и леса Цицианского ручьи
не провожали их в долину мрака

зажги и ты — пусть даже их война
и не затронула промчавшись мимо —

зажги и ты — и ухо приложи
где — слышишь? — в кристаллической ночи
внутри камней пульсирует *живи*
живи люби храни теряй молчи

я там был...

Михо Мосулишвили

Два рассказа

С грузинского. Перевод Майи Бирюковой

Глухомань
Новелла в стиле боп

Ну, как? Клево?!

В длину два метра, в глубину метр двадцать, в ширину чуть не метр…

Точь-в-точь по моим параметрам!

Ларей[1] на восемьдесят-девяносто, должно быть, потянет. К тому же, я не возился, как могильщики, трое суток, а управился в полдня.

Вот, правда, мозоли набил на руках.

Ну, теперь уж, браток, дело за тобой, а я переброшусь парой слов с Захаром…

Что это тут за браток, спрашиваешь?

Да ну! Из наших… один. Я и сам мог быть на его месте.

Ладно, Захар, нам базарить.

Вот разве потесниться тебе немножко придется.

Вообще-то я давно к тебе не наведывался.

Как ты, лев?

Не забыл, что я своими руками спалил дом, где тебя подстрелили?

А, впрочем, что тебе, дружище, до этого?.. Разгуливаешь там меж пушистых елей, по зеленым лужкам, вдоль журчащих ручьев, на цветущих пастбищах Господа Бога… Так след тебе ломать голову над нашими здешними проблемами?!

Вот он, наш братан!

Видишь?

Нет?!

Ну, что с тобой, недотепой, поделаешь?

Ладно, скоро свидимся с тобой там, потаскун! Ну, прости, прости! Меня и здесь укоряют: поучтивей, говорят, поприличней выбирай выражения. Что ж! Изъясняясь культурно, отрицательная ты, Захар, личность!

Хохочи, хохочи, помирай со смеху.

Тебе все до фени!

Однако!

О деле бы не забыть, говоришь?!

Я тут любимый наш виски «Верзила Джон» прихватил. То да се… Стаканчики,

---

Мосулишвили Михо (Михаил) Анзорович — родился 10 декабря 1962 года; в 1986 году окончил Тбилисский государственный университет по специальности инженер-геолог; в 1981—1984 годах обучался кинодраматургии. Издал на грузинском языке около пятнадцати книг. По его сценариям и пьесам поставлены спектакли в театрах, на телевидении и на радио. Награжден литературными премиями в Тбилиси, Москве, Афинах… Его последная работа — биографический роман о великом поэте Важа Пшавела был удостоен литературной премии «Сакребуло». Живет в Тбилиси. В «ДН» печатается впервые.

[1] Лари — денежная единица в Грузии.

магнитофончик, пара кассеток. Сомлеешь от удовольствия, будь я пустой банкой от шпротов…

Ну-ка?!

Узнал?

Он! The Bird! Точно. Чудо-бопер! Гляди-гляди, как заливается! Как лупит на своем альт-саксофоне! Как, черт, летает! О-о-ох! Во выдает! Как ты его, Захар, называл? А-а! Моцарт джаза?! Похожего тембра, с тех пор как он усоп, так во всем мире и не нашлось.

Вау! Да ведь это блюз «Канзас-сити»! Вот еще композиция… Вот «Лягушка-попрыгушка», «Блумдидоу»… Вот «Могавк», «Чичи», «Времена обновления», «Конфирмация», «Ким», «Донна Ли», «Антропология»… «Орнитология», «Космические лучи»… О-о-о, да это же…

Как выдал Сачмо, то есть сам великий Луи Армстронг, «они тщатся загнать слушателя в тупик. И вот льются звуки, смысл и значение коих понять очень трудно. Новизна музыки побуждает слушать с некоторым интересом, но вскоре начинаешь испытывать утомление, потому что на самом деле музыка эта чрезвычайно дурна. Она утратила мелодию, и в ней не чувствуется столь необходимой, скажем для танца, пульсации ритма. Очень уж они, эти боперы, жалки».

Сам Сачмо, подумать только, не разобрался!

Или нет, разобраться он разобрался, но признал этот боп за чепуху и муру, и ну его, мол, в задницу, завещал и нам.

Что, Захар? Что? Хоть про это, уволь, не требуй выражаться пристойно.

М-мм, о чем еще мне надобно не позабыть?!

Ах, да! Да… Тут ведь со мной браток со снайперским карабином.

Да нет, разиня, не русским. Фирма так называется… «Карабин». С лазерным прицелом пушка… Освещает узеньким лучиком цель, в которую надобно угодить. Ну, вот же, взгляни на мой лоб. Видишь кружок, красную точку? То-то… Она!

Ну, вот и поднимем первый стакан за нашу встречу. Очень мне тебя, стервеца, порой не хватает!

Чокнулись, что ли? Давай…

Что? Что-о?!..

Свихнулся ты, Захар?

Как я могу морить Никушку голодом?! Автомат свой загнал, «Берету», еще кое-что и набрал-таки… накопил. Так что Ляка, твоя благоверная, вкалывает теперь в Нью-Йорке и что ни месяц по двести баксов сюда перекидывает, а бабка с дедом пылинки с Никуши сдувают, на каратэ да на шахматы водят.

Лихой вкус у этого виски! Чуешь? Вкус достойной, мужественной смерти.

Дерет глотку, да?!

Так оно и должно быть, Захар… И вообще, здорово мы с тобою кайфуем.

А какой кайф пойдет дальше!

Давно я здесь не бывал. А что сегодня привело меня, знаешь? Нет?!

Ну, так я расскажу.

Рассказать?!

Выслушай, стало быть, и посуди сам, человек я или пустая банка от шпротов?!

Вот курну разок и начнем.

Не совестно тебе, Захар?! Ну, какие они могут у меня быть, сигареты? «Кэмел», дурень! Какие еще, как не «Кэмел»! Как в том анекдоте…

Словом, вот как все было…

Краем уха прослышал я, что на ипподроме намечаются скачки.

Приступ любви к лошадям, еще в юности нами, помнишь, владевшей, охватил меня и погнал-таки туда…

Ты Хатию помнишь? Одноклассницу нашу, Хатию? На чистопородных жеребчиках носилась. У-у-у, как носилась! Прикольная девчонка с развевающимися кудрями на летящем коне! Круто, Захар… Или, выражаясь культурно, ничего прекрасней я в своей жизни не видел.

Начиналось в двенадцать, и я загодя возник у входа на ипподром.

Лет, наверно, десять не заворачивал.

Где тут что, помнить не помню. Вхожу, стало быть, и топаю по асфальтированной дорожке меж сосен к трибунам. Озираюсь.

Статный жокей вывел из конюшни буланую кобылку и повел прогуливать на поводу медленным шагом. Зрелище, Захар, чудо!

Иду дальше. Пивная, — та, помнишь, за поворотом?! — совсем скособочилась, обгорела — стены сплошь закопченные. Развалюха! Обломался я от этого, или, выражаясь культурно, поскучнел и приуныл. Помнишь, каким пивком мы там баловались? Пополам с водой! А все равно не забыть...

Ну, приближаюсь я, стало быть, к трибунам.

Помнишь, в наши юные годы все там было ослепительно белое — и стены, и скамьи... Сейчас краска осыпалась, облупилась, — все обшарапано, блекло, жалко...

При виде беговых дорожек ты прослезился бы. Только внутренняя вспахана и пробороненa. А обе внешние заросли сорняками и утоптались. Целина целиной!

Башенка судейской коллегии оплыла и осела.

Не видно и спецмашины с железными крыльями для закрепления старта.

Из нового разве то, что манеж несколько уменьшили, точней, центр прежнего сузили и огородили.

Я засек, что типы и типши, редкими группками сбившиеся на трибунах, упираются зенками в колеблющиеся от ветерка программки. Вдоль поддерживающих перекрытье опор прошвыриваются фанаты, постоянные посетители, и тоже шуршат и посверкивают страницами, поборматывают-покрикивают:

— В первом забеге Огонь и Шубар! Шубар и Огонь! Отпрыски Петрополиса!

Помнишь, Захар, Петрополиса?

Огненно-рыжий! Во лбу звезда! Ноги стройные. Загляденье! Сын Ашхабада и Партитуры. Истинная гордость Куларского коннозаводства.

И... знай, Захар, пока прицельная пуля, совместно с контрольным, не поставила на лбу у меня многоточие в конце жизни, я буду помнить четвертое сентября тысяча девятьсот восемьдесят третьего года, день его триумфа, когда он выиграл тбилисское дерби!

Погоди, Захар. Как там наш братан? А?

Эгей, браток, я же знаю, ты нас слушаешь, а что такое «дерби», не знаешь. Английское слово... Означает состязанье трехлеток и четырехлеток. Близ Лондона, в Эпсоме, происходит то, что и поныне называется именно так... именно «дерби». А на американском жаргоне это котелок, шляпа, вроде той, что носит в своих фильмах гениальный бродяга Чарли Чаплин.

Ты не кайфуешь, Захар?! А ведь какой повод для кайфа я тебе сейчас предоставляю. Приди в себя! Прочисть уши! Промой мозги!

А ему, братку нашему, знаешь, что я скажу?

Этот ваш Паспорт сущий мамонт, мастодонт. Ходит за вами хвостом, надзирает, на ус мотает... Волк в овечьей шкуре, морда — гнилая картошка. А я сторонник тонкости и соразмерности, лютый враг грубости и топорности. И у меня от него уже вскипают мозги, и брось ты, браток, его, подь к нам сюда.

Не сердись, браток! Почитал бы и ты что про дерби, тотчас отбурел и решился бы. Может, дашь малость форы, а? Подождешь?

Что значит «кто»?

Не «кто», а «что»! Понял?

Боп? Что такое, любопытствуешь, боп? Боп что такое?! Боп — стиль джазовой игры... исполнения... вот что! А Птица, этот чародей звука... это Чарли Паркер, один из величайших музыкантов-джазменов. Он дул в альт-саксофон. Что творил, браток ты мой, что выкомаривал! В быстрых пассажах перемежал триоли с восьмыми... А надобно тебе, браток, знать, что триоль вещь своенравная! Этакая капризная ритмическая музыкальная фигура. Но, представь, пассажи звучали естественно и свободно. И напоминали... что же они напоминали?.. А-а, вот что... Будто град грохочет по крыше. Упоение! Сила... Кстати, с мелодией здесь, браток, все не так просто. В бопе она улавливается лишь в начале и разве что в самом конце композиции, когда завершается тема. В импровизационной же части, там, где идут самые кайфовые сольные

партии, мелодия сознательно приглушается, маскируется. Вот чего не усек сам Сачмо, он же Луи Армстронг. А какой был джазист! Какой гений!

Вернемся... ну, конечно, вернемся, Захар, к делу...

Подхожу я, стало быть, к этим... тамошним, постоянным... откуда, высказываюсь, берутся программки.

Да тетка, говорят, тут где-то торгует.

Тетку засекаю в кассе, выкладываю ларь, получаю искомое. В наше, помню, время по-русски печатали, теперь, гляжу, по-грузински. То-то... То-та-ли-затор... Выдает два вида игры — «Тройной экспресс» с угадываньем первого, второго, третьего места — при том что в наше время довольно было первого и второго, — и три «Одиночных» — с угадываньем первых мест в трех забегах. Прежде были и дубли — бега и скачки, правда, и тогда сие нам было не по зубам.

За тотализатор еще ларь отстегиваю.

Стою, стало быть, умягченный, охваченный воспоминаниями, а вы, ушедшие, маячите тут же, рядом. Ворошу программку, подсчитываю отпрысков Петрополиса, коим предстоит нынче показать себя. Боже праведный, целых шестеро. С Любушкой породил он, Петрополис, Волюшку, пегую кобылку, теперь уже четырехлетку. С Аргунью прижил Огня, огненно-красного, ныне тоже четырехлетку. С Богемой — Спорщицу, темно-рыжую нынешнюю двухлетку. С Галканой — буланую Соломку, двухлетку же. С Геликой — Чагиса, гнедого жеребчика-трехлетку. С Садлерией — Светлогривого, жеребца-семилетку.

Петрополиса, должно быть, отправили обратно в Марнеули, в Куларское коннозаводство, держат там в табуне для приплода... Любопытно, однако, как он там, все ли увивается за кобылками или унялся, ходит в тележной упряжке? Или содержится в почете в том же Кулари?..

Стою, короче, думаю, полагаю...

— А-ух, кого я вижу! — ревет кто-то совсем рядом.

Сначала не реагирую. Мало ли всяких тут ворюг и мошенников, к тому же, учитываю, вас там, Захар, все прибавляется, в геометрической почти прогрессии. Как крыс...

— Не прикидывайся, что не узнаешь, не то схлопочешь по челюсти! — рявкает тот же голос.

Халява, Захар, нарисовался. В натуре! Ну, не фигня?! Что ты скажешь!

— Эге-ге! — воплю. — Халява! Дружище! Уж не думаешь ли, что нынче на ипподроме поминки?! — И мы душим друг друга в объятиях.

— Ну, ты как? А?! Как ты? — входит в раж, грохочет Халява.

— Да так... — говорю. — Как-то этак...

— И в каком составе щебечешь?

— Да ни в каком, — отвечаю. — Сам, — отнекиваюсь, — по себе...

— Вау! Ты что?! Куда это тебя заносит! Составы, как грибы после дождя, плодятся... Прямо как с неба сыплются! Шуруют, долбят, тусуются... Даешь, брат! Не пойму, в чем тут фишка! Не приглядеть за тобой, чего доброго, сядешь на «Астру» да на картошку в мундирах!

Чуешь, какой базар пошел, какие разговорчики затеваются?! Вот-вот кайфом запахнет, да каким еще!

— Брось! Не до составов мне.

— Дуй со мной! — и слушать не хочет.

— Ни шагу... — упираюсь. — Ни-ни... пока не кончатся скачки!

— Ступай со мной, — пристал, как банный лист, припер, в общем, к стенке. — Пятьсот баксов в месяц, «форд-мустанг» и красотки! Идет?! Погоди-погоди! В законные узы брака вступил, что ли? В женины угодники?!

Сечешь? Халява мне, а?!

Кто не успел отсюда слинять, с голодухи ремень подтягивает, а этот, вчерашний завсегдатай чужих поминок, сулит пятьсот зеленых?!

— Да пошли, черт побери! Тоже мне...

Ну, пошли так пошли.

Привел меня к какому-то рогачу. Встречаются, знаешь, такие... если вглядеться в окололобное пространство...

— Вот, господин Паспорт, — объясняет ему Халява, — этот самый! В армии десантником отслужил, дрался в Афгане, потом в Самачабло и в Абхазии воевал, в полку «Пантера». Три дня выносил на плечах из тыла врага нашего друга Захара и схоронил его здесь, на Сабурталинском кладбище.

Не знаю, были, не были вы друзьями, но к делу, Захар, он себя приплел-припечатал.

— Ну, так как? Примем, что ли?! — задумался шеф.

— Да, — поддакнул Халява. — Примем!

— Десантником, не десантником, мне это до лампочки. Вот только с ориентацией если того... все кости перемелю, — пригрозил шеф.

— Что за, — не сразу сообразил я, — ориентация?

— Полный, — поднял большой палец Халява, — поррядок!

— Ладно! Приму с испытательным сроком. Жалованье положу, так и быть, пятьсот баксов. Валяй!

— Ну! — соглашаюсь. Терять-то нечего.

— Да, — спохватывается шеф. — Как с полицией? Есть осложнения? Нет?

— Были, — уточняет Халява, — теперь нету.

Короче, сечешь, Захар? О тысяче ларей идет разговор. И свои проблемы решу, и родным подсоблю.

Ты бы и сам не отказался. Поверь!

С чего это магнитофончик примолк?

А-а, сторонка...

Погоди-ка, переверну.

Ну, браток, жарит этот Чарли Паркер! Птица!

Один добрый малый, Дейв Таф, помню, рассказывал: вхожу, говорит, в зал, а эти щенки, боперы то есть, несут какую-то дурь на своих инструментах. Один этак резко вдруг останавливается, другой подключается, тут как тут третий. Не поймешь, где квадрат начинается, где кончается. Квадрат это, браток, количество тактов, надобных для раскрытия темы. Потом разом все, бряк, умолкли. Мы прямо, говорит, остолбенели!

Да, да, Захар, к делу, ну конечно же к делу...

Стало быть, чтоб и ты был, Захар, в курсе, шеф наш, этот Паспорт... господин Паспорт — надо же, назвали! — делает знаки с трибуны, «форд-мустанг», мол, стоит неподалеку, под соснами. Есть шампанское и персики. Придет пара фрей. Одну разделите вы с Халявой, другою займусь я сам. Она давно водит меня за нос, так что пора разобраться. Впрочем, что в этой жизни дается нам без мучений!

— Уже должны бы прийти, Паспорт Джанибегович! — взглядывает на часы Халява.

— Придут, куда денутся? — бормочет в ответ ему шеф. — Какую лошадь выберет, ту ей и куплю...

— Приз, посвященный дню независимости Грузии! Для чистокровных полновозрастных верховых старшего поколения! Расстояние — тысяча шестьсот метров! — хрипит в усилитель диктор.

— Сейчас их выведут и проведут мимо нас, чтоб мы оценили и сделали ставки перед стартом, — объясняет шефу Халява.

Удар в колокол. Раз! Другой!

Выходят лошадки. Четырехлетки.

Как шел Огонь, Захар! Как он шел! Малютка-жокей едва его сдерживал. Чудо-конь! Гибкий, на зависть самой Нино Ананиашвили. Холка изящная, шея выгнутая! Лопатки по самые головки тонут в упругих мышцах. Ноги стянуты мощными жилами. Он сперва покосился на собратьев, потом ринулся за ними и в мгновение ока оставил всех позади.

Да-а, скажу я тебе...

Фаворит, да и только!

Шеф дал Халяве денег на тотализатор. Но тот все перепутал — привык запоми-

нать одни только адреса поминок... ну, да, что и говорить, на халяву! — вот и ввел шефа в убыток ларей на пятьдесят-шестьдесят.

Нет, Захар, я не ставил. Не играл! Поклялся, что после твоей гибели не соблазнюсь, и баста!

Но как радостно было следить, Захар, за семиметровыми прыжками Огня и вспоминать Петрополиса. Да, Захар! Тогда все мы были живы... И Гигуша, которого потом изрешетили пулями в его собственной машине... И Ладо, сгоревший в самолете в Сухуми... И ты, Захар... И я... Помнишь, как в Петрополис принес нам выигрыш в пятьдесят четыре рубля и как здорово мы освоили их в хинкальной близ ипподрома?..

Нынче один только я и остался... Да и...

А вообще потесниться тебе придется-таки.

Да, полно, Захар! Брось! Куда я денусь? Осточертело все, правда...

Но... к делу!

Победителя забега, сам знаешь, проводят вдоль неистовствующих трибун.

Первым, что и говорить, пришел к финишу Огонь, и когда они с жокеем гарцевали вдоль скамей под восхищенными взорами зрителей, он не сдержался, взвился, взлетел на дыбы, сбросил жокея, порвал подпруги, вскинул в воздух белый лоскут с ярко-красной цифрой пять, резко оттолкнулся и мощными рывками понесся к конюшням. Его попытались остановить, повернуть назад, но он ушел от преследователей, прянул, дернулся и ворвался в ворота.

К двум часам закруглились все пять заездов, но женщин, которых ждал Паспорт Джанибегович, все не было видно.

— Я их!.. — махнул наконец шеф рукой. — Я их, таких-растаких!.. Не пришли, так не пришли! Зальем!

Пошли заливать.

Помнишь, Захар, был там малый манеж? Так вот чуть пониже его, в сосняке, поставили мы машину, выгрузили то-се и принялись...

Стакан за стаканом, и при очередном шеф вдруг замер и остановил взгляд на манежике.

Вдоль его кромки шли две молодые женщины. Вровень ростом... Но на этом их сходство кончалось. Одна, поплотнее, в чуть не лопающейся юбке, казалось, тащила на себе всю вселенную. Другая... летела, и ниспадающие на лоб пряди волос заслоняли ей взор.

И такая была, такая...

Знаешь, Захар, какая?

Вот, как древний мудрец сказал о своей ненаглядной: «Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями».

Подошли они, поздоровались, и я, Захар, чуть не ополоумел!

Не знаю, кто была та, что несла на себе всю вселенную, но второй оказалась — ты сам, Захар, очумеешь! — Хатиа!

Очнись! Наша одноклассница Хатиа!

Та, в которую были влюблены все, но пуще всех я...

Помнишь, сколько раз я рассказывал здесь тебе, как долго искал — измотался, избегался — эту самую Хатию, и вот, когда уже отчаялся напасть на ее след, передо мною... кто? Она, Захар! И где? У этих пройдох!

Что тут говорить, Хатиа и сама увидела, узнала меня.

И тогда я обратился к словам того самого мудреца: «Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя...»

Хатиа вздрогнула, побелела, мгновенно сошла с лица.

— Ну, все вроде ясно, — провозгласил Паспорт Джанибегович, — только по каким это площадям слонялась она, по каким закоулкам-проулкам?!

— Как объяснил нам Саба[1], площади сии были красивые, видные места в городе, украшенные всем самым привлекательным и примечательным, где селились знатные и богатые, — с надежно скрытой под раскованностью хитрецой растолковала ему Хатиа.

---

[1] Саба — Сулхан (Саба) Орбелиани — великий грузинский писатель и лексикограф XVIII в.

— Ну, так звякни этому своему Сабе по мобилю, пусть притопает, в натуре, сюда, расспросим, что это за площади да закуты и кого там искали, — протянул Хатии свой телефончик шеф.

— Не-а, не получится! Он давно уже отсюда слинял! — в тон ему бросила закидончик Хатиа, незаметно мигнула мне, и я уловил, как к ней возвращаются обычные ее непосредственность и свобода.

Не знаешь, что такое закидончик? Это, браток, если выразиться культурно, экивок, что ли, оборотик, полуправда, полуобман... поддевка на мушку... вот что...

— Небось, полиция выжила бедолагу! — предположил Паспорт Джанибегович.

— Что поделаешь! Жизнь-то такова! — философнул Халява.

Мне не пришлось сдерживать смеха, потому что до него ли мне тогда было?! Эти, думаю, в полосе, вот-вот дунут в кайф, один я минусуюсь...

Тяпнули еще пару стаканов, и Паспорт Джанибегович вопросил:

— Ну, какого же тебе хотелось бы коня, моя закоулочка?

Так ты как, Захар, думаешь, на какого мог пасть выбор Хатии, той, что с младых ногтей росла бок о бок с лошадьми и в глазах которой, когда она поднимала их на меня, всегда носились Петрополисы?!

— Ну, и сколько же тянет этот Огонь? — осведомился у нее шеф.

— Здесь тысяч десять-пятнадцать, а за границей гораздо дороже...

Так вот, Захар, после того кутежа Паспорт Джанибегович ввел словечко «переулочек-закоулочек, закуток», а еще точней «глушь, глухомань» в постоянный свой лексикон, в свое обыкновенье, а Огонь вкупе с конюшней и наймом обслуги перешел в собственность Хатии.

Я прослужил в охране прохвоста Паспорта ровно три месяца. Официально сей шеф наш числился заведующим отделом некоего силового ведомства, а по цветному делу, то есть в действительности, был одной из крупных фигур в мучной — как бы ее покрепче, Захар, выматерить! — мафии. Его даже называли Мучным полковником. На чем и нажиться в нашей несчастной стране, как не на муке, бензине, мыле да сигаретах...

Хатиа и сама вкалывала в этой конторке, да так ловко, что... Короче, неделю тому назад звонит она мне — давай, говорит, встретимся, обговорим одно дело.

И мы встретились, Захар!

На банковский счет Мучного полковника поступил из какого-то постсоветского государства миллион с чем-то баксов.

Что там долго тянуть! Хатиа нашла кайфовый ход и растолковала мне, как перебросит его в какую-нибудь офшорную зону, если я открою там счет.

Почему, любопытствуешь, не открыла счета сама и не перекинула миллион на него?

— А потому, — пояснила она мне, — что Мучной полковник никому до конца не доверяет, а за мной ведут наблюдение и Халява, и еще много других.

Я не сразу врубился, что это за закидон подкинула, теперь уже мне, Хатиа. Женщина все-таки, а их без пол-литра не раскусить!

Нам, стало быть, предстояло как-нибудь выманить, заполучить этот миллион и укрыться с ним в заштатной, забытой всеми глуши, закуте, глухомани, а там уж... Все — документы, авиабилеты — было готово по всем правилам конспирации и по всем законам любви.

Да ты что! Очнись! Продуй уши, промой мозги! С Огнем, натурально, все уладили-утрясли — обслуге предписывалось, когда мы оторвемся, переправить его в условленный пункт, чтоб потом мы вывезли его туда, куда подадимся сами, — в глухомань, сам понимаешь...

Словом, все предусмотрели, Захар. И Хатиа, сейчас я допер, освоилась куда раньше меня... Оч-чень продвинутая, скажу тебе, Захар, особа!

Сказано, красотке не доверяй. Поют даже про это. Доверяй, не доверяй, Захар, а я таки полагаю, что нас выдал конюх — дунул к Мучному полковнику и все ему выложил.

Сейчас, правда, усекаю, что и Хатиа откуда-то знала, как все обернется. Нет? А чего тогда вылетела на день раньше меня?

Нельзя, нельзя-таки доверяться красивой женщине, Захар!

А? Как ты думаешь?

Можно, полагаешь, ей верить?.. Да?!

Так вот один только я и угодил на растерзанье к разъяренному шефу, мать его так и этак, да почаще!

Вот видишь, Захар, на пригорке, на самой обочине дороги, стоит белый джип. На крыше его устроился этот самый... как же его... братан, с карабином. В полной экипировке охраны... и в полной готовности... А вот красный кружок у меня на лбу. Видишь? Ну, вглядись, небольшой такой, с точку! Это значит, что я сижу у него на прицеле. Почему? Да потому, что я сволочь, отброс, предатель, а то, что меня самого отбросили... что подставили, им всем по фигу! Понимаешь?!

Поди дознайся, в какую такую глухомань улепетнула Хатиа! И какой самый набитый дурак поверит, что в ту, где мы условились встретиться?!

Последнюю мою волю, это да, они выполнили. И вот мы здесь. Я поднялся к тебе, Захар...

Ты уже знаешь, чем все в конце концов обернулось. Я сказал тебе.

Нас погубил Огонь, а не Хатиа.

А ведь он был для меня вырванным, выхваченным из старых добрых времен Петрополисом! Нашим братством, скрепленным композициями Чарли Паркера и любовью к Хатии...

Где там брат?!

Эгей, браток!

Ну, что же ты?!

Стреляй давай!

Да стреляй!

Будет тебе... Давай!

Что?

Что ты сказал?!

В какую, спрашиваешь, глухомань навостримся?

Куда-куда?!

Да что мне делать на этом Таити?!

Огонь и Хатиа ждут меня там?

Если, браток, тебя подослала ко мне Хатиа, то чего ты принудил меня полдня рыть... ну... вот ее...

В длину два метра, в глубину метр двадцать, в ширину чуть не метр... Поди-ка засыпь теперь такую!

Сказал бы уж загодя...

А?! Записал?!

Чего же это ты записал?!

Как я базарю?

На диктофон?!

Вот черт!..

Устроили же вы мне кайф... Вашу этак...

Чтобы Хатиа на всю катушку насладилась предсмертным моим монологом? Да?! Так, что ли?..

Или опять подкайфовываешь?

Ну, так давай!

Стреляй, говорю!

Да уж, так я и поверил!

Ладно тебе, браток!

Да ты что! Ищи простаков в другом месте!

Это кто же доверится красивейшей на свете женщине?!

Ну, давай, говорю!

Валяй!

Стрелять так стрелять!

Ну, все! Все! Пли!

Да стреляй-таки...

Дуй поскорей!

Стреляй, говорю!

Стреляй!

Стре...

Так он что и вправду это, Захар?

То есть ты, браток, хоть и состоишь при Полковнике, но притом еще родня Хатии? И шеф знать про это не знает?

Бестия, прохвост, прохиндей, и не знает? Будет тебе заливать!

Как бы он нажился на нас без мозгов?!

Сдается мне, что тебя пронял Птица...

Ну, да ладно, принимайся за дело!

А по мне, так уж лучше здесь, рядом с Захаром, посреди несохнущих елей, вечнозеленых лужаек и журчащих, рокочущих ручейков... На небесных пастбищах Господа Бога...

Погоди, браток!

Что ты делаешь?

Не ломай его!

Ты гляди, Захар, что он...

Да ты что, браток! Такой карабин! Мы бы его... ну, продали, что ли? Да ты что?!

Стало быть, все это Хатиин закидон?

На Таити, говоришь?

Ну, черт с ним, пусть будет Таити!

Тоже ведь глухомань!

Махну, взгляну на нее, и в голубых глазах взовьются и загарцуют Огонь и Петрополис...

И нашепчу ей то, что проронил о своей возлюбленной тот древний мудрец: «И груди твои были бы вместо кистей винограда...».

А она ответит его же словами: «Я — стена, и сосцы у меня, как башни; потому я буду в глазах его, как достигшая полноты».

И тогда... тогда я запущу что-нибудь из Чарли Паркера! Самое мощное... Что, спрашиваешь? Что? Ну, вот хоть это. «Лягушка-попрыгушка» называется!

Вот послушай...

И еще я тебе вот что расскажу... перескажу то есть...

У боперов этих был зверь-трубач, Майлз Девис. Так вот он вспоминал — играем мы, говорит, наяриваем блюз. Ритмсекция пошла по обыкновенной, привычной линии, а Птица забылся — вспорхнул, полетел по своей. Что, думаем, такое — ритмсекция акцентирует первую и третью части вместо второй и четвертой? Когда так получалось, наш ударник Макс Роуч всегда бросал... напоминал пианисту Дюку Джордану: не подыгрывай Птице, следуй общему ритму! Но вскоре все выправлялось и летелозвучало, как задумывалось Птицей. И мы снова шли в унисон! — радовался Майлз Девис.

Что за птица?

Я ведь говорил тебе, что Птица это Чарли Паркер, альтсаксофонист. Он клево летает... сказочно... как жар-птица...

А вообще, если не любишь и не разбираешься в джазе, то что тебе делать в такой глухомани, как Ямайка, Гавайи и Таити?!

Да ты не расстраивайся... не огорчайся, Захар!

Не унывай!

Куда я от тебя денусь?

Явлюсь к тебе и из той глухомани!

И мы сыграем согласно, как Майлз Девис и иже с ним...

Ты же видишь, закидоны забрасывать любит Хатиа... а не я...

Январь 2005-го.

P.S. В новелле говорится: «В длину два метра, в глубину метр двадцать, в ширину чуть не метр... Поди-ка засыпь теперь такую!». И как вы думаете, кому позвонил теперь-то герой этой новеллы, но тогда большой мерзавец, аферист, сволочь и потаскун перед вылетом из тбилисского аэропорта и кому пришлось со смехом сквозь слезы засыпать ту яму вблизи от могилы Захара? Ах, дык-ели-палы!

Сияние снежного дня
Рассказ-мениппея

Федор Андрианович:

В начале 1943 года, примерно в марте месяце, нас, небольшую группу пленных, привезли в польский концлагерь Крушино. Там я и познакомился с Христофором Николаевичем, или попросту с Форе, как все его называли. Впрочем, я обращался к нему по имени-отчеству, и ему это нравилось.

Сам он также величал меня Федором Андриановичем.

Когда попадаешь в плен и делишь одну судьбу, быстро находишь общий язык, то же произошло и с нами…

О неслыханном зверстве оберштурмфюрера Фалькенштейна — начальника концентрационного лагеря ходили легенды, о чем нас, «новобранцев», сразу же предупредили пленные-старожилы.

Оберштурмфюрер Ганс фон Фалькенштейн служил в полку морских пехотинцев. В одной из пьяных бесед с офицерами он случайно обмолвился о фюрере, дескать, погубит нас этот фанатик — и очутился в Польше в качестве начальника концлагеря. Видимо, это его и бесило.

Словом, как-то утром нас, как обычно, вывели на работу, и немецкие овчарки вдруг подняли лай, а стража спешно начала поправлять форму.

Вскоре из-за барака появился высокий немецкий офицер, ведя на поводке примерно трехмесячного черного дога немецкой породы. Щенок весело вилял длинным хвостом и путался в ногах у идущих следом двух офицеров и трех вооруженных автоматами солдат личной охраны. Христофор Николаевич шепнул мне: «Говорят, у Гитлера такие же доги». «На кой они ему?» — поинтересовался я. — «Подражает Бисмарку, тот любил эту породу».

Оберштурмфюрер внимательно проверял нашу работу — мы копали рвы.

Он довольно долго прохаживался туда и обратно, кого вытянул плеткой, кому пригрозил расстрелом.

Мы с Христофором Николаевичем работали рядышком и, когда он приблизился к нам, оба невольно побледнели.

Фалькенштейн будто нарочно остановился перед Христофором Николаевичем, возможно, его внимание привлекла отросшая борода.

«Откуда родом?» — спросил начальник лагеря.

«Нездешний я», — ответил Христофор Николаевич и погладил по голове дога, опершегося лапой о его колено.

«Значит, нездешний?!» — зло усмехнулся офицер и вдруг как заорет: «Оставь собаку и на колени!»

Наклонившийся, чтобы погладить дога, Христофор Николаевич выпрямился и словно застыл на месте. Лишь глаза его в упор смотрели на немца. Мне показалось, это длилось вечность — поединок взглядов.

Затем начальник лагеря схватился за кнут, взмахнул им и тот, со свистом прорезав воздух, хлестнул Христофора Николаевича.

Испуганная Фрида прижалась к ногам хозяина и заскулила.

Я еще не успел осознать, что Христофор Николаевич даже не шевельнулся, как тот размахнулся и залепил своей богатырской рукой такую оплеуху начальнику лагеря, что тот сначала выронил в яму кнут, а затем рухнул на свежевскопанную землю.

Все стояли словно зачарованные, смотрели на поднявшего лай щенка и даже думать боялись, что за этим последует.

У одного из офицеров сопровождения выступила на виске капля пота, скатилась и упала на руку, сжимавшую «вальтер».

Начальник лагеря с трудом поднялся, из носу шла кровь. Сопровождавший его офицер протянул свой платок.

«Что это?! — заорал он на подчиненного и бросил платок ему в лицо. — Подать мне кнут!».

Второй офицер спрыгнул в яму и отыскал кнут.

Между тем начальник лагеря достал свой платок, утер кровь и приказал автоматчикам отойти назад. Взбешенный, взглянул он на пленного, и дрожавшая от гнева, тянувшаяся к «парабеллуму» его рука застыла на полпути — Христофор Николаевич простодушно улыбался ему. Затем поднял Фриду на руки, и та перестала лаять, он приласкал, поцеловал ее и опустил на землю.

Тогда я впервые увидел и почувствовал, как может безоружный человек одолеть вооруженного до зубов начальника лагеря.

«А он настоящий молодец, смельчак!» — сказал мне той ночью Христофор Николаевич, когда мы легли спать.

Сначала я не понял, и лишь потом до меня дошло, что расстрелять безоружного пленного за оплеуху значило для начальника лагеря оберштурмфюрера Ганса фон Фалькенштейна расписаться в собственной трусости. Как-никак он был барон, а не какой-нибудь там самозваный Лжедмитрий.

Должен вам сказать, победа, одержанная советскими войсками в 1943 году под Сталинградом и на Курской дуге, нанесла сильный удар по странам фашистского блока.

Бенито Муссолини понял — конец близок. Желая спасти свою шкуру, он встретился с Адольфом Гитлером, чтобы получить разрешение вывести Италию из Второй мировой войны, но получил категорический отказ. Мало того, фюрер потребовал активизировать военные действия на фронте.

Вернувшись в Италию, Муссолини был вынужден явиться на Большой фашистский совет, который 24 июля 1943 года большинством голосов — девятнадцать против семи — принял резолюцию о его отставке.

После того как союзники высадились на Сицилии, а затем и в районе Неаполя, Италия в сентябре заключила перемирие, вышла из войны как союзница Германии и сама объявила ей войну.

В ответ на это немецкие соединения оккупировали северную и центральную части Апеннинского полуострова.

Был установлен строжайший оккупационный режим. Гражданские власти Северной Италии вынуждены были перейти в подчинение находящегося в Милане немецкого консула. Были запрещены всяческие собрания и забастовки. Население насильно угоняли на работу в Германию, бросали в концентрационные лагеря.

Словом, Гитлер принял решение превратить Италию в поставщика живой силы и провианта.

Антифашистские партии Италии объединились в Комитет национального освобождения и призвали население к сопротивлению.

Началась партизанская война, в которой приняли участие и тысячи советских граждан.

Часть военнопленных, в число которых попали и мы с Христофором Николаевичем, в начале 1944 года перевели из Франции в Северную Италию. Мы должны были восстанавливать взорванные партизанами коммуникации — мосты, железнодорожное полотно, дороги и телеграфные столбы.

Партизанское движение здесь было в самом разгаре. Итальянские партизаны наносили фашистам большой урон — уничтожали военную технику, живую силу, коммуникации.

Вначале мы находились в провинции Удине, затем в провинции Турин.

Наши быстро сориентировались в ситуации, и вскоре большая группа пленных бежала из лагеря и присоединилась к партизанам. Нас, как «новобранцев», они проверить не успели, поэтому и не взяли с собой, оставив в лапах разъяренных фашистов. В лагере участились репрессии. Потом немцы решили, что держать вместе большую группу пленных опасно, и одну часть, в которой оказались и мы с Христофором Николаевичем, перебросили в провинцию Новара.

Осенью 1944 года Христофор Николаевич установил связь с небольшой группой итальянских партизан, если не ошибаюсь, под названием «Армандо».

«Как ему это удалось?» — спросите вы. Действительно, смешная история вышла.

Словом, в то время мы находились в одном маленьком городке провинции Новара, уж не помню его названия, кажется, Стреза, он еще так красиво раскинулся на берегу озера Лаго-Маджоре.

Городок этот охранял отряд хорошо вооруженных немецких военных моряков под командованием генерала Крумера. Они весьма усердно караулили нас и днем и ночью.

Среди офицеров находился и наш старый знакомый — оберштурмфюрер Ганс Фалькенштейн со своим подросшим, весьма дружелюбным черным догом по имени Фрида. Это я потом уже узнал, что он дружелюбный — в лагере под Крушино это был совсем маленький щенок.

Поначалу нас привезли в Стреза и выстроили на плацу, чтобы проверить по списку. Там же находились немецкие офицеры, солдаты с овчарками и Ганс фон Фалькенштейн со своей Фридой.

Христофор Николаевич, как увидел их, сразу шепнул мне: «А ведь мы с тобой знаем эту псину».

В общем, читают этот список, а дог все не успокаивается, тянется в нашу сторону. Фалькенштейн не пускает его, а он поворачивается и грязными лапами прямо ему на китель. Просится, стало быть. И раз, и другой. Тут и немецкие овчарки учуяли — что-то происходит — и лают на нас.

Одним словом, гвалт стоит такой, собственных фамилий не слышим, немецким ведь кроме Христофора Николаевича никто не владеет, что ж тут разберешь?

Потом уже Христофор Николаевич рассказал мне, что начальник лагеря Крумер рассердился на Фалькенштейна:

«В чем дело, что с твоей собакой?!».

«Не знаю», — пожал плечами барон.

«Ну-ка, спусти ее», — приказал генерал.

Я-то ничего не понимаю, и когда Фалькенштейн спустил Фриду с поводка, у меня екнуло сердце — сколько было случаев, когда немцы натравливали на пленных собак. К тому же этой Фриде уже около десяти месяцев, доги ведь вырастают до огромных размеров, если не больше овчарок, то никак не меньше их, о силе я и не говорю.

Словом, барон спустил Фриду, и она красивыми прыжками понеслась прямо к нам, подбежала к Христофору Николаевичу и, сделав три круга вокруг него, завиляла хвостом.

Тот не обратил на нее внимания. Тогда она приподнялась и встала на задние лапы. Тут уж Христофор Николаевич приласкал ее, погладил по голове и что-то шепнул по-немецки. Собака совсем ошалела от радости, повизгивает и не отходит от Христофора Николаевича, все бегает вокруг него, играется.

Узнала.

Вот что значит хорошая, умная собака, верно?

«Этого пленного я знаю еще с концентрационного лагеря в Крушино, герр генерал, — сказал барон фон Фалькенштейн, — видимо, Фрида тоже его запомнила и теперь узнала».

С того дня Христофор Николаевич получил большую свободу, ему поручили выгуливать Фриду и ухаживать за ней.

Нет, в город его, разумеется, не пускали, но и работать, как нас, не заставляли, к тому же у него появилась возможность разговаривать с итальянцами, поставляющими в лагерь провизию.

Вообще-то в Северной Италии многие знали немецкий. Но у Христофора Николаевича был талант к иностранным языкам, спустя несколько месяцев он уже говорил по-итальянски, правда, не совсем хорошо, но его понимали.

Вот так он и узнал, что наверху в горах действовали итальянские партизаны. Когда же ему удалось достать карту местности, мы решили бежать к партизанам.

Христофор Николаевич нарисовал схему охраны по всему периметру лагеря, и мы точно рассчитали все наши действия. Снять охрану было несложно, главную опасность для нас представляли натренированные немецкие овчарки.

Мы не раз планировали побег, но каждый раз откладывали, ожидая подходящего случая.

7 сентября 1944 года, этот день мне никогда не забыть, немецкие моряки решили устроить большой пир в честь дня рождения генерала Крумера.

Христофор Николаевич узнал об этом от Фалькенштейна, с которым часто разговаривал как с хозяином своей подопечной. Затем во время работы он поделился этой новостью со мной.

«Как стемнеет, собери доверенных ребят, обсудим все в бараке».

Мы с нетерпением ожидали наступления сумерек.

Наконец стемнело, и мы собрались в бараке.

«Лучшего случая не представится! Сегодня ночью мы должны разоружить фрицев и бежать!» — сказал Христофор Николаевич.

Все мы были закаленными в боях, уже проверенными бойцами, и никто не отступился бы. Дело облегчало и то, что в сторожах немцы оставили одного итальянца Анджелино Крибио. Итальянец этот был членом фашистской партии и служил немцам. Однако, как сказал нам Христофор Николаевич, он перестал им сочувствовать после того, как они оккупировали Северную Италию.

Так вот этот Анджелино Крибио помог нам — дал свое оружие и провел туда, где пьянствовали немцы.

Словом, когда фашисты очнулись, они были безоружны и крепко связаны.

Нет, того сторожа мы не убили, он сам не захотел остаться с немцами и пошел с нами.

Пять километров после городка Стреза мы шли, поднимаясь в горы. Шли тихо и молча.

Маршрут мы знали заранее, но отыскать путь в темноте человеку подчас трудно в собственной деревне, не говоря уже о чужой стране. Поэтому на небольшой участок пути затратили уйму времени.

Возглавляли отряд я и Христофор Николаевич, вооруженные автоматами.

У села Дженезия нам повстречался командир отряда «Армандо» Эдо Дельграто.

Темно уже было, и я его не разглядел.

Потом уже увидел, что Эдо Дельграто среднего роста, рыжеволосый, с всклокоченной бородой. Сбрей он эту бороду — был бы неплохим парнем, если, разумеется, не считать голоса — резкого, колючего, с хрипотцой, словом, неприятного. Позднее, часто сидя у партизанского костра где-нибудь в укромном уголке и напевая «Белла, чао», мы давали Эдо Дельграто дополнительную бутылку вина, лишь бы он не пел.

Словом, Эдо Дельграто поздоровался с нами и заговорил с Христофором Николаевичем.

Поскольку я ничего не понимал, вернулся назад и подозвал находящихся невдалеке ребят, с нетерпением ожидающих нас.

Дальше нас повел Эдо Дельграто, и вскоре мы оказались в одном из батальонов 118-й бригады «Ремо Сервадеи» под названием «Пеппино».

Партизанские Гарибальдийские бригады состояли из сорока-пятидесяти человек, которые, в свою очередь, были разбиты на небольшие отряды. Состав их увеличивался, когда к ним присоединялись сбежавшие военнопленные.

В нашей группе было примерно человек семьдесят. Затем нас распределили, и часть из нас попала в «Армандо», отряд Эдо Дельграто...

«Все — просто отличные бойцы, — говорил комиссар бригады по прозвищу «Чиро», — храбрые и смелые, как львы!..».

Что и говорить, тогда это была большая сила, тем более, недостатка в оружии мы не испытывали.

Через четыре дня после нашего появления, то есть 12 сентября, руководство партизанского отряда решило освободить партизан, находящихся в госпитале городка Оменья, которым грозила мученическая смерть. Среди них были партизаны, попавшие в плен во время боя у села Дженезия, и командир Дельграто.

В общем, дело было рисковое.

В Оменьи было полно фашистов. Согласно данным разведки, здание госпиталя круглосуточно охранял усиленный отряд гитлеровцев.

Выполнение этой операции было поручено нашей группе, состоящей из шести человек да еще итальянского проводника.

На задание отправились поздно ночью. Спустившись по склону горы, мы незаметно вошли в город.

Здание госпиталя окружала большая ограда. В ночной тишине ясно слышался звук шагов немецкого часового.

«Сидите здесь и ждите моего сигнала», — шепотом сказал Христофор Николаевич и спокойно двинулся к калитке.

Сигналом было уханье совы.

Мы довольно долго вслушивались в ночную тишину, но ничего не слышали.

Как только раздалось уханье совы, сразу же бросились к калитке. Христофор Николаевич успел нарядиться в немецкую форму и с автоматом в руке занял место караульного.

«А где фриц? Придушил гада?» — поинтересовался я.

«Нет, — засмеялся он, — долбанул его пару раз гранатой и оттащил под навес!..».

Мы стремительно ворвались во двор, бесшумно разоружили немцев и забрали с собой раненых.

Эдо Дельграто был ранен в ногу, идти в гору ему было трудно, и мы с Христофором Николаевичем по очереди тащили его на спине. Так и продвигались, пока не отошли на безопасное расстояние. Это был первый случай, когда мы спасли его от верной смерти.

После первого боевого крещения, где Христофор Николаевич показал себя храбрым и сообразительным бойцом, руководство партизанского отряда решило назначить его командиром «Армандо», но мой друг отказался: «Я плохо знаю местность, да и итальянским не владею, поэтому взять на себя такую ответственность не могу!..».

В сентябре 1944 года ожесточенные бои разгорелись у подступов к Домодоссола.

Отряды батальона «Пеппино» 118-й бригады «Ремо Сервадеи» — «Армандо», «Валдосола» и «Реди» напали на гарнизон Пьедимульеро и окружили его. Однако фашисты сумели прорвать кольцо и отошли в направлении Виладосола.

У Панто дела Мазона им преградили путь гарибальдийцы. Немцы понесли ощутимые потери — три автомашины, шесть легких пулеметов и до тридцати человек убитыми. Оставшиеся в живых вместе с гарнизоном Виладосола отступили к Домодоссола.

Вскоре мы начали готовиться к штурму Домодоссола. Гарнизон его насчитывал до шестисот человек, к тому же на помощь ему были посланы дополнительные силы.

Именно в это время руководство поручило нам очередную боевую операцию. Отобраны были четверо, среди них оказались и мы с Христофором Николаевичем — необходимо было взорвать ведущие в сторону Домодоссола железнодорожные и автомобильные пути. Особенную важность представлял железнодорожный мост, связывающий город с провинцией Новара.

Осторожно подобравшись к нему, мы долгое время наблюдали. Мост этот я и Христофор Николаевич хорошо знали, так как именно здесь пришлось нам работать, находясь в плену у немцев. Его охраняли вооруженные солдаты.

Спустя какое-то время они собрались все вместе и уселись на противоположной от нас обочине моста. Видимо, решили пообедать.

«Время, — сказал Христофор Николаевич, — я проберусь к мосту. Вы следите за фрицами. Если меня засекут, сразу же открывайте огонь».

Он еще раз проверил связку гранат, широко улыбнулся нам и бесшумно скатился по покрытому частым кустарником склону.

Мы с волнением следили за ним. Путь был достаточно длинным, к тому же он так мастерски скрывался в кустах, что пару раз мы даже потеряли его из виду.

Примерно полчаса спустя послышался оглушительный взрыв, и на глазах у

изумленных гитлеровцев с набитыми колбасой и хлебом ртами железнодорожный мост рухнул прямо в реку.

Словом, мы с блеском выполнили операцию и победителями вернулись в лагерь.

Кстати, неправда, что Христофор Николаевич не знал итальянского. Он сразу же освоился с языком и через два месяца свободно изъяснялся на нем.

Когда мы докладывали комиссару «Чиро» об успехе операции, произошло нечто неожиданное.

В ту пору мы базировались в лесу и часто меняли расположение, чтобы сбить со следа немецкую разведку. Вдруг, откуда ни возьмись, на поляну выскочил черный дог. Виляя хвостом, он несколько раз обежал вокруг Христофора Николаевича.

Разумеется, это была Фрида!

Партизаны сразу же схватились за оружие, были высланы разведчики, но тревога оказалась ложной.

Христофор Николаевич погладил пса по голове.

«Фрида, Фрида!» — приласкал он ее и, как всегда, затеял с ней игру.

От радости она не знала, что делать. Сначала носилась словно ошалелая вокруг Христофора Николаевича. Затем, уставшая, высунула язык и уселась у его ног. Ведь именно он ухаживал за ней в концентрационном лагере и, видать, так ей полюбился, что она и сюда за ним прибежала.

Самое смешное, что Христофор Николаевич был уверен: «Она меня понимает, только я должен говорить с ней по-немецки».

Дружбу человека с собакой я видел, но чтоб такую, как у Христофора Николаевича с Фридой, не доводилось.

В общем, пока мы воевали, Фрида часто навещала Христофора Николаевича, прибежит на несколько дней, а потом исчезает на одну-две недели.

Христофор Николаевич часто говорил вслух, чтобы слышал Эдо Дельграто: «Эта собака принадлежит одному хорошему немецкому барону, который ненавидит Адольфа Гитлера, но не может изменить своему воинскому долгу. Боюсь, как бы Фрида не привела за собой его солдат».

Само собой, он подразумевал барона Фалькенштейна.

Однажды нам срочно понадобился «язык», так как несколько спланированных комиссаром «Чиро» операций закончились безуспешно.

За это дело взялся Христофор Николаевич, прекрасно владевший немецким. Раздобыл немецкую форму и направился в город Стреза, откуда несколько недель назад бежал из плена.

Главная сложность операции заключалась в том, чтобы незаметно пробраться в город. С этой целью Христофор Николаевич взял с собой нашу связную родом из села Комнаго Терезину Мота. На голове у нее были повязаны две разноцветные косынки, одна поверх другой — красная и белая. Шла она, на двести-триста метров опережая «немецкого офицера», и в случае опасности должна была подать сигнал, сняв белую косынку.

В общем, Христофор Николаевич пробрался в город, там было уже менее опасно, тем более он был высокий, светловолосый и очень походил на немца.

В ожидании удобного случая ему долго пришлось прогуливаться по улицам. Наконец, он остановился у пивного ларька, где стоял немецкий офицер — оберлейтенант.

«Хайль Гитлер!» — не растерялся Христофор Николаевич и, поприветствовав офицера, заказал себе кружку пива. Медленно попивая, он искоса поглядывал на немца, который оказался военным моряком.

Оберлейтенант тоже внимательно всматривался в Христофора Николаевича и, естественно, узнал своего бывшего военнопленного.

Медлить было нельзя. Прежде чем немец успел открыть рот, Христофор Николаевич приставил к его груди «вальтер» и на отличном немецком сказал: «Для вас, герр оберлейтенант, война закончилась! Услышу хоть звук, сразу же пристрелю! Заходите в ларек! Посмотрите в сторону или сделаете лишнее движение, спущу курок и себя застрелю!» — пригрозил он ему.

Спустя какое-то время из ларька вышли обезоруженный, слегка бледный офицер и Христофор Николаевич, весело поприветствовав миновавший их военный патруль, они сели в офицерскую машину, подсадили по пути ожидавшую у въезда в город Терезину и уехали.

Этот «язык», которого привез Христофор Николаевич, оказался бароном Готфридом фон Фалькенштейном, племянником оберштурмфюрера Ганса фон Фалькенштейна. Дядя постарался устроить так, чтобы молодого Готфрида не отправили на Восточный фронт, и привез его в свой гарнизон.

После того как допрос был закончен, Эдо Дельграто предложил расстрелять пленного.

Мы с Христофором Николаевичем были против: «Ни в коем случае. Возьмем с него честное слово и отпустим в Лозанну, в Швейцарию!..».

Эдо Дельграто очень разозлился и прямо обвинил Христофора Николаевича в измене: «Думаешь, я не знаю, что эта псина приносит тебе письма барона. Он ведь ее хозяин, следовательно, ты, братец, немецкий шпион!».

Это было весьма серьезное обвинение и все, кроме комиссара «Чиро», взглянули на Христофора Николаевича с подозрением.

Он лишь улыбнулся и произнес: «Подождем до вечера...».

А вечером приключилась интересная история. Сначала примчалась Фрида, покружила, как обычно, вокруг Христофора Николаевича, потом унеслась куда-то, а спустя какое-то время вновь появилась с человеком в гражданской одежде.

Человек этот подошел к Христофору Николаевичу, поздоровался с ним и спросил о Готфриде.

Готфрида привели.

«А вот теперь обоих вместе расстреляем», — обрадовался Эдо.

Однако тут вмешался комиссар «Чиро»: «Этой же ночью переправим обоих в Лозанну, так как бароны поклялись, что больше не будут воевать».

«Мы за них ручаемся», — в один голос воскликнули я и Форе.

Эдо Дельграто от злости прикусил язык.

Провожая дядю с племянником, Христофор Николаевич слегка загрустил.

«А как быть с нашей Фридой, барон?» — спросил он.

«Пусть сама решает, с кем ей оставаться, — ответил немец и сменил тему. — Знаете, зачем я не расстрелял вас тогда в Крушино, когда вы залепили мне пощечину?».

«Зачем же?» — поинтересовался Христофор Николаевич.

«Затем, чтобы вы отплатили мне той же монетой, — улыбнулся ему барон и заметил: — Когда закончится война, обязательно приезжайте ко мне в Кроненбург, у нас там фамильный замок и много плодовых деревьев».

Словом, простились они друг с другом, и дядя с племянником ушли по тропинке.

«Интересно, как поведет себя Фрида?» — спросил у нас Христофор Николаевич, наблюдая за собакой.

Фрида сидела и поглядывала, скуля, то в сторону ушедших, то в сторону Христофора Николаевича. Затем вскочила, пробежала несколько шагов за ушедшими, остановилась. Вернулась обратно, дала три круга вокруг Христофора Николаевича, встала на задние лапы, облизала ему лицо и, не оглядываясь, помчалась за почти скрывшимися в лесу спутниками.

Однажды я случайно услышал слова Эдо Дельграто, когда он расхаживал у каштанового дерева, на которое я взобрался, чтобы полакомиться каштанами. Думая, что рядом никого нет, он разговаривал сам с собой: «Кто они такие, эти пришлые? Впрямь ли такие хорошие воины и смельчаки, как многие здесь болтают?

Ничего особенного! Мы ничуть не хуже этих вояк. Впервые я разозлился, когда этого Форе Музолишривили захотели назначить на мое место за то, что они вызволили нас из госпиталя в Оменьи. Что он собой представляет, этот чужак, бывший пленный, чтобы сажать его мне на голову? Или он любит Италию больше меня и больше меня ненавидит фашистов? Проявил храбрость при побеге! Не при этом ли побеге он притащил к нам Анджелино Крибио, подлую фашистскую крысу? Продав-

шегося фрицам, а затем присоединившегося к нам, когда в Неаполе высадились союзники. Мне так и не дали расстрелять этого подлеца, и теперь я еще вынужден следить за ним.

А как он повел себя с баронами, заставил «Чиро» отпустить их в Швейцарию, я ведь просил, убеждал — давайте расстреляем немцев. Ну, перейдут они в Лозанну и что? Опять-таки начнут воевать против нас. Кто меня послушал? Комиссар больше верит этому чужаку и пришельцу Музолишривили, чем мне. И почему дочь Натале Мота должна была влюбиться именно в этого, родившегося за тридевять земель отсюда Форе Музолишривили, почему? Только лишь потому, что он хорошо владеет немецким? Нет, ну что ей в нем понравилось? Одни имя и фамилия чего стоят, язык сломаешь.

Прекрасно знаю, что по ночам он смывается из лагеря и идет к Терезине в гости. Как-то раз я сам пошел за ним следом и подслушал их разговор. Он дурачит ее сказками о своей родине. Обещает, что заберет с собой. Дескать, моя деревня, не запомнил ее названия, тоже то еще, — очень похожа на твое Комнаго.

А эта глупая Терезина всему верит.

Не знает, как только война закончится, ее милый женишок смоется, да так, что и назад не оглянется.

«Выходи за меня, Терезина, и я заберу тебя в Пизу, — сказал ей однажды, — покажу падающую башню, заживем как городские, родим десятерых детишек и будем счастливы!».

И что она мне ответила?

«Пизанскую башню Форе мне и без тебя покажет!»

Ну кто они такие, в конце концов?

Кто?

Дикари кровожадные!

Хотел бы я знать, чем их Иосиф Сталин лучше этого бесчеловечного зверя Адольфа Гитлера?

Пришельцы чертовы!

Они годны только как пушечное мясо, ни на что больше!»

Когда я рассказал Христофору Николаевичу этот случай, он рассмеялся и сказал: «Не стоит всерьез воспринимать всех жаждущих крови. — И, не дав мне возможности высказать протест, добавил: — А если воспринимать, то только платя добром, чтобы помочь ему вернуть человечность».

Такой вот удивительный человек был Христофор Николаевич.

Вкратце расскажу вам тот боевой эпизод, когда, пытаясь помочь вернуть Эдо Дельграто человечность, он второй раз спас нашего командира и всех нас.

Немцы воспользовались суровой зимой — это был самый тяжелый период — и решили окончательно расправиться с нами.

Первого декабря на рассвете наблюдатели 118-й бригады «Ремо Сервадеи» заметили немецкие колонны, которые приближались со стороны Аграно и Армено к расположению Гарибальдийских отрядов. Отряды расположились на склонах у села Матароне и приготовились отразить атаку немцев, но те, поняв, что атака не будет неожиданной, отказались от боя и повернули обратно.

На следующее утро, второго декабря, четыре немецких отряда окружили и завязали бой с отдельным партизанским соединением, которым руководил Чикванто.

Этот Чикванто и раньше был известен своим авантюристским поведением, и руководство гарибальдийцев собиралось арестовать его.

Оказавшись в тяжелом положении, он предал своих и всех нас. Вечером того же дня немцы уже знали, что отряд Дельграто «Армандо» остановится в селе Комнаго в доме Натале Мота...

Да, не забыть мне этого села!

Как только отдалишься от городка Леза, надо свернуть направо и следовать по лесистой тропе. Тропа эта, петляя, поднимается все выше и выше. Если долго идти, вскоре покажется и село Комнаго.

Именно туда пришли мы вечером второго декабря 1944 года. Уставшие и голодные. Возвращались из городка Арона, где взорвали фашистский эшелон.

Взорвали эшелон! — Легко сказать...

В Комнаго нас ждала семья преданного друга Натале Мота: он сам, его жена и дочь Терезина. В отряде нас было всего шестнадцать.

А Терезина?

Мы все уже знали, что Эдо любит ее.

Терезина была связной у партизан и выполняла много ответственных поручений, в основном вместе с Христофором Николаевичем.

Мы часто собирались в семье Мота.

Иногда засиживались допоздна.

Пели нашу любимую «Белла, чао...»

Пили красное вино Натале, вспоминали родину и близких.

Мечтали, чтобы поскорее закончилась эта война.

Христофор Николаевич?

Он часто разговаривал с Терезиной. Рассказывал ей о своей деревне. Дескать, удивительно, до чего она похожа на ваше Комнаго.

Оказывается, когда Христофор Николаевич был еще мальчишкой, мать сажала его в таз и купала, поливая горячей водой из алюминиевой кружки. Маленькому Христофору это не нравилось, и как только он норовил выскочить из таза, мать стукала его этой кружкой по голове.

«Когда привезу тебя в мою деревню, первым долгом покажу тебе эту алюминиевую кружку, она вся вогнуто-выгнутая», — посмеивался обычно Христофор Николаевич.

Тем вечером, 2 декабря он тоже был очень весел, все время смеялся и смешил нас всех.

У них на родине есть такой праздник — «берикаоба» — шествие карнавальных масок. Так вот наш Христофор Николаевич, оказывается, всегда был в этих представлениях главным заводилой, то есть лучшим шутником.

Театр этот очень близок по своему характеру итальянской комедии дель арте.

Действительно, своим поведением он часто напоминал нам то Арлекина, то Бригеллу, порой Капитана, а то и Панталоне.

Наверное, Бог наградил его и артистическим даром.

Мы все время находились в ожидании того, что он скажет, как поведет себя, не раз пытались предугадать его очередной «образ», очередную импровизацию, но каждый раз она оказывалась для нас неожиданной. Неожиданной и вольной.

В общем, большой балагур и шутник был этот наш Христофор Николаевич. Больше всего его забавляло то, что он никак не мог научить Эдо Дельграто правильно произносить свою фамилию. Сначала тот записал его под фамилией Музолиришвили. Затем уже Христофор Николаевич переделал ее на итальянский манер и объявил, что отныне будет Мосулини. Эдо расслышал Мосулини как Муссолини, и Христофор Николаевич чуть не надорвался от смеха — дескать, может, мне назваться Бенито, тогда уж я точно стану перешедшим на сторону партизан великим дуче.

Впрочем, порой он бывал серьезным.

«Как только закончится война, я обязательно заберу тебя к себе на родину», — убеждал от Терезину.

Было уже далеко за полночь, когда мы собрались уходить.

Христофор Николаевич не спешил.

Он несколько раз просил нас остаться еще ненадолго.

Наконец, мы распрощались с семьей Мота и направились к лесу.

«Белла, чао, белла, чао, чао... — спел Христофор Николаевич на прощание Терезине, поцеловал ее и поспешил за нами.

Стояла ночь, и было очень холодно.

Мы сильно устали и заночевали в небольшом, полном сена, домике в конце села Колонья, там, где заканчиваются виноградники и начинается лес. Итальянцы называют такие каменные домики, которыми пользуются лесники и пастухи для ночевки, «баита».

Кто мог знать, что наутро эта баита превратится из пристанища в капкан для нас.

Как только рассвело, мы увидели, что дела наши плохи, но, тем не менее, сдаваться никто не собирался.

Разгорелся жестокий бой.

Мы отправили на тот свет многих гитлеровцев, но настал момент, когда патроны закончились. Всех нас ждала неминуемая смерть.

Фашисты постепенно сжимали кольцо и требовали командира отряда. Многие из нас были ранены. А немцы все повторяли свое требование: «Если командир сдастся, остальных пощадим. В противном случае всех уничтожим!..».

Мы переглянулись.

Ни один из нас не решался двинуться с места, даже сам командир Эдо Дельграто. Сдаться в плен означало смерть, причем мучительную.

Именно тогда, когда до нашего расстрела оставались считанные мгновения, Христофор Николаевич подошел к Эдо Дельграто, хлопнул его по плечу и, когда тот поднял свое искаженное мукой лицо, улыбнулся ему и сказал: «Наш командир — ты, однако ведь я — сам великий дуче Бенито Муссолини!».

«Ты не Муссолини, а всего лишь жалкий шут! — взорвался Дельграто. — Дрожащий от страха Арлекин и более ничто!».

Христофор Николаевич ничего не ответил, лишь засмеялся, затем пошел к изрешеченной пулями двери и смело распахнул ее. Немцы сразу же прекратили стрелять.

«Так я и знал!» — проговорил Христофор Николаевич и по очереди обошел каждого, забирая оружие и бросая его в открытую дверь.

Разоружив нас, он, все так же улыбаясь, направился к двери.

«Ты куда, Форе!» — послышался голос Анджелино Крибио.

«Собираюсь устроить еще одно представление! — засмеялся Христофор Николаевич, сорвал с шеи последний патрон и перезарядил пистолет. — Ну, ребята, прощайте!».

«Христофор Николаевич!» — окликнул его я.

«Форе!» — в один голос позвали его несколько человек.

Он так и не обернулся, смело шагнул вперед, в сияющий снежный день.

Да, в сияющий снежный день.

Именно сияющий снежный день...

Сделав несколько неровных шагов, он остановился. На снегу ярко алели кровавые следы. Лишь тогда я присмотрелся и увидел, что вся правая сторона его тела в крови. За спиной в правой руке Христофор Николаевич прятал свой любимый «парабеллум».

Подняв вверх левую руку, он, словно настоящий Бенито Муссолини, потребовал у расшумевшихся, обрадованных его появлением немцев внимания.

Когда удивленные фашисты затихли, довольный произведенным эффектом Христофор Николаевич крикнул: «Командир — я, но плену у вас предпочитаю смерть!».

Затем показал спрятанную правую руку, и готовые броситься на него гитлеровцы застыли на месте.

«Да здравствует Италия! Да здравствует свобода!» — крикнул он напоследок, поднес пистолет к виску и выстрелил.

Как потом рассказала мне сама Терезина, узнав об этом, она на какое-то время оцепенела. Затем бросилась бежать прямо к Колоньи. Она так и не смогла вспомнить, как оказалась у стоящего на краю села домика.

Каменный дом этот задней стеной примыкал к склону горы и только в передней стене были два окна и дверь. Окна были разбиты, деревянная дверь и увитые плющом стены изрешечены пулями.

При виде Терезины какие-то незнакомые люди, с сочувствием глянув на нее, отошли в сторону и уступили ей дорогу.

Христофор Николаевич лежал навзничь на белом снегу, лишь в нескольких местах алели пятна крови.

На виске его чернела рана.

Терезина опустилась на колени и отерла ее своим платком. Затем вскрикнула, упала на тело и разрыдалась...

Стоящие вокруг скалы, словно плакальщицы, подхватили и несколько раз повторили ее крик.

Затем эхо смолкло, и она почувствовала, что наступила страшная тишина. Когда Терезина подняла голову, у тела Христофора Николаевича стоял черный немецкий дог и смотрел на убитого.

Оказывается, Форе все время подшучивал над Терезиной: «Фрида любит меня сильнее, чем ты!».

Когда Фрида последовала за Фалькенштейном в Лозанну, уже Терезина смеялась над ним: «Вот тебе и преданная Фрида!».

Фрида и правда оказалась преданной. Удивительно только, как на таком расстоянии она могла почувствовать, что Христофор Николаевич мертв.

«В назидание населению бросьте труп этого командира в центре села Меине», — приказал немецкий офицер своим солдатам. Когда те собрались выполнить приказ, Фрида начала рычать и лаять, не подпуская их к телу, пока один из солдат не дал очередь в воздух и не отпугнул ее.

В ту же ночь с риском для жизни жители похоронили Форе на сельском кладбище.

Когда Терезине передали, что Фрида все время сидит на могиле Христофора Николаевича, никуда не уходит и даже не прикасается к еде, она заплакала еще безутешнее. Несколько раз Терезина ходила на могилу с отцом, пытаясь увести Фриду с собой, но та никого не подпускала и отказывалась от еды. А как-то утром ее нашли мертвой...

Остальные партизаны?

После геройской смерти Христофора Николаевича все шестнадцать были брошены в тюрьму городка Бавено. Несколько раз нас хотели расстрелять. Переводили из одного города в другой, пока в апреле 1945 года нас не освободили партизаны.

Так спаслись мы все.

Кто?

Тот Эдо Дельграто, который первым выбросил оружие из этого треклятого «баита»?

Он жив и будет жив даже тогда, когда на этом свете не будет и тебя — такую кару определил ему Всевышний, да святится имя его.

Христофор Николаевич:

Постой, постой...

Эту комедию дель арте с ее Арлекином, Скарамучо, Коломбиной, Панталоне и Бригеллой наверняка придумал Федор Андрианович Полетаев, верно?

Ну конечно Федор Андрианович. Кто же еще? Кстати, эти итальянцы и его фамилию не могли выговорить и звали Поэтани. Федор Поэтани.

Знаю, знаю — небось рассказал о крушинском лагере для военнопленных, бароне Гансе фон Фалькенштейне с его Фридой и пощечиной, которую я ему закатил, а он оставил меня в живых, точно? Ему-то что, рассказчик он действительно отменный. Впрочем, что удивительного, когда за спиной у него такие колоссы — граф Толстой, Федор Михайлович Достоевский, творцы Серебряного века и сам Антон Павлович Чехов, которые так писали, разве что с великой Волгой сравнить, с ее течением — широким, раздольным, неторопливым и величественным, а самое главное — неизведанным. Не разглядишь и не догадаешься, что она прячет в глубине.

Ох, ну и шутник же этот рязанский кузнец! Нет, не рязанский, а катинский. Есть такая деревенька близ Рязани.

Что?

При чем здесь Волга?

Действительно, при чем? У Рязани протекает Ока, но и та сливается с Волгой у всем известного Нижнего Новгорода. И вообще, перефразируя известное выражение, — в России все реки так или иначе текут к Волге...

Федор Андрианович рассказал тебе историю своего подвига, приписав его мне.

На самом деле, со мной приключилось вот что. В концентрационный лагерь, находящийся в Александрии, близ Генуи, меня перевели из Франции.

В 1944 году с помощью итальянцев я бежал и пристал к лигурийским партизанам.

Вначале сражался в третьей оперативной зоне, затем в батальоне «Нино Франко», входящем в состав бригады «Оресте» партизанской дивизии «Пинан Чикеро».

Я участвовал во многих боевых операциях итальянских партизан в районе автострады Генуя—Сарравале—Скривия.

Знаешь, что происходило тогда, то есть зимой 1945 года?

Руководство вермахта перебрасывало через горные дороги Лигурии живую силу и бронетехнику на юг, чтобы укрепить оборону Рима. А все потому, что в Неаполе уже были союзники, и все приморские дороги бомбили их самолеты.

Мы, в свою очередь, контролировали горные дороги и устраивали немцам засады.

Нацисты старались уничтожить нас и посылали усиленные карательные отряды.

Один из таких отрядов числом до пятидесяти человек и обнаружил 2 февраля 1945 года партизанский патруль в горном селении Канталупо-Лигуре.

Руководство дивизии приказало нам остановить врага и не дать ему возможности занять другие села.

Один отряд батальона «Нино Франко» в составе двадцати человек должен был обойти немцев с тыла и фланга, а другой, насчитывавший вместе со мной человек десять, — встретить их на дороге.

Между нами и селом было чуть меньше километра, к тому же дорога была ровная, почти вся покрытая снегом, с редким безлистным кустарником по обе стороны.

Приблизительно в час дня мы заметили, что немцы вышли из леса. Они шли нам навстречу, разбившись в два ряда с автоматами наперевес.

Мы выжидали, прятались и, когда они подошли достаточно близко, открыли огонь. Враг рассеялся по краям дороги, залег и открыл ответный огонь.

Перестрелка продолжалась долго.

Немцы не отступали. Наш же план был рассчитан на то, что, отступая, они окажутся в засаде, устроенной нашими товарищами.

Мы решили сами перейти в наступление и разбились на две группы. Одна начала двигаться вдоль левого края дороги, другая — где находился Федор — вдоль правого края, по полю, возвышающемуся над дорогой на два-три метра.

Прячась за редкие кусты, мы приблизились к гитлеровцам метров на двадцать, залегли и вновь открыли огонь. Но они оказались хорошо защищены от наших пуль.

Мы не имели гранат, к тому же нас было слишком мало, чтобы атаковать или долго оставаться в таком положении со столь многочисленным врагом.

Пока мои соратники размышляли о дальнейших действиях, я неожиданно вскочил и прыгнул на дорогу, прямо в расположение немцев.

Высоко в правой руке держа автомат и путая итальянские и немецкие слова, я громко закричал: «Вы окружены! Сдавайтесь, не то всем капут!».

Изумленные гитлеровцы начали вставать и поднимать руки вверх, но в те мгновения, когда наши бойцы уже бежали ко мне, шальная пуля достала меня, и я навзничь упал на дорогу.

Фашисты почти все сдались, лишь несколько человек попытались сбежать, но их быстро поймали.

Как только разоружили немцев, помощник комиссара «Карло», тот же Г.Б.Лазанья, сразу же подбежал ко мне, чтобы помочь, думал, что я всего лишь ранен.

Однако пуля попала в шею.

Я был мертв и лежал в сиянии снежного дня.

Да, именно в сиянии снежного дня...

На еще раскрасневшемся от бега моем лице застыла улыбка.

Глаза были закрыты.

Лишь струйка крови стекала на снег и была почти незаметна на красном шейном платке партизана-гарибальдийца, который я носил подобно другим партизанам…

А вот и госпожа Фрида пожаловала!

Фрида, прекрати!

Стоять, Фрида!

Отстань от него!

Кому сказано, отстань!

Не докучай человеку, тем более он наш гость. И наверняка успел позабыть все, что здесь услышал. И ничего не напишет ни обо мне, ни о тебе, ни о Федоре Андриановиче. Так-то вот…

Отвяжись, Фрида!

Кому сказано?!

Ну-ка, в сад!

Быстро в сад!

Фрида!

Верни папье-маше на место!

Быстро!

Этот парень уже побаивается тебя. Где еще увидишь собаку, сотканную из черного света?!

Иди сюда, моя радость, моя красавица, моя шалунья…

Умница моя!

Фрида, ты опять за свое?!

Ну-ка, пошли в сад…

Фрида, я кому сказал?

Ну, всего хорошего, юноша…

И запомни, не стоит печалиться…

Фрида, подожди меня!

Федор Андрианович:

Не слушай его.

На самом деле, все было именно так, как я рассказал.

Ты ведь знаешь, какой он шутник, вот и сейчас пошутил Христофор Николаевич. Да, да, Христофор Николаевич Мосулишвили, свой геройский поступок он приписал мне, а мой себе…

Что — говоришь, и я шутник?

И никогда не воевал вместе с Форе?

Ну да ладно…

А, впрочем, какая тебе разница — оба мы национальные герои Италии, кавалеры золотой медали «За воинскую доблесть».

Более высокой награды в Италии нет, даже генералы обязаны первыми отдавать честь солдатам, которые носят эту медаль.

Хотя Христофор Николаевич говорит, что генералы могут спать спокойно — как правило, солдаты — кавалеры золотой медали — получают ее посмертно. Они легко минуют все двадцать рубежей и живут в таких вот обителях, созданных величественной рукой Всевышнего. И обители эти, как видишь, все светятся… Как сказать, чтоб ты понял?.. Сиянием снежного дня.

Именно так мы приходим сюда.

Да, да, в сиянии снежного дня.

В сиянии снежного дня.

2005 г.

Геворг Гиланц

Со взглядом, влюбленным в небо

С армянского. Перевод Сергея Надеева

* * *

Первая моя любовь
говорила по-русски.
К ним мы приезжали в гости, в Москву —
Мавзолей, Царь-пушка...
А потом мы поссорились,
из-за белого карандаша...
Потом я, «профессор» нашей улицы,
в первом классе влюбился
в Луизу — учительницу русского языка:
она была очень красива...
И Луиза любила меня тоже,
говорила, что я хорошо у нее учусь...
Но потом она начала надо мной издеваться:
поднятую руку мою не замечала,
а живот ее стал быстро и уродливо раздуваться...
Однажды, когда Луиза особенно долго
не замечала мою поднятую руку —
кстати, единственную в классе,
и возглас «можно, я!..» не помог,
я разозлился, и я...
Я ударил кулаком по тому месту,
что выводило меня из себя...
Что началось! И в поплывшем тумане орущих лиц
я увидел виноватое лицо мамы.
Я был подавлен своим поступком
и в школу не ходил,
пока на третий день не пришла к нам
Луиза Александровна...
Они долго говорили с мамой,
и я слышал, что «с плодом ничего не случилось»...

Геворг Гиланц (псевдоним; настоящее имя — *Рудик Геворкян)* — поэт, переводчик. Родился в 1966 году в Армении. Окончил Кироваканский филиал Ереванского политехнического института. Печатается с 1994-го. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Автор двух книг стихов. Живет в Кировакане.

Надеев Сергей Александрович — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1956 году в г. Арбаж Кировской области. Автор 5 книг стихов и 2 книг прозы, редактор и издатель энциклопедии «Русские писатели XX века» (совместно с «БСЭ»). Переводит армянских, грузинских, болгарских, китайских и др. поэтов. Живет в Москве.

Луиза позвала и сказала, что любит меня,
чтобы я ходил в школу,
потому что мне дается русский,
чтобы я продолжал...
И я понял, что больше не увижу ее,
и сердце заныло...
Я не смог сказать ей «прощайте»
И одно слово я ей еще должен...

Из цикла «Детство»

* * *

Майла[1] наша не была бы майлой,
если бы не было голубятни...
С залихватским свистом на губах
и острым взглядом, вскинутым в небо...
Гегам — мой рослый друг.
В небе мы видели только точки,
а он — знал точно,
где чей, кто какого цвета.
Меня тоже начало затягивать —
хотел научиться так же свистеть...
А потом и меня
захлестнула дикая страсть
гонять голубей.
.....
Облачным днем,
спрятав за пазуху голубя Гегама,
я вбежал к себе во двор.
Смутное чувство вины
сжигало меня,
тревогой взорвав виски.
Следом пришел Гегам —
худой, с пронизывающим насквозь взглядом.
«Дружок, обета ты случаем еще не давал?»[2]
«Нет», — ответил я.
Отвалил мне по шее.
Беззлобно, — не стоило отвечать.
Темная тень тревоги, накрывшая душу,
испарилась вместе со слезами,
истаяла внутри.
«Отдай», — приказал Гегам
и, войдя в голубятню, схватил сизаря.
Хотел свернуть ему шею,
Я взмолился: «Не надо».
Взглянул мне в глаза:
«Да не стоит это того, чтобы...»
«Не надо», — взмолился я.
«Ну, держи, — протянул мне птицу, — я пошел».
«Нет, Гег, я больше никогда не буду гонять голубей».

---

[1] Небольшая улица *(турецк.).*

[2] Голубь (наряду с овцой) — одно из жертвенных животных в Армении, где сохраняется языческий обычай давать обет и приносить в жертву животных.

Посмотрел испытующе,
понял, наверно, что и вправду не буду:
«Погляди, как станет кувыркаться в небе...»
И подбросил.
И взмыл этот тахлачи[1],
взмыл и смешался с голубями Пепана.
«Уведет», — огорчился я.
«Пусть.
За этим голубем я не пойду».
И ушел,
со взглядом, влюбленным в небо.
.....
И позже Гегам, битый жизнью так,
что его принимали за моего деда,
когда уже у него была дочь на выданье —
он не отводил глаз от неба,
и теперь он там — в небесах,
вместе с Пепаном,
которого многие считали бездельником
за то, что, имея взрослых детей,
он пропадал в небесах вместе с голубями...
И стал он орлом.
Как и все ребята из «Орла-13»[2],
он считался пропавшим без вести.
Но в ролике, что скачал с Ютуба,
кроме его бороды,
я увидел крылья,
и он там — вместе с Гегамом —
парил среди голубей.
Они парили, и плавилась душа
свинцовой тяжестью того тахлачи,
взлетевшего с нашего двора
и севшего на крышу Пепана.

Девушка и пес

С ума сошли и девушка, и лес,
Их ветер потрепал сполна:
Волос и листьев золотой замес,
Небрежно грудь обнажена.

Слепыми космами облеплено лицо,
За пазухой бесчинствует сквозняк,
О, друг мой ветер —
ласковым серсо
У ног не сложится никак.

А девушка предпочитает быть
Среди других бродячим псом...
Изменник-ветер проявляет прыть,
Гоняясь за хвостом.

Не объяснить, должно быть, как душа
Цепляется за каждый ствол,
Устал я выть, луну свою ища,
Хотя уже наполовину — волк.

Ты — сумасбродная охотница ветров,
Я — сирый пес, один, как перст,
И, кажется, — бесплоден лес стволов
И бесприютен этот свет.

Обнимемся, и ветер пусть ревет,
Прикинемся ты — деревом, я — псом,
Пустая осень пусть себе идет,
Бесплодно все, что бережем на слом.

---

[1] Танцующий, кувыркающийся в небе голубь.
[2] Отряд армянских добровольцев, которые воевали и погибли в Карабахе в 1991—1994 гг.

Ваграм Мартиросян

Глупый человек

Рассказ

С армянского. Перевод Соны Бабаджанян

Кто был автором этих статуй, я не разобрался — в просторной пещере нигде ничего не было указано. Впрочем, одно было точно — стилем он обладал. А стиль заключался в поразительной естественности — человеческие фигуры были в натуральную величину, лица — будто живые, только какие-то испуганные, одежда сработана во всех деталях, вплоть до пуговиц. Мне показалось, что это восковые фигуры, но, дотронувшись до них украдкой, я понял, что они из камня. Несмотря на то что двери были открыты настежь и из зала ожидания любой мог войти, я долгое время оставался один, пока не появилась девушка. Она была не из робких, не прошло и нескольких минут, как она подошла ко мне и сказала, что некоторые лица здесь ей знакомы.

— Кажется, по телеку видела, в «Дежурной части».

— Тут что — изображены одни преступники?

— Да нет, может, это те, которые «вышли из дому и не вернулись», их обычно под конец объявляют.

— Какие-то лица и мне вроде знакомы, только не знаю откуда. А «Дежурную часть» я не смотрю.

— Кстати, ваше лицо мне тоже знакомо.

— Только не говорите, что видели меня в «Дежурной части», пусть даже в объявлениях. Но что правда, то правда: я тоже вышел из дому и не вернулись.

Я заметил это «не вернулись», но исправлять не стал. Ну, ляпнул и ляпнул.

— Да нет же, какая там «Дежурная часть»! Ой! Поняла. Точно... Как же это я сразу не узнала? Вы меня, наверное, не вспомните, но мы встречались. Я была студенткой, мы как-то пришли к вам с подружками, чтобы вы ответили на нашу анкету. Другие ничего, отвечали, а то и клеились, а вы сухо так сказали, что если мы и впредь будем составлять такие бессмысленные вопросы, то нам лучше подыскать себе другую профессию. Девчонки обиделись, а мне вот понравилось, как вы себя повели.

Я смутно припомнил нечто подобное. Приятно встретить в таком месте человека, который тебя знает, да к тому же еще и хвалит. Я пригляделся к ней повнимательней. Лет, наверное, двадцать пять — двадцать шесть. Джинсы и тонкий малиновый свитер с закрытым воротом. Издали она казалась ниже (наверное, из-за широких плеч), но на самом деле была высокой и у нее были широкие скулы. Широко посаженые глаза горели. На цыганку похожа... ну, скажем, на Кармен.

Не знаю, принято ли или, точнее, позволительно ли было обращаться с таким вопросом, но я не выдержал:

Ваграм Мартиросян — армянский писатель и переводчик, автор семи книг, некоторые из них вышли в переводах во Франции, Канаде и других зарубежных странах. В 2000 г. вместе с поэтессой Виолет Григорян основал первый армянский литературный онлайн-журнал, объединяющий армянских нонконформистов. Лауреат первой премии конкурса «Армения-2020» (2005 г.). В журнале «Дружба народов» (2005, № 2) печатался его роман «Оползни».

— Что вас сюда привело?

— А вас?

Я был почти уверен в таком ответе. Вернее, в том, что она ответит вопросом на вопрос. Большинство девушек так и поступают, даже в ее возрасте. Я перекрестился:

— Проходил мимо, вот и зашел.

Она так расхохоталась, что даже каменные изваяния и те, небось, дрогнули.

— Вы что, за дурочку меня принимаете?

— А что, не могло такого быть? Чтобы попасть сюда, надо, наверное, «иметь веру с горчичное зернышко»... — сказал я, хотя сам не люблю, когда по поводу и без повода цитируют Библию.

— Да если у тебя «вера с горчичное зернышко»... к чему сюда добираться? — ответила она.

Ты погляди-ка, соображает...

Я предложил ей пойти посидеть в зале ожидания.

— Такое впечатление, что эти изваяния так и пялятся на тебя.

Кроме того, я устал стоять, но признаваться в этом почему-то не хотелось, видимо, чтобы она не приписала это моему возрасту, я ведь был старше ее лет этак на пятнадцать.

— Да ну, какая разница — там народ будет пялиться.

— А мы подальше сядем.

Зал ожидания был пещерой поменьше. На высеченных в стенах скамьях сидели по двое, по трое, а на одной так и вовсе человек шесть-семь. Мы расположились на скамье почти напротив входа в выставочный зал, так что перед нами никого не было. Зато были там две огромные стеклянные витрины в человеческий рост, в которых вывесили какие-то иллюстрированные странички, напоминающие стенгазету — с огромными заголовками и крупным шрифтом, впрочем, с нашего места его все равно было не разобрать. Время от времени к витринам подходили люди, читали что-то и отходили.

— Тебя тоже преследовали? — спросил я, переходя на «ты» — ее тон располагал к этому.

Поначалу она меня не поняла, потом помотала головой.

— Ну, а вас, как я поняла, преследовали?

— Я сюда несколько месяцев добирался, чуть ли не год.

— Как это вы умудрились? Да сюда, какой дорогой ни добирайся, от силы два дня пути.

— Я начал шагать с улицы Демирчяна. Потом с Баграмяна свернул на Орбели, потом вышел на Киевян, по Алабяна до Физинститута... Потом по Аштаракскому шоссе...

— Я тоже вышла из Еревана по Аштаракскому шоссе, ясное дело — пешком... Но начала свой путь с третьего участка.

— Я без проблем миновал высотки шестнадцатого квартала, «Арменфильм», не заходя в Аштарак, свернул налево по новому мосту и продолжал шагать, стараясь быть очень внимательным, чтобы не прозевать нужный поворот налево. Вот там-то я и оглянулся и заметил старуху в коричневом, которая шагала по той же стороне, что и я. Она была так скрючена, что лица не было видно. Помню, я тогда еще подумал: у нее, видать, нет денег и бедняге приходится пешком добираться до соседнего села. Была бы она поближе, я, может, ей денег бы предложил, хотя, даже когда дело касается помощи, общение с незнакомцами дается мне с трудом. В общем, прошагал я, наверное, еще минут десять, когда краем глаза заметил, что она все еще идет за мной. Прошло еще минут пятнадцать, расстояние между нами не только не увеличилось, но наоборот — сократилось. Я ускорил шаг. Она не отставала, хоть и казалось, что еле семенит.

— В деревнях знаете сколько здоровых бабок!

— Я перешел на бег, — повысил я голос, начиная раздражаться от того, что она меня перебивает, но, заметив, что люди оборачиваются в нашу сторону, взял себя в руки. — Она становилась все ближе и ближе, будто скользила по земле. Я понял, что она вот-вот настигнет меня. Тогда я обернулся велосипедом. Дорога шла под откос, и я помчался вниз. Оглянулся, а бабка моя обернулась стареньким коричневым

«жигуленком». Я стал «нивой». Она — джипом. Я — BMW, она — «мерседесом». Я стал гаишником, попытался ее остановить и оштрафовать за затемненные стекла. Но она и не подумала останавливаться, демонстративно промчалась мимо, потом повернула и на огромной скорости погнала прямо на меня. Я повысился в звании, стал лейтенантом, но она все неслась на меня, я стал капитаном, но и это не помогло. Я обернулся придорожным деревом, она стала зимой девяносто второго — девяносто третьего, и каждый второй прохожий прикидывал в уме, как бы повалить меня ночью — топором или пилой. Я неприметно раскинулся последней весенней травкой — она объявилась с косой в руках и стала меня косить. Я стал зерном, она — курицей. Так остервенело клевала меня, что до сих пор печень болит.

— А вы не пробовали обернуться иголкой? — спросила девушка.

«Начитанная, — отметил я в уме, — сказки уж точно читала».

— Я обернулся иголкой, решив, что она станет ниткой и тогда я брошусь в огонь — пусть обожгусь, зато отделаюсь от нее навсегда. Да и почему только я? Весь мир от нее освобожу. Но она стала наперстком, я наткнулся на него и отупел (ну, не так чтобы совсем). Я стал пальцем и надел его, она стала ладонью. Я — рукой, она — телом, я — мозгом, она — желудком. Я покинул Армению и отправился на остров короля Грейпфрута, в Страну Изобилия, где прямо на улицах растут апельсины и лимоны и где собирают по три урожая картофеля. Но и там не было счастья — остров разделен между двумя враждующими народами, которых не объединил даже референдум. Я отправился в страну короля Гуляша, но Смерть по-прежнему следовала за мной по пятам...

— Да как же она вас за границей-то нашла?

— Страна вошла в состав Евросоюза, я и из своего укрытия-то вышел и в столицу направился, чтоб поучаствовать в общем празднике. Так хитрая Смерть узнала от местных, что у армян там своя церквушка, и приняла облик моего приятеля, который из-за какого-то пустяка чуть было не оставил меня ночевать на улице.

— Неужто Смерть такая мелочная?

— Смер-тель-но.

Она засмеялась.

— А как вы от нее сбежали?

— Хотел было отправиться в королевство Кристиан Диор, но в той стране такая была бюрократия, впрочем, не исключено, что и тут не обошлось без ее козней. Вот я и решил скрыться в Армении. Вернулся и стал безобидным пожилым учителем в одной из пригородных школ. Смерть обернулась оптимизацией. Я стал крупным, годами простаивавшим заводом, а она приватизировала меня за бесценок и стала продавать по частям. Я стал предпринимателем, чтобы самому закупить эти части и развернуть новое производство, она обернулась налоговым инспектором. Я все повышал и повышал себя в должности, покуда не стал председателем парламента, она обернулась министром обороны. Я — оппозицией, она, сфальсифицировав выборы, — президентом. Тогда я стал Советом Европы и осудил фальсификацию, она же провозгласила себя национальным менталитетом и проигнорировала мои заявления. Мне оставалось только стать ООН, но она тогда, наверное, стала бы Бушем...

И я попытался вновь пойти к Богу. Выйдя из дому, на сей раз пошел не в сторону Арагаца, а в противоположном направлении, к автостанции, купил там билет, сел на автобус Ереван—Гюмри, который попросил остановить точно на том месте, на котором в прошлый раз прервал свой путь. Но тут же свернул с шоссе. Часа три-четыре поднимался, обходя все поселения. Я понятия не имел — на Арагаце ли Бог или где еще. Но тут мне был дан обнадеживающий знак: я уже почти выбрался из глубокого ущелья, когда увидел, что по левую сторону, у самого обрыва, на плоском каменном пригорке танцует индус. Он был высокий, полноватый, как-то по-женски или бесполо, что ли, полноватый, с широкой, почти квадратной улыбкой, с подкрашенными глазами и губами, в традиционном национальном костюме, с браслетами на босых ногах, и позвякивание крупных бусин на этих браслетах было почти единственным музыкальным сопровождением его танца, не считая неизвестно откуда доносившегося слабого бренчания какого-то неведомого инструмента. Было видно, что индус — танцовщик искусный, но сам танец напоминал беспорядочное размахивание руками, как если бы человек потерял голову от радости.

«Тарана — экстаз, стихийный всплеск разрастающейся радости, ритмическое выражение ликования и восторга, — закончив танец и откланиваясь, запыхавшись, сказал индус на плохом английском, благодаря чему я его и понял. — Этим танцем артист пытается передать сокровенные чувства человеческого сердца — любовь, радость и упоение. Тарана в такте Тинтала строится по звукоряду Вриндабана Саранга Раги... Я человек чувствительный и глубоко тронут оказанным приемом».

Будучи единственным зрителем, я ничего такого ему не оказывал. Но, тем не менее, досмотрел танец до конца, и — надо отдать должное — танец действительно был восхитителен. В особенности когда индус принялся крутиться вокруг своей оси с такой быстротой, что казалось, будто улыбка его неподвижна, а движется только тело.

— Мы же христиане, что индусу до нашего Бога?

— Разве Бог не един для всех? Впрочем, зрелище танцующего в горах Армении индуса поразило и меня. Я невольно стал озираться по сторонам, чтоб отыскать танцующих европейцев — раз уж мы индоевропейцы и индус уже имеется. Однако справа ничего не было, одни каменные глыбы. Я решил, что уже покидаю реальность и приближаюсь к Богу. Танец индуса околдовал меня, но уже темнело, и я продолжил свой путь. Не успел индус скрыться из виду, как на вершине ближайшей скалы я увидел Смерть.

— Вам не следовало садиться в автобус. Сейчас ведь все только маршрутками пользуются. Автобусы еле ползут, и садятся в них только те, кому сходить по пути, в каком-нибудь селе. Вот она и догадалась, что вы вовсе не в Гюмри едете.

Я поднял голову и уставился в потолок — к чему я все это ей рассказываю?

— Ну, продолжайте, продолжайте, не молчите, — сказала она.

— Я бежал, падая и поднимаясь, скатываясь со склонов и прыгая со скалы на скалу. Я уже задыхался, когда оглянулся и увидел, что вокруг никого нет. Из-под камня бил родник, я припал к нему и стал пить — вода была холодная, живительная. Потом оглядел себя с ног до головы — ни ран, ни царапин, даже брюки целехоньки, хоть раза два по ходу дела я слышал, как трещит ткань. Вдруг кто-то похлопал меня по спине. Обернулся — Смерть. Она приблизила ко мне свое лицо. Меня охватил ужас, я отвел взгляд... Но мы стояли не шелохнувшись так долго, что я не выдержал и взглянул на нее. Что сказать? Это было не так уж и страшно, потому что ничего, собственно, не было: вместо глаз у нее была пустота. Я ждал неминуемого, гадая, как и куда она меня потащит. Но она вдруг воскликнула...

Я запнулся.

— И что потом? Да рассказывайте же, я не буду вас прерывать. Правда.

— Смерть воскликнула:

«Тьфу на тебя, черт лысый... Это ж надо так... Ты погляди!».

Я решил, что она вздумала втянуть меня в беседу, и не проронил ни слова. Но тут она такое сказала, что поди промолчи...

«Так ты же помер. Помер, а в списках моих не значишься».

«Наверное, только что умер»,— отозвался я.

«Да нет, лет уж десять будет».

«Может, я умер как поэт, поэты ведь живут недолго, а как прозаик еще жив?».

«Нечего себя тешить, это раньше поэты недолго жили, а нынче — жди, как же...».

«Зря тебе кажется, что все-то ты знаешь. Прозаики живут шестьдесят семь и три десятых года, а поэты — пятьдесят восемь и четыре десятых, это данные «Нью-Йорк таймс». Я и дату помню: от двадцать четвертого апреля».

«Какого года?».

«Этого».

«Вряд ли американская статистика применима к армянским поэтам, но даже если ты и прав, то ты до этих пятидесяти восьми и четырех десятых все равно годков пятнадцать не дотянул».

«Может, я умер как советский человек, но воскрес как гражданин свободной Армении?».

«Как советский человек ты не умер».

«Значит, я умер как человек, а как гражданин еще живу».

Она повернулась, чтобы уйти.

«Погоди, — окликнул я ее,— я могу привести и другие подтверждения того, что мог попасть в число мертвых... хоть и жив».

Никаких подтверждений у меня, собственно, не было, просто мне стало как-то обидно: что если Смерть уйдет, а Бога я так и не найду? Я подумал, что, может, стоит упомянуть опухоль, которая около двух лет назад выросла у меня на левом боку? Но мерзавка точно читала мои мысли.

«Нет у тебя никаких подтверждений. То, что выросло у тебя на боку, — обыкновенный жировик, доброкачественный, к тому же он уже рассасывается. Меня не проведешь».

Она повернулась и ушла.

Всего этого я девушке не рассказал.

— В общем, мы расстались.

— Но вы же сказали, что она что-то воскликнула.

— Воскликнула: «Э-ээ...», потом повернулась и ушла. Видимо, просто хотела показать, что от нее не убежишь, — промямлил я.

— Какая невероятная история!

Вдруг какая-то женщина средних лет встала со своего места, быстро подошла к двери в глубине пещеры, дверь отворилась, и женщину втянуло внутрь.

Мы с девушкой переглянулись.

— Оттуда же никто не выходил, — сказала она испуганно.

Если она ждала, что я ей что-то объясню, то напрасно — я понятия не имел, что происходило внутри.

Какое-то время мы сидели молча. Черты ее лица нравились мне все больше и больше.

— А почему вы решили подняться на Арагац, если не были уверены в том, что Бог здесь?

— А куда еще мне было подниматься? Был период, когда я думал, что Он в Норвегии. Страна, о которой ничего не говорится в новостях, а значит, там спокойствие и достаток. Но потом я подумал, что стоит немного вникнуть — и станет ясно, что... Страны, они ведь как яйца: снаружи и не поймешь — сырые они, вареные или тухлые. Уж не знаю, мое это уравнение или кто другой придумал, но это правда.

Я хотел сказать — «сравнение». Что это со мной творится?

— Ясно, — произнесла девушка безразличным тоном, — но какое это имеет отношение к Арагацу?

— Ну, первым делом я подумал об Арарате. Но гора-то, как известно, в Турции. Вот и остался Арагац.

Было очевидно, что мой ответ ее не удовлетворил, но добавить мне было нечего.

— Ну а ты? — я сообразил, что надо бы поинтересоваться и ею. — Ты знала заранее место, где обретается Бог?

— Конечно. Я пошла в церковь, зашла к священнику в исповедальню и сказала, что у меня к Богу есть огромная просьба, но я хочу обратиться к Нему лично, чтобы быть уверенной, что Он ее исполнит. Священник пытался меня отговорить, но, когда увидел, что это бесполезно, все подробно объяснил. Правда, все произошло не так быстро. Все, кого я ни спрашивала, либо прикидывались, что ничего не знают, либо лукавили, чего-то недоговаривали. Я поднялась со стороны Бюракана, даже в поселок зашла. В местном магазинчике ко мне подошла какая-то бабка, уборщица, наверное, впрочем, по вашим описаниям очень напоминавшая ту старуху, которая повстречалась вам. Ну, и говорит мне: мол, доселе ни змея на брюхе своем не доползала, ни птица на крылах своих не долетала, сяк же ты, девочка, сюда добрела?

— Сяк? — переспросил я.

— Да, «сяк». «Сяк ты сюда добрела? Или тебе сам черт не брат?» Я говорю: бабуль, мы здесь еще прошлым летом отдыхали. Но она сказала, что не помнит такого. И вообще не помнит, чтобы после смерти Виктора Амбарцумяна кто чужой на летние каникулы в Бюракан поднимался, тем более молодая девка. Я спросила у нее — какие дороги отходят от сельской площади. Она говорит: «Одна в Тифлис ведет, другая — в Ереван, ну а третья — гедан-гялмаз». Ну, я сразу смекнула, что она-то мне и нужна.

— «Гедан-гялмаз» по-турецки значит ушедший не воротится.

— Еще старуха предупредила меня, чтобы я остерегалась закусочной «Хаш на высоте 3250 м», там, мол, кругом полно пьяных мужиков. Ну, я ее и обошла за версту. Только, что самое противное, из-за этого мне пришлось идти по наполовину подтаявшему снегу. Никогда не знаешь — удастся сделать еще один шаг или провалишься по пояс. Хорошо еще, я набрела на родник, выпила воды — и усталость как рукой сняло. Погодите-ка, что значит «ушедший не воротится»? Наш священник ничего такого не говорил. Я передам Богу свою просьбу и вернусь в Ереван.

Я намеревался поступить точно так же, поэтому встал с каменной скамьи и сказал:

— Давай-ка подойдем и поглядим, что там в витрине написано. Может, это какая-то памятка, которую надо заранее прочесть? Мы часто пренебрегаем подобными вещами, а потом оказывается, что упустили важное.

Напротив витрин стоял низенький столик, на котором лежал пожелтевший номер «Работницы», а рядом — свеженький «Vogue». Я хотел было поведать девушке о советском журнале, но удержался: сам терпеть не могу, когда люди хвастаются своими знаниями, которыми обязаны исключительно своему возрасту.

В самой же витрине была вывешена сказка Туманяна «Глупец». В кратком изложении.

Глупец

Жил когда-то бедный человек, и сколько он ни работал, сколько ни мучился, по-прежнему оставался все тем же бедняком.

Как-то раз, вконец отчаявшись, решил он: пойду-ка я найду Бога, разузнаю, сколько мне еще так мыкаться, да и попрошу для себя чего-нибудь.

По дороге человек этот встречает волка, красавицу и дерево.

а) Волк просит:

— Скажи ему, что живет на свете один голодный волк, днем и ночью рыщет он по полям и по долам в поисках пищи, да ничего не находит, сколько же еще ему голодать? Коли создал, отчего не кормишь?

б) Девушка спрашивает:

— Куда направляешься, братец?

— Да вот, иду к Богу.

Девушка умоляет:

— Когда увидишь Бога, скажи, что живет на свете девушка, молодая, здоровая, богатая, только нет ей радости, не может никак найти свое счастье — что же с ней будет?

в) Дерево жалуется:

— Скажи Богу, что ж это такое? Выросло я на берегу чистой воды, но зимой и летом стою сухим, когда же мне суждено зазеленеть?

Человек находит Бога, встает перед Ним и говорит:

— Добрый день.

— С добром пожаловал, — отвечает Бог. — Чего ты хочешь?

— А того хочу, чтобы ты всех равной мерой мерил, а не так, чтобы одному счастье, а другому — ненастье. Я вот сколько ни мучаюсь, сколько ни тружусь, а все никак досыта не наемся, а многие, кто и вполовину моего не работают, живут себе в достатке и спокойствии.

Бог говорит, что даст человеку его счастье, он вскоре разбогатеет, пусть, мол, идет себе и пользуется на здоровье. А остальным велит передать:

в) Засохшее дерево расцветет тогда, когда из-под него выкопают зарытое там золото, которое мешает его корням.

б) Девушка обретет свою радость и счастье, когда отыщет верного друга жизни.

а) Волк насытится, когда повстречает одного глупого человека и съест его.

Засохшее дерево предлагает человеку выкопать зарытое под ним золото, а девушка умоляет его стать ей верным спутником жизни, но человек, ссылаясь на то, что идет искать свое счастье и ему некогда, не выполняет их просьб. Когда он

рассказывает об этом волку, тот съедает его как самого глупого человека, какого только встречал, и насыщается.

Как должен был поступить глупец, если бы он не был глупцом?

а) Он должен был выкопать зарытое под деревом золото, потому что это и было дарованное Богом богатство.

б) Он должен был стать верным спутником жизни для грустной девушки, чтобы обрести полное счастье. Даже в случае невыполнения пункта первого, он добился бы успеха, ибо девушка была не только здорова, но и богата.

в) Следуя указаниям пунктов «а» и «б», он избежал бы гибели, поскольку богатство и жена спасли бы его от встречи с волком.

Каждый пункт изложения сопровождался двумя цветными иллюстрациями сатирического характера: на одной было изображено то, что сделал человек, и перечеркнуто красным крестиком, на другой — то, что он должен был сделать. Особенно удачной оказалась картинка, на которой двумя красными линиями был перечеркнут волк, получилось похоже на дорожный знак.

— Чушь! — воскликнул я и тут же осекся: сказанное могло относиться не только к витрине, но и к народу, и к Туманяну, а то и к самому Господу Богу. Но слово уже вылетело. — Никто в Армении не ведет себя, как этот глупец. Напротив. Любого спроси: всякий бы выкопал клад (я сказал «клад», а не «золото», видимо, «клад» звучало более сказочно), женился бы на девушке (интересно, как она выглядела, понятия о красоте со временем меняются) и от волка бы улизнул.

— Стало быть, правильно написал Туманян, что он глупец, раз никто не поступил бы так, как он.

— Как это правильно? — возмутился я, хоть и не сразу сориентировался, как можно опровергнуть ее слова. Потом логика заработала. — Если бы никто так не поступил, тогда какой был смысл писать сказку? Зачем надо было осмеивать глупость одного, если его примеру никто не следует? И не будет следовать. Сказки ведь нужны людям…

Я запнулся, она и так уже должна была понять.

— По-моему, есть много сказок, проповедующих такие идеи, которые принимаются всеми: добро, смелость, солидарность.

— Да, но, принимая их, люди не часто им следуют… собственно говоря, именно поэтому и нужны такие сказки.

— Ладно, стало быть, глупость человека заключалась в том, что не следовало ему рассказывать волку того, что с ним случилось по пути и кого он еще повстречал.

— То есть сказка проповедует, что надо быть скрытным и не отворять сердце первому попавшемуся волку? — не упустил я случая, чтобы сострить.

Она засмеялась.

— Никто из людей в сказке не остается в выигрыше, но и волку особо нечем похвастаться, — продолжил я. — Ну, скажем, попировал он в этот день на славу — человека слопал. Все равно ведь одними воспоминаниями сыт не будешь. А что потом?.. Он опять должен охотиться каждый день, пытаясь словить какую-нибудь тварность... то есть тварь, которая будет всячески пытаться улизнуть от него.

Откуда взялась эта «тварность»? Видимо, в голове моей вместе с «тварью» подсознательно крутилось еще и слово «живность», и я не успел вовремя сориентироваться, какое из них употребить.

К витрине подошел человек лет шестидесяти. Мы принялись ходить взад-вперед по залу ожидания.

— Волк что-то означает. Туманян намекает, что человек человеку волк, — внезапно объявила девушка.

Я возразил: хотя, конечно, случается, что «человек человеку волк», однако не чаще, чем какое другое животное: человек человеку бывает гиеной, носорогом, коровой, быком, львом, черепахой, ежом, ослом, лебедем, раком, щукой, жирафом, кенгуру, енотом и даже динозавром. Подобные случаи также описаны в литературе: лисья хитрость, медвежья услуга, собачья верность, преданность коня… притом события чаще всего разворачиваются между представителями разных видов.

— Поговорка про волка более распространенная.

Смирившись, я попытался развить предложенный девушкой вариант:

— Ну да. В конце концов, «волк» может быть чьей-то кличкой. Скажем, какой-нибудь Колян-Волк. Весь такой свирепый и изголодавшийся. Сидел с одним из местных. Ну, потом разыскал его, чтобы, слегка припугнув — слегка разжалобив, выцарапать у него что-нибудь, ан — не вышло. На обратном пути встречает он глупца. Тот замечает, что Колян-Волк смотрит на него как-то так, точно мысленно примеряет на себя его одежку и обувь, а правая рука у него в кармане, и оттуда что-то выпирает, уж не дуло ли пистолета? Он как дурак, перепугавшись, что тот его прикончит, выкладывает ему, что направляется к Богу. Так вот, поневоле, со страху за свою шкуру и выдает свою тайну. С другой стороны, так ведь оно и было... то есть все это чистая правда. Колян-Волк соглашается подождать.

— Звучит убедительно, — говорит девушка, — похоже на те истории, которые по «Дежурной части» рассказывают.

— На обратном пути глупец сомневается — рассказывать или не рассказывать о том, что поведал Бог. Он чувствует угрызения совести, которые не позволяют ему скрыть и нарушить Божью заповедь. Ну, и рассказывает... Что оставалось Коляну-Волку? Он ведь не был каннибалом, но ему было ясно, что «съесть человека» можно и в переносном смысле. И за несколько тысяч драмов он убивает героя.

— Почему за несколько тысяч драмов? Вам не кажется, что, узнав от героя, то есть от глупца, про зарытое под деревом золото, он пойдет и выкопает его? А потом еще женится на богатой девушке, скрыв свое криминальное прошлое.

Сказка вконец потеряла очарование, настолько она приблизилась к реальности.

— А может, это «Степной волк» Германа Гессе? — предложил я новую версию.

— А что, похож?

— Я не дочитал, но герой там — человек, то ли отвергнутый обществом, то ли отвергнувший общество.

— Откуда здесь взяться степному волку, Армения же горная страна? А вот волком Джека Николсона он вполне бы мог оказаться. И на самом деле съесть глупца, как в сказке.

— Потом его случайно ловят и тащат в зоопарк. А там выясняется, что остальные звери тоже раньше были людьми. Каждый рассказывает свою историю, кроме бедной обезьяны, которая как была обезьяной, так ею и осталась.

— Это почему же обезьяна бедная?

— Потому что... потому что она еще не произошла. То есть от нее еще не произошел человек. — «Она еще не произошла». Надо же такое ляпнуть. — Но почему это мы считаем, что волк обязательно мужчина? Из сказки Туманяна пол определить невозможно. Я, к примеру, знаю девушку, у которой имейл — «volchica132», то есть до нее уже была 131 волчица.

— Если это волчица, то как она потом, после того как выкопает золото, женится на девушке?

Она, похоже, уже точно решила, что волк завладеет и золотом, и девушкой. Во времена Туманяна однополых браков не было, так что я не стал возражать. Какое-то время мы шагали молча.

Со стороны одной из каменных скамей, двое из сидящих на которой по виду напоминали арабов, до меня стали долетать обрывки разговора:

— Подписали они договор на цельных три года, один он забрал, а второй — лысый...

— Поцеловал парень мамку-няньку в грудь, да и воротился домой...

— Поп на народ осерчал, говорит: «Что ж вы, проклятые, не дождетесь, чтобы человек помер, прежде чем в церковь-то его тащить? Я покуда его прикончил, совсем измотался...».

— Был такой человек, сам армянин...

Вдруг несколько человек из разных углов зала ожидания повскакали со своих мест и скрылись в той самой пещере, где были статуи. Несколько других вскочили вслед за ними, но потом, не зная как быть, растерянно уставились друг на друга. Мы тоже направились в ту сторону из своего дальнего угла, но не успели сделать и четырех-пяти шагов, как в выставочном зале сверкнула молния, раздался страшный

гром, а чуть погодя из дверей выплыла тоненькая, реденькая струйка дыма. Мы подошли поближе и боязливо заглянули внутрь. Статуи сотрясались, а у одной, которая с нашего места была еле видна, изо рта и ноздрей шел пар. Напрягая слух, можно было уловить доносившуюся изнутри музыку: то ли ангелы, то ли черти исполняли хором какое-то песнопение. Пели красиво, но было в этом песнопении какое-то угнетающее величие, которое вызывало у меня чувство отчаяния.

Долгое время никто не произносил ни слова. Я подумал, что один из нас двоих тоже может вот так внезапно уйти, и поспешно спросил:

— А, кстати, как тебя зовут? Извини, я не запомнил.

— Тагуи. Наши меня Тагу называют.

Тагуи — царица... Там были царицы, цари, князья, полководцы... — ни с того ни с сего произнес я про себя, но картину представить не смог. — Там были царицы, цари, известные политические деятели, кинозвезды... — Ну, этак пока дело до меня дойдет... — Там были царицы, цари, писатели...». Вот зациклился.

— А вы никогда не оказывались в положении Глупца? Как вы поступали?

— С чего бы начать?.. С того, что много работал, а вознаграждение было ничтожным? У нас еще май, а я уже перевел книгу, повесть эту почти до середины довел, однако перспективы с публикацией и гонорарами пока туманные. Ладно, забудем, это у всех у нас так. Золото?.. В восемнадцать лет я три месяца мешал бетон на золотом прииске на Чукотке. Это был добровольческий стройотряд, насколько я знаю — единственный в истории филфака. Но деревьев на Чукотке нет, даже кустов и тех нет, чтоб золото из-под них выкапывать. Самая пышная растительность в тундре — это трава. Там выше, чем на полметра над землей, ничто не растет. Землю рыть в условиях вечной мерзлоты — сплошная мука, она там твердая, как металл: раскрошишь на пядь, должен ждать, пока подтает, чтобы вычерпать воду и рыть дальше... А вообще, за вывоз золота с прииска и вообще из всего края десять лет полагалось. Никто из нас золота не привез. Потом я повстречал одну девушку, женился на ней, дважды, от каждого брака — по ребенку. Вот уже несколько лет мы живем раздельно.

— А теперь вам всем грустно, и вы пришли к Богу просить его, чтобы Он вас снова соединил?

Я представил, что нам всем грустно и мы независимо друг от друга приходим к Богу просить его о воссоединении, и вдруг все встречаемся здесь: жена, дочь, сын. Мне стало не по себе. Я пришел просить счастья, но... признаться постеснялся.

— Нет, — сказал я, — тут другое.

— Новую нашли? Жениться на ней хотите?

— Не нашел.

Она умудрилась так задавать свои вопросы, что я довольно много о себе рассказал. Один я, кажется, не умею выуживать нужные мне сведения окольными путями. Не время ли попробовать?

— А у тебя просьба конкретная? Сможет ее Бог сразу исполнить?

Она на какое-то мгновение замялась.

— Сможет.

«А когда твоя просьба исполнится и ты вернешься в Ереван, что будешь делать вечером?» — чуть было не спросил я, но начал издалека:

— А как тебе кажется, все только Бог решает?

Тагуи... Тагу призадумалась. Я надеялся, что она скажет: раз двое пришли к Богу, значит, судьба так распорядилась, точнее, что, может, именно такова воля Божья. Но она девушка, разве скажет такое первой? Нет, конечно. Если такое и случается, то только в кино, ну а в жизни... — разве что в Америке или в Швеции. Впрочем, и у нас бывает, только очень уж редко. Значит, сказать должен я. Но она намного моложе меня. Может, у нее и друг есть, ее возраста, а то и младше, или жених? Какой-нибудь исключительно положительный тип... Это ведь тоже только в книжках и в кино бывает, что герой всегда встречает девушку, которая свободна. Может, она опешит от такого моего намека? Тем более что мы только что познакомились, не считая мимолетного общения в связи с той анкетой. Мы с ней беседуем от силы час-полтора. Она может просто посмеяться надо мной. Но если я побоюсь спросить, то так никогда и не узнаю, что она думала. А вдруг то же, что и я? Циник

сказал бы, что девушек такими намеками не удивишь. А циники почти никогда не ошибаются. В конце концов, она первая подошла ко мне в зале со статуями.

Я, наверное, еще долго бы мучил себя всякими «тем более», «в конце концов» и «может», если бы мои размышления не прервал прозвучавший у меня за спиной вопрос:

— Вы тут впервые?

Мы обернулись. Это был здоровый тип лет тридцати пяти, с мелкими глазками, кудрявый. Хотя май выдался прохладный, да к тому же в пещере всегда холодно, он был в одной рубашке. Впрочем, это не вызывало удивления — стоило лишь взглянуть на его румяные щеки.

— А вы? — спросила Тагу.

— Я вот уже второй раз... — Мы вытаращили глаза: надо же, повадился... — ...как на Арагац подымаюсь. Родственник из Америки приехал, ну, мы его взяли. Четыре тысячи девяносто метров — это тебе не шутки, разеваешь рот, как рыба, воздуха-то не хватает. Но нам-то все нипочем, курильщиков меж нас нет. Мы все четыре вершины вдоль и поперек облазили, только вот сколько ни проходили здесь прежде, ничего такого не видали — ни входа в эту пещеру, ни людей никаких.

Выговор у него был не ереванский, но откуда он, угадать было трудно.

— А теперь тута то же самое... Хоть бы кто мне сказал, чего это никто, кто туда ни зайдет, обратно не выходит... А те чудики чего целой стаей к статуям пошли?

— Или же как понять, когда чья очередь? — поддержала девушка.

— Ну, это-то я знаю: будет тебе видение — встанешь и пойдешь.

Создавалось впечатление, что он знает кое-что еще.

— А кто те двое, что на арабов похожи? — спросил я.

— Они из Ирака прибыли, мусульмане. Из-за американцев они у себя не могут к Аллаху обратиться, ну, вот и пришли сюда.

— Ладно, а можно еще спросить?

— Я — Мелик. Мело.

Тагуи, в свою очередь, назвалась, а меня Мело прервал, мол, не надо, я тебя знаю.

— Мелик, мне показалось, люди в очереди сказки друг другу рассказывают.

— А чего еще здесь рассказывать, не анекдоты же?

— А вы сказки знаете? Может, расскажете? — попросила Тагуи.

Девушкам нравится, когда им рассказывают сказки. Хотя... Чего это я заладил: «девушки», «девушки», как восемнадцатилетний юнец, честное слово.

Наш собеседник на миг заколебался. У меня появилось время, чтобы перехватить инициативу, но сказки были моим слабым местом — я не знал ни одной. Мне их в детстве никто не рассказывал, да и сам я никому их не рассказывал.

— Которую рассказать: «Пепек, Бепек, Фелек» или «Сказку Кючук-Мурада»?

Мы с Тагуи переглянулись. Предпочтение отдали второй, хотя «Пепек, Бепек, Фелек» звучало не менее многообещающе.

— Ладно, расскажу тогда «Сказку Кючук-Мурада».

Одному царю все никак с женами не везло, какую ни возьмет, все оказываются негодными и распутными. Двадцать раз кряду женился, и все двадцать жен как на подбор оказались негодными, он им всем велел головы поотрубать, а сам задумал такую себе девушку в жены добыть, что в жизни молока сырого в рот не брала.

Дал он свои слугам мешок золота и послал их искать по разным царствам-государствам, чтобы, как только где какая царская жена родит дочь, они отдали золото да взяли бы ту девочку ему в жены. Он ее вырастит и женится на ней. Пошли слуги к одному царю — жена у того только что дочь родила. Дали ему мешок золота, взяли дитя, положили в сундук и привезли своему царю. Тот бросил девочку в отдельную комнату и запер ее накрепко, да так, чтоб свет солнечный в ту комнату не проникал. Только старуха одна каждый день приходила и той девочке еду приносила. А слугам-поварам своим царь строго-настрого приказал: смотрите, чтобы в мясе, которое ей относят, костей не было, не то, неровен час, дитя малое по неразумию бросит кость в окно, окно разобьется, свет солнечный и проникнет в комнату.

Раз отнесла ей старуха мясное кушанье. И в блюде том кость осталась, доела девочка свое кушанье, а кость бросила в окно, окно разбилось, свет солнечный

проник к ней в комнату. Она-то за всю свою жизнь света белого не видывала, перепугалась сильно и все хохотала. Пришла старуха, увидала, что окно разбито, и подивилась.

А дитя принялось старухе жаловаться: «Что со мной? Маетно мне».

Ну, та и давай ей рассказывать, что снаружи-де белый свет, жизнь да смерть, радость да горе.

Послала девочка к царю человека и говорит: «Я хочу белый свет повидать».

Отдал царь приказ, чтобы пустили ее по саду погулять. Пошла она гулять по саду, видит там студеный источник, отпила из него воды, а вода та, оказывается, не простая — Вода бессмертия.

Пролежала девочка после этого девять месяцев и родила сына. Назвала его Кючук-Мурадом. Но недаром жила она затворницей, царю-то и невдомек было, что сына она родила. Царь уже хотел жениться, только девушка все отнекивалась, мол, мала я еще, обожди еще семь годков. Подрос Кючук-Мурад и пошел во двор, с детворой поиграть. Но дети били его и гнали от себя, приговаривая: «Пошел отсюда, у тебя отца нет. Сирота ты». А бедное дитя и впрямь не знало отцова имени, что ему было сказать?

Раз воротился он домой в слезах и говорит: «Как моего отца звать, матушка? Затравили меня дворовые дети, говорят, что я сирота».

Мать говорит: «Нет у тебя отца, сынок, ты от Воды бессмертия зародился. А слова этого боле не произноси, не то дойдет до царских ушей — не миновать беды».

Отважный Кючук-Мурад услышав это, вывел ночью из царской конюшни двух огненных скакунов: одного сам оседлал, на другого мать усадил, и сбежали они.

Ехали они, ехали, долго ли коротко ли — одному Богу ведомо, пока не доехали до дома одного дэва, к дверям которого тот приставил огромный мельничный жернов, а сам внутри затаился. Взял Кючук-Мурад тот жернов одной рукой и отбросил на пять верст. Увидал это дэв, подивился, а про себя подумал: «Я сам-то с трудом тот жернов с места сдвигал, как же он его так далеко закинул? Худо мое дело».

Сели мать с сыном поесть. Дэв со страхом сквозь щелочку поглядывает на Кючук-Мурада. А тот позвал дэва, чтобы сел с ними за стол. Когда они поели и встали из-за стола, принялись они с дэвом биться. Замахнется дэв палицей, Кючук-Мурад схватит, он замахнется — дэв схватит. Но раз Кючук-Мурад так метнул палицей в дэва, что тот на тыщу кусков разлетелся. Кючук-Мурад порубил его на мелкие кусочки, покидал те кусочки в черный мешок и схоронил. А матери наказал, чтоб не ходила мыть голову на том месте, не то дэв оживет.

Только мать у него была своенравная: каждый день мыла голову как раз над тем местом, а поскольку Кючук-Мурад в это время ходил охотиться, то не мог видеть этого. И дэв ожил. Мать Кючук-Мюрада того дэва полюбила, и вместе они стали прикидывать, как бы от сына избавиться, чтобы дэв на ней жениться мог.

Дэв ей наказывает: «Ты сиди себе дома, голову понурив, а когда он придет и спросит, отчего ты грустишь, скажи ему, что хочешь орлиного молока. Коли он за молоком этим пойдет, то уж не воротится, потому как на том пути повстречается ему силач Глнк, уж от него-то не отвертеться, всякий, кто его голос услышит, тут же на месте и глохнет».

Так бессердечная мать и сделала — послала сына за орлиным молоком. Шел Кючук-Мурад, шел, повстречал по дороге старика.

— Здравствуй, отец, — говорит наш добрый путник.

— Здравствуй, сынок, — отвечает старец. — Дай тебе Бог доброго пути. Куда путь держишь?

Тот ему ответил, что идет за орлиным молоком. Удивился старик и говорит: «Послушай-ка ты меня, сынок, не ходи туда. Тысячи людей ходили, и ни один не вернулся, и ты не воротишься. Жаль мне тебя, не ходи туда, сынок».

Но Кючук-Мурад ответил: «Будь что будет — пойду». Старик говорит: «Ну, раз так, будь осторожен, орел тот сидит на тополе, а на лапе у него гнойник. Там земля — сплошной песок, ты этот песок разрой и, спрятавшись в яму, выпусти стрелу в его больную лапу, сам не показывайся, не то он тебя в клочья раздерет. Орел взвоет от боли и скажет: «Узнаю, кто в меня стрелу пустил, — на мелкие клочья разорву». Но как только гной из раны вытечет, ты уже не бойся. Избавившись от гнойника, скажет орел:

«Вот бы знать, кто мне так услужил — от боли избавил». Тогда скажешь ему: «Тот, кому ты молоко свое нальешь в бурдюк, из своего птенца сделанный, да на второго птенца груз положишь». Он не пожалеет, даст своего молока.

Ну, пошел Кючук-Мурад и все, как ему тот старик велел, сделал, и орел дал ему молока.

Тогда Кючук-Мурад сказал орлу: «Отдай мне двух своих птенцов, чтоб я одного зарезал и сделал из него бурдюк, налил бы в него молока да взвалил бы бурдюк на второго, чтобы тот донес».

Орел сказал: «Вот он я, вот мои птенцы, Бог с тобой, забирай одного и зарежь его, сделай из него бурдюк, налей в него молока, только зарежь его подальше от меня, в таком месте, чтоб я его голоса не услышал».

Кючук-Мурад сделал бурдюк из одного птенца, налил в него орлиного молока, взвалил бурдюк на второго птенца и пустился в обратный путь. По пути тот старик попросил у него стакан молока, выпил и обернулся молодым парнем. Отнес он молоко матери, мать выпила и стала красивой девушкой пятнадцати лет.

Только опечалилась она, что сын ее воротился, и сказала: «Что ты мне за отраву дал, сын?».

Дэв научил ее, чтобы она отправила Кючук-Мурада за львиным молоком, потому как оттуда ему уж точно не вернуться, там тьма-тьмущая змей, они его заживо проглотят. Встал Кючук-Мурад поутру и, воскликнув: «Ей, святый Боже!», пустился в путь. А тот старик опять на дороге сидит и говорит ему...

— Так разве тот старик не превратился в «молодого парня»? — перебил я.

Кудрявый похлопал глазами, точно не сразу понял мой вопрос, потом ответил:

— Так ведь сказка же, он снова состарился. Ну, так вот, старик и говорит: «Львица та — на горе, что Черной кличут. На той горе столько змей, что они тебя вмиг сожрут. Ты обмажься дегтем и иди, они почуют запах и отпрянут. Там есть бассейн, ты из него воду вычерпай, залей его вином и водкой, придет львица, напьется, захмелеет, закачается, тут-то ты и выскочишь из своего укрытия, снесешь ей голову и выдоишь. У нее еще два детеныша есть, не оставляй их там, возьми с собой, они тебе еще пригодятся».

Кючук-Мурад пошел и все так и сделал: зарезал львицу, выдоил молоко, забрал двух ее детенышей и воротился домой, отдал молоко матери.

Та выпила и опять говорит: мол, что ты мне, сын, за отраву принес? Долго думал дэв, как все-таки от Кючук-Мурада избавиться, и говорит той женщине: «На сей раз пошли его на остров Семи морей, где живут мои братья дэвы, у них там есть сад, где каждый год три арбуза вырастает, пусть принесет».

Поутру послала бессердечная мать туда своего сына, и он — больно уж любил свою мать — пошел. Опять тот старик на дороге сидел и, выслушав Кючук-Мурада, сказал ему: «Придешь на остров Семи морей, где дэвы живут, заберешься к ним в сад, срежешь один арбуз, одну половину поставишь перед одним львенком, другую — перед другим, а сам спокойно ляжешь спать».

Оседлал Кючук-Мурад коня, пустил впереди себя двух львят и прямо к острову Семи морей помчался. Добравшись до места, прямо к бахче направился. Соскочил с коня, срезал арбуз, половину съел сам, другую коню скормил, второй арбуз поделил, одну половину поставил перед одним львенком, другую — перед другим, а сам накрылся буркой и заснул. Один из львят тоже заснул, но сомкнул при этом только один глаз. Как только кто-то из дэвов увидел, что у них на грядке человек спит, выскочил, чтобы его на куски порубить, но тот львенок, что не спал, набросился на него и разодрал в клочья. Тут и другой львенок проснулся. И когда за первым дэвом явились остальные братья, львята их всех порвали.

Проснулся Кючук-Мурад и очень обрадовался, узнав, что его львята дэвов поубивали.

— А чего это львята помогают убийце своей матери? — удивилась девушка.

— Сказку эту мне моя бабка сказывала. Я слово в слово помню. Как она сказывала, так в точности и вам передаю.

— Ладно, не обижайтесь.

— Так на чем я остановился?

— Кючук-Мурад... — подсказал я.

— Да, так вот, Кючук-Мурад... Зашел он в дом тех дэвов, видит — девица-красавица. Пала она в ноги Кючук-Мураду и говорит: «Я дочь такого-то царя, меня эти дэвы похитили, но отныне я твоя, а ты — мой. Разве смогу я найти кого-нибудь отважнее тебя?».

Взял он эту девушку, которую звали Мирджан-ханум, да двух своих львят и пустился в обратный путь. Шли они, шли, дошли до развилки, тут Кючук-Мурад и говорит Мирджан-ханум: «Я пойду к своей матери, а ты ступай к своему отцу, я найду тебя, приду, и мы с тобой поженимся».

Обменялись они кольцами, она пошла к своему отцу, а Кючук-Мурад взял арбуз и отнес своей матери. Мать опять опечалилась, что сын вернулся, и говорит: «Ох, сын, не снадобье ты мне дал, а отраву».

Долго дэв с бессердечной матерью ломали головы, как бы извести Кючук-Мурада, да только ничего не придумали. Раз мать спросила: «Сын, что тебя одолеть может?».

Тот ответил: «Цепи от сундука».

Она и обвязала ему руки цепями от сундука, да только отважный Кючук-Мурад так тряхнул ими, что разлетелись они на тысячи кусков.

Мать опять спрашивает: «Что тебя одолеть может?»

Он говорит: «Веревка из конопли».

Принесла она веревку из конопли, связала ему руки, но он и веревку разорвал.

В третий раз мать спросила: «Что тебя одолеть может?» Он ответил: «Дугова тетива, если два моих больших пальца сложить да обвязать ею, мне не высвободиться».

Она сделала точь-в-точь, как он сказал. Тряхнул Кючук-Мурад руками, да только не смог высвободиться, тетива впилась ему в пальцы по самые кости.

Говорит мать дэву: «Неси меч, снеси ему голову».

А тот отвечает: «Как же я ему голову снесу, он же сын твой родной, не дело это».

Выкололи они ему глаза, отнесли подальше да бросили в ров.

— Получается, дэв и тот совестливей матери, хоть Кючук-Мурад и убил его братьев, — заметил я.

— Может, он не такой уж страшный да волосатый урод был, — сказала девушка.

— С чего это вдруг? — поинтересовался я.

— Ну, послушать мужчин, так если красивая женщина кого-то им предпочла, значит, тот наверняка дэв.

— Знаешь, светловолосым и белолицым женщинам часто нравятся именно такие, черные и волосатые. Может, это именно такой случай?

— А может, мать потом все-таки пожалеет о том, что сделала?

— Всему свой черед. Потерпите чуток — узнаете.

Во рву о Кючук-Мураде заботились те два львенка. Они таскали хлеб из домов и бросали ему в ров, он ел и не умирал. Те львята были шибко прыткие. Раз один купец пересчитывал свои деньги, так они стащили у него мешок и бросили в тот ров. Кючук-Мурад очень удивился — кто это ему деньги бросил? Купец смастерил сеть, чтоб деньги достать, а Кючук-Мурад сам сел в нее, вызволился из рва и поведал обо всем, что с ним приключилось. Купец поклялся: мол, все, что у меня есть, отдам, ничего не пожалею, а глаза твои вылечу. Ну, Кючук-Мурад и отдал двух своих львят тому купцу в подарок. Только купец как ни бился, как ни старался, не смог ему глаза вылечить.

А теперь посмотрим, как там Мирджан-ханум, что она-то делает? Проведала она, что Кючук-Мураду глаза выкололи, и открыла приют для слепых, слепые со всего света собирались у нее, она их на свои деньги кормила и лечила, чтобы прослышал про то Кючук-Мурад и тоже пришел к ней. И вот купец тот, поняв, что ничего сделать не может, привел Кючук-Мурада в приют Мирджан-ханум, чтобы его там исцелили. А сам, совсем уже нищий, все до последней копейки истративший на лечение Кючук-Мурада, взял двух львят и пошел своей дорогой.

Раз Кючук-Мурад велел налить в стакан вина, кольцо, что подарила ему Мирджан, бросил в то вино, отдал стакан слугам и велел отнести его Мирджан-ханум: «Скажите ей, чтобы этот стакан, будь в нем даже отрава, выпила за Кючук-Мурада. Скажите, мол, один из слепых просит ее об том».

Слуги его просьбу выполнили.

«Ну, коли он Кючук-Мурада помянул, будь это даже отрава, я выпью», — сказала Мирджан-ханум и выпила. И когда осушила стакан, вдруг кольцо упало ей на колени. Как увидела она его, тут же рухнула без чувств. Слуга же, что принес вино, решил, что в стакане была отрава, вернулся и принялся бить Кючук-Мурада, покуда Мирджан-ханум не привели в чувство и она не пришла и не вызволила его.

Мирджан-ханум попросила у отца своего много денег, и отправились они с Кючук-Мурадом странствовать по свету, чтобы вылечить ему глаза. Пришли они раз к какому-то источнику, сели возле него. Мирджан-ханум увидала, как одна лягушка упала на спину, подошла да перевернула ее обратно на живот.

Лягушка говорит: «Ну, коли ты мне добро сделала, и я тебе добром отплачу. Знай: вода этого источника целебна для глаз, ею можно слепых лечить».

Обрадовалась Мирджан-ханум и говорит: «Со мной человек слепой, что мне сделать, чтобы исцелить его?»

Лягушка говорит: «Слепи глаза из речной грязи да и вставь их ему вместо глаз, потом окропи этой Водой бессмертия, и по Божьему велению они исцелятся».

Сделала Мирджан-ханум как было сказано, и Кючук-Мурад исцелился.

Говорит он тогда Мирджан-ханум: «Ступай к своему отцу, а у меня есть одно заветное желание, должен я его во что бы то ни стало исполнить. После этого мы с тобой обвенчаемся».

Пошел Кючук-Мурад к своей матери и увидел, что они с дэвом поженились и нарожали детей, которые сидят вокруг печи: кто голосит, кто хлеба просит, и все как один покрыты шерстью. Достал он свой меч и перебил их всех, а сам пустился в обратный путь, к своей Мирджан-ханум. По дороге встречает он нищего с двумя львятами. Спрашивает, кто он такой. Тот отвечает, что он — некогда богатый купец, который все добро истратил, чтобы исцелить Кючук-Мурада, да не вышло, вот он и обнищал. А львята признали Кючук-Мурада и давай лизать его на радостях.

«Пойдем со мной, — сказал Кючук-Мурад, — все, что ты на меня истратил, верну тебе сторицей». Привел его к царю, тот дал ему денег, и стал купец богат как прежде.

А Кючук-Мурад обвенчался с Мирджан-ханум, и закатили они пир на весь мир, семь дней да семь ночей играли свадьбу.

— Сколько дней, сколько ночей? — переспросил я механически.

Я давно уже слушал только краем уха, все больше и больше злясь на то, что в самый судьбоносный момент своей жизни так вот попусту убиваю время.

— Семь дней, семь ночей.

— Почему это Кючук-Мурад не узнал купца, ведь с ним были его львята? — задумчиво спросила девушка.

— Идиотская сказка,— сказал я, — вот почему.

— Чего это она идиотская? — вскинулся кудрявый.

— Ну, идиотская — и все тут. Во-первых, Кючук-Мурад дурень. Мать его раз за разом на смерть посылает, а он все никак этого в толк не возьмет. Потом она спрашивает его: «Что тебя одолеет?», и уже кажется, что он решил обхитрить ее, но тут он сам поминает дугову тетиву (я так понимаю, что это тетива от лука?) и в итоге лишается зрения. Не говоря уже о сплошной путанице в мелочах.

— Например?

— Например, силач Глнк, от одного голоса которого все кругом должны были оглохнуть, так и не появляется.

Кудрявый в замешательстве запнулся.

— А почему купец не продал своих львят, раз уж он так обнищал? — подхватила Тагуи.

— Сяк?.. Так ведь единственный смысл этой сказки, наверное, в том, что торговец ни с того ни с сего вдруг кому-то помогает, к тому же совершенно бескорыстно. Ну, разве что еще история невезучего мужчины, бедного царя, о котором мы с самого начала забыли, ведь его двадцать первая жена тоже оказалась негодной и вышла замуж за дэва...

— А вы знаете, что означает Кючук?

Кудрявый собрался было уже сам ответить.

— Нет-нет, погодите, — остановила его девушка, — пусть он скажет.

— Не знаю, — ответил я. — А ты-то сама знаешь?

— Нет, но это ведь имя главного героя, и, может, если бы вы знали его значение, то не считали бы сказку идиотской?

Хотел было я возразить и на это, но почувствовал, что они вот-вот объединятся против меня. Пока я размышлял, как бы им ответить, в разных концах пещеры начали вставать люди, часть из них зашла в зал со статуями, остальные вообще вышли наружу. Я прошел за первыми несколько шагов и увидел, как вход в пещеру на мгновение отворился, а потом снова замкнулся. Когда я обернулся, кудрявый держал девушку за руку.

— Я такой же беданюха, как и ты, — уловил я его последнюю фразу.

— А что это — беданюха? — спросила Тагуи.

Я схватил кудрявого за руку и процедил сквозь зубы:

— Пусти ее.

Чуть было не закатил ему оплеуху, после которой наверняка началась бы потасовка. Он выглядел покрепче меня, но испугало меня не то, что могу оказаться побитым, просто у меня никогда не возникало желания кого-то ударить. Драка — не решение проблемы, это жестокость, унижение... Правильнее — убить, как это делают в сказках. При этой мысли в зале сверкнула молния: свет проникал неизвестно откуда, а следовавшие один за другим раскаты грома сотрясали стены. Ах, вот оно какое, это предупреждение свыше, подумал я с неожиданным чувством легкости — вот он каков, грозный гнев Божий... Потом я заметил, что мои собеседники ошарашены не меньше моего: судя по выражениям их лиц, они тоже восприняли это знамение как кару за свои мысли.

Мело убрал руку. Хуже всего было то, что на самом деле он и не хватал девушку, каким-то странным образом мне это просто показалось оттуда, где я стоял.

— Не место тут, не то я бы этого так не оставил, — пригрозил он.

— Да что это с вами? — упрекнула меня Тагуи с неожиданной нежностью в голосе.

— Все мы добирались сюда за самым заветным... — продолжил кудрявый напористым тоном, но вдруг резко оборвал сам себя. — Вы вдвоем пришли или тут повстречались?

«А почему бы мне не сказать, за чем я пришел?» — подумал я, но... не получилось, вместо этого я сказал:

— А тебе-то какое дело?

Он, кажется, всерьез насторожился:

— Ладно, без обид... Мало ли, может, доведется в наши края попасть... И жилье имеется, и племянник депутат...

Я ухмыльнулся.

— Ничего плохого я не хотел, а знакомство никогда не помешает, глядишь, и пригодимся друг другу. Если адресок свой оставите, я вам рыбу свежую привезу, забесплатно. А та рыба, что на рынке, я-то знаю, сколько ей дней.

— А ты за чем пришел? — спросил я.

— Я Бога должен об оросительной воде попросить. Я бы и за деньги устроил, но чего зря тратиться?

Я ожидал, что его тут же на месте поразит молния, — в таком-то месте! — но ничего не произошло. Потом я вспомнил, что минутой раньше сам хотел человека убить, пускай такого, как он. Вероятно, мысли мои отражались на лице, не знаю, но тут Мело сообщил, что увидел знакомого и должен отойти.

— Спасибо, до свидания, — попытался я напоследок сгладить ситуацию.

Он зло посмотрел на меня и удалился, видно, решил, что я издеваюсь. От противоречивости ситуации — я, вроде бы уравновешенный человек, вдруг смог люто возненавидеть случайного встречного — мозг мой накалился, казалось, вот-вот расплавится.

— Эх, только бы Господь исполнил мою просьбу... — вернул меня к действительности вздох девушки. — Я ж ее так люблю!

— Кого?

— Тетю. Разве я не сказала?

— Нет.

— Ой, извините, мне показалось — сказала.

— А что с ней случилось?

— Подозревают очень нехорошую болезнь.

— А сколько ей лет? — задал я традиционный вопрос.

— Наши все молодые, пятидесяти еще нет.

— А мои родители были намного старше меня. Они за последние два года умерли.

По всему было видно, что ей это незнакомо.

— Интересно, правда, что мы с вами тут встретились? В жизни ты совсем другой, чем по телевидению.

— Все так говорят, без исключения.

Она перешла на ты. Вместо радости это пробудило во мне тревогу. Я что, опять испугался сложностей?

— А ты… — начала было Тагу.

Я так и не узнал, что она собиралась сказать, потому что тут на меня снизошло видение, и я понял, что пришел мой черед. Передо мной поплыли знакомые лица, одни удерживали меня, другие подталкивали вперед. Ноги сами понесли меня к входу, который втянул меня внутрь…

Я пришел в себя, когда услышал вопрос:

— Зачем ты пришел?

Даже не видя Его, я не мог ошибиться в том, кому принадлежал голос.

— Господи, — сказал я. — Господи, Боже мой… — Мне стало тяжело, почти невыносимо произносить слова. Какое-то время я просто ловил ртом воздух. — Добрый день.

— С добром пожаловал, — ответил Бог. — Чего ты хочешь?

— Пришел счастья для себя просить, — выдавил я из себя.

— Чего?

— Счастья, — повторил я.

— Ты с какой планеты?

— С Земли.

— Сколько тебе лет?

— Сорок пять.

— Ты что, глупец? — Я промолчал. — Ты ищешь счастья или удовольствий?

Вопрос был очень неожиданным, я надолго задумался.

— Время поисков счастья для тебя прошло.

— Ты Бог армян? Все вокруг меня только это и твердят.

— А ты армянин?

— Армянин.

— Значит, я Бог армян. — Это было для меня неожиданностью. — Разве вы сами не говорите, что Бог повсюду? И вы правы, хотя не надо понимать это буквально. Твоя просьба — просьба юноши, зрелый человек должен думать о более серьезных вещах.

— Так разве моя вина, что в Армении человек до сорока лет — ребенок, а потом — старик? Нет у нас среднего состояния зрелости.

— Во многих странах, особенно африканских, есть особые обряды инициации, благодаря которым мальчик, юноша становится зрелым мужем. Могли бы перенять у них.

— Мне уже поздно… Смерть сказала мне, что я уже умер. Ни жив ни мертв.

— А что тут удивительного, когда ты засыпаешь с медяками на веках?

Все знал.

— Это для Харона — древнегреческого божества. Между прочим, в списках нашей Смерти я не значился.

— Деньги любят все — это оказалось самым удачным изобретением человечества. Ты ввел в заблуждение «нашу Смерть». Видно, ты — в списках Харона.

— Так Харон, стало быть, действительно до сих пор существует? То есть то, что я делал, не было игрой?

— Если ты играл, то не существует, но если действительно верил…

— Мы что, сами решаем, есть Ты или нет, все дело в нашей вере?

— Есть вещи, которые решаете вы сами.

— То есть Ты Бог, которого я представляю… по своему образу и подобию?

— Можешь думать и так.

— То есть, по-Твоему, я сам не согласен, чтобы Ты мне даровал счастье?

— Это ты сказал.

— А что же мне теперь делать?

Он на какой-то миг замолк, потом гневно спросил:

— Зачем ты пришел, чего ты хочешь?

Он что, до сих пор шутил?

— А того хочу, чтобы ты всех равной мерой мерил, а не так, чтобы одному счастье, а другому — ненастье. Я вот сколько ни мучаюсь, сколько ни тружусь, а все никак досыта не наемся, а многие, кто и вполовину моего не работают, живут себе в достатке и спокойствии.

— Ты трудился, чтобы не трудиться. От лени. А писательство — это ведь твой собственный выбор. Не сам ли ты заявлял, когда бросал высокооплачиваемую работу, что будешь жить, полагаясь на «бога романистов»? — Он засмеялся. — Ну вот, таковы возможности «бога романистов», особенно в вашей стране. Взамен ты обрел свободу, о которой многие могут только мечтать.

— Но свобода эта мне дорого стоила… Когда я месяцами не нарушал твоих заповедей, душу мою разрывал какой-нибудь давний грех, а я вдруг совершал какой-нибудь новый, еще более тяжкий, чем прежние, и хотя, сократив общение с людьми, большей частью грешил я помыслами, со временем прощать самого себя стало невозможно.

— Покуда человек жив, он грешит. Потом кается. А дети и пьяницы так вообще выплескивают все наружу. Вы, писатели, тоже. А если вы к тому же еще и пьяницы, то все, что думаете, у вас на кончике языка… или пера.

— Иногда я думаю: может, я слишком часто нарушал Твою заповедь «не суди»?

— Заповедь звучит не так. «Не судите, да не судимы будете». Невозможно жить без того, чтобы не судить, но ты должен знать, что от твоего суда ждут милости, точно так же, как, когда судить будут тебя, ты будешь уповать на чью-то милость.

— Все это слишком сложно для меня. Видимо, поэтому моим излюбленным состоянием теперь стал сон. Тем более что в это время вместе со мной спит и живущее во мне чудовище.

— Не переигрывай, ты не в театре.

— Я утратил свой смысл… От этого я люблю себя все меньше и меньше. А если я не люблю самого себя, как же я возлюблю ближнего своего? В лучшем случае, согласно Твоей заповеди, не более, чем себя самого… То есть — никак.

— Обычный кризис, который с незначительными индивидуальными особенностями, овладевает многими, чтобы не сказать всеми.

Я пожалел о том, что жалобы мои были такими тривиальными.

— Но почему вместе со свободой на меня навалились беды, почему я вечно оказываюсь в тупике и даже тогда, когда я невиновен, у меня не бывает ни малейшей возможности оправдаться?

Он прервал меня:

— Потому что ты бывал виновен раньше, но не был обвинен. В любом случае эти беды не от свободы, это беды твоих несвободных дней, платить за них ты начинаешь, когда становишься свободен… И еще отдаешь дань распространенному у вас заблуждению, будто свобода сама по себе — уже счастье. На самом деле есть большая разница: когда ты несвободен, у тебя — заботы, когда свободен — проблемы.

Эта Его точка зрения была для меня новостью, но я на удивление быстро принял ее:

— Так вот почему я чувствовал себя так замечательно, когда жизнь для меня… для всей страны превратилась в хаос — мы себя чувствовали свободными. Чем упорядоченней она становилась, тем более безнадежной, ужасной казалась.

Он долго рассматривал меня. Потом ободряюще сказал:

— Так и есть. Порядок — смерть, хаос — жизнь.

— Так Ты сторонник хаоса?

— Сторонник?! Слово твое неуместно. Но скажу: в расширяющейся Вселенной соотношение между хаосом и порядком изменяется не в пользу первого. О процессе

можно судить на примере временной эволюции к равновесному состоянию в разреженном газе, когда описание системы проводится с помощью функции распределения (фазовой плотности) в шестимерном пространстве координат и импульсов. Это ограничивает предусмотренную мной свободу.

Вроде бы я ничего не должен был понять, но, видимо, восприимчивость моя обострилась, мне показалось, что я могу с легкостью изложить Его мысль в формулах... И путаницы в словах не будет, как это случалось раньше.

Я припомнил начало нашей беседы.

— Ты спросил, с какой я планеты. Разве к Тебе приходят и с других небесных тел?

— Кроме вашей есть только две обитаемые планеты, я думал — все знают.

— В последние месяцы я не особо следил за новостями. А какие?

— Ад и Рай.

— Так, стало быть, это планеты?

— Планеты. Земля — третья, я изгнал одну пару из Рая, от них вы и расплодились. От вас же самых злых я отправляю в Ад, а нищих духом — в Рай. Остальные умирают — и все. Это последнее не следует никому сообщать.

— Рай... То есть Царствие небесное. Вот уже сколько времени я чувствую себя нищим духом...

— Нет. Нищие духом — это юродивые, калеки... А то где же справедливость, чтобы те же люди и на земле были богаты, здоровы да сыты, и на небесах...

Было еще кое-что, что постоянно занимало мои мысли:

— А Ты поможешь остальным просителям, которые пришли с Земли? — я не осмелился напрямик спросить о Тагуи, не знаю, как бы вы поступили на моем месте.

— Смотря кому. Одним будет видение, что желания их исполнятся, других я превращу в камень — тех, которые после всего, что сотворили, еще имеют дерзость являться мне на глаза.

— Стало быть, те изваяния были живыми людьми?

— ...

— А бывает так, что двое...

— Ты задаешь столько вопросов, будто это по-прежнему твоя профессия, — прервал меня Он. — Позволь и мне задать вопрос. До тебя тут один показал мне картинку, чего-то не захотелось мне у него спрашивать — может, чтобы не усомнился в моем могуществе. В долине, очень похожей на настоящую, ползло удивительное животное: огромный змей, больше дракона, зеленый. Тело его в длину было покрыто прозрачными чешуйками, сквозь которые видны были поглощенные им люди... Но они, точно ни в чем не бывало, спокойно сидели себе в животе змея.

— Это был поезд, Господи.

— А что такое поезд?

— Что-то вроде каравана тележек, только работающий на электричестве.

— Значит, вы уже изобрели электричество?

— Мы и более крупные открытия сделали, — прихвастнул я и перечислил некоторые, но космические корабли не упомянул, вдруг бы это Ему не понравилось и Он еще чего доброго сбросил бы их вниз. — Но разве Ты не знаешь, что творится на Земле? Не следил за делами человеческими за последние две сотни лет?

— Пока я здесь разговариваю с кем-нибудь минут двадцать — двадцать пять, на Земле проходит двадцать пять лет.

На миг я оцепенел.

— И Ты ни во что там не вмешиваешься?!

— Зря жалуешься. Посмотри на лица прохожих, всем им стыдно. По женщинам это, может, и не так видно, если они все еще красятся. Вот и все мое вмешательство. А так, скажем, два парня любят одну девушку, что бы ты сделал на моем месте?

— Значит, в этом и состоит задача человека: грешить и стыдиться?

— Я дал им разум, пусть не грешат.

— И животные инстинкты.

— На то и разум, чтобы обуздывать инстинкты.

— Если позволишь... Не правильнее ли было бы, чтобы Ты заботился не о нескольких сотнях людей, а хотя бы о народах, то есть о множестве людей?

— Я не могу помочь одному народу, потому что это будет за счет другого: каждый из них меряет себя по времени своей мощи. Кроме того, история человечества — это история войн, открой любой учебник и прочти. Мне, что ли, вмешиваться в ход войны и решать ее итог в пользу того или другого народа? Может, мне еще и воевать на стороне одного из народов, как это делали древнегреческие боги? Между прочим, меня об этом до сих пор еще никто и не просил, ко мне приходят исключительно по личным вопросам.

— Я прошу.

— Поздно. После того, как я сказал.

— А нельзя ли вот так: я попрошу, чтобы власть в нашей стране была справедливая и честная, это желание всех, всего народа.

— Нет, так я все равно нанесу вред другим народам. Уж соседям вашим это точно отравит жизнь. Что правда, то правда: ваш мир получился несовершенным. В конце концов, я создал его всего за семь дней... точнее, за шесть. Не потрудился над ним как следует, как над остальными. Но я создал и восхитительные вещи. Думаю, не стоит перечислять. Надеюсь, что большинство мною довольно.

Он ждал от меня ответа. Это тоже испытание? Лично от Него? Как мало видел я счастливых людей. Каких страшных бед я только не был свидетелем и жертвой. Но если я возьму на себя груз ответственности за правду, то могу так огорчить Бога, который и так делает все в меру своих сил, что испорчу Ему настроение, и Он совсем перестанет заниматься делами человеческими. А кроме того... что я мог сказать, чтобы это было от имени всех?

— Людям достаточно знать, что Ты существуешь, Господи.

— А теперь встань и иди. Мы с тобой уже больше часа разговариваем.

— Куда?

— По дороге ты найдешь свое счастье.

— Не надо смеяться.

— Не надо задавать нелепых вопросов.

У меня больше не было времени.

— Если ты отказываешь мне в счастье... Могу я попросить Тебя о другом, этим я не потревожу ничьей воли и зависть ни у кого не вызову.

— О другом — проси!

— Воскреси мою мать.

— Когда ты был ребенком, ты искренне молил, чтобы я за счет твоей жизни продлил жизнь твоей матери. Это, разумеется, когда ты еще не решил, что ты подкидыш.

— Не знаю, с чего это я так вдруг решил, я ведь был шестым ребенком в семье, пусть и не похож лицом на братьев и сестер.

— У всех детей возникают такие мысли. Этим вы придаете силы настоящим подкидышам и сиротам.

— Ты сделаешь то, о чем я попросил?

— В свое время я исполнил твою просьбу. Причем в подобных случаях я не сокращаю жизнь просящего. Эту твою просьбу я тоже исполню, если ты хорошо подумал.

Я не подумал хорошо, но очень соскучился по матери, поэтому кивнул.

— Да будет так, — сказал Он.

...Мать стояла возле расщелины в скале. Она выглядела так, как в последний день свой жизни. Я обнял ее. Почувствовал, что внутренне немного успокаиваюсь. Потом сообразил, что невольно опираюсь на нее и она вот-вот выскользнет из моих объятий, если я ее не удержу. Я крепко схватил ее за руку, и мы стали спускаться. Тихонечко, мелкими шажочками, потому что она была очень слаба, а склон Арагаца, известно, каменистый.

— Я знала, что ты придешь мне на помощь, — сказала мать, — мой святой сынок.

— Ах, ма... какой там святой, о чем ты...

Она не ответила.

— Раньше ты, наверное, знала, кто я, а теперь не знаешь. Я столько лет ни о чем

тебе не рассказывал... чтобы ты не страдала из-за меня. А многое я просто постеснялся бы тебе сказать.

— Да, сынок.

Она смотрела не на меня, а перед собой.

— Но знаешь ли ты, во скольких своих бедах виноват был я сам: я не делал того, что, знал, было единственно правильным, на подлость пытался ответить тем же... И даже это у меня не получалось. В итоге и силой на силу не отвечал, и не принимал смиренно... Я никого не предавал, но и невинных защищал не часто. Изменял своим принципам... И в то же время хотел, чтобы меня считали честным и хорошим.

— Да, сынок.

— Я ужасный человек, да, мам?

— Да, сынок.

Мать меня не слушала. Я решил припомнить что-то такое из содеянных мной злодеяний, чтобы вывести ее из этого равнодушного состояния, но ничего подходящего не придумал. Она заговорила первой.

— Ты хоть ел что-нибудь?

— Да нет, мам, какое там, забыл...

— Неужто и с тебя Господь спросит? Поешь.

Она все тяжелей повисала у меня на руке. Мы сели под первым попавшимся деревом — огромным деревом с пышной кроной на берегу чистой воды. Мне показалось, что я понимаю его язык, хотя не сумел даже определить, какое это дерево, знания о природе всегда влетали мне в одно ухо, а из другого вылетали.

— Садись, это последний спокойный миг твоей жизни, — прошелестело оно.

— Ты должно было быть сухим, что произошло? — прошуршал я в ответ.

— Сотни лет назад один крестьянин вскопал землю под моими корнями, чтобы помочь мне. Там оказалось золото, он достал его, и я снова зацвело. Потом многие приходили, как ты. Ты еще с вопроса начал, а другие так сразу бросались копать.

И действительно, вокруг его корней земля была вся перерыта и выворочена.

Дерево, девушка, волк... Я вспомнил девушку... Тагуи. Может, подождать, она, наверное, тоже пойдет этой дорогой. Потом вдруг до меня дошли слова Бога о том, что на земле проходят десятилетия, пока человек рассказывает Ему свои заветные желания. Я поднял мать, и мы пошли дальше. Трудно, было очень трудно продвигаться вперед. Вдали уже показалась лента асфальта, когда моя мать снова заговорила:

— Сынок, сынок.

— Да, мам?

— Сколько же мне еще жить?

— Останься, мам, останься! — взмолился я.

Какое-то время она пыталась собраться с силами. Мы молча зашагали дальше, пока не дошли до дороги, за поворотом которой я увидел на обочине пчелиный улей. Из домика пчеловода вышел какой-то парнишка и, приставив ладонь ко лбу козырьком, принялся смотреть в нашу сторону.

— Какой сейчас год? — крикнул я.

— Полшестого, — сказал тот, взглянув на ручные часы.

— Да нет же, год какой, спрашиваю.

— Две тысячи семьдесят третий.

Я остолбенел... Невозможно, невозможно... Поздно, было слишком поздно... Прошло намного больше, чем я даже мог себе представить. Я автоматически сделал еще несколько шагов, уже почти полностью взвалив на себя мать, и не заметил, как сошел с дороги. Мы с ней уже совсем обессилели и сели на какой-то камень. Мать закрыла глаза. Чуть погодя она безвольно приникла ко мне. Потом угасла...

Как мне теперь быть? Вырыть ногтями могилу, чтобы похоронить свою мать? Мать, единственного человека, который еще мог понять меня. Никого из моего времени уже нет в живых. Господи Боже! Неужто ради встречи с Тобой я потерял все... все, что еще не потерял? Я почувствовал, как из глаз моих катятся слезы. Потом заплакал навзрыд и стал кричать: глупец, глупец, глупец!..

Темнело. Взошла круглая ясная луна. Мне показалось, что плач мой постепенно перерастает в вой.

Ованес Григорян

И Господь пожелал написать...

С армянского. Перевод Альберта Налбандяна

Так это было

И Господь пожелал написать
БЛАГОДЕНСТВИЕ
на твоей земле — из конца в конец,
но, увы, это слишком длинное слово
не влезло в границы твоей земли...
И Господь пожелал написать
УМИРОТВОРЕННОСТЬ,
но, увы,
это слово тоже оказалось длинным
и даже его половинка
не влезла в границы твоей земли...
Что оставалось Господу?
Оставалось короткое слово БОЛЬ,
оставалось короткое слово СКОРБЬ,
оставалось короткое слово ПЛАЧ,
потому что только они и могли
уместиться на этом клочке земли...

Завещание

Увы, я дожил до таких времен,
когда на нашей одряхлевшей планете
все кончается: пересыхают реки и озера,
океаны превращаются в моря, а моря — в болота,
леса вспыхивают и обугливаются, как сухие спички,
а теперь уже поговаривают о том,
что нефть и газ тоже на исходе...
Увы, не осталось ничего, что я мог бы завещать потомкам —
ничего, или почти ничего, что можно продать
или положить в банк и спокойно жить на проценты.
Пожалуй, единственное, что еще имеет какую-то цену, —
это наша сморщенная старушка-планета,
которая постепенно замедляет бег,
как выдохшаяся кляча,
надеюсь, скоро и вовсе остановится,
и в эту минуту я с легким сердцем
вам оставлю ее в наследство
как недвижимое имущество.

Город чемоданов

В этом городе давно нет очередей,
кроме тех магазинов, где продают чемоданы.
Спрос на большие и вместительные,
хотя средние и маленькие тоже не залеживаются.
Есть даже чемоданы для новорожденных.
Влюбленные приходят на свидание с чемоданами,
в которых есть все необходимое, чтобы тут же
отправиться в дорогу. Даже здания здесь чемоданоподобны:
стоят кучкой, точно в зале ожидания.
В большой моде нынче женские зады в форме чемоданов,
а у мужчин — такой же формы туловища.
Покойников кладут в удлиненные чемоданы,
похожие на гробы, желают счастливого пути
и осторожно, заботливо предают земле, как багаж,
который спустя какое-то время будет
в обязательном порядке получен обратно.
А по вечерам люди садятся у окна, как в поезде
или в самолете, и, чуть сдвинув занавеску, мечтательно
смотрят на смутно виднеющиеся вдалеке
контуры Больших и Малых чемоданов,
и болит у них душа за этот
давным-давно утраченный
драгоценный багаж...

Гурам Мегрелишвили

Писатель

Рассказ

С грузинского. Перевод Татьяны Мерманишвили

I этап. Как все начиналось

Как и большинство молодых представителей моего поколения, в результате ничегонеделанья, игры в карты, домино и нарды, курения травки и безоглядных пьянок, я впал в глубочайшую депрессию. В моем словарном запасе с возрастающей частотой стали появляться такие фразы, как: — все, я завис… весь кончился… ничего не колышет… я уже летаю… все до фени… и т.д. К тому же из на удивление покладистого мальчика я превратился в конфликтную, злоязычную и безжалостную особу.

Проблемы возникли у меня и во взаимоотношениях с родителями (ненавижу: — пап, дай два лари), я стал на дух не переносить родственников (пошли они… какой от них прок?!), возненавидел соседей (и у этого лоха такая машина?!) и едва не стал полицейским.

Нервы у меня разошлись вовсю. Ни работы, ни перспективы найти работу, ни перспективы появления перспективы найти работу. Короче, единственная мечта, что у меня осталась — поскорей бы состариться и умереть. И тут мне в руки попала американская книга мудрых мыслей. В ней было написано:

II этап. Что было написано в американской книге мудрых мыслей: «Если не знаешь, что делать — женись!»

Честно говоря, эта мысль произвела на меня такое впечатление, что я серьезно стал подумывать о женитьбе (к тому же я пришел к выводу, что это — вещь выгодная, поскольку приобретаешь постоянного сексуального партнера). Я срочно влюбился и через полтора месяца мы поженились. Празднование и медовый месяц пропускаю и перехожу к следующему этапу.

Гурам Мегрелишвили — родился в 1980 году. Автор 8 книг, нескольких десятков рассказов, одной пьесы и двух киносценариев, по мотивам которых сняты полнометражные фильмы «Очки Квентина» и «SeaZone». Неоднократно был лауреатом Президентской премии. Живет в Тбилиси. В «ДН» печатается впервые.

III этап. Самая социальная история

Мы с Тико обычно и так просыпаемся поздно, а в тот день вообще — открыли глаза в шесть часов вечера.

— Эй, встань, помоги ей! Безобразие, что за ленивая жена мне досталась!

— Помолчал бы, Ноцаркекия[1]!

— Ноцаркекия или нет, но при возне в золе рождаются гениальные идеи.

— Ох, ох, ох! Ну и чокнутый же хвастун ты у меня! Чокнутый, чокнутый!

— Не заигрывай и вставай, говорю, имей совесть!

— Ну, еще пять минуточек, а?!

— О-о, вставай, а то сейчас выпихну из постели.

Недовольно бормоча, Тико выскользнула из-под одеяла и начала одеваться. Одеваться она умеет очень зазывно, и:

— Иди ко мне, котеночек мой!

— Пошел ты... Сначала прогнал, а теперь?

— Ну иди же!

— Нет!

— Иди сюда. Если встану, хуже будет!

— Да ну?!

Я вскочил и схватил ее в объятия. Она ускользнула и запрыгнула на кровать. Я бросился за ней, и мы начали гоняться по комнате. Тико визжала и удирала от меня. Я кидал в нее то подушки, то одежду, и от этого она веселилась еще больше. На шум в комнату заглянула моя мама и, поняв в чем дело, вышла со смехом — сумасшедшие, да и только!

Тико смутилась — хватит, стыдно. Я воспользовался моментом и крепко обнял ее. В ответ она повисла у меня на шее, но потом вдруг засмеялась и выскользнула. Я исхитрился дотянуться до нее, и ее лифчик остался у меня в руках.

— Ой!

— Эй, что это?

— Ты что, зверь, что ли?!

— Я что, нарочно, по-твоему?!

— Покажи, совсем испортил? Эх, теперь и не зачинить!

— Не зачинишь и не надо, мать его... выбросим!

— Ну да, а что я сегодня к Лии надену?

— А другого нет?

— Не знаешь, что нет?

— Тогда иди так.

— Так — как? Без лифчика?

— Ну и что?

— Ты что, совсем?..

— Возьми у моей мамы деньги и купи новый.

— О-о, как я ей об этом скажу, да и купить не успею.

— Да что там, сбегаешь и купишь.

— Я не могу просить денег у твоей мамы.

— ...

— Сам скажи!

— А что я ей скажу?

— Ну скажи ты!

— Что сказать, «дай деньги Тико на лифчик»?

— Тогда у отца возьми.

— Когда он придет!

— Тогда займи у кого-нибудь.. Не то, что мне делать, Дато, не пойти?

— Кто этот кто-нибудь?

— Возьми у Серго.

— Я и так ему тридцать лари должен, не могу еще попросить.

— ...

---

[1] Ноцаркекия — дословно — «копошащийся в золе», фольклорный персонаж, бездельник.

(*Пауза.*)

— А если ты своей маме позвонишь?

— О-о, я не могу ей сказать, что мне деньги нужны.

— Ну, а что делать?

Тико не ответила, вышла из комнаты и принялась за стирку, а я понял, что настало время искать работу, и наступил

IV этап. Продолжение самой социальной истории

В газете бесплатных объявлений я опубликовал такой текст:

«Молодой, талантливый писатель ищет работу, с соответствующей зарплатой. Т: 722514».

Где-то на третий день мне позвонила одна молодая дама и предложила достаточно высокооплачиваемую работу. Мы договорились о встрече, и я пошел.

Дама была очень мила… Обещала мне славу и горы денег, убедила меня занять деньги, приобрести товар на пятьдесят лари, поручила мне его реализовать и вдобавок обещала проценты, если приведу к ней таких же, как я, желающих.

Товар этот я с трудом всучил родственникам и изменил текст объявления:

«Молодой, талантливый и симпатичный писатель ищет работу, с сетевым маркетингом не обращаться. Т: 722514. Дато».

Обратилась ко мне дама, которой надо было привести в порядок документы и личные записи покойного супруга.

И за какие-то семь часов я заработал тридцать лари, и Тико купила, наконец, этот треклятый лифчик… но потом целую неделю никто не звонил, и я дал объявление уже в бегущей строке (здесь слово стоит лари):

«Писатель ищет работу! Т: 722514. Дато».

Вначале позвонили какие-то девчонки, ого-го, писатель, заорали и отключились, потом — какой-то (оказывается, известный) пожилой писатель и выругал меня — как ты смеешь позорить наше призвание и профессию. Так что, когда позвонил какой-то бизнесмен и предложил мне в долг написать его биографию, я окончательно махнул рукой. И тут появился Этот, четвертый.

V этап. Как появился Этот, четвертый

— Алло, слушаю!

— Будьте добры, господина Давида!

— Я слушаю.

— Здравствуйте, я звоню по поводу вашего объявления.

— Да-да.

— Я хочу знать, какую работу вы можете выполнить?

— Видите ли, вообще-то я писатель, но справлюсь с любой бумажной работой.

— Только с бумажной?

— Ну-у… в зависимости от того, что вам конкретно нужно… Я могу делать и кое-что другое, например…

— Тогда знаете, что… может, завтра в двенадцать часов встретимся у метро Гоциридзе и все обговорим, если вас устраивает, разумеется?

— Да-да, нет проблем, я буду.

— Хорошо.

— А как я вас узнаю?

— Ха, я сам вас узнаю, ведь вас, писателей, сразу видать!

Я рассмеялся:

— Нет, правда, как вас узнать?

— Кто там будет самый тяжеловесный — это я.

На следующий день с половины двенадцатого я стоял у входа в метро. «Тяжеловес», конечно, меня не узнал, и я сам подошел к нему:

— Простите, вчера вечером по телефону мы не с вами говорили… ну… по поводу объявления?

— А-а, ты Дато?

— Да. Простите, ваше имя?

— Вахтанг, Вахо.

Мы сели в его машину и поднялись на второе плато Нуцубидзе.

Квартира Вахтанга была обустроена со вкусом. Чувствовалось, что недостатка в деньгах он не испытывает.

— Дато, честно говоря, я хочу сначала присмотреться, подойдешь ли ты. Поэтому у меня такое предложение: — два-три дня походи сюда, я посмотрю, дам тебе элементарные поручения, и если понравишься — я тебя найму.

— И все же, что я должен делать?

— Пока ничего. Что касается этих двух дней, возьми эти сто лари. Это аванс, вернее, зарплата за эти два дня.

— А если я вам не понравлюсь?

— Если не понравишься... Ха, найду другого писателя, их же пруд пруди! Да, и впрямь, принеси мне что-нибудь свое, посмотрю, что ты там пишешь!

Я отнес ему кое-что; он прочел и похвалил:

— Молодец, сгодишься!

Эти сто лари, что я принес домой, были восприняты как божья благодать. Мы высказали тысячу предположений, что может входить в мои обязанности.

— Может, он подаст тебе какие-нибудь идеи, чтобы ты написал от его имени, — сказал отец.

— Мне кажется, он меценат, но не осмеливается прямо предложить тебе помощь, а так... — сказала мама.

— Да кем бы он ни был! Сто лари за два дня!.. О чем ты, Дато! Считай, наша жизнь наладилась! — обняла меня Тико.

— Само собой! Да хоть в кирпичный цех меня работать пошлет!.. Пусть столько платит, и если хочет, хоть плеткой меня хлещет! — согласился я и начал мечтать:

1-я мечта:

если так будет продолжаться, я расплачусь со всеми долгами.

2-я мечта:

помещу Тико в самый хороший роддом и хорошо обустрою детскую.

3-я мечта:

этим летом поедем на море, оттуда — в горы, потом еще куда-нибудь.

4-я мечта:

со временем придумаю еще что-нибудь!

Эти два дня я ничего такого не делал, просто отвечал по телефону и сам напросился пойти на рынок. Зато на третий день он угостил меня хорошим вином и объяснил, что я должен буду делать. В мои обязанности будет входить:

а. Каждый день в пять часов приходить к Вахтангу.

б. Обнажаться до пояса.

в. Ложиться на тахту.

И Вахтанг будет стегать меня специально изготовленной из медвежьей кожи плеткой.

За каждый удар мне полагается десять лари.

— Ну и юмор у вас! Можно подумать, вы серьезно!— заговорщически улыбнулся я.

— А кто сказал, что я шучу? — он тоже улыбнулся.

(*Разумеется, здесь пауза, поскольку момент кульминационный*!)

Я захохотал, он вторил мне.

— Ну и шутник вы! Надо же придумать такое, ха-ха-ха!

— Да уж! Ну ты думай, по-моему, хи-хи, предложение неплохое. Ударов десять в день выдержишь! — он смеялся и не сводил с меня глаз.

Внезапно я прекратил смех.

— Вы что, серьезно?

— А что несерьезного ты во мне заметил?

Я молча встал и направился к двери. Потом внезапно повернулся и стал орать. Он тихо, не издавая ни звука, слушал меня. От этого я еще больше растерялся и замолчал. Развернулся и ушел.

Дома меня выслушали молча. Потом каждый высказал свое мнение:

Мама:

— Да-а, не знаю, он больной какой-то... И у каких людей деньги, а?! За один удар десять лари! Деньги-то хорошие, да тебя жалко, исполосует он тебе спину в клочья, лучше что-нибудь другое поискать. Да и эти сто лари ведь у тебя остались!

Тико:

— И отчего это всякая дрянь на тебя выходит, а! Ты должен был его вздуть хорошенько, знал бы он тогда! И зачем нам такие деньги, если ты заболеешь!.. Ни роддома, ни моря, вообще ничего не хочу!

Отец:

— Вот, блин..! Во времена коммунистов этого подонка засунули бы куда следует, а сейчас... Дело-то в чем, знаете? Этот негодяй нам не оставляет выбора; вынуждает... Ты понимаешь?! Он ведь специально вначале эти сто лари дал, чтобы... Блин!.. Однако, чем на толкучке нервы трепать, пойду я сам к этому подлюге и пусть лупит, сколько выдержу. Ну, как в царские времена! Этим он не меня, а сам себя унизит, если хотите знать!

Я:

— Я не понимаю, почему ты должен пойти? Если кто и пойдет, так это я... а я не пойду, этого еще не хватало, чтобы какой-то урод меня бил... да пошел он!

Но в интимные минуты жена посетовала: — А как хорошо было бы, если бы он что-нибудь другое тебе предложил, мы бы на море поехали.

И я решил: — К черту, пойду и пусть бьет меня. Правда, если?! В принципе он и фамилии-то моей не знает, да и не узнает. Ведь скольких писателей зовут Дато!.. Вот поднакоплю немного денег, выматюкаю его хорошенько, отхлещу его же плеткой и уйду!

(*На этом эта история могла бы и закончиться, но она не кончается!*)

VI этап. Просто этап

На следующий день я посетил Вахтанга; при виде меня он иронически улыбнулся, и я едва не повернул обратно, но все же вошел.

Пока я раздевался, он наелся и подошел ко мне, срыгивая.

— Сколько выдержишь?

— Откуда мне знать?! Скажу, когда не смогу больше.

До десятого раза ударял очень больно. Потом устал, что ли, но так больно уже не было. На сорок пятом переспросил: — Не хватит?

— Нет!

Ударил еще пять раз и остановился — не могу больше. Потом достал кошелек и отсчитал деньги. За полчаса я заработал пятьсот лари— это трудно было себе представить!

— Вообще-то за столько ударов мне полагается скидка! — хохотал Вахо. Насупившись, я не отвечал ему.

— Эй, парень, прекрати! Ты чего бычишься? Не хочешь — так писатели сами просятся! Скажи, другого возьму.

— Да я не бычусь! Больно просто, не железный же я!

— Меньше бы дал себя ударить — и все; кстати, надо условиться вот о чем: если хоть один день пропустишь, потом целый месяц будешь работать бесплатно или я другого найду.

— Мало ли что может случиться!

— А я знать ничего не хочу! Нет — и точка! Пропускать не должен. Устраивает — устраивает, нет — всего хорошего!

— Ладно, ладно!

Дома меня встретили так, как будто я вернулся с поля боя. При виде же такого количества денег все чуть с ума не посходили.

— Давай, сынок, и я пойду! Пусть этот Вахо нас колотит! — сказал отец.

Мама стала причитать и лить слезы.

Тико молчала.

— Если так продолжу, и машину куплю, и квартиру!— подумал я и мечтательно вздохнул.

Потом у меня выходило где-то двадцать-двадцать пять ударов в день. Вахо был доволен, мы тоже. Как-то раз к нам заявился наш родственник и после долгих уверток попросил меня вот о чем:

— Сынок, может, и моего Тамази устроишь на такую работу? Бедный мальчик от переживаний уже сам не свой. Скажи своему хозяину, может, и его возьмет? Так-то он худенький, да обещает, что выдержит!.. Благослови тебя господь, может, поможешь нам стать на ноги? На тебя надежда, ты же знаешь, мы в долгу не останемся!

Я, конечно, настрого запретил своим говорить, как я зарабатываю деньги, Тамази же на меня обиделся.

Между тем прошло более двух недель.Тико была на седьмом месяце, и я с таким нетерпением ждал появления своей кровиночки, что плевал на то, что уже не мог ложиться на спину. Деньги на машину я набрал, вот-вот должен был купить, но колебался, не лучше ли добрать еще и купить собственную квартиру. Но неожиданно мои раны распухли, нагноились и стали нестерпимо болеть. Я уже не мог выносить более пяти ударов. Вахо был недоволен и пригрозил, что выгонит.

— А если я временно вместо себя кого-нибудь приведу?

— Нет. Или ты будешь, или я сам найду другого.

— Господин Вахтанг, я не могу больше... если не подлечусь, может так осложниться, что у меня белокровие разовьется.

— А мне что за дело? Мы же договорились, что ты ни одного дня не пропустишь?! Мне эти удары нужны комплексно, не понимаешь?! Что я, садист какой, что ли?!

Дома:

— Я убью этого сукина сына! Волочешь, как он давит на меня?! Знает, что я не могу больше — и давит. Свинья он, это же не человек!

— А если отпуск попросишь?

— Да нет, он и на один день меня не отпустит.

— Бедняжка ты мой!

— Бросать надо, мочи нет больше, деньги же не все в жизни!

— Может, потерпел бы еще немного, собрали бы на квартиру и...

— Не понимаешь, не могу больше... н е м о г у!..

У Вахтанга:

— Господин Вахо, я больше не смогу к вам приходить... не могу больше терпеть... Не то, что мне не хочется приходить к вам, но... Вот, смотрите, что делается с моей спиной... вот здесь, правее... А-а, осторожно... да-да... вот здесь!

— И правда — гноится здорово... что поделаешь, придется искать другого... Но ничего... приятно было работать с тобой!

— Спасибо — мне тоже! И еще — у меня есть шанс, что потом вы меня опять примете?.. Нет?..

— Нет, это не в моем стиле! Впрочем, есть один вариант — освободилась другая вакансия, могу перевести тебя туда... Только должен будешь быть со мной целый день и получишь по двести лари.

— Я согласен... А что за работа?

— Нет, не думаю, чтоб ты согласился... наверное, и придется подыскать другого...

— Да вы скажите, может, я согласен?!

— Нет, не думаю.

— О-о, да скажите же!..

— Ты должен будешь держать, когда я мочусь.

На меня напал смех... долгий, заливистый смех... но на этот раз я не стал орать... почему-то мне вспомнился мой еще нерожденный сын, некупленные еще квартира и машина, отдых на море и в горах... и я придержал язык!..

VII этап

— Господин Вахтанг иногда такие странные предложения делает, что диву даешься, блин...

Год назад не стало Леонида Арамовича Теракопяна — замечательного литератора, более сорока лет входившего в руководство журнала «Дружба народов». Его вклад в становление одного из лучших литературных изданий советского периода исключительно велик. Много он сделал и для его сохранения в трудные постсоветские годы.

В печальную годовщину авторы «Дружбы народов» вспоминают своего коллегу и старшего друга.

Мадина Хакуашева

Дар душевного альтруизма

Существуют люди, отдельные события, книги, знаковые для каждого. Их мало, но именно они определяют нашу судьбу. Таким человеком стал для меня Леонид Арамович Теракопян — Тер, как, любя, называли его коллеги.

С редакцией журнала «Дружба народов» меня свел счастливый случай. Однажды утром 2005 года мне позвонила приятельница Люда Маремкулова: «Прочитала твою новеллу в "Литературной Кабардино-Балкарии" и подумала, может быть, тебе послать что-нибудь в журнал "Дружба народов"? Желательны произведения о современности...»

Именно в это время я закончила художественный текст и понятия не имела, что с ним делать и даже как его назвать. Пообещала, что завезу в редакцию, тем более что мне предстояла поездка в Москву. Вскоре я ехала в столицу с сырой рукописью на руках — на авось. Связалась по телефону с замом главного редактора: «Я из Нальчика, по рекомендации вашего корреспондента...».

— Приезжайте, пожалуйста, — голос пожилого человека, уставший, но учтивый.

Я не питала никаких иллюзий: «Дружба народов» — магический кристалл для огромного числа авторов необъятного постсоветского пространства. Моя установка была: просто испытать себя на прочность. Проще было получить отказ, чем прибегнуть к «костылям». Зашла в небольшой дом на Поварской, с узкими деревянными лестницами, интерьером, в котором был растворен дух старой Москвы. Леонид Арамович, невысокий худощавый человек с проницательными глазами, все время курил. Он положил мою рукопись на стол, уточнил специальность и задал лишь один вопрос: «Вы член Союза писателей?». — «Нет». Мне было предложено перезвонить через некоторое время. За две недели я ни разу не позвонила, потому что не сомневалась в отказе. Дело было не только в пугающем высоком престиже «ДН», — я привезла роман с откровенно антиколониальной темой, в котором ясно определялась позиция автора, не согласного не только с политикой царской и советской России, но откровенно сомневающегося в нынешней... И это — в центральное российское издательство! Я понимала, что это — вызов. Заранее ежилась, представляя себе холодное неприятие...

Но за день до отъезда, упрекнув себя в малодушии, все-таки набрала телефон Теракопяна. «Мадина, куда вы пропали? Загляните в редакцию!». И невероятный прилив счастья — глубокого, нежданного... К вечеру я была на Поварской. Не сразу нашла Леонида Арамовича, пришлось спрашивать у сотрудников редакции. Меня

удивила их реакция: заинтересованный доброжелательный взгляд, но — никаких комментариев. «Вы — Мадина?». Я почувствовала, что мой текст известен. Леонид Арамович, как и в прошлый раз, был сдержан и невозмутим, так же неторопливо курил. Я всегда боялась синдрома большого города — безличного отношения, когда на человека смотрят как бы сквозь него. Здесь же чувствовалось нечто противоположное. «Что ж! Это получилось неплохо, вот это — меньше...». Заглянул смуглый улыбчивый человек: «Знакомьтесь, это Леня Бахнов, с которым, по всей вероятности, вам придется поработать». Пока сидели в кабинете, несколько раз звонил телефон, Леонид Арамович любезно общался, судя по всему, с близкими знакомыми. Его спрашивали о рукописях, он всем ответил отказом — очень корректно, так что невозможно было обидеться. Перед уходом я попросила сказать о замечаниях. Все, что говорил Тер о моей рукописи, удивительным образом совпало с моим знанием о недостатках собственного текста. А то, с чем я на тот момент молчаливо не согласилась, было принято мной позже, много позже.

С тех пор началось наше сотрудничество, а потом и дружба с Тером. Он располагал к доверию и откровению. Мы оказались единомышленниками в понимании проблемы расколотого постсоветского пространства. Выросшая в атмосфере единого культурного поля, на образцах русской и советской литератур, я болезненно реагировала на распад единой культуры, на изоляцию Северного Кавказа, потерю обратной связи в этом мире, напоминающем теперь дом в руинах.

Тер был наполнен *идеей.* Я разделяла его уверенность в том, что без творческих контактов региональные литературы деградируют и впадут в провинциализм. Наряду с этим мы внимательно прислушивались к тем, кого пугала надвигающаяся глобализация, угрожающая существованию самих национальных культур.

Выражая позицию «ДН», Леонид Арамович работал над идеей *новой* культурной интеграции. Существуют разные идеи объединения, которое после советской эпохи воспринимается двусмысленно. Из всех возможных граней Тер выбирал самую нужную, наполняя высшим смыслом назначение журнала «Дружба народов».

Вскоре последовал звонок из Москвы Инны Петровны Борисовой. Как я и ожидала, она звонила по рекомендации Тера. Ей предстояло готовить журнальный вариант «Дороги домой» и фрагмент для «Антологии современных литератур РФ». Мы взаимодействовали по телефону и электронной почте. Та же корректность, удивительно сочетающаяся с прямотой, порой жесткой. Я почти не возражала, молчаливо принимала замечания и советы. То было продолжением учебы, которую можно было бы назвать «мои университеты с Теракопяном».

Очередной звонок от Тера: его неподражаемые интонации, невозмутимость, которую, кажется, ничто на свете не может поколебать. В Железноводске, при поддержке ФСЭИП, возглавляемого С.А.Филатовым, собирались писатели Северного Кавказа.

С тех пор начался праздник удивительных встреч.

На форумах «ДН» я получила возможность реализовать не только писательский, но и литературоведческий интерес: передо мной явилось живое воплощение современных национальных литератур всего постсоветского пространства. Впрочем, все было не просто, десятилетия вынужденной изоляции породили сложный комплекс ощущений, недоверия... Приходилось разрушать барьеры и преодолевать мифы, даже если таковые только чудились...

Леонид Арамович был непубличным, очень скромным человеком, которого, кажется, тяготила необходимость быть в центре общественных событий. Он сидел ссутулившись и казался бесконечно уставшим. При взгляде на него я не могла подавить тревогу, и каждый раз, боясь показаться навязчивой, задавала один и тот же вопрос: «Леонид Арамович, как вы себя чувствуете?». Похоже, мое медицинское образование давало о себе знать. «Все хорошо, Мадина», — отвечал Теракопян, каждый раз усыпляя мою бдительность. Это было нетрудно, — он был для меня слишком дорог, чтобы допустить серьезную проблему...

Если впервые я получила возможность по достоинству оценить специфику авторского контингента «ДН», то Леонид Арамович в этом деле был «профи».

Я молча наблюдала, как умело справлялся Тер с их «демонами». Было очевидно, что он давно изучил, прочувствовал и, главное, принял особенности творческой братии, как собственную судьбу. И то, что новичка раздражало, он встречал с мягкой улыбкой, доброй паузой и ободряющим взглядом всепонимающих глаз. За этим трудно было не заметить целый сплав: тонкую деликатность, удивительное знание психологии каждого автора, неиссякаемый источник доброты и терпения...

Далеко не сразу продравшись через колючий барьер собственного и чужого авторского индивидуализма, я обрела друзей. Это случилось на памятной встрече по поводу юбилея «ДН». Поселили нас в гостинице в центре Москвы, в люксовых номерах. Позже выяснила: редакция получила грант. Эта встреча была подарком судьбы. Атмосфера сложилась абсолютно неформальная. Мы обсуждали вопросы, которые беспокоили всех — угасающие национальные языки, проблемы перевода, издания книг, сужение читательской аудитории... У всех — одна и та же боль. Вечером мы пили шампанское и пели, мешая нормальному окружению, до самого утра. Такие разные, мы оказались удивительно похожи, — веселая шутка Всевышнего, который одну и ту же сущность вкладывает в совершенно разные обличья. И лишь когда встречаешь своих двойников, по-настоящему узнаешь себя... В тот день я вспоминала Чайку по имени Джонатан Ливингстон, который открыл себя только после того, как встретил свою стаю... Наши утренние излияния Тер выслушал как всегда с молчаливой спокойной улыбкой.

Он всегда интересовался: что нового в национальной литературе нашей республики? Как обстановка? По-прежнему тревожно? Какие проблемы? Он умудрялся, оставаясь в тени, руководить процессом этих встреч, организационную и психологическую сложность которых я оценила лишь со временем...

На встрече в Переделкино в перерыве между заседаниями Леонид Арамович предложил чеченскому прозаику Мусе Ахмадову: «Почему бы вам не образовать литературный северокавказский... союз или объединение?». Я стояла поодаль и слышала разговор. Моя вечная мечта по сближению литератур, кажется, была телепатирована... Позже идея обсуждалась в Нальчике, на нее живо откликнулись писатели и поэты Северного Кавказа. Теперь у нас есть Клуб писателей Кавказа (КПК), который возглавил балкарский поэт Салих Гуртуев. Объединенные в нем писатели и поэты пытаются служить идее культурной интеграции, столь близкой Леониду Арамовичу.

При общении с ним я всегда сохраняла почтительную дистанцию, наши беседы нельзя было назвать личными. Тем не менее я постоянно ощущала его тепло и понимание. Но главным для меня был его неиссякающий горизонт ожиданий; всегда, по телефону или при встречах он спрашивал: «Что вы пишете? Что-нибудь новое?». Мои мучительные метаморфозы, похожие на превращения насекомого (личинка, куколка, бабочка, опять личинка и так до бесконечности), кажется, тоже проницал без труда. От его внимания не ускользала ни одна деталь, ни одна реплика, кажется, он способен был фиксировать практически все.

В концепции экзистенциалистов есть утверждение о том, что духовная сущность каждого человека раскрывается только после смерти. Теперь этот постулат стал понятнее.

В литературном сообществе есть ключевые фигуры, влияющие на его формирование, — посвященные, наподобие «свободных каменщиков». Их отличает особый дар душевного альтруизма, — находя авторов, они помогают их трудному превращению в мастеров слова.

Таков был Тер — Леонид Арамович Теракопян, мой друг, учитель, духовный отец, подаривший мне мою творческую судьбу.

Ольга Трифонова

Тихое мужество

Необъяснимое, мистическое совпадение.

Последний раз видела его на маленьком сабантуе в редакции. Он был, как всегда, молчалив, сидел у двери в крошечный кабинетик.

И, как всегда, — слабая улыбка, чуть вопросительный взгляд. Потом вдруг, как в киномонтаже, увидела его в спину, уходящим. Увидела и вдруг подумала: «А ведь я вижу его в последний раз».

Так и оказалось. И что это было? Предчувствие ? Или что-то в его лице, или где-то на периферии слуха — фраза, что, мол, завтра ложится в больницу?

Но прошло время, и я понимаю, что был это редкий подарок ОСОЗНАНИЯ происходящего.

Чтобы память сохранила и эту его слабую улыбку, и тихий голос, и взгляд, всегда немного в сторону.

К счастью, память сохранила и то негромкое добро, которым он одаривал меня в разные времена. Нет, не меня, а память о Юрии Валентиновиче Трифонове, которому был неизменным другом и при жизни, и после жизни.

Леонид Арамович первый сказал мне, что надо заниматься архивом и не медлить, первым звонил и спрашивал, когда принесу в редакцию что-нибудь из литнаследия.

Одно время (очень тяжелое и горькое для меня) его кабинет в правом флигеле двора Союза писателей был единственным местом в Москве, где мы вспоминали Юрия Валентиновича и говорили о нем.

В архиве Татьяны Аркадьевны Смолянской сохранилась внутренняя рецензия Леонида Арамовича на роман «Время и место». Леонид Арамович — за публикацию, но из контекста видно, что есть среди членов редколлегии и противоположные мнения.

А ведь ни взглядом, ни словом Леонид Арамович не дал мне понять, какие страсти кипят и как он борется «за».

В этом был он весь: со своим тихим мужеством и со своей склонностью к конспирации.

Юрий Трифонов написал в романе «Время и место», что бывают времена величия малых поступков.

Большая часть жизни Леонида Арамовича пришлась на такие времена, и он в эти времена служил литературе, и служил достойно.

И вот еще что.

Ритуальный зал прощания, конечно, не место для посторонних впечатлений, но вдова прощалась с Леонидом Арамовичем с такой пронзительной любовью, с такой нежностью, что подумалось: «А ведь он прожил счастливую жизнь. Его любили».

Лев Аннинский

Теракопян. Прощальное

Он тих, он безукоризненно вежлив. Но, вдумываясь в его замечания, ощущаешь, какая острая энергия бьется за этой вежливостью.

Он подчеркнуто внимателен к авторам, о которых пишет. Но, вслушиваясь в его текст, чувствуешь, какая собственная музыка прячется за этой корректностью.

Там прячутся философские глубины, определяющие нашу реакцию на парадоксы и абсурды текущего времени. Там время вытекает из бесконечности и в нее же впадает. Там ничто не исчезает бесследно, лучик надежды всегда спорит с безысходностью. Мир увязает в мелочах, но он же, мир, — слушает тебя как собеседник и возвращает к подлинной сути бытия. Этот немеркнущий свет дан нам навсегда — нашей родной земле, нашей культуре...

...И каждому из нас.

Обрывается лучик на этой фразе. Я процитировал финальные слова из последней статьи Леонида Теракопяна, опубликованной на излете 2009 года в «Дружбе народов».

Прощальные слова.

Роман Сенчин

Он жил со светлой печалью

Не могу сказать точно, когда познакомился с Леонидом Арамовичем. Может быть, в 2001-м или в 2003-м. Да это не так уж важно — знакомство с такого склада людьми зачастую бывает почти незаметным — «здравствуйте... до свидания», но зато потом, постепенно, перерастает в настоящее, душевное общение. Помню Леонида Арамовича стоящим в коридоре редакции «Дружбы народов» с сигаретой в одной руке и пепельницей в другой. О чем-то думающим. О чем-то невеселом, но светлом...

Я читал его статьи в 90-е, когда учился в Литинституте, позже, когда стал публиковаться в «Дружбе народов». Статьи о писателях советской эпохи, по большей части уже умерших, о многонациональной литературе, которой тоже давно уже нет. По форме старомодные, изобилующие словами, потерявшими свою цену еще в конце 80-х, но такие душевные и искренние, что становилось и грустно, и тепло. Но новые статьи Леонида Арамовича выходили очень редко. Хорошо, если одна в год. Примерно в 2004-м я спросил его, почему он так мало пишет о том, что хорошо знает, чем живет. Леонид Арамович грустно на меня посмотрел и тихо (он всегда говорил тихо и медленно, как-то со стеснением, что ли) ответил: «А это разве нужно кому-то? Мне кажется, на профессию критика наложен запрет». Я стал его убеждать, что это нужно, что вот еженедельник «Литературная Россия», где я работаю, публикует статьи о литературе Кавказа, Поволжья, но, к сожалению, такие материалы поступают

нечасто, вообще чувствуется нехватка информации о происходящем там сегодня... Леонид Арамович ответил, что подумает, а потом при каждой встрече сообщал, что пишет, почти просил дать еще время. Словно я торопил. Но, видимо, ему нужно было сознавать, что его статью очень ждут. Это прибавляло сил...
В апреле и июне 2006 года на страницах «Литературной России» появились две статьи Леонида Арамовича — «Размышления над картой литературы» и «И крест, и богатство». Он с охотой отвечал на блиц-опросы газеты, оставил короткие, но очень интересные воспоминания о Расуле Гамзатове, о своей первой публикации в «ЛР» в начале 60-х. И одна из последних статей Леонида Арамовича вышла в «Литроссии» — «Из огня да в полымя. Неюбилейные размышления на фоне круглой даты» (ноябрь 2010).

Кстати сказать, последние годы Леонид Арамович как-то внутренне помолодел. Увидел, наверное, что дело его жизни возрождается. Стали проводиться встречи с писателями СНГ, совещания молодых писателей Северного Кавказа, случались командировки; в родной «Дружбе народов» одна за другой пошли публикации новых авторов из Таджикистана, Прибалтики, Молдавии... То есть снова стало возрождаться общее литературное пространство, которое, казалось, было навсегда разрушено после 91-го.

Без преувеличения событием (пусть в узких кругах) стала книга Леонида Арамовича «Между исповедью и проповедью». Несмотря на малый тираж и отсутствие в крупных книжных магазинах, ее прочитали, пожалуй, все (ну, или многие) интересующиеся тем, что было и что есть в литературах народов Советского Союза и России, как жила русская литература в 70—90-е годы. Книга печальная, но светлая. Бывает такая светлая печаль... В этой книге, по очень точному определению Валентина Курбатова, Леонид Арамович «торопится продлить счастье».

Вспоминается, как он рассказывал об Анатолии Рыбакове на радио «Эхо Москвы». Не спеша, но красиво и точно. И с любовью.

Благодарен я Леониду Арамовичу за внимание и к русским, особенно молодым (начала нулевых) авторам. Он очень хорошо отзывался об Ире Мамаевой, Денисе Гуцко, Захаре Прилепине, Илье Кочергине, Дмитрии Новикове, с нетерпением ждал их новых вещей. Благодарен и за то, что не только принимал к публикации мои повести и рассказы, но и обсуждал их со мной, давал советы (не редакторские даже, а какие-то товарищеские), написал о моей прозе обстоятельную и сочувственную статью «На краю», которая была опубликована в начале 2005 года в «Дружбе народов», а затем включена в книгу «Между исповедью и проповедью».

Спасибо, Леонид Арамович.

Вадим Муратханов

Тихое слово

Некоторые люди очень похожи на свои имена. Но в Леониде Арамовиче не было ничего львиного, торжественного и раскатистого. Он был чужд пафоса и позы. Невысокий и худой, с приглушенным голосом, он словно терялся в высоком кресле редакторского кабинета, становился невидимым, превращался в слух.

Его способность слушать собеседника была потрясающей. Внимательный взгляд сквозь толстые линзы, методичное кивание головой, сопровождаемое еле слышным «аха». Сам же Теракопян говорил мало — но всегда точно и по существу. Общаясь с

ним, ты тоже невольно начинал ощущать ответственность за каждое произнесенное слово.

После «уплотнения» редакции, когда «Дружба народов» из длинного извилистого коридора на территории «Дома Ростовых» переселилась в четыре тесные комнаты флигеля, мы стали чаще беседовать с Леонидом Арамовичем. Новая, непростая для редакции ситуация сократила (в том числе и физически) дистанцию между авторами журнала и руководством. Теракопян умел, при внешней сдержанности и бесстрастности, дать почувствовать гостю, что ему рады, что вокруг свои. А если надо — проявить твердость.

«Путь к вам лежит теперь через ресторан», — в шутку заметил я как-то при встрече, когда обнаружил, что вход в редакцию потерялся за столиками и снующими официантами «Каретного ряда». «На самом деле это отношение не только к нам, но и к вам, авторам», — не принял шутки Леонид Арамович. Я почувствовал неловкость. И вместе с тем принадлежность к большой семье, от которой не пристало отстраняться в трудную минуту.

Он всегда подробно расспрашивал о том, что происходит в Узбекистане. Поначалу это казалось формой вежливости. Но вскоре я понял, что Теракопян по-прежнему живет в этом, еще недавно общем для всех, пространстве. Уже разделенном границами, расползающемся по швам — но каким-то чудом держащемся на нитях личной дружбы и взаимных привязанностей. Сегодня положение меняется к лучшему, но еще несколько лет назад «Дружба народов» была единственным столичным изданием, регулярно публикующим авторов из стран СНГ. Тогда, после распада страны, эта литература не проходила в другие журналы ни по ведомству отечественной, ни по разряду зарубежной.

Два года назад Леонид Арамович загорелся идеей побывать в Узбекистане — повидать старых друзей, освежить литературные связи, наладить сотрудничество. В последний момент поездка сорвалась: писатели ждали встречи, но вмешалась политика. Ехать как частное лицо Леонид Арамович отказался: не счел возможным отделить отношение к журналу — делу своей жизни — от частных отношений.

Меня удивило тогда, как болезненно воспринял Теракопян этот эпизод. «Теперь уж не выберусь», — с горечью покачал он головой, когда мы обсуждали неудавшуюся поездку.

Точно так же с несвойственным ему нетерпением ожидал Леонид Арамович выхода рецензии на его последнюю книгу «Между исповедью и проповедью. Очерки о писателях стран СНГ и Балтии», в которой он пытался зафиксировать, удержать в культурном обиходе огромный пласт уже забываемой ныне советской национальной литературы.

Разгадка нетерпения была до боли проста: он чувствовал, как мало у него осталось времени. Мы, окружающие, — нет. Леонид Арамович болел, выходил на работу, снова болел и опять возвращался, продолжая непомерный труд скрепления все еще родственных, но неумолимо отдаляющихся друг от друга литератур.

Мы привыкли к тому, что он с нами, что он на посту, — а силы его были на исходе.

Прощались с Леонидом Арамовичем в морозный февральский день. Людей пришло мало, словно виновник собрания и здесь предпочел не привлекать к себе лишнего внимания, не обременять коллег.

А ведь прощались с эпохой. С одной из последних нитей, связующих современную российскую литературу с литературой XX века.

Афанасий Мамедов

Хранитель литературных Америк

Долгий коридор с осыпающейся штукатуркой, со следами мела и плесени (разве что грибы не растут), с несколькими едва уловимыми изгибами ведет меня через годы к узенькому дверному проему, к хлипкой дэвэпэшной двери заместителя главного редактора «Дружбы народов» — литературного критика, «упорного интеллигента» с высоким, мощно вылепленным лбом и вкрадчивым тихим голосом.

Леонид Арамович Теракопян, за глаза — либо Арамыч, либо Тер, милейший человек в густой сизой дымке дешевого табака интересуется моими ближайшими литературными планами.

Я догадываюсь, что это еще и этикет такой толстожурнальный, но планами делюсь, тем более что ближайшие из них — туманны и я ничего ими не раскрою. Леонид Арамович вздыхает. Мне страшно неудобно перед ним, и я тоже вздыхаю. Много работы, говорю, и все такое... Он закуривает: что тут поделаешь, хлеб всем нужен. Смотрит сквозь толстые стекла очков, как смотрят на не объявленный метеорологами дождь через окно. А потом...

А потом разговор как-то потихонечку начинает меняться, обещая скорый переход от кипучей «внешней жизни» в мир прозы, в пророчество с обратным ходом стрелок.

Однажды эти стрелки привели меня к одному из персонажей «Фрау Шрам» — Христофору Арамовичу, который не поведением своим, не образом жизни, — но умением ткать беседу был немного списан с Леонида Арамовича. (Помнится, я даже раз, выскочив за обод разговора, назвал его Христофором, он сделал вид, что не расслышал.)

Его кабинет, кажется, весь пересечен мыслями. Папки, пыль, тусклый свет настольных ламп...

За столом, заваленным литературным архивом «ДН», Арамыч — и содержание и форма, он тут не случаен, это его место... Место, где тихо и незаметно свершается человечий поступок.

Меня всегда не покидало чувство, что он живет в каком-то духовном подполье, ни на секунду не сомневаясь, что именно оно, это его подполье, в очередной раз спасет нашу культуру.

Не могу сказать, что наши литературные вкусы сходились. Скорее нас с Леонидом Арамовичем свела неприглядность повседневной жизни. А точнее, у нас с ним были схожие взгляды на армяно-азербайджанский конфликт: и он и я считали его бедою двух народов. Он полагал, что об этом конфликте, как и о любом другом подобного масштаба, следует писать, только воспарив над ним. Я считал точно так же. Именно потому мнение его было чрезвычайно важно для меня: удалось ли мне преодолеть законы гравитации.

Замечания Леонида Арамыча были предельно точны и лаконичны и когда мы говорили по телефону, и когда встречались в его кабинетике.

Жаль, что эти общения никогда не бывали долгими. Догадываюсь почему. Всегда он интересовался моими творческими планами, но не я его. Забыл, что заместитель главного редактора — сам *пишущий человек*. Думаю, если бы я спросил его об этом хоть раз, наши встречи — к примеру, одна из последних — могли приобрести совсем иные очертания. Но авторы литературно-публицистических журналов — чаще всего большие эгоисты.

И вот нет больше долгого коридора — примечания к жизни нескольких поколений журнальных работников. Ушел и Леонид Арамович, для меня — советский интеллигент трифоновского извода, хранитель литературных Америк.

Фарид Нагим

Арамыч, помоги!

Из всех людей, знавших Леонида Арамовича и общавшихся с ним, я знал его и общался с ним меньше всех. Видел раза три-четыре, а говорил и того меньше, и по времени максимум семь минут. И сейчас, задним числом прислушиваясь к себе, я улавливаю чувство стеснения перед ним, будто намеренно избегал встречи.

Впервые увидел его в Переделкино зимой — он чистил дорожку у дачи. В гигантских валенках и смешной шапке-ушанке. Он был такой худой, что, казалось, в одежде нет тела, а валенки чудесным образом не отваливаются по сторонам и даже переступают в некоем подобии слаженности. Казалось, что не он, а лопата двигает им. Идеальный тип интеллигента-доходяги в лагере. Многажды видел горящее до самой поздней ночи крайнее окно дома номер девять по Серафимовича. «Теракопян журнал вычитывает», — объясняли мне. Такой напор «потока» выдерживали толстенные линзы его очков, представить тяжко. А сколько золотых форелей выловил этот армянский рыбак! Только редактор поймет это предчувствие дрогнувшего поплавка, это радостное подрагивание удилища — неужели?! Это восхитительное чувство полновесного, самобытного и живого текста! Великолепное открытие, уже сияющее из мутных вод журнального «потока», в которое не веришь до самого финала.

Потом я встретил его в редакции, он шел курить. Выпуклые линзы очков, легкие седые кудряшки по бокам лысой головы. Линзы такие толстые, что глаза казались неимоверно большими, но срезанными матовым торцом стекла, роговой оправой, они будто бы плавали уже в потустороннем мире, а очки — иллюминаторы. Он был такой старенький, что и одежда казалась изможденной и ветхой. Ему представили меня. И на какое-то время один зрачок всплыл над линзой и с живым интересом уставился на меня. Я не знал, что сказать, но отметил, что одет он со вкусом, с художественным чутьем выдержана цветовая гамма: голубое, переходящее в синее. Я говорил, а сам чувствовал животное, подсознательное пренебрежение к старику – это восточное превосходство молодости (на востоке, мне кажется, очень подчеркнутое внешнее уважение к старости, уживается с внутренней иронией над нею и безжалостностью). Еще мне почему-то казалось, что в этой отяжеленной линзами голове уже нет места креативным мыслям о будущем, а только унылое старческое брожение. «Пиджак, сорочка button-down... Не о том что-то говорим, — отметил он про себя, наверное. — Я не совсем понимаю, к чему вы это?». И пошел курить. Надо заметить, что на каждую проблему, чью-то бестактность, ошибку или нестыковку по материалу, предполагаемому в печать, он прежде всего отзывался сигаретой. Если представить, сколько он выкурил — то, думаю, чердачное здание редакции могло бы улететь от всех бед и грубостей на шаре Монгольфье, наполненном никотиновым дымом.

Он был очень красив в молодости, уверен, той мягкой, почти женственной красотой, которая так импонировала Толстому в Чехове, Чехову в Бунине. Это именно того рода интеллигентная женственность, свойственная очень мужественным и стойким людям, выдюжившим в эмиграциях и лагерях, покорившим немало удивительных красавиц.

И этот старик из ночного Переделкинского окна, бессменный зам на протяжении сорока шести лет, с которым я увиделся два раза и перекинулся парой слов, вызывавший во мне столь противоречивые чувства, вдруг заговорил в редакции вот о чем: «Может быть, взять Фарида на мое место. Что вы думаете?» И удивил этим многих, вызвал недоуменное пожатие плечами, а в первую очередь поразил меня самого, но все же заложил эту мысль в мою голову и посеял это зерно на редакционном линолеуме. Что он рассмотрел такого во мне, чего я не знаю, как он разглядел мое будущее в будущем редакции, что он решил в ней поменять?! Так неожиданно случаются только судьбоносные моменты, это мистика, я не могу воспротивиться этому, убеждал я самого себя.

В последний раз мы встретились у кабинета Бахнова, и мне казалось, что Теракопяну неловко. Я хотел пройти в кабинет — Леонид Арамыч мелко затоптался, не пройти, я резко повернул в другую сторону. Он о чем-то спросил, я не расслышал и не понял. Он снова спросил с участием. Я чувствовал, он чего-то стыдится, словно бы он препятствие... А потом он ушел насовсем, гигантские и прекрасные рыбки уплыли от толстенных линз в глубь прекрасных миров, и погасло переделкинское окно. Остался никотиновый, сутулый абрис в коридоре, остались тома «Дружбы народов». Остались записные книжки с адресами писательских организаций СНГ, с тщательно выписанными сложно-произносимыми именами и отчествами, с номерами от домашних телефонов Юрия Трифонова, Василя Быкова и Чингиза Айтматова до мобильников Алексея Торка, Романа Сенчина и Захара Прилепина.

С июля я работаю на его месте. Иногда, не справляясь с трудным договором, с уставами фондов, споря с упертым автором, я зову дух Теракопяна и прошу о помощи. Злюсь на него иногда. Ловлю себя на безысходной бессмысленности своего занятия. «Вот ты, Леонид Арамыч, сколько рукописей ты прочитал, сколько тонких, глубоких и честных советов дал и что? Куда ушло все, что съело твои глаза, миллиардами букв припаялось на твоих линзах, где еще это отпечатается?».

Наверное, отпечатается где-то, уйдет в космос неким кодом, сработает в чьей-то судьбе. Не будем гневить нашего Верховного Редактора, мы же знаем, что окончательный смысл его творения существует, он велик, непостижим и прекрасен. Но что нам делать сейчас и в самом ближайшем будущем, как жить твоей «Дружбе народов», формально нужной всем, а неформально — неизвестно кому, как связь не прервать, как...

— Арамыч, помоги!

Николай Веревочкин

Созидатель

Говорят, настоящий талант пробьется сам.

Возможно. Только не в наше замечательное время попсы и пиара.

Для того чтобы *настоящие* таланты пришли в литературу, и нужны такие люди, как Леонид Арамович Теракопян.

Мне он всегда казался добрым домовым, хранителем традиций «ДН». В общей сутолоке возьмет за локоток, отведет в сторонку, скажет на ухо что-то важное. Точнее, подскажет. Он знал, что говорить с глазу на глаз, а что делать достоянием всех. Он также знал, что литературе не нужны скандалы. Нужны талантливые вещи. И всякий раз радовался, когда из потока рукописей вылавливал нечто стоящее: «Идемте, я познакомлю вас с Алексеем Торком, вы должны познакомиться с Алексеем».

Золотая, смиренная душа, человек большого такта, он не терпел только одного — бездарность. Да и то не всякую, а лишь бездарность агрессивную, самоуверенную, пробивную.

Помню один из небольших залов в гостинице «Алма-Ата». Леонид Арамович сидит в своей характерной позе — чуть бочком и слегка ссутулившись. Нога на ногу. Вид совершенно беззащитный. А на него молодым петушком наскакивает юноша пылкий: почему вы в своем журнале не печатаете казахстанских авторов, почему?

— Наш журнал называется «Дружба народов» и мы никогда не изменяли этому названию. И не изменим. И казахстанских авторов мы печатаем, вы просто, видимо, давно не просматривали наш журнал, — тихо отвечает Леонид Арамович.

— Хорошо. Я пришлю свой текст. Но только обещайте, что напечатаете. Обещайте при свидетелях.

— Я не могу вам этого обещать. Прежде нужно посмотреть его и коллегиально обсудить. Журнал — не приемный пункт макулатуры. Это сито, на котором остается только самое достойное.

— Отговорки. Вам просто не нравятся казахстанские авторы. Почему вам не нравятся казахстанские авторы?

— Вы не правы, — отвечает Леонид Арамович и приводит в пример Мишу Земского, меня, называет еще несколько фамилий.

Юноша просто взорвался от негодования:

— А вы знаете, сколько им лет?

— Вы хотите знать, чем они занимались до семнадцатого года? — спрашивает Леонид Арамович.

Когда смех затих, он также тихо сказал:

— Я твердо обещаю, если ваша рукопись написана талантливой рукой, она будет напечатана через три месяца. Даю вам слово. При всех. Только уж вы, пожалуйста, присылайте. Я настаиваю на этом. Непременно присылайте. Вы можете передать ее сейчас же.

Молодой петушок понял, что сам прыгнул в лапшу. Смутился и сказал:

— Дело в том, что я уже послал рукопись в другой журнал.

Помню, как окружили его после «круглого стола» девчонки и мальчишки из литературного объединения «Мусагет», как взял он за локоток девочку, с рукописью которой только что ознакомился, отвел в сторонку и сказал что-то важное, отчего это робкое и маленькое существо вдруг стала выше ростом и вся просияла. Помню, как, склонившись головами друг к другу, они тихо беседовали с Ольгой Марковой, хрупкой женщиной в инвалидной коляске, спасшей целое поколение алма-атинских мальчишек и девчонок от безвременья. Два подвижника, два человека, посвятивших всю жизнь другим. Всю. Это уже не метафора.

Знаете, Леонид Арамович никогда не делил людей на белых и красных. Для него важно было только одно — насколько талантливо написана вещь. Но при этом он всегда подчеркивал один из главных смыслов литературы — противостояние всеобщему отчуждению, поиск объединяющих начал. Он был из тех критиков, которые, цитирую его же рецензию, «не разучились слушать музыку истории, симфоническую, оркестровую музыку, а не рвущуюся из всех динамиков попсу».

В наше время критика в основном разрушающая. Извини, брат, тебя заказали. Ничего личного. Лихая кавалерийская атака. Шашки наголо, кроши их! Стенка на стенку. И опять: кто не с нами, тот против нас. Бей его, этот пацан не с нашего двора! Талантлив? Не талантлив? Кого волнует? Не с нашего двора? Бей!

Есть мастера, которые пишут рецензии, не читая книг.

Леонид Арамович Теракопян был из редкой ныне породы критиков-созидателей, которые посвятили жизнь поискам новых талантливых авторов, заботе о них, взращиванию. Именно в этом, а не в лихой атаке на плохих ребят из враждебного литературного лагеря видел он основной смысл своей профессии. И ему было безразлично, каким способом это достигается. В личной беседе с глазу на глаз он тратился даже больше, чем в своих рецензиях. Он считал, что, если убедил в чем-то собеседника, указал на ошибки, не обязательно делать это достоянием гласности. Зачем? Цель достигнута. Можно уйти в тень. Во всяком случае, многие критические замечания, которые выслушал от него я, не вошли в рецензии. Это был человек высокого благородства и интеллигентности. Из тех «дворян с арбатского двора», воспетых Окуджавой. Что-то в нем было от академика Лихачева.

Но прежде всего он был просто добрым человеком.

Редкий в наше время талант. Редчайший.

Я благодарен ему за две рецензии, но больше всего меня тронул его телефонный звонок. Отлеживаюсь после операции. Жена приносит трубку. «Это Теракопян из "Дружбы народов". Как себя чувствуешь?..».

Он позвонил просто узнать о моем здоровье.

Жаль. Очень жаль, что уходят такие люди.

Хочется верить в бессмертие души.

Хочется верить, что о Леониде Арамовиче будут долго помнить те, кого он благословил.

Не знаю, существует ли премия литературных критиков, именно критиков-созидателей, открывающих новые имена и заботливо, тактично подталкивающих авторов в русло большой, настоящей литературы.

Хорошо, если бы она была — премия литературных критиков имени Леонида Арамовича Теракопяна.

Василий Голованов

Восхождение в Согратль

Из книги «Тотальная география Каспийского моря»

Скажи, родимый Каспий, на каком
Из сорока наречий Дагестана
Ты говоришь?
Язык звучит твой странно,
Он непонятен мне, хоть и знаком.

Расул Гамзатов. Каспий[1]

I. Вика и террор

Напоследок перед отъездом я стер из мобильника все телефоны (жены, мамы, брата, места работы, всех вообще близких людей), потом снял со связки ключ от квартиры, где я прописан, чтобы, если меня «возьмут» с паспортом (кто *«возьмет»* — этого я не знаю. Кто бы ни взял... *Вдруг...*), *они* не получили бы вместе с адресом квартиры сразу и ключ, которым она отпирается. Вот опять: *они*. Кто — *они*? Опять не знаю. Но думаю, что, если случайно сделать неверный шаг, попасть не в свой коридор, опасность реальна. Кому бы я ни говорил об этой поездке, все реагировали одинаково. Мой друг Аркадий проникновенно сказал: «Учти, Дагестан — это единственная республика, где до сих пор похищают людей». Я знал, что убивают. Но похищают? Ничего не слыхал об этом. Но спорить бессмысленно, напор велик. Оксана: «Ты сумасшедший, что ли? Там же железную дорогу взорвали! Чего тебя туда несет?». Железную дорогу действительно взорвали, но я не могу объяснить ей, что несет меня туда мой замысел, моя книга. Что если я не перешагну свой страх, проект можно считать закрытым. Может быть, в моей «кругосветке» вокруг Каспийского моря и можно пропустить какие-то страны. Но не Дагестан. Отказаться от поездки в Дагестан — значит сдаться. Потому что Дагестан — это именно та территория, на которой разлом между Востоком и Западом особенно очевиден и по-настоящему драматичен. Напряжение такое, что вот уж лет десять, как брызги крови из этой небольшой республики долетают до Москвы. Как назло, 9 мая в Каспийске, где находится суворовское училище и где, вероятно, по случаю праздника был устроен парад, тоже был взрыв, весть эта молнией долетела до Москвы и чрезвычайно взволновала мою семидесятисемилетнюю маму. Она позвонила. Я попросил ее: «Ничего мне не говори. Пожелай мне удачи — и все». Прекрасно помню тот день перед отлетом: мы с Ольгой ходили на рынок, в честь дня Победы на улицах шло народное

Голованов Василий Ярославович — прозаик, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Публикации в «ДН»: Остров (№ 5—6, 1997), Стрелок и Беглец (№ 6, 1998), Три опыта прочтения «Фелицы» (№ 4, 2006), Кровавая чаша. Персидский поход Разина (№ 11, 2007), Эпоха Антропоцена (№ 10—11, 2009); Эпоха рок-н-ролла (№ 3, 2010); Бикапо. Встреча в аэропорту (№ 1, 2011).

гулянье, было несколько ветеранов войны в медалях, дети то окружали их, то рисовали цветными мелками на асфальте цветы и солнышки. И все было так понятно, так по-родному... Потом была ночь, стирание телефонов и отчаянная бессонница, когда мысли крутятся, крутятся бессмысленно и беспощадно в твоей голове, и сна — ни в одном глазу. Чтобы сбить этот коловорот беспокойных мыслей, у меня было полфляжки коньяку. Я подумал, что если сейчас выпить грамм сто, то завтра скорее всего потянет опять. Но если не буду спать — выпить все равно придется. Так что выбора не было. Стояла уже глубокая ночь, я вышел на крылечко, плеснул коньяк в чашку, выпил, сел в кресло и долго смотрел на наш двор, на кусты жасмина, налитые весенней свежестью, на все это, столь, оказывается, любимое...

За неделю до отъезда я позвонил своей подруге Вике Ивлевой. Она журналистка. Хорошая. И она была в Дагестане: поэтому я и спросил ее — как она все это видит, эту тему? Потому что в Москве слово «Дагестан» прежде всего связывается с несколькими ужасными террористическими актами, которые были совершены в метро и в других людных местах по каким-то религиозным, типа, мотивам. Так, по крайней мере, было сказано по ТВ. Никаких альтернативных версий расследования этих ужасных преступлений я не знал. Поэтому я говорю как простой обыватель. А в качестве обывателя я представляю собой почти идеальное подопытное животное, мозг которого напуган известиями о кощунственных убийствах ни в чем не повинных людей и издерган постоянными — ежедневными, ежечасными — напоминаниями об опасности террора. Где бы ты ни находился — в метро, в электричке или в аэропорту, — тебе не избежать сурового наказа: «В связи с угрозой террористических актов...». Я даже не помню продолжения, не знаю, что надо, а чего не надо делать в связи с этой угрозой, но за десять лет пропаганда продолбила мой череп, и я по умолчанию считаю, что угроза есть. И несмотря на то, что я *на самом деле не знаю,* от кого она исходит, за десять лет этого постоянного нагнетания антитеррористической кампании у меня сложилось негативное отношение к Дагестану. Пожалуй, это — важнейшая составляющая террора. Ведь он заключается не в уничтожении возможно большего количества людей, а в приведении общества в состояние апатичной готовности к худшему и постоянного, хотя бы подспудного, страха. Террор и означает по-французски, собственно, «ужас». Роль СМИ в терроре равна роли самих террористов. Одним-двумя взрывами такой городище, как Москва, не напугаешь, да и взрывы эти быстро забудутся. Нужно постоянно напоминать, чтобы люди все-таки боялись. Это и есть цель пропагандистской работы, а совершается она исподволь. Разумеется, в Дагестане все очень непросто. Тем более если, как утверждается, дело замешено на религии. Что это за чудовищное искажение веры, если она требует от своих приверженцев не молитв, не милостыни, не паломничеств, а крови?.. Вы уже знаете: мусульмане считают, что существуют лишь три «ниспосланных» религии, религии откровения — иудаизм, христианство и ислам. Эти религии родственны по происхождению, специалисты называют их «авраамическими», по имени, естественно, Авраама, который первым из всех пророков узрел явление Господне и, как написано в древней книге Бытия, даже заключил завет с Богом. Но несмотря на родственность, все три религии за полторы-две тысячи лет своего развития пережили немало трансформаций и даже своего рода духовных кризисов. В XX веке стал очень значимым процесс глубокого переосмысления христианства, что, в конечном счете, привело к глубоко-мистическому пониманию Божественного опыта как прежде всего опыта любви. И это понимание стало для многих людей возможностью новой религиозности, нового восприятия Бога. Это очень серьезный сдвиг в нашем понимании сакрального, но пока по сравнению с «церковным» христианством все это — очень тонкие и хрупкие вещи... И вдруг со всем твоим тонким сознанием ты оказываешься вовлеченным в некую душевную болезнь родственной, спаси господи, религии и в ее материальное воплощение — террор.

И это *не* приятно.

Ибо если в Москве происходит несколько терактов в год, то на территории Дагестана что-нибудь взрывается каждый день, а то и не единожды...

Но я так заболтался, что забыл, что пришел за советом к Вике.

— Не пиши ничего про террор, — неожиданно-веско сказала мне Вика. — Глубоко понять эту тему ты все равно не сможешь, а пустые слова здесь не нужны...

— Хорошо, — сказал я. — Отбросим террор. Что для тебя Дагестан?

— Знаешь, — сказала она, — это горы. Потрясающе красивые горы. Люди. Удивительные ремесла. Какие изделия из серебра! С таким вкусом с серебром не работает ни один мастер в Москве. А может, и в мире. Вот: напиши про мастера. Ты увидишь... поверь, это чудеса. Ты не представляешь, какие там сохранились ремесла! Только представь: инкрустация металлом по дереву. Поразительной красоты посуда, трости, трубки, табакерки... И это с XII, с XV века... А потом, ты поселишься в доме мастера и узнаешь истинное отношение к тебе людей. Это важно...

Вика была в столице Табасарана[2], в селении Хучни.

— Что там делают, в Хучни?

— Ну, во-первых, там делают великолепные ковры...

Я гляжу на нее немного печально. Ковры-то, вероятно, действительно великолепные. Но на востоке немало мест, где делают великолепные ковры: Азербайджан, Афганистан, Иран, Туркмения, Узбекистан... Все они тоже торгуют коврами отличного качества. Нетрудно понять, что такого количества ковров давно уже не нужно, кроме того, что ковры в том виде, в котором они служили человечеству тысячу лет, — уже не самый ходовой товар. Индивидуальные ковры для индивидуального интерьера — вот сегодня высший класс профессии ковродела. Но вряд ли в Табасаран доходят индивидуальные заказы. А значит, тамошним мастерам, как и всем художникам-традиционалистам, живется несладко.

Вика подтвердила это, но сказала, что давно нигде не встречала такой открытости, такого доброжелательства, такого радушия. И она говорила это не по своей восторженности. Она крутая женщина. Бывала в лагерях беженцев из Таджикистана в Афганистане, внутри четвертого блока Чернобыльской АЭС с взорвавшимся реактором, в Африке была, в Руанде, сразу после чудовищной межродовой резни, когда люди озверело несколько дней убивали друг друга обычными мачете для рубки сахарного тростника, умудрившись забить этими простыми орудиями около миллиона человек (на что весь мир смотрел ТВ с полнейшим равнодушием). И вот она со всем своим опытом, включающим, разумеется, и чувство опасности, прямо свидетельствовала мне о Дагестане как о спокойной, дружеской, безопасной стороне.

— Правда, — сказала она, — у тебя, как у мужчины, могут возникнуть свои проблемы во взаимоотношениях с местными.

— Но ты же решила свои, женские, проблемы общения?

— Да.

— Так почему ты думаешь, что я не справлюсь со своими?

Я не хотел ударить в грязь лицом. Да и оптимизма во мне здорово прибавилось после этого разговора. К тому же она дала мне координаты Али — председателя Союза журналистов Дагестана. Мы с Викой дружим с университетских времен. И она, как подруга, позаботилась, направила к нужным людям, в нужный туннель, где вероятность нарваться на неприятности или похуже того была сведена к минимуму.

После этой встречи я, наконец, засел в Интернете и на ощупь приступил к составлению маршрута.

Почему на ощупь? До этого я лишь один раз, лет шесть назад, был в Дербенте по случаю, о котором в своем месте, конечно, расскажу. Но, в общем, я очень мало узнал о Дагестане в ту поездку. Поэтому понадобилось составить досье. Благодаря ему я уже довольно отчетливо представлял свои действия хотя бы на первых порах. Скажем так: я прибываю в Махачкалу, знакомлюсь с Али, прошу его устроить мне несколько поездок. Для начала — Хунзах — Гоцатль — Гуниб...

II. Навигатор в пространстве и времени

Читатель! Если я буду продолжать свой рассказ о подготовке к путешествию в том же духе, никто, однако, не поймет, о чем идет речь: потому что 375 километров каспийского побережья, которыми Дагестан «причастен» к нашей теме, еще не отвечают на вопрос: Дагестан — что это и где?

Первое: Дагестан входит в состав России как федеративная республика и, таким образом, имеет свою столицу, президента, парламент, министерства, программы школ и университетов и т.д. В лице Дагестана Россия граничит с несколькими государствами, образовавшимися после распада СССР: на юге — с Азербайджаном и на юго-востоке — с Грузией на небольшом участке границы, проложенной по Главному Кавказскому хребту. Западным соседом Дагестана является Чечня, на северо-западе, где горы исчезают и во всю ширь открывается степь, он смыкается со Ставропольским краем, а на северо-востоке — с еще одной федеративной автономией — Калмыкией.

Когда-то, говоря о Дагестане, обязательно вспоминали о том, что это самая «многонациональная» республика Советского Союза. Для советских властей это служило предметом неистощимой гордости (интернационализм в действии). Но, какая бы власть ни была на Москве, количество народностей, населяющих этот небольшой, в сущности, кусочек земной поверхности, огромно. Энциклопедический словарь Южакова, выпущенный в самом конце XIX века, называет цифру 50. Современные данные скромнее: многие родственные народности слились в единый этнос или перечисляются только в рамках этого, более обширного этноса. Однако народов, часто никак не родственных друг другу, в Дагестане никак не меньше двадцати. Наиболее многочисленны аварцы (29,4 процента, около 750 тысяч человек). По языку им в какой-то мере родственны другие народы нахско-дагестанской языковой семьи — это, по преимуществу, горцы — даргинцы, лезгины, лакцы, табасараны, чеченцы, рутульцы, агулы и цахуры. К тюркской группе принадлежат населяющие северные степи Дагестана кумыки и ногайцы, на юге — азербайджанцы. Русские (включая терских казаков), украинцы и белорусы составляют еще один, хотя и незначительный (около 125 тысяч) сегмент этой многонациональной семьи. Наконец, на языках иранской группы говорят таты и горские евреи (таты-иудаисты), проживающие на горном участке границы с Азербайджаном. На протяжении столетий каждый из этих народов нашел свое место, свою нишу, свое ущелье, свое «материнское лоно». Разумеется, не раз и не два между этими народами (иногда живущими по разные стороны одной и той же горы) возникали вооруженные столкновения. Горский обычай кровной мести тому очень способствовал. Но по-настоящему удивительно другое: все эти народы, включая горцев и кочевников, со временем образовали единую сеть торговли, обмена, самообороны от внешних, часто очень могучих врагов. Все эти народы, несмотря на всю языковую разницу, различие в способах правления[3], несхожесть материнских ландшафтов и обычаев, научились жить дружно. Это, как говорят французы, их savoir-faire, особая «политтехнология» Дагестана, соревноваться с которой в этом отношении могла бы, пожалуй, только современная Москва, давно — и во все большей степени — превращающаяся в полностью интернациональный мегаполис, в котором мирно уживаются даже те народы, которые у себя на родине находятся в состоянии, близком к войне, или хранят очень свежую память о войне, совсем недавно пережитой: армяне и азербайджанцы, грузины и абхазы, вьетнамцы и китайцы, турки-месхетинцы и узбеки[4], киргизы и казахи, курды и иракцы, чеченцы и русские. Ничего не поделаешь: мегаполис требует мира, он очень быстро и очень настойчиво навязывает приехавшим правила мирного сосуществования, иначе жизнь в нем будет невыносима. Но если для Москвы это явление совсем новое, датируемое полувековой, быть может, историей, то для Дагестана так, в единстве «своего» и «чужого», изначально явлен Божий мир.

Дагестан уникален и по другой причине: в нем, на площади в 50,3 тысячи квадратных километров, сходятся три культурные матрицы.

Первая — Степь кочевья — необозримое поле «кочевых цивилизаций» от низовий Сулака и Терека, берущих начало в горах Большого Кавказа, до дельты Волги. До XIV века Степь от Волги до предгорий Кавказа принадлежала ханам Золотой Орды. Поход Тимура 1395 года через Ширван и Каспийские Ворота на Тохтамыша поставил Золотую Орду у порога исторического краха и соответственно привел к перераспределению власти в Степи. «Кочевые цивилизации» необычайно пластичны. В последний раз Степь перекраивалась в XVIII столетии — когда ногайцев и кумыков решительно потеснили пришедшие из самых глубин Азии воинственные калмыки, не пожелавшие вписаться в сложившийся мир (возможно, потому, что они были буддистами, а Степь уже при золотоордынских ханах приняла ислам), и попросту оторвали себе значительный по площади кусок на правом берегу Волги.

Вторая важнейшая матрица — Горы (сами по себе представляющие единую гигантскую крепость со своими бастионами, сигнальными башнями и неприступными стенами). В отличие от Степи, являющей простор, распахнутый во все стороны и соответственно отпечатанный в голове каждого степняка совершенно особым образом родины и пространства как бескрайности, горы необыкновенно сужают понятие родины, родного. Ущелье, река внизу, родное селение, окрестные горы и несколько соседних аулов — вот родина и отчизна, от которых некуда отступать, за которые горец, не рассуждая, будет биться до последнего. Именно поэтому первоначальные попытки арабов «исламизировать» горцев закончились сокрушительными военными поражениями. Только в VIII веке, взяв Дербент, арабы совершили шесть походов в горный Дагестан, но все они закончились неудачей. Процесс «исламизации» затянулся на несколько веков. Ему активно противодействовала христианская Грузия. Скажем, кубачинцы приняли ислам только в 1305 году; а известие о строительстве первой мечети относится лишь к 1405-му. Еще сложнее обстояло дело в Аварии. К приходу войск Тимура значительные ее части оставались языческими или христианскими. Хунзах, Гидатль, Кумух и другие центры Аваристана стали «исламскими» не ранее середины XIV века. Последними сдались дидойцы (цезы), живущие на юго-западе горной страны, вблизи грузинской границы. Влияние Грузии всегда было здесь очень сильно, и, судя по грузинским летописям, еще долгое время после похода Тимура территория эта оставалась под властью грузинских царей.

Горцы сопротивлялись исламу с той же самоотверженностью, с которой впоследствии его защищали. Внешне горские аулы в гораздо большей степени напоминают не сельские поселения, а небольшие средневековые города с продуманной планировкой, мощеными улочками, сторожевыми башнями, центральной площадью, мечетью и, наконец, своеобразной «ремесленной специализацией», которой славилось каждое горское селение. Проникновение ислама шло через Дербент, мощнейший северный культурный центр арабского мира. Дагестан в конце концов принял веру Пророка Мухаммада, причем, в отличие от других, силой приведенных к исламу территорий, таких, как Персия и Азербайджан, здесь, в горах, восторжествовал суннизм, что возымело свои последствия в XIX и в XXI веках. Я не берусь судить о масштабах культурного вливания и влияния. Но сам знаю горные селения, где в библиотеках разных тухумов (родов) хранилось до 50 000 арабских рукописных книг. Была интеллигенция, способная все это прочитать (на арабском языке) и осмыслить. Были медресе, в которых эта горская интеллигенция обучалась. Переплетные мастерские, мастерские по производству бумаги, целая цивилизация... Можете вы помыслить такое? Не верится, но это правда. Правда и то, что, разбирая историю каждого селения горного Дагестана, мы неизменно будем сталкиваться с удивительными вещами, в которые непосвященному решительно не верится...

Но существует еще третья культурная матрица: Мир-за-Стеной. Я имею в виду Дербентскую стену и ее продолжение, возведенную по приказу персидского шаха Хосрова I Ануширвана[5] (531—579) для того, чтобы отделить цивилизованные народы, народы, так или иначе причастные к древним цивилизациям античности — Персии, Мидии, Парфии, Кавказской Албании или древней Армении, — от всех остальных, получивших потом в Коране собирательное название Йоджудж и Маджудж. Что, по сути, значит то же самое, что «варвары». Под которыми на Кавказе имелись в виду

«дикие», нечленораздельно говорящие кочевые племена, населяющие мир Степи — будь то савиры, скифы или хазары, которые, в надежде поживиться, через «Каспийский проход» между морем и горами налетали с севера на города и тучные оазисы юга. Первым делом Хосров срыл укрепления из сырцового кирпича, возведенные тут до него, и перекрыл двумя могучими параллельными стенами, выстроенными из тесаных каменных блоков, сшитых железными прутьями-жилами и «проконопаченных» свинцом, самое узкое место «Каспийского прохода» (всего 3—4 километра). В пространстве между южной и северной стеной разместился город Дербент. «Великая кавказская стена», как принято ее называть среди ученых, уходит от Дербента, увенчанного великолепной цитаделью Нарым-Кала, более чем на 42 километра в горы Табасарана до неприступного водораздельного хребта Кара-сырт. Высота последнего форта — 1000 метров над уровнем моря. А всего таких фортов было 27...

Это была невероятно дорогая стройка, которую, однако, оплатила Византия. В то время Персия была столь сильна, что Византия по разного рода договорам платила ей огромные контрибуции золотом. С начала правления шахиншаха Хосрова до 568 года Константинополь выдал Персии около 6 тонн золотой монетой. Эти огромные средства позволили Хосрову сразу решить ряд военных, стратегических, геополитических и даже финансовых задач: ведь прежде всего Стена защищала Великий шелковый путь, от которого казна персидской державы имела прекрасные доходы.

Дербент, который разместился меж двух крепостных стен на одном из самых страшных полигонов истории — я имею в виду «Каспийские ворота», — назывался по-арабски «Баб аль-Абваб» или «Ворота ворот». Долгие века Дербент был самым значительном городом на всем западном побережье Каспия, славу которого город Баку затмил лишь в конце XIX века. Был еще один, третий город на южном берегу, в Персии — Феррах-Абат, в котором размещалась летняя северная резиденция персидского шаха. И еще один порт Абаскун, при устье реки Горган, впоследствии затопленный морем. Ну и все, больше-то вообще ничего такого, что можно было бы назвать городом, по берегам Каспия не было. Современная Махачкала — тогда Тарки — была жалкой ставкой кайтагского уцмия. О Тарках, кстати, упоминает в своем «Хождении за три моря» Афанасий Никитин. И что он говорит? Он говорит, что русские люди, которые в этом местечке сошли на берег, все были тут же ограблены и увезены в плен. Но! Чуть не забыл. Что интересно? Интересно то, что всего в 123 километрах от Дербентской стены на месте этих самых Тарков до VIII века был крупный хазарский город Самандер. То есть хазары сначала чувствовали себя хозяевами положения в Каспийском проходе. Но арабы решили все немножечко переиначить и в 737 году стерли город с лица земли. Хазары вынуждены были даже перенести столицу и спрятать ее в кроне волжской дельты. Так возник Итиль.

А Дербент? Боже мой, он шел вперед, смеясь, как вселенский глашатай, сердце большого города билось тогда в нем, жизнь кипела — профессиональные гильдии, квартальные старосты, как в средневековых европейских городах, да и сами европейцы — генуэзцы, естественно, мешались тут с купцами из Ширвана, Армении и Индии... Оживленна была торговля и насыщенна духовная жизнь. В общественной мысли тон задавал суфизм: разумеется, это был не ранний суфизм, который буквально взорвал ислам изнутри в X—XI веках. За свой дерзостный мистицизм, за аллегорические толкования Корана и Сунны ранние суфии подвергались суровым гонениям и принимали мученическую смерть. К XIV—XV векам картина изменилась: суфизм был согласован с традицией и законом, в чем, собственно, и заключалась задача богословов этой поры[6]. Трактаты, подобные известному сочинению «Райхан ал-хака'ик», созданному как раз в Дербенте, переводили суфизм из плоскости экстатической мистики в русло исламской ортодоксии. Но именно в таком виде суфизму удалось к XV веке покорить Дагестан и Чечню, хотя это имело свои, далеко идущие последствия.

Такая вот интересная получается картина. Если сейчас попробовать представить себе Дагестан как своего рода сказочную страну, этакое прикаспийское Средиземье, то очень рельефно, характерно выступят все три культурные матрицы: Степь,

Горы и Мир-за Стеной. И, направляясь в Дагестан, неплохо бы ответить себе на вопрос: а какой из миров ты собираешься исследовать? Меня почему-то особенно интересовал горный Дагестан. О, эти упрямые горцы! Гордые, сильные, трудолюбивые, упертые, двужильные, необоримые. Шутка сказать, больше двадцати пяти лет небольшая горная область — на большой карте детской ладонью прикрыть можно! — сопротивлялась громаде империи Российской. Я считаю те двадцать пять лет Кавказской войны (1833—1859), когда Шамиль единоборствовал с русскими государями Николаем I и Александром II.

Кстати, когда ему после добровольной сдачи в плен в Зимнем дворце царь Александр показал карту империи, он сказал: «Если бы я знал, что у государя такая большая страна, я бы не стал воевать, испугался». Это была лесть. Горцы не ведают страха. В этом их сила. Но в том же и слабость. Им трудно приспособиться к «условностям» современной цивилизации. Они реагируют на социальную несправедливость прямо, бурно, даже агрессивно, как у нас в России давно уже не реагируют — мало мужиков, «настоящих буйных мало». А последняя особенность Дагестана заключается в том, что вся эта сеть, паутина, сплетенная за века разными народами, она сразу реагирует, если кому-то из народов становится плохо. Весь Дагестан начинает ходить ходуном. И именно в таком состоянии он пребывает сейчас. Потому что сейчас вот, в наши дни, решается вопрос — останется ли Дагестан российской республикой или превратится в отдельное государство. И мне жаль той горькой, но в итоге нежной русско-дагестанской любви, которая вызрела в результате беспощадной войны, была щедро полита не худшей, с обеих сторон, кровью, окрепла в годы войны с фашизмом, пережила все фазы коммунистического строительства во имя (как верилось) справедливого будущего. Это все дагестанцы как раз смогли переварить. А вот современный глобальный мир, который предстает их глазам в образах максимально отчужденной от них центральной власти, беспредела силовых структур, колоссального социального неравенства и «развратного» телевидения, они переварить не могут. Многие не могут. Но самое главное, что не может переварить молодежь. И в пику грязи, копившейся десятилетия, в пику взяточничеству, казнокрадству, произволу местных властей и федералов — выбирает ислам. Причем не суфизм — тем более в его уже не существующей форме мистического свободомыслия — а как раз очень жесткий, охранительный, ислам по шариату, во всем противостоящий западному миру и просто современному, свободному миропониманию. Теперь, когда республики Северного Кавказа стали *пограничными,* у Дагестана появился выбор — быть или не быть с Россией. Если природа и методы работы центральной власти не изменятся — Дагестан все дальше будет уходить в ислам, в сторону арабского мира. Благо у этого мира сегодня вновь появились своего рода «имперские аппетиты». А в Дагестане этот процесс еще драматичнее. Потому что тут уход в ислам — это бунт народа против неправедных. Архаический, может быть, бунт — но от этого он не перестает быть бунтом.

Недавно я прочитал в блоге какого-то паренька, проехавшего по Дагестану, что на него особое впечатление произвел Дербент — «самый древний город России». Звучит до крайности нелепо[7]. Но тем не менее. И жаль терять его, как всякую жемчужину... Я и про весь Дагестан со временем то же скажу. Но это потом. Сейчас я, если помнит читатель, только еще выбираю маршрут...

III. По следу графа Л.Толстого

На чем мы остановились? Я решил, что, прибыв в Махачкалу, найду Али и попрошу его помочь мне съездить в Хунзах, Гоцатль и Гуниб...

Вы спросите — почему Хунзах?

Найдите у Толстого повесть «Хаджи-Мурат» и перечтите ее. Хаджи-Мурат был родом из-под Хунзаха, из крошечного, «с ослиную голову» аула. Однако ж был хорошей крови и считался названным братом одного из трех молодых хунзахских ханов. После того как сторонниками Гамзат-Бека[8], который поднимал горцев на *джихад* —

войну против русских захватчиков за чистоту веры, — был истреблен весь род хунзахских ханов (причем самого маленького — Буланч-хана — Шамиль сам сбросил с кручи), Хаджи-Мурат по долгу крови должен был отомстить убийцам своего названного брата, Умма-хана. Вместе с братом Османом они зарезали Гамзат-бека прямо в хунзахской мечети. После этого Хаджи-Мурат стал правителем Аваристана, потом служил русским. Сложное сплетение зависти соплеменников, также находившихся на русской службе, их наветов и недоверия русского командования привели его к Шамилю. При нем Хаджи-Мурат был одним из лучших военачальников и даже наибом (правителем одной из областей) во время так называемой Кавказской войны[9]. Толстой — великий мастер слова. И как бы мало я ни знал про Дагестан, я знал это благодаря Толстому. И если, как я думал, я что-то понимал про дагестанцев, про их страстный, но полный достоинства и не знающий страха дух воинов — то это опять же благодаря Толстому. Волею судьбы Хаджи-Мурат оказался среди обреченных. Горский этикет — долг кровной мести — понудил его вновь перейти под русские знамена. Драма, которую повлек за собой этот переход, красноречивее любого другого рассказа повествует о *глубочайшем различии* в восприятии мира, существующем между «горами» и «равниной» (империей).

Гоцатль. Я включил это селение в список благодаря особенной музыкальности его названия. В горах Дагестана есть несколько селений с названиями, будто выдернутыми из языка майя: Унцукутль, Гоцатль, Голотль, Согратль... Ничего, кроме музыки самих названий, меня не привлекало. Скажу больше: я даже не знал, к какому языку все эти топонимы относятся. Музыка была важнее. Но что-то должно было обнаружиться там и помимо музыки...

Гуниб — здесь в 1859 году имам Шамиль, окруженный на Гунибском плато, сдался князю Барятинскому, командующему Кавказским корпусом и наместнику Кавказа. В Дагестане говорят: «Кто не бывал в Гунибе, тот не бывал в Дагестане». С этим ничего не поделаешь. Надо бы побывать... Судя по всему, пищи для размышлений в этом месте у меня будет предостаточно...

Хотелось еще экзотики, вроде поездки Вики в Табасаран. Но я здраво рассудил, что этот маршрут уже хоженый, встретят меня и отвезут, скорее всего, те же люди, что встречали Вику. Да и поселят у тех же хозяев. Повторяться не хотелось. И я решил, если останется время, ехать в знаменитый Зирихгеран — по-персидски — «страну кольчужников» — небольшое княжество в горах на северо-запад от Дербента, от которого до наших дней сохранилось одно большое селение — Кубачи.

Однако перечисленные мною селения все находились в нагорном Дагестане. Что касалось прикаспийских областей... Там, я читал, на севере есть один природный памятник — огромный двухсотметровый бархан, Сары-кум, будто чудом переброшенный в здешнюю степь с восточного берега Каспия, откуда-то из пустынь, вплотную подступающих к морю. Я читал прекрасное описание этого бархана, сделанное узбекской журналисткой Натальей Абдуллаевой, но имел все основания опасаться, что туда я попасть не успею. Тема Каспия заявлена и в Махачкале — столица Дагестана тоже стоит на море. Ну, и Дербент, «самый древний город России». Для начала — вполне достаточно...

И вообще, подготовка к поездке заняла у меня слишком много времени...

Я решил, что если у террора и есть какая-то логика, то прежде всего — стремление обосрать праздники, и поэтому решил ехать сразу после девятого мая. Числа четвертого купил билет туда (в одном направлении — я не знал, сколько реально займет поездка) на 10 мая. Тогда же раскопал в старой записной книжке телефон археолога Муртузали Гаджиева, с которым когда-то общался в Дербенте, нашел в старом ноутбуке и текст, который тогда написал, дозвонился и до Муртузали и до Али, забронировал номер в отеле «Петровскъ» и так шаг за шагом довел ситуацию до того момента, когда отступление невозможно. Ну, а дальше все известно: взлет — посадка. И два с половиной часа между ними.

IV. Махач[10]

На посадочную сели, как на проселочную дорогу. Самолет ходил ходуном от киля до клотиков мачт. Но это никого, кроме меня, не растревожило. А потом я вышел из дверей зала прилета и увидел…

Вот, первое по приезде, что я увидел, — как вы думаете? Что первое приходит вам в голову? Оружие. Вооруженных короткими автоматами людей в черных рубахах с короткими рукавами и черных брюках, и в ботинках, тоже, разумеется, черных. Они кого-то то ли поджидали, то ли выслеживали, затерявшись в толпе таксистов, встречающих пассажиров у выхода из аэропорта. Из дверей в это время выходили женщины в хиджабах, я все ждал, что выйдет какой-нибудь крутой магнат и они окажутся его женами, а эти в черном — его охраной.

«Ничего себе обстановочка!» — пронеслось в мозгу. Шесть лет назад такого не было. Я был настолько поражен этим никого не удивляющим, обыденным *явлением оружия,* что очухался, только когда встречавший меня шофер по имени Шамиль (небольшой, горбоносый, сухой, быстрый — из таких когда-то получалась лучшая легкая кавалерия) объяснил мне, что и эти в черных рубашках, и целые блокпосты из людей в милицейской форме и в камуфляже — все это из-за визита «вашего» (то есть российского) министра внутренних дел Нургалиева. То есть он спецрейсом прибыл на два часа, чтобы, с одной стороны, сказать местному министру внутренних дел общие слова об усилении борьбы с бандформированиями, а с другой — устроить ободряющую взбучку. А что он еще успеет за два часа, если он не сечет в оперативной обстановке?! Короче, через двадцать минут мы остановились возле выпавшего из восьмидесятых, отделанного ракушечником, еще не обветшавшего, но уже изрядно полинявшего и, кажется, двенадцатиэтажного «Дома прессы» (стандартная архитектурная матрица тех времен), и Шамиль повел меня к Али. Лет семидесяти, сухонький, седой, с большим открытым лбом и внимательными серыми глазами. Нос еще кривой, свороченный набок. Боевой нос. Голос тихий. Мы представились, он поглядел на меня так и этак и вдруг начал расспрашивать: кто меня рекомендовал обратиться к нему, какие люди? Я назвал фамилию Вики, поняв, что спрашивает он неспроста, что ему действительно важно знать, из какой я обоймы, друг или… По счастью, Викина фамилия его весьма успокоила, после чего он, уже сам, спросил меня, знаю ли я такого-то и такого-то в Москве. И я сказал, что знаю, но не виделся с ними уже давно. Это, тем не менее, тоже сработало успокаивающе. «Это мои друзья», — сказал Али. После этого он готов был мне помогать.

— Так каковы твои планы? — поинтересовался он.

Я изложил планы.

— Значит, завтра Хунзах?

— Хунзах.

Али крикнул секретарше, чтобы узнала, когда с автовокзала начинают ходить маршрутки на Хунзах.

Мне не понравилось слово «маршрутка». Я-то было на миг вообразил, что мы с Али и Шамилем все вместе с комфортом туда доберемся. Но фантазия моя оказалась тщетной. Завтрашнее утро было занято у Али совещанием директоров газет, где он, в частности, хотел говорить об убийствах журналистов — их уже пятнадцать в Дагестане, и последним на днях был убит главный редактор мусульманской газеты.

— А его-то кто? — спросил я как идиот, по-прежнему думая, что убийства — дело рук исключительно «исламских террористов».

— Понимаете, — сказал Али аккуратно, — ни одно это убийство до конца не раскрыто. И кто убил — неясно. Вполне может быть, что есть силы, которые заинтересованы в сталкивании…

Поскольку я соображал явно медленнее, чем положено было журналисту с моим стажем (на этот раз командировочное удостоверение я взял в журнале «Дружба народов»), Али умиротворяюще произнес:

— Сейчас поезжай в гостиницу, оставь вещи, прими душ и через час возвращай-

ся сюда — поужинаем. Завтра с утра Шамиль отвезет тебя на автовокзал. Маршрутки ходят с восьми, отправляются по мере заполнения...

Окна номера в отеле «Петровскъ» выходили на дворик детского сада, какие-то крыши и совсем недалекую лазоревую полоску моря. Я принял душ, выпил чаю и вдруг подумал, что до приезда Шамиля должен хотя бы добежать до моря и обратно. Надо поздороваться с морем. Надо, чтобы оно порадовалось за меня: что я не отступил, остался верен нашему общему замыслу... Я вышел из отеля и отправился в мир мелкостроя, который отделял меня от моря. По сторонам, оконтуривая этот мелкострой, высилось несколько убогих советских пятиэтажек да вдали виднелось несколько новых и, по-видимому, хороших домов, но все это было разбросано так, что общего впечатления города не возникало. Я вошел в мир маленьких домиков и убедился, что к морю выйти не так-то просто: все улицы тянулись параллельно берегу, и я нигде не видел ни одного перекрестка. По счастью, рядом играли девочки лет шести. Я спросил:

— Девчонки, а как пройти к морю?

— А вот туда до конца, — бойко отвечали они, — и после помойки — направо...

Больше всего поразила принципиальная, безотказная действенность русского языка.

Я прошел, как они велели. За заборами прижатого к морю поселка были дома «престижные», были совсем ветхие. На изломе улочки, от которой открывался вид к морю, пара молодых рабочих лепила из красного кирпича что-то, что впоследствии хозяин мог бы представить как «особняк». При этом системообразующей деталью пейзажа были трубы теплотрассы, глумливо изгибающиеся над переулком, по которому я вышел к морю.

Плескала мелкая лазоревая волна. На пляже стояли мятые ржавые грузовые контейнеры, из воды торчали оббитые бетонные плиты, да искрила алюминиевой фольгой протянутая вдоль моря теплотрасса — таков был «вид Каспия с городского фасада». Увы! Сколько я ни ездил вдоль каспийских берегов, ни разу еще не довелось мне увидеть хотя бы одно поселение (кроме Баку), которое было бы повернуто к морю «лицом»... Но я, как всегда, забежал вперед.

Пока что мне надлежало вернуться в Дом прессы. Он оказался в двадцати минутах хода от гостиницы. В предвечерний час обширный холл выглядел пыльным и запущенным: ни штор на окнах, ни киосков. Даже охранник за столом у входной двери пропустил меня, так и не спросив, куда я направляюсь.

Я поднялся в кабинет Али.

Меня волновало, дозвонился ли он в Хунзах, кто меня примет, где поселят и как там все образуется.

— Послушай, — сказал он примирительно. — Это ведь — дело одного звонка.

Этот звонок он сделал, попал на брата главы администрации, потом откуда-то появился номер телефона и имя: Гамзат. Руководитель средств массовой информации в регионе.

Вопрос решился. Мне следовало успокоиться.

— Хочешь поужинать? — спросил Али.

— Хочу, — сказал я.

Мы спустились в ресторан Дома прессы, заказали форель с картошкой. Али взял водки, два пива (для меня), и мы пошли не за столик, а куда-то дальше по коридору. Там было что-то вроде комфортабельных апартаментов, где проживала не слишком молодая, но красивая дама, Сулиета Ослановна, которая остро судила о кавказском вопросе. Я ел рыбу и пил пиво, а Али и Сулиета разговаривали.

Я слушал.

Потом сказал, что на языке этих терактов, как бы бессмысленны они ни были, должно быть что-то выражено.

— Разумеется, — сказала Сулиета.

— Тогда что?

— А Андрея Желябова вы понимаете?

— Да, понимаю. Но «Народная воля» не была связана с религией.

— Не важно, с какой идеологией она была связана. Важно, что туда пошла лучшая молодежь своего времени: Перовская, Фигнер... Что-то подобное происходит сейчас в Дагестане.

— Знаете, — сказал я. — Для «Народной воли» террор закончился колоссальным крушением. В том числе и моральным...

Али молча слушал.

Я был зол на себя. Договорились с Викой не трогать террор — и первое, во что я влип в результате, — это разговор о терроре.

У Сулиеты большие, подведенные тушью глаза, черные волосы, ярко-красная помада на губах, такие же красные ногти и удивительно красивое ожерелье из крупных кроваво-красных камней (кораллов?). Черная шаль на плечах. Чуть зловеще. Ее позиция такова: с тех пор как федеральные власти включились в прямое управление Дагестаном (это случилось во время второй чеченской войны, когда боевики вторглись на территорию Дагестана, а Москва в ответ нагнала в республику спецназ и насадила своих чиновников, которые «курируют» местные власти и получают деньги из бюджета, немилосердно их разворовывая), проблемы Дагестана в принципе не могут быть решены. Не могут быть решены предлагаемым способом.

Я промолчал.

А какие проблемы, скажите на милость, могут быть решены предлагаемым способом? Может быть, проблемы русского народа?

В какой-то момент я почувствовал себя очень уставшим от этого разговора и сказал, что хочу съездить в центр, повидать одного знакомого.

— Учти, — сказал Али, — что такси до центра стоит не больше ста рублей... Здесь цены не московские.

На улице было уже темно. Я поймал первую попавшуюся машину, там сидело двое парней.

— Мне к университету, — сказал я.

— А сам откуда? — поинтересовались парни.

— Из Москвы.

— Ну, я так и подумал, когда увидел, что чувак стоит-голосует, — сказал один.

Вот. Я все раздумывал, влип я или нет, но тут вдруг они вместе, перебивая друг друга, стали расспрашивать меня:

— В Москве, наверно, думают, что здесь страшно, что здесь взрывают все...

— Ну, знаете, взрывы оптимизма не прибавили...

— Ну а ты сам, как к дагестанцам относишься?

Я пригляделся: это были хорошие ребята, один русый, с русой же бородой, похожий на русского. И они переживали, что из-за действий религиозных фанатиков русские люди плохо могут относиться к Дагестану, к его народам. Но они-то не фанатики. Мы поговорили о том, что существуют задачи, например, у Соединенных Штатов: Россию разделить. Отслоить Кавказ. Потом еще что-нибудь. По этническому, по конфессиональному признакам. Но, в общем, нашинковать ее чем мельче, тем лучше.

Я сказал: я люблю Дагестан, вы — ребята крепкие. И у меня есть друзья в Дагестане, к ним-то я и приехал.

Это вызвало совершенно неадекватную реакцию признательности за то, что я считаю их друзьями, доверяю им и не думаю о них плохо. Я потом несколько раз попадал на этот подход и думаю, что это связано с каким-то колоссальным внутренним сомнением. Дагестан не знает, кто он. У него есть несколько психологических сценариев одновременно. И, соответственно, одновременно несколько самоидентификаций и взглядов на то, в чем себя выражать. В терроре, в «западничестве» или в спокойном интеллигентном осознании самоценности: своей истории, своих языковых россыпей, своих даровитых на высокое чувство людей? На этом вопрошании, на этом разрыве жжет колоссальная боль.

Короче, они довезли меня до центра и денег не взяли.

Я вышел перед невысоким, белым с колоннами зданием университета, которое хорошо помнил. Справа от него должна быть пяти- или шестиэтажка Муртузали — знакомого археолога. Напротив нее — пивной ларек. Ларька не было. Но дом был. Теперь, правда, пройти во двор было нелегко: он оказался обнесенным забором. На калитке был кодовый замок. Я нажал кнопку звонка: «В какую квартиру вы идете?» — спросил голос охранника.

— Не знаю. Но я знаю, где она расположена. Я был тут шесть лет назад.

— А в какой подъезд?

— В подъезд с виноградной лозой.

Дверь открылась. Я пошел вдоль дома... Ну конечно, вот эта лоза, прекрасная, могучая виноградная лоза, уцепившаяся за балкон Муртузали на втором этаже...

Я спохватился, что надо было бы купить конфеты к чаю и жвачку, чтоб «зажевать» пиво. В глубине двора я заметил будку охранника и пошел к нему, чтоб он опять открыл мне калитку. Охранник, стоя на коленях, бился головой об пол — совершал намаз. Я не стал его беспокоить и тихо вышел через приоткрытые ворота сбоку, которые прежде не заметил. Потом купил в гастрономе «Dirol-Ice» и коробку дорогих шоколадных конфет. Почему-то запомнилось, что какая-то юная девушка в хиджабе, скорее всего, студентка, незаметно уступила очередь сначала мне, потом еще какой-то паре, хотя сама она уже давно могла бы подойти к кассе. По-моему, этими уступками она пыталась смоделировать обычную ситуацию в магазине так, чтобы незаметно выразить какую-то особую расположенность к людям, а может быть, и показать им, как обычная нервозная обстановка в гастрономе в конце рабочего дня может быть превращена во что-то совсем иное...

Есть тонкие вещи, едва заметные, едва ощутимые, от которых что-то волшебным образом меняется.

Почему-то именно эту девушку я вспомнил через несколько месяцев в Москве, в конце лета, когда по привычке в полдень приехал на велике искупаться на небольшое озерцо неподалеку от поселка...

Это последний остаток живой природы, чудом уцелевший в полях, за которыми встают громады новостроек города, с каждым годом подступающие все ближе. Камыши, стрекозы, толчея безобидных комариков над поверхностью озера, еще прозрачный, питаемый подземными ключами реликт живой воды, погружаясь в которую будто смываешь с себя все напряжение, накопившееся за несколько часов рабочего дня и, оттолкнувшись ногами, летишь, как птица, в бликующей стихии — свободный, легкий, кожей чувствуя, как любовно объемлет тело и играет с ним живая вода...

Почему-то большинство людей не чувствует этого. Приезжая на берег, они первым делом включают на всю громкость музыку в автомобиле и начинают готовить шашлык... Мусор, оставленный на берегу предыдущими компаниями, нисколько не мешает им отдыхать. Вот и теперь, подъехав, я очутился между двумя машинами, из которых вовсю хлестала громкая — и, надо заметить, совершенно разная — музыка, что, впрочем, нисколько не смущало участников этого пикника, потому что для расслабления они перво-наперво почли за благо выпить... Обычная, бесконечно надоевшая картина...

Искупавшись и уже собравшись уезжать, я неожиданно заметил в скошенном поле, на свежей, снова пробившейся зеленой траве сидящую девушку. В хиджабе. Она сидела далеко от разрывающихся на берегу криков и звуков, в потоке солнечного ветра, совсем одна, отвернувшись, казалось, от всего мира. Я ощутил вдруг щемящую нежность. Да, нежность я ощутил! Давным-давно я не встречал здесь, на берегу, людей столь безоговорочно не приемлющих пошлость мира, торжествующую у кромки воды со всеми этими машинами, мангалами, музонами и пустыми бутылками, широким жестом брошенными подальше в траву...

И вдруг эта девушка. Я смотрел на нее — она сидела все так же неподвижно, наслаждаясь солнцем, — и мне все сильнее хотелось пойти туда, к ней, войти в ее одиночество и заговорить с нею. Оттого, что она сидела там, в поле, все вокруг казалось не столь безнадежным. Как будто вокруг нее не было скверны, торжествую-

щей на берегу. В общем, сердце мое забилось, рассудок был смущен. О чем я спрошу ее? Что скажу? Если бы я был молод, свободен и мог влюбляться по своему усмотрению, я свернул бы с дороги и прямо направился к ней. И мне не пришлось бы писать свою книгу и брать по два интервью в день, чтобы понять то, что и объяснять-то не нужно, когда ты влюблен...

Потом мы увиделись с Муртузали. Он посолиднел. Да и квартиру, в которой я тогда, вернувшись из Дербента, провел добрые сутки, узнать было нельзя: она вся была перекроена и давно уже не походила на скромное жилище молодого ученого-романтика. Все было солидно и уютнейшим образом отделано. Муртузали пригласил меня к себе в кабинет, его жена Оля принесла чай и конфеты (другие), Муртузали скачал мне несколько своих статей о дербентской стене. Но разговора, которого я хотел — о Дербенте, о суфизме (помнится, эту тему мы не без пыла обсуждали), не получилось. С Муртузали мы попили чаю, поговорили о том о сем, и я откланялся.

На обратной дороге таксист сказал, что сегодня, в связи с приездом Нургалиева, было два взрыва: первым, еще утром, подорвал себя смертник, который направлялся в отделение милиции, но был «вычислен» таксистами и, в результате, увидев, что его рассекретили, подорвал себя вместе с сумкой, в которой была взрывчатка. Ну и второй — классический вариант: автомобиль, взрывчатка в багажнике... Кажется, никто не пострадал...

Вернувшись в отель, я первым делом завернул в пивной бар и не спеша вкатил в себя две кружки пива. Этот город определенно разводил мне мозги в разные стороны. Хотелось свести их воедино. Потом, перед сном уже, раскрыл книжку сценариев Алексея Германа, которую прихватил с собой: «Повесть о храбром Хочбаре». По мотивам поэмы Расула Гамзатова — самого известного дагестанского поэта, сложившего целую былину о благородном разбойнике Хочбаре, потрясавшем ханства и нуцальства...

Расул Гамзатов — гордость Дагестана — тоже родом из-под Хунзаха. Одно название его поэмы — уже высокая поэзия: «Сказание о Хочбаре, уздене из аула Гидатль, о хунзахском нуцале и его дочери Саадат». Фильм, снятый по этому сценарию, я не видел. Но текст перечитывал во второй или третий раз, пытаясь представить себе возникающие в воображении образы: «Коней они положили за каменистым гребнем, сами еще немного поползли, прежде чем увидели внизу Хунзах. И долго лежали так, пока смеркалось, глядели, как погнали скот, как старик провел в поводу коня, как прошли в длинных шубах сторожевые посты к въезду, на площадь и к нуцальскому дворцу, как почему-то во дворе дворца забегали женщины, как сам нуцал в белой папахе о чем-то говорил со странным человеком в сапогах с отворотами и рыжей накидке.

Гула, скаля белые зубы, взял уздечку, Лекав поил изо рта белого петуха с обмотанным ниткой клювом, Хочбар дремал и резко проснулся, будто кто-то сказал "пора"...».

Книга выпала из рук, торопя неизвестное завтра. Я вздрогнул, полусонным движением выключил свет. И вдруг сноп рыжего пламени полыхнул прямо в глаза: это храбрый Хочбар, обманутый всеми, безнадежно преданный, приговоренный к смерти на костре, хватает сына своего обидчика, нуцала, и вместе с ним бросается в огонь...

V. Хунзах

В девять утра Шамиль высадил меня на автовокзале: тут было множество людей, явно не городских, с ящиками, тюками, канистрами и коробками, в которых попискивали цыплята. Женщины были одеты примерно так же, как одевались наши русские деревенские бабки лет двадцать назад, когда деревни в средней полосе еще не вымерли: платок, теплая безрукавка-«душегрейка», юбка из дешевого материала.

На мужчинах были, как правило, не новые и порядком помятые фабричные костюмы разных оттенков серого сукна; молодежь одевалась в стиле «Adidas», разве что было очевидно, что весь этот «Adidas» произведен здесь же, в Махачкале. Зеленые тюбетейки или вязаные шапочки, в той же мере символичные для мужчин, сколь и хиджаб для женщин, встречались довольно часто, но не определяли палитру цветов. Вообще, я быстро освоился на этом автовокзале, весьма похожем на автостанции в российской провинции, тем более что многие дагестанцы очень похожи на русских. Я еще в аэропорту обратил внимание на курносых детишек со светлыми волосами и решил было, что это — дети от смешанных браков. Но я ошибся. Среди аварцев немало русых, рыжих, курносых, сероглазых и голубоглазых, так что если поставить рядом «типичного аварца» и «типичного русского» — то нелегко будет отличить одного от другого.

Мы быстро разыскали маршрутку на Хунзах: как и все маршрутные такси советского еще времени, это был аппарат, потрепанный сверх всякой меры. Но никого это не смущало. Я нашел одиночное место и пристроился там. Шамиль ушел. Для отправления не хватало двух пассажиров. Однако ждать пришлось долго. Забилась где-то рядом в эпилепсии женщина, оглашая воздух сумасшедшими криками, люди из маршруток выскакивали смотреть, я не пошел. Появлялись и вновь уходили тетки из дальних селений, принося и укладывая в салоне или за задними сиденьями все новые и новые ящики и мешки, которые везли они в горы. Потом пришел какой-то мужик, уселся впереди меня, и я было подумал, что вот, сейчас поедем. Но шофер выждал до последнего. В конце концов в начале одиннадцатого мы все-таки отправились. Плохо помню дорогу по предгорьям: в одном только месте, где маршрутка заправлялась бензином из старой и потертой, как и все здесь, бензоколонки, все пассажиры высыпали на воздух. Кто покурить, кто просто размять ноги. Я увидел нескольких парней, сидящих на краю обрыва. Там, внизу, текла меж камней река. Но не река привлекала их внимание. Я стал вглядываться. Заметил глубокую нишу в сером склоне горы, рассеченной рекою, и в ней — двух мелкорослых аварских коров, прячущихся в тени от солнца. Ниша была из отвердевшей серой глины, бесплодной, как цемент. Однако коровы медленно пережевывали что-то. Что? Я отыскал взглядом несколько пучков травы вдоль реки...

— Да ты не туда смотришь, — вдруг обратился ко мне один из парней и сказал несколько слов на непонятном языке.

— Извини, я по-аварски не понимаю...

— Да вон, вон, гляди, — ткнул он в пространство рукою, нисколько не смущаясь моим непониманием. — Эти камни — видишь? Это гора сама их рожает...

Я опять стал вглядываться и вдруг увидел здоровенные, диаметром в метр, шары, похожие на древние, покрытые запекшейся коричневой ржой пушечные ядра. Два или три уже лежали на дне ущелья посреди водного потока. Еще несколько словно бы выдавливались колоссальной массой горы из ее глубин наружу: один шар больше чем наполовину торчал из стенки обрыва, как голова младенца из материнского лона.

О, господи! Не было сомнения, что это конкреции, подобные тем, что я видел на восточном берегу Каспия — залегающие в толще глин «сгустки» тяжелого шпата, роговика, кварца или кремня. Их странная круглая форма, скорее всего, объяснялась длительным «катанием» однородных по удельному весу сгустков по дну моря... И странным было только то, пожалуй, сколь обширно было это дно! На Бакубайских ярах под Оренбургом, и в восьмистах километрах от них на Мангышлаке, и вот теперь еще по другую сторону Каспия, в горах Дагестана (а это еще 400 километров на запад), я оказывался свидетелем одних и тех же геологических метаморфоз осадков древнего моря Тетис, правда, здорово вздыбленных колоссальной вулканической мощью, поднявшей хребты Большого Кавказа... Но все же и эта мощь, по крайней мере здесь, не в силах оказалась ни прорвать, ни расколоть исполинскую толщу древних донных отложений. Здесь еще не вырвались на поверхность кристаллические граниты и твердый как железо базальт. Все породы были осадочными.

Неожиданно зазвонил мой мобильник. Звонил Гамзат из Хунзаха, спрашивал, куда мы запропастились. Я сказал, что мы стоим на перекуре возле бензоколонки.

— А, ну скоро приедете, — сказал Гамзат.

Въехали в горы. Вика сказала, что Дагестан для нее — это горы. Если помните, буквально: «Потрясающе-красивые горы». Что вам на это сказать? Это были самые бесприютные горы, которые я когда-либо видел. Толщи известняка были смяты или вздыблены наподобие застывших морских волн мощной тектоникой. Голые желтые, белые, иногда серые, крошащиеся (вместе с дорогой) сланцы и известняки — и при этом ни одного дерева, ни кусточка, ни даже травы... Нет, трава, конечно, была, но издали она походила скорее на пятна лишайника, то тут, то там прижившегося на бесприютных склонах... Такие картины мне доводилось видеть только на Новой Земле, в зоне ядерного полигона.

Чем же жили и живут тут люди? — оторопело подумал я.

Словно в ответ на мой вопрос ниже бесплодных гребней обнаружились небольшие участки, пригодные для хозяйствования: на крошечных, кропотливо ухоженных терасках уживался то сад, то посев кукурузы... И все-таки, чтобы выжить — этого было мало. Тут, поистине, нужны были овцы, выстригающие землю до последней травинки, как бы скудна ни была растительность.

Время шло.

Водитель включил бесконечный индийский фильм. Впрочем, быть может, и пакистанский: во всяком случае, в нем разыгрывалась какая-то мусульманская мелодрама. Понимая, что горы уже не выпустят меня, я погрузился в этот фильм, как в сон. Впрочем, он приковал к себе всеобщее внимание, несмотря на всю свою древность и наивность.

В полудреме я заметил, что на зеркале заднего обзора у шофера была привязана патриотическая георгиевская ленточка. А на спине одного из парней, одетых в стиле «Adidas», было написано не «Adidas», а «Russia». Было ли этим что-нибудь выражено? Наверняка. Ведь ленточку шофер привязал своими руками, его, наверное, никто не заставлял. Значит ли это, что он — патриот России? Или этот парень? И как об этом спросить?

Прошло еще часа два. Фильм закончился. Где мы были и по каким дорогам ездили, я не знаю. Возможно, заехали даже в пограничный Ботлих, потому что мы объехали немало селений. Маршрутка останавливалась возле поджидающей у остановки машины, женщины выгружали свои мешки и ящики, а мы возвращались до развилки, и маршрутка вновь начинала накручивать километры на свои лысые покрышки.

Гамзат позвонил опять и сказал, что это нереально — ехать так долго. По-моему, он всерьез стал опасаться, что я сел на другую маршрутку и уехал в неизвестном направлении.

На очередной остановке я спросил у двух женщин, оставшихся в кабине, скоро ли будет Хунзах.

— Да, — ответили они. — Теперь скоро.

Потом мы въехали на какой-то разбитый колесами пятачок земли: я ожидал увидеть сначала улицы, потом площадь, может быть, даже центр городка с исторической мечетью — но ничего такого не было. Посреди долины, продуваемой студеным ветром, был какой-то дом, вагончик, оперившийся военными антеннами, огромный черный джип и под стать ему два мужчины.

— Ну, наконец-то, — улыбнулся один, огромного роста. — Гамзат.

— Василий.

Другой поражал не ростом, а крепостью. Он был весь круглый как бочонок, и ноги, и руки, даже ладони были налитые, круглые, круглая голова переходила в могучие плечи. Это и был брат начальника местной администрации — Магомет, если только я правильно запомнил.

— С дороги, наверно, отобедаем?

Я посмотрел на часы: было около четырех.

— Да, неплохо бы...

Мы отправились к невзрачному двухэтажному зданию, по дороге заглянув в вагончик, накрытый маскировочной сеткой.

— Это наша погранзастава, — сказал Гамзат. — У меня тут жена работает.

Выглянула женщина, улыбнулась.

Помню, я спросил:

— А где Хунзах?

Они указали мне пальцами на светлеющее вдали на склоне горы селение.

И все.

Больше мы его никогда не видели.

Внутри здания было тепло, пахло мясным паром.

Нам принесли бутылку коньяка.

Пить я отказался. Это вызвало у моих кунаков недоумение, граничащее с обидой.

— Я не могу пить, когда работаю, — твердым голосом сказал я.

— А как другие могут? — поинтересовался Гамзат, сдвигая стаканы для розлива.

— Стойте! Подождите! — вскричал я. — Давайте все-таки что-нибудь полегче. Бутылку пива, например.

— Пива?

— Да.

— Мадина, принеси пива! — крикнул Гамзат официантке.

Мадина принесла пива.

И мы выпили за нашу встречу.

Когда я допил бутылку, Гамзат сказал: вот эта первая. Она была за наше знакомство. Но нужна вторая.

— Нет, — сказал я.

— За Аварию.

В таких случаях как-то неудобно сказать «нет», как будто речь идет взаправду об Аварии, а не о том, пить тебе или не пить. И ты (то есть я) не говоришь «нет».

— Еще пива, Мадина!

Помню, пили пиво, коньяк, ели «аварский хинкал» — толстые ромбовидные куски вареного теста — и баранину с костей. Я еще тогда подумал: а суровая тут жизнь, на верхотуре. Разносолов никаких. Что там нуцал Хунзахский, чем мог он себя побаловать?

Однако, чтобы из пшеничной муки делать тесто, нужно много зерна — а где его тут возьмешь? И я так прямо и спросил: откуда, мол, столько муки?

— Хинкал бывает бобовый и кукурузный, — спокойно пояснил Гамзат.

Пиво меня зацепило и тихо стало сносить к какому-то почти неизбежному *приятию* пьянства, но я знал, что пьяным я буду бутылок через пять, а до этого еще смогу работать. Только я думал, что мы поедем сначала в Хунзах или хотя бы начнем с него наше путешествие. Но получилось иначе. Выйдя из столовой, мы снова сели в джип, и тут я ощутил под ногами такое количество перекатывающихся по дну автомобиля бутылок пива, что мне стало не по себе.

— Ну что, поедем на «край света?» — бодро предложил Гамзат.

— А что это?

— Ты увидишь.

Мы сорвались с места и, как ужаленные, ударились по дороге в противоположную от Хунзаха сторону. По крайней мере, сначала. Справа тянулся ряд унылых, серых голых холмов, похожих на неотформованные заготовки для шляп. Холодный ветер свистел в выцветших прошлогодних травах: сюда, в горы, еще не добралась весна. Я заметил старое кладбище. Попросил притормозить. Несколько странных

склепов. Один напоминает сложенную из нетесаных камней коническую ступу с навершием, примерно в человеческий рост. Из-за желтого лишайника, прикипевшего к серым камням, надмогильный памятник казался таким древним, что я невольно спросил:

— Что это?

— Не знаю, — поежился Гамзат, тоже вылезая из машины. — Наверно, могила какого-нибудь шайха[11].

— А это похоже на крест...

— Ну, я не специалист...

Обычные мусульманские могилы заметны только потому, что в изголовье каждой стоит плоский, тоже заляпанный пятнами желтого и серого лишайника камень. Густо засеяла смерть эти поля, почти до самых холмов. И торчащих из земли камней так много, что они кажутся явлением природы, какой-то вздыбившейся каменной чешуей. Внезапно ясность сознания возвращается ко мне: ледяной ветер с той стороны гор трезвит, продирает до костей. Низко, цепляясь за вершины, тянутся тяжелые снежные тучи. Напротив горный склон покрыт пятнами снега. А за ним — высятся беспощадные, покрытые ледниками зубцы Большого Кавказа, на горах которого шаманит вечный холод, насылая ветры, собирая тучи...

Потом небольшой дом, лощина, в которой укрыты от ветра десятка два плодовых деревьев. Куры что-то выклевывают из мусорной кучи. Чуть дальше — старый-престарый, советских времен, трактор «Беларусь», несколько распаханных до самых холмов участков земли, вывезенные на поля кучи коровьего навоза: их надо запахать в землю, чтоб плодоносила. Коровенки тут мелкие, рыжие, до брюха грязные по весеннему времени. Вот: уже пощипывают первую проклюнувшуюся траву.

— Крупного рогатого скота у нас мало, — вступил в права гида Гамзат. — В основном — овцы.

Аварские коровы, которых Гамзат назвал «крупным рогатым скотом», едва ли будут размером с годовалую телку. Но зато они свободно проходят по таким тропкам и взбираются на такие кручи, где любая нормальная корова не устояла бы под своей тяжестью и мгновенно оборвалась бы в пропасть.

Потом влево по целине, усеянной крупными и мелкими камнями, с гибельным восторгом мчимся к месту, где плато отвесно обрывается вниз. Магомет, если только я правильно запомнил, тормознул машину в полуметре от обрыва. Так вот он, «край света»! Я нашарил бутылку пива и сделал несколько успокоительных глотков.

Выйдя на воздух и подойдя к краю, я понял, что в развлечениях такого рода мы не одиноки: чуть дальше на плато стояла еще машина и люди возле нее тоже что-то выпивали, а количество бутылок внизу, под обрывом, ясно указывало на то, что экстатический бросок порожней стеклотары в пропасть и есть самое важное, самое острое, самое, если хотите, *нуминозное* переживание, которое может достичь человек в этой завуалированной игре со смертью.

— Красиво? — сказал Гамзат.

— Да-а... — согласился я. Вдалеке, на краю утеса, стоял храм — по-видимому, древний, христианский и в настоящее время заброшенный. Справа была другая гора, по ней белой ниткой тянулась дорога, которой я приехал. Сыпучие белые известковые склоны, покрытые пятнами зелени и раскровавленными выходами красной глины, были красивы как абстрактная живопись.

Вновь остановка у края очередной пропасти. Отсюда открывается вид на все хунзахское плато: оказывается, на нем не одно селение, а минимум пять. И из каждого вышли поэты, спортсмены, летчики-испытатели, испытатели космического оборудования... Я понимал, что всех этих вещей мне не упомнить, и достал из рюкзака диктофон:

— А из какого аула был Хаджи-Мурат?

— А ты знаешь Хаджи-Мурата?

— Ну конечно...

— Ну вот, как раз оттуда, с Тульской области, приехал Геннадий Николаевич, из Пирогово[12], искать камень для памятника Хаджи-Мурату... Неделю мы с ним пьянствовали, пока камень выбрали. У нас тут хорошая дружба завязалась... Ну вот... Тут на склоне глыба лежала, потом вытащили ее оттуда лебедкой, а потом парень один хороший, из местной строительной организации, взялся, говорит: «Я его доброшу до Тулы», и дотащил... Сдержал слово....

— Я на открытии этого памятника был....

— И я был...

— Ну, значит, тогда не суждено было познакомиться...

— А мы поглядим потом. У нас на сайте видео есть...

Было еще не поздно, но солнце уже склонялось к вечеру. Мы тронулись было на Хунзах, но доехали только до водопадов, откуда открывался вид на приземистую Хунзахскую крепость, выстроенную русскими после Кавказской войны. Несмотря на грозный вид крепости, построенной прежде всего с тем расчетом, чтоб из нее можно было вести беглый артиллерийский огонь из современных орудий, которых во время войны еще не было, царское правительство, одержав нелегкую победу над Шамилем, стало проводить на Кавказе очень сдержанную и продуманную политику, в которой сила была, пожалуй, последним аргументом. До 1899 года в Дагестане и Чечне действовало так называемое народно-военное управление: сохранялись сельские общины (джамааты), которым принадлежало право суда по шариату или по обычаю. Были сохранены заведенные еще Шамилем наибства (области), управляемые исключительно местными наибами, назначаемыми с одобрения царской администрации, что позволяло русской власти лишь в крайних случаях вмешиваться в разрешение серьезных местных конфликтов. Империя была сильна — но не стеснялась учиться на своих ошибках...

Я старался.

Я мыслил и, следовательно, существовал.

Я держался за действительность, как слепой за веревку, шаг за шагом продвигаясь вперед.

Но сколько бы я ни крепился, каждая вспышка взаимных чувств, каждое слияние наше в крепнущей дружбе приближали меня к неизбежному концу.

Последний бросок мы совершили в каньон аварского Койсу, откуда открывался вид на снежные вершины Главного Кавказского хребта, на гору «Седло» и еще другие, похожие на искривленные лезвия кремневых ножей выступы. Будто расплавленное олово, разделившись на два или три рукава, сверкающая на солнце река уходила за поворот в тенистый каньон, где уже сгущались голубоватые тени вечера — и как будто исчезала из глаз.

— Снимай! — закричал Гамзат.

— Не могу против солнца!

— А-а-а!!! — от полноты чувств закричал Гамзат.

После осмотра этого каньона программа была, по сути, исчерпана. Оставался Хунзах. Я был в порядке. Все я делал правильно: сменил батарейки в фотоаппарате, проверил его, сел в машину, достал из рюкзака диктофон...

Я думал, что победила моя воля.

Но победила дружба.

Потому что, когда я стал прослушивать запись, сделанную в машине, там девяносто процентов времени занимают звук мотора и наши голоса, но не относящиеся к делу. Потом кто-то произносит осмысленную фразу, несколько фраз. И опять звук мотора и наши голоса, не имеющие значения. Я думаю, у меня в мозгу сбился алгоритм нажатия кнопки «запись». Когда надо было записывать, я выключал диктофон. А когда нужно было нажать на «паузу» — я, напротив, нажимал «запись». Комментарии тут излишни. Но кое-какую информацию все-таки удалось выудить:

А почему Расул Гамзатов пишет… (обрыв) «…вшивый вор…» (обрыв).

Потом опять, громким голосом:

— Василий! Это мой двоюродный брат, начальник лаборатории, которая разводит грызунов… Разводит? Исследует… Он силен в истории. Пусть скажет. Саид, давай!

— Старики говорят, что был в старину в Хунзахе только один Хочбар, но он был вшивый вор…

Я понимаю вдруг, что ни к поэзии Гамзатова, ни к сценарию Германа у местного населения никакого пиетета нету.

То есть Гамзатовым изначально допущена какая-то принципиальная недостоверность, которая позволяет относиться к его замыслу скептически. Это авторская фантазия, разыгравшая образ Хочбара в героическом и романтическом ключе. А для Гамзата и его брата Саида это неправда. И не просто неправда, а ложь.

— Вот, ты пойми, — для убедительности приводит последний аргумент Гамзат, — он там хватает в конце сына нуцала и бросается вместе с ним в огонь. Да?

— Да, — отвечаю я.

Да кто б его подпустил к ханским детям, если он был вшивый вор?!

Я часто вспоминаю эту фразу: самое интересное в том, как по-разному мы, люди, умеем выстраивать системы аргументов. Наше единство в том, что мы разные, — и с этим ничего не поделаешь.

Далее — длинный прочерк. ——————————————————-. А потом мы сразу оказываемся в доме у Гамзата.

Хороший такой дом, одноэтажный. Стоит на отшибе. Своими руками построен.

Никого в доме не было. Хотелось перекусить, но жена Гамзата еще не пришла с погранзаставы, а он такие вопросы не решал. На терраске, в углу, где снимают обувь, я обнаружил три пары стоящих в ряд одинаковых туфелек.

— Три дочери? — спросил я и угадал.

— А у меня две, — сказал я, и на несколько мгновений это нас сблизило. Но вообще разговор не клеился. Я подумал, что если срочно не придумать что-нибудь, то опять придется пить, а еще даже не вечер: светло на улице. Я посмотрел на часы, но не увидел времени. И подумал: если я не различаю времени тогда, когда его еще четко следует различать, то каков же я буду к тому часу, когда его в принципе различать не обязательно?!

Но тут Гамзат тоже начал беспокоиться, стал звонить по мобильнику и чего-то ждать. Я решил, что пришло спасение, что сейчас наконец-то мы поедем в Хунзах и тихонечко прогуляемся по нему… Однако! В одну секунду все перевернулось!

— Слушай, — сказал Гамзат. — А что если мы не будем здесь до завтра задерживаться, заедем, как и договаривались, в Гоцатль, к серебряных дел мастеру (а мы договаривались?!), а потом поедем в Кизляр, там рыбное хозяйство и пасека у одного мужика, надо бы ему улей отвезти. Завтра бы рыбки там хорошей поели…

Для меня слово «Кизляр» значило три вещи: 1. Кизлярский коньяк. 2. Равнина. 3. Там все время кого-то взрывают.

Для Гамзата «Кизляр», напротив, был местом спокойствия, каким-то рыбным хозяйством на реке Сулак, солнечной пасекой…

Это я к тому, что каждый из нас мыслит в своей системе образных взаимосвязей. Мы мыслим по-разному. И это ни хорошо и ни плохо, просто к этому надо наконец привыкнуть.

В конце концов, это спасло меня. Ибо я сказал без промедления:

— Дельная мысль. Только, может, до Кизляра я с вами не поеду, высадите меня

в Махачкале. Высадите у гостиницы! Да и Гоцатль надо бы отменить, если можно: я уж так пьян, что не работник.

Гамзат позвонил.

Он распорядился.

Все устроилось.

И через час вместе с ульем, правда, не на джипе Магомета, а на машине какого-то другого мужика мы оттуда *уехали*.

Это было самое сильное, самое *заветное* мое желание: каким-то образом исчезнуть из Хунзаха и проснуться завтра утром в своей постели в гостинице.

И оно сбылось!

Это было невероятно, но *тем* же вечером эта машина притормозила, едва не проскочив мимо, у отеля «Петровскъ», я вылез из нее, не слишком-то твердо как будто осознавая себя, но пошел, сразу нашел, в баре подбил до круглого счет, опрокинув последнюю кружку пива...

А потом наступил час, когда время различать не обязательно. Но что удивительно? Я с самого начала стремился в Хунзах: но все-таки туда не попал. Разумеется, теперь я понимаю, что ни Гамзат, ни Магомет, если только я правильно запомнил, не хотели лишний раз светиться в Хунзахе, с подвыпившим к тому же кунаком. Но потом я вспомнил Азербайджан, Казахстан и все командировки, где я искал контакт с действительностью. Никогда это, по разным причинам, с первого раза не получалось. За встречу с действительностью требовалась обычно плата посолиднее.

Так что, можно сказать, на этот раз мне повезло. Я стал соучастником немыслимого приключения: «приближение к Хунзаху». И в первый раз дотронулся до дагестанской земли. Черствой горной земли. И, может быть, так неправдоподобно долго я ехал сюда именно за этим?

VI. Политика

А поутру они, естественно, проснулись.

Вы спросите: кто это — они? Ну, я проснулся, он проснулся, мы проснулись. И я сразу понял, что у кого-то из нас адски болит голова. Потом понял: болит у обоих.

В общем, я использовал весь арсенал средств, имевшихся у меня на такой вот крайний случай. И постепенно перестал ощущать себя расколотым на две половинки. Выпил чаю. И после чая понял, что в этот день спасти меня может только одно: море. Море излечит все раны.

Тем более что день предстоял непростой.

Али при первой встрече дал мне приглашение на конгресс интеллигенции Дагестана. И на него надо бы было сходить. Потому что я хотел понять. Понять хоть что-нибудь из того, что происходит в республике.

Я спустился вниз и съел половину завтрака. Здесь, конечно, было бы уместно несколько фраз в духе Венички Ерофеева, но Веничка не поддержал бы меня. С такого перепою он отверг бы завтрак, как малодушие. Но мне нужно было продержаться до полтретьего, поэтому я просто съел половину завтрака, вышел на улицу и поймал такси.

За рулем сидел парнишка лет двадцати.

— Вам куда?

— А где у вас здесь купаются? На городской пляж.

— А, — сказал он. — Понял. Давно в Махачкале?

— Третий день.

— А я тоже только два дня, как с Алтая приехал, — вдруг похвастался он.

— Что делал на Алтае?

— Дяде помогал.

— А дядя чем занимается?

— Предвыборную кампанию делает. Там есть один город — Рубцовск. И два

кандидата на пост мэра. Один от «Единой России», другой — от «Справедливой». И второй как раз местный мужик, его народ хорошо знает и, в общем, уважает. Но дяде поставили задачу: чтобы единоросс набрал 65 процентов голосов. А того — заблокировать.

— Как «заблокировать»?

— Хоть подкупом.

— Зачем?

— Иначе дяде зарплату платить не будут.

— А сам голосовать за кого будешь?

— За того, кто дяде зарплату даст. Как уж они там с Медведевым договорятся.

Цинизм двадцатилетних мне отвратителен. Неужели он не понимает...

Я почувствовал тошноту. Тут Веничка поддержал бы меня. Ибо меня больше всего тошнило не физически, а экзистенциально.

Но мы, по счастью, приехали. Я расплатился и стал спускаться к морю по улочкам сохранившейся старой части города. Обладающие своеобразной выразительностью довоенные двух- трехэтажные дома лепились друг к другу, образуя до некоторой степени живописное единство. Арки, дворы, жизнь дворов, выстиранное белье на веревках, детские и женские голоса, потом — площадь, собравшаяся вокруг здания аварского театра, пустынная в этот утренний час. Сразу за этим кварталом начиналась обычная махачкалинская россыпь зданий — по левую руку высилось каре хороших, только что отстроенных 20-этажных жилых домов, из переулка выглядывал, как штабель красного кирпича, банк «Невастройинвест», а поверх всех крыш торчали излюбленные генеральным архитектором города (если, конечно, таковой был) тонированные темным стеклом здания цилиндрической формы. Но больше всего привлек мое внимание котел для варки битума. Ну, как вам объяснить? Обычный такой котел, на колесах. Внизу печка. Раньше битумом, как клеем, заливали старую дорогу, чтобы к ней лучше прилипал новый асфальт. Теперь асфальт укладывают по другой технологии и битумные котлы не нужны. А здесь он сохранился, да судя по тому, как густо, до самых колес, котел был залит черным застывшим варом, он и использовался регулярно. Я обрадовался ему, как стоящему под парами паровозу.

Потом вышел к железной дороге и увидел море.

Пляж был почти пуст. Это был типично провинциальный пляж, что и составляло главное его очарование... Несколько кабинок для переодевания, выложенные на песке доски для виндсерфинга, старая, увешанная цветочными горшками, много раз крашенная белым и все равно готовая вот-вот снова ошелушиться спасательная станция с надписью «Медпункт»; полосатый тент над нею, лестница, увитая зеленью, на открытую веранду второго этажа... Позади, на променаде, — несколько скамеек, брусья и перекладина для физических упражнений, возле которой топталось трое голых по пояс ребят. Они по очереди подтягивались, легко делали «подъем с переворотом» и все, как один, завершали произвольную программу, делая «выход силой». Это трудное упражнение, для которого действительно нужна сила и отличная координация движений. Когда я учился в школе, у нас такое мог делать только Коля Ченцов. Он был невысокого роста, но весь состоял из мускулов. И эти трое тоже состояли из мускулов.

По плотному песку у кромки лижущих пляж волн издалека приближался бегущий мужчина. Пока я снимал с себя одежду, первый пробежал, появился второй. Далеко за ним поспевал третий. Еще там-сям по берегу, метрах в ста от меня и друг от друга, сидело несколько женщин с детьми. Солнышко уже хорошо грело, но в море, в голубом прозрачном море еще холодно было купаться. Я не дал себе времени на раздумья. Плавки надел еще в гостинице. Разбежавшись, бросился в воду, предчувствуя, как сожмет меня, словно тисками, плотная морская вода. Я ждал чего угодно, но... Понимаете, я даже не почувствовал холода: такое это море было легкое. Слишком легкое, слишком жидкое, я почти не чувствовал его... В общем, я с минуту барахтался как бы в поэтическом эфире: ни соли, ни запаха йодистых водорослей...

Так что запомнился больше пляж: легкий, теплый песок-ракушечник под ногами...

В 14.29 я был у здания физфака Дагестанского государственного университета. Оставалось пройти сквер перед корпусом, чтобы успеть вовремя. Я чуть-чуть наддал ходу, как вдруг властный голос крикнул:

— Перейдите на другую аллею!

Передо мной стоял человек в гладком сером костюме, держа наизготовку автомат.

Еще несколько толпились и у входа в университет.

Внутри двое в камуфляже пропустили меня через «рамку» и с бесстрастной тщательностью проверили содержимое рюкзака.

Я понял, что ждут президента.

Перед аудиторией обыскали еще раз.

Точно, президента.

Актовый зал поднимается амфитеатром вверх, внизу, на подиуме, — почетные председатели. Пара-тройка телекамер. Фотографы. Все уже на местах. К сожалению, не вижу ни Али, ни Сулиету. Протискиваюсь на единственное, словно специально для меня оставленное место. Оглядываю лица: все увесисто, но вместе с тем снуло. Четкое ощущение, что ничего нового от этого собрания «интеллигенция» не ждет, что все, в общем, прекрасно знают, как это было, бывает и будет впредь.

Появление президента — молодого, энергичного, элегантного Магомедсалама Магомедова вызвало что-то вроде воодушевления. Зал (хотя и не все) поднялся для аплодисментов. Ректор университета предложил президенту открыть собрание, что тот и сделал, выступив с зажигательной и не в меру, может быть, оптимистической речью.

«Амбициозная экономическая стратегия», «высокое качество жизни», «модернизация должна стать стержнем нашей идеологии», «преодолеть сумятицу в мыслях и в ценностных ориентациях», — бодро начал президент.

Собрание выслушало, но не отреагировало.

...Прорывные социально-экономические проекты, которые определяют будущее республики, могут быть реализованы только высококлассными и компетентными специалистами. Уже сегодня нам нужно готовить кадры, которые потребуются через несколько лет и которые смогут уже работать в новых условиях... Конечно, здесь нельзя избежать такой темы, как коррупция в системе образования...

Сколь бы ни была зажигательна и романтична речь президента, двум старым пертухам рядом со мной она в этом месте уже наскучила и они принялись переговариваться между собой, мешая записи.

«...Духовная сплоченность, единство и устремленность в будущее — такова должна быть наша цель и на вызовы террористов и на все наши современные вызовы и угрозы!» — почти прокричал президент, но шушуканье в зале нарастало.

Зато конец выступления утонул в громоподобной овации.

После этого остальным выступающим было предложено укладываться в регламент 5—7 минут, но решительно никому это не удалось. Пять, а то и все семь минут выступающие, в зависимости от возраста и чина, уделяли хвалам в адрес президента. Несколько выступлений были по-хорошему искренни, некоторые даже глубоки — было видно, что многие ждали этого собрания, чтобы высказать наболевшее: кто-то хорошо сказал про «полуправду», которая совершенно извратила понимание истинных процессов в обществе; кто-то призвал интеллигенцию проснуться, опомниться, увидеть наконец, в каком состоянии республика, и, как говорил Солженицын, «жить не по лжи».

Но чем дальше говорили ораторы, тем равнодушнее становилась публика, тут и

там по залу возникли вполне интеллигентные междусобойчики, и в конце, когда надо было выбрать наиболее авторитетных «представителей интеллигенции» в правление конгресса, решено было голосовать предложенные (когда? кем?) кандидатуры «списком», а заранее подготовленную резолюцию, естественно, «принять за основу». Я вспомнил открытые партийные собрания советской поры и с ужасом подумал, что ничего не изменилось...

На улице я внезапно столкнулся с Али и Сулиетой.

— Так вы там были? И как вам? — поинтересовался я.

— Это просто позор! — бурно отреагировала Сулиета. — В какой-то момент я даже хотела... — но не уточнив, чего именно, сама обратилась ко мне: — А как ваш Хунзах? Вы повидались с Алибеком — главным знатоком старины?

— Нет, — уклончиво ответил я. Ну не мог же я сказать, что мы пьяные бестолково носились на джипе куда взбредет в голову?

— Жаль, — сказала Сулиета. — С Алибеком стоило встретиться. В свое время он мне рассказал историю, которая в какой-то мере характеризует кавказскую ментальность. Вам интересно?

— Да, — ответил я.

— Хаджи-Мурат собрал своих нукеров на площади Хунзаха и, гарцуя среди них, вдруг заметил одного молодого парня, который тоже въезжал на площадь, чтобы присоединиться к остальным. «А-а, здравствуй, сын красивой вдовы!» — громко произнес Хаджи-Мурат. Тут нужно знать горскую ментальность. Сказанное обидело парня. Он назвал его: «сыном красивой вдовы» и тем самым принизил его статус, ибо тот ехал на площадь как воин, а не как недотепа, как «сын», и чувствовал себя не хуже остальных. Он назвал его «сыном красивой вдовы» — и это значило, во-вторых, что он обратил внимание на его мать, запомнил, что она красива — к тому же вдова... А это было уже оскорбление матери. В пяти словах — столько скрытого смысла! Реакция сына была мгновенна: он выхватил пистолет и выстрелил в Хаджи-Мурата. Но пока он нажимал на спуск и летела пуля, Хаджи-Мурат успел обернуться под животом лошади, и когда пуля расплющилась о стену за его спиной — он уже вновь сидел в седле. Он ждал такой реакции парня. И все, что он сказал, он сказал, провоцируя его на выстрел. Тогда Хаджи-Мурат сказал: «Ты хорошо стреляешь. Ты славный воин». А теперь, — улыбнулась Сулиета, — ответь: чего он добивался? Хотел показать свою удаль? Но все и так знали, что Хаджи-Мурат не знает страха. Тогда, может быть, он хотел, чтобы парень проявил себя как воин, хотел похвалить его?

Я промолчал. Я чувствовал глухой стыд за то, что так и не попал в Хунзах и не выслушал из уст Алибека этот превосходный, с позволения сказать, горский коан.

— Нас ждет машина, вы поедете? — спросила Сулиета.

— Нет, поброжу немного по центру, — отказался я, не желая дальнейших расспросов о Хунзахе.

— В семь приходи ко мне, — сказал Али. — Будет один человек, с которым завтра вы поедете в Гуниб. Я хочу тебя познакомить.

Я пошел гулять, разглядывая витрины и читая вывески. Я говорил уже, что Махачкала в градостроительном отношении представляет собой архитектурно-беспомощную россыпь зданий: градостроительная твердь нащупывается лишь в административном центре, где правительственные здания образуют правильную площадь, но она заблокирована бетонными заграждениями и блокпостами милиции, как будто формирования «лесных» могут взять правительственные здания штурмом. Туда никто и не ходит. Какая-то упругость чувствуется и в квартале близ университета. Во всяком случае, площадь перед главным зданием — не случайна: вокруг — пара кафе и лавочки, на которых студентам можно спокойно посидеть... Рядом парк... Но стоит оторваться от этого едва начавшего формироваться скелета, как город разбегается рукавами улиц в направлениях, сложившихся стихийно и столь же стихийно застроенных. К большим и дорогим (по отделке и материалам) магазинам могут присоседиться наскоро и кое-как слепленные из кирпича лавчонки, укрывающие

какие-нибудь «Канцтовары», «Фото с телефона» и «Ремонт» (по-видимому телефонов же); пафосная вывеска «Золото России» соседствует с растяжкой «Джинсовый мир», перетянутой через всю улицу. Интернет-кафе «DELTA» и магазин «Модное ассорти» (женская одежда») встроены в целый ансамбль современных трех-, четырехэтажных, красиво подсвеченных домов, занимающих метров сто пятьдесят улицы как пример того, что улицы Махачкалы могли бы быть и такими — красивыми, современными. Но дальше опять начинается какая-то невнятная лепнина: салоны связи, ювелирные мастерские, где заодно меняют валюту, магазины обуви, одежды и во главе всего — салоны красоты. Их невообразимое количество: «Лилия», «Технология красоты», «Gloria star» — как будто в естественном облике дагестанских женщин что-то требует немедленного исправления. Здесь вам сделают тату, увеличат объем губ, нарастят ресницы, «подкорректируют» глаза, нос и уши, придадут облик современной сексапильной женщины. Кстати, о женщинах (как, впрочем, и о мужчинах). Вернувшись из Дагестана, я внимательно просмотрел сделанные в городе фотографии и посчитал, сколько людей в толпе одето традиционно, а сколько — на европейский манер. Получилось примерно один к одному. На одного парня в зеленой мусульманской шапочке с молодой, рыжеватой, «традиционной» бородкой нашелся один рокер на красном мотоцикле (правда, не «Харлей Дэвидсоне») в кожаной куртке и кожаных штанах. Половина женщин была в платках и длинных платьях, половина — с непокрытой головой, в какой-нибудь куртке, водолазке, укороченной юбке и со старательно взбитыми на голове волосами, что так или иначе следовало считать «модной прической». Молодые женщины, которые хотели подчеркнуть свою приверженность *традиции и вере*, естественно, носили хиджаб (платок, тесно спеленывающий всю голову и оставляющий открытым только лицо — но ни пряди волос!), который вместе с длинным, часто нежно-голубого или зеленоватого цвета платьем придавал им особую прелесть *чистоты.* Девушки или женщины, которые, наоборот, стремились подчеркнуть свою обращенность к ценностям Запада, должны были немало потрудиться в «салонах красоты», чтобы выглядеть притягательнее мусульманок. Я встречал пары подруг (одна — мусульманка, другая — девушка «современного типа»), которые, прогуливаясь, явно состязались в том, кто из них произведет на мужчин большее впечатление...

«Короткая юбка, сигареты, ночной клуб — этого дагестанский мужчина не потерпит...».

«Скупой мужчина — вот чего не потерпит дагестанская женщина...».

«Культурный раскол» в дагестанском обществе очевиден: в манере одеваться, в поведении в компании и в семье, в наличии или отсутствии денег. Традиционное общество, как, впрочем, и общество советское, не требовало много денег, ибо почти не знало *соблазна.* Теперь соблазн появился: тюнингованные автомобили, дворцы на взморье, элитная одежда, косметика, мебель... Общество невероятно расслоено на очень богатых и безысходно бедных. Зарплаты в Дагестане смехотворные. Отсюда столько статей в журналах, обсуждающих вопросы отношения к деньгам: и, как просто понять, пишут их не для богатых. Как сохранить достоинство, не имея денег? — вот главный вопрос. Но не все умеют держать в узде свои желания... А некоторые не хотят. Уже выросло поколение молодых людей, которое с *болью и горечью* пережило бедность своих умных и честных родителей и ни за что на свете не хочет повторить их судьбу. Так часто начинается история современного Робин Гуда, которая, как и заложено в сценарии, должна закончиться «в лесу»...

В конце своей прогулки я оказался на книжном развале у ЦУМа. Хотел купить свою мечту — русско-табасаранский словарь.

Я мечтал о нем с тех пор, как прочитал у Хлебникова:

Россия, хворая, капли донские пила
Устало в бреду.
Холод цыганский...
А я зачем-то бреду
Канта учить по-табасарански.

Мукденом и Калкою
Точно большими глазами
Алкаю, алкаю,
Смотрю и бреду,
По горам горя
Стукаю палкою.

Скажите, в эту поэму о смертных днях России, в соль кровавых капель донских, в «цыганский холод» — как и зачем погрузил поэт Канта и Табасаран? Одна строка — а ее не выдернешь из текста. В Гражданскую Хлебников сам, зимуя в психбольнице города Харькова, перенес два тифа, через Дагестан пешим ходом шел он в Баку — в Красную Армию, к солнцу. Отогреться. Земля черна была от свежего горя, бесплодна, как камень. Горы горя громоздились за спиной поэта[13]. И все же он, будто припоминая жизнь до горячки, в которой прежняя Россия сгорела дотла, вдруг произносит — Кант. И, чуткий на слово, из мира окружающих сиюминутных созвучий выуживает Табасаран — страну, одно сказочное имя которой звучит как надежда. Даже не на лучшее. Просто на что-то другое.

Али я нашел после долгих поисков на первом этаже Дома прессы возле бассейна с зеленоватой холодной водой за столом под белой скатертью, на котором была выставлена легкая закуска и несколько кружек пива. Наверху, над бассейном, сухо щелкали, разлетаясь, биллиардные шары. Пахло банным паром. Оказывается, Дом прессы скрывал в своих глубинах не только ресторан и гостиницу, но и банный комплекс!

Стены были отделаны речной галькой, в которую были вмурованы большие куски горного камня то желтоватого, то серого цвета.

— Играете в бильярд? — крикнул кто-то сверху.

— Наверно, все-таки нет, — сверился я со своим настроением.

— Но, наверно, ты не откажешься от кружки пива? — спросил Али и весело блеснул глазом. Я понял, что ему уже известно о наших вчерашних похождениях и он, как человек, видавший всякие виды, по-доброму посмеивается надо мной.

— От пива — нет.

Я сделал большой глоток, и он впитался в мой язык, с самого утра осыпанный колким сухим пеплом.

Потом я сделал еще глоток, больше прежнего, и почувствовал, как влага наполняет жизнью и живостью мысли мой сморщенный, как сушеная груша, мозг. Не знаю, как мог я так долго крепиться. Как у меня хватило сил высидеть два часа на встрече президента с интеллигенцией.

Зато теперь я хотел прояснить возникшие вопросы.

— Извиняюсь, — произнес я, чтобы привлечь к себе внимание Али. — На встрече президент говорил об «амбициозной экономической стратегии», о «прорывных проектах»... Что он имел в виду?

— Этого я не знаю, — произнес Али своим глухим голосом. — Он встречался с Путиным, а не я. Наверное, они выработали какую-то стратегию. Ты же слышал. Сделать Дагестан передовым, процветающим, с высоким уровнем жизни.

— За счет чего?

— Что «за счет чего»?

— За счет сельского хозяйства, за счет нефти, за счет рыболовства?

— Если мы начнем об этом говорить, мы сегодня не закончим, — сказал Али. — Если бы они имели в виду сельское хозяйство — это было бы спасение для Дагестана. Ты ел когда-нибудь лакскую морковку? Ну, когда ты попробуешь, поймешь... Но чтобы сделать сельское хозяйство товарным, нужно строить насосные станции для полива, нужна новая техника (я с пониманием закивал головой), нужны небольшие заводы по переработке мяса, овощей... Но, по-моему, они думают не об этом... Выдумывают какие-то пустые проекты, вроде строительства курортов — а это имеет отношение не к экономике, а к воровству денег из госбюджета...

— А нефть? — спросил я. — В Дагестане не может не быть нефти. Нет такого места на Каспии, где нет нефти.

— Это ты расспроси у Ахмеда, когда завтра поедешь в Согратль, — отозвался Али. — Он — специалист в этом вопросе.

— Но нефть есть?

— Очень немного. Чтобы разведать новые месторождения, нужно бурить на глубину шесть километров. Глубокие скважины. Это очень дорого. На Каспии есть нефть — но тут надо строить буровые на шельфе. Это тоже недешево.

— Ну, а сам Каспий? — не унимался я. — Рыбный промысел...

— Рыбный промысел еще с советских времен целиком в руках браконьеров. Прежде всего — милиции и погранцов. Ни один дагестанец не получает ни копейки с их прибылей...

В это время из парной вышли два человека в трусах и, аккуратно опустившись в зеленоватую холодную воду бассейна, одновременно блаженно вздохнули. Потом вылезли из воды и уселись на скамейку, чтобы немного передохнуть.

Один из них и оказался Ахмедом, который назавтра собирался ехать в Согратль, а потом в Гуниб. Слово «Согратль» слышал я не впервые. И хотя по звучанию оно было превосходно, в мой маршрут оно не было вписано, и я решил поинтересоваться:

— Мы вроде бы говорили о Гунибе, но выясняется, что мы едем еще и в Согратль...

— Какой смысл ехать в Гуниб, если не заехать в Согратль? — вопросом на вопрос ответил Али.

— А Согратль — что это?

— Согратль — это моя родина, — с мужской нежностью проговорил Али. — Вернее, наша родина. Ахмеда тоже. Единственное место на земле, где мне снятся сны. Вижу себя мальчиком. Мать вижу. В доме холодно, но надо вставать, бежать в школу, а я только жду, когда она подкинет хворосту в печь, накину шубейку — и бегом к огню греться...

VII. Восхождение в Согратль

Утром, когда я вышел к завтраку, двери всех номеров гостиницы были настежь открыты, горничные спешно меняли постельное белье. Дело в том, что в 12.00 в отель «Петровскъ» должна была вселиться футбольная команда «Кубань» из Краснодара — об этом я был предупрежден заранее и категорически. На сутки все постояльцы должны были покинуть гостиницу, чтобы столица республики могла, наконец, по-настоящему поболеть за свой футбольный клуб «Анжи», который хоть и не был сколько-нибудь заметной командой на мировом футбольном небосклоне, но зато был одной из самых дорогих команд: каждый ее гол стоил миллионы, поскольку в «Анжи» на условиях, не имеющих аналогов, были приглашены «звезды» со всего мира, ставшие в нищей республике самыми высокооплачиваемыми футболистами планеты.

За таким стремлением Дагестана продавить победу буквально *любой ценой* стоит, конечно, целый клубок проблем как личностной, так и коллективной психологии, но я не хотел бы сейчас в этом разбираться, тем более что многое очевидно...

В 12.00 я был уже у Али, очень скоро позвонил Ахмед, сказал, что готов ехать, Шамиль подбросил меня до его дома, и мы, загрузив в багажник какую-то снедь и вещи, отправились. На этот раз мы выехали из Махачкалы не с севера, как в Хунзах, а с юга. Ахмед был лет на десять, как мне показалось, старше меня. Большая голова с залысинами. Темные очки. Водолазка с простым узором на груди, черные брюки, удобные открытые ботинки. Глядя на него, трудно было сказать, что это — крупный человек в нефтяном хозяйстве Дагестана. Что-то не вязалось в его облике с привычным обликом крупного чиновника. Ни малейшего надменства. Спокойное доброжелательство:

— Ты перекусил перед дорогой? Есть хлеб, вода. Хлеб интересует тебя?

Но меня интересовала все-таки нефть.

— Понимаешь, — пояснил Ахмед, — со времен войны, когда здесь активно разрабатывали нефть для фронта, сохранилась устойчивая легенда: тогда здесь были якобы обнаружены огромные запасы нефти, причем первосортной, как говорят, «белой», которые Сталин приказал законсервировать как стратегический резерв, как только опасность прорыва немцев к нефтяным месторождениям миновала. Но как всякая легенда и эта — только легенда. Нефть в Дагестане есть, и отличного качества, но ее немного. Настолько немного, что в свое время здесь не стали строить завод по переработке, мы отправляли нефть в Чечню. Когда началась чеченская война, перерабатывать стало негде, и отрасль стала приходить в упадок. Тем более что старые скважины пусты, необходима разведка новых... Ну, вчера Али же рассказывал тебе?

— Да.

— Понимаешь, запасы могут оказаться и большими, но для разведки нужны деньги. Где мы их возьмем? Республика и так сидит на дотациях. В свое время Азербайджан, как только получил независимость, заключил с двенадцатью крупнейшими мировыми компаниями договор, по которому они вложили в добычу и разведку 38 миллиардов долларов. Это позволило Азербайджану начать добычу нефти на шельфе. И сейчас Азербайджан добывает 11 миллионов тонн нефти в год. Для нас это нереально. Непросто представить себе инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в республику, находящуюся, по сути, в состоянии необъявленной гражданской войны. Да и Москва никак не поймет, что ей делать: то ли «хватит кормить Кавказ», то ли принимать долгосрочные экономические программы...

Из всей этой речи больше всего меня поразили слова: «в состоянии необъявленной гражданской войны».

Не ожидал, что дело так серьезно.

Я думал, речь идет о нескольких сотнях партизан, где-то нахватавшихся радикальной исламской идеологии и теперь превративших свое существование в бизнес. Вы спросите: как я себе это представляю? Я отвечу. Кавказ оплетен сейчас невероятным клубком интересов. Никогда еще нефтяные богатства Прикаспия не притягивали к себе такое количество стран: от Европы до Китая, от США до «Азиатских тигров». Никогда еще противоборствующие интересы не были так непримиримы. Никогда еще на кону не было таких денежных ставок. Нефть! Нефть! Но по-настоящему серьезно другое: Каспийский регион как был, так и остается одним из геополитических «узлов», за обладание которым в разное время с большим или меньшим успехом боролись Персия, Турция, Россия, Англия, Германия... Сейчас игроков прибавилось. В глобальном мире и аппетиты глобальные. Америка уже включила этот регион в зону своих «стратегических» и соответственно военных интересов. Она простодушно хочет нефти. Интересы арабского мира не столь очевидны и лежат в области идеологии — возрождение фундаменталистского ислама, создание Халифата, в том числе и на территории Северного Кавказа. Разумеется, остается еще и Россия — сильно сдавшая в регионе свои позиции, не самый богатый, не самый хитрый игрок, которого «атакующим» регион странам было бы желательно вообще вывести из игры. И те, кому выгодно отколоть от России Кавказ, звонят, например, сторонникам Халифата и говорят: «Слушайте, ребята, надо бы поджарить Россию с юга. В этом мы заодно». Америка будет заодно с кем угодно, когда речь идет о мировом господстве[14]. И в Саудовской Аравии начинают готовить ребят, которые приехали туда поучиться в мусульманском университете. Но уже по особому курсу. А потом они обнаруживаются сначала в Чечне, потом в Дагестане и, оглядевшись, говорят местным парням: парни, хотите тысячу долларов и автомат?

Молодежь любит пострелять. Особенно если в глубине души затаилась обида. А тысяча долларов в Дагестане — это большие деньги. Вот, как я думал, все это устроено...

Но, видимо, во многом ошибся. И мне предстояло понять — в чем.

Дорога свернула в горы. Один раз мы проехали блокпост на перекрестке — кое-как обложенный мешками с песком окоп, бронетранспортер, караулку...

Через некоторое время Ахмед произнес:

— Вот здесь чаще всего эти «лесные» и появляются...

Я поглядел на него: хорошая машина, сам при деньгах... Но нет, Ахмед был абсолютно спокоен.

— А как вы сами, Ахмед, ко всему этому относитесь? — осторожно спросил я. — Я понимаю, безработица, отчаяние, ожесточение... Но убивать невиновных? Устраивать взрывы в метро?

Ахмед помрачнел.

— К исламу это не имеет никакого отношения, — наконец выговорил он. — В исламе даже думать о человеке плохо нельзя, не то что убивать...

Я запомнил эту фразу. Думаю, навсегда. Не потому, что она много добавила к моим знаниям об исламе. Но она более чем красноречиво характеризовала человека рядом со мной.

Со мною был брат. Я мог рассчитывать на него. И не только потому, что я был его гостем и находился под его защитой. Он думал как я. А созвучие в мыслях — не за тем ли я ехал сюда, чтобы отыскать его, это созвучие? И вот — в Дагестане это случилось впервые. И как удивительно прекрасно это прозвучало... Теперь для меня весь ислам — в этом высказывании. И я не хотел бы, чтобы кто-нибудь пытался переубедить меня. Человек подобен Богу только в любви. На все остальное, а особенно на уничтожение, наказание или унижение людей во имя высоких принципов, на всякий суд и расправу, как показала история человечества, способен любой подонок. Бог для этого не нужен.

Потом мы останавливались два раза.

Первый раз на повороте дороги, откуда открывался широкий вид на горы. Ахмед открыл дверь автомобиля, вышел, глубоко, как принюхивающееся животное, потянул носом воздух.

— Вот... — произнес он, делая неопределенный жест рукой. — Смотри: это наши горы. Даже запах другой. Чувствуешь, как смолой пахнет?

Я стал вглядываться в панораму. Горы, пожалуй, и вправду были другими. В отличие от тех, что я видел по дороге в Хунзах, они были не столь суровы: вершины уже не щерились зубьями, по нижним склонам и в ущельях прижились елки, березки, сосны, по террасам, спускающимся к реке, были насажены сады... Неумолимый серый цвет дал место вкраплениям желтого и зеленого, а белая пена зацветающих абрикосовых деревьев просто заливала все радостью весны...

Второй раз мы остановились возле небольшой гидроэлектростанции. Это была Гунибская ГЭС. Обычная гидростанция, построенная в узком каньоне Каракойсу. Ахмед попросил меня выйти. Я не охотник разглядывать объекты такого рода, тем более что технически она не представляла собой ровным счетом ничего примечательного. Не Красноярская ГЭС...

Тем не менее я вылез.

— Смотри, — указал на противоположный склон ущелья Ахмед. — Видишь, там набиты тропинки? Уже стерлись, но еще можно разглядеть...

— Да, вижу, — сказал я.

По темно-серому твердому камню будто гвоздем были процарапаны едва заметные узкие тропки, поднимавшиеся, как казалось, от воды. Но на самом деле, пробиты они были в те времена, когда вода в ущелье не стояла так высоко. Ведь никакой ГЭС не было и в помине. Видимо, поднимались с самого дна ущелья.

— Это тропы, по которым имам Шамиль проводил свои войска, — сказал Ахмед.

Тропки были столь узки, что невозможно было представить движение по ним армии. И тем не менее. Теперь понятно, почему Шамиль внезапно объявлялся там, где его меньше всего ждали...

Архитектурным украшением плотины был рукотворный утес, на котором была начертана «молитва горца», и высокая башня, на которой была единственная надпись: «Андалал».

— Али просил, чтобы я рассказал тебе об Андалале, — сказал Ахмед. — Но лучше меня это сделает наш несравненный специалист... Магомед!

Нечто большее, чем уважение, было выражено этим восклицательным знаком.

За этим мы и едем в Согратль — в бывшую столицу Андалала...

И, тем не менее, я, конечно, не удержался от расспросов. И так впервые узнал о горских «вольных обществах». Оказывается, помимо ханств, уцмийств и нуцальств в горном Дагестане существовало более 60 вольных горских обществ, в которых никогда не было правящей аристократии и правление избиралось демократическим способом. Как анархист, я питаю особый интерес ко всем формам самоуправления народа, хотя и знаю, как они редки. Редки даже следы, даже память о них. Однако те формы самоуправления, которые существовали на Кавказе, были совсем «свежими». И поистине, они не имели аналогов в мире — ни по территории, которая подчинялась их влиянию, ни по основательности традиции, их питающей. В Андалальское вольное горское общество входило тринадцать селений. От каждого селения избирался достойнейший из достойных — кандидат на должность *кадия*[15]. Всего тринадцать человек. Потом составлялись группы выборщиков от каждого селения и каждый кандидат был им представлен: вот сагратлинский представитель, вот его заслуги, вот свидетельства учености, вот, наконец, его слово... А это — представители из Чоха, из Гуниба... Выборщики терпеливо выслушивали, совещались и в конце концов избирали кадия. История распорядилась так, что все кадии андалальского общества были из Согратля. Потому Согратль и считается столицей Андалала...

Я был потрясен. Мысли схлестывались в моей голове. Теперь я понимал, почему непобедимым казался Шамиль, имея армию вольных стрелков, никогда не ведавших никакой, а в особенности чужеземной, власти над собой...

Слева в ущелье промелькнул красиво прилепившийся к отвесной стене горы аул: это был Чох.

Мы давно ехали по территории Андалала. До Согратля оставалось не больше десяти километров.

Я смотрел во все глаза. За шумом мотора я едва разобрал слова Ахмеда:

— Сейчас мы возродили общество. Пока что только в Согратле.

— И мы сможем поговорить с кем-нибудь из этого общества?

— Да мы давно уже с тобой говорим, — сказал Ахмед.

— В каком смысле?

— В том смысле, что сейчас я избран руководителем общества...

VIII. Магомед Ахтуханов и Надир-шах

Машина переехала мост и по крутому серпантину взобралась сразу в центр Согратля, к площади перед мечетью. Здесь дорога закончилась. Выше в горы в этих местах путей не было. Со скамейки встал высокий, лет шестидесяти пяти человек, в своей шерстяной шапочке чем-то неуловимо похожий на протестантского пастора. Это и был поджидавший нас Магомед — бывший директор местной школы, знаток согратлинской старины и хранитель местного музея.

Пока мы поднимались, я совершенно не разглядел селение, потому что с одной стороны всегда была отвесная, будто специально сколотая стена горы, а с другой — крыши порядков, которые располагались ниже дороги. Теперь я огляделся: площадь перед мечетью. Мечеть большая, с высоким минаретом, кажется, перестроенная. От нее в четыре стороны расходились узкие, мощеные камнем улочки. Дома, в основном двухэтажные, тоже были сложены из хорошо обтесанного желтого, с черными подпалинами, камня размером в два кирпича. Больше похоже на небольшой средневековый городок, чем на селение вроде Гала. Мы поднялись по ступенькам, нырнули в какую-то арку, дальше я стал было поворачивать влево: там была узкая живописная мощеная улочка и дверь, к ручке которой был привязан черный ослик с бежевыми очками вокруг печальных глаз, но Магомед позвал меня в другую сторону — тут тоже была узкая улочка и какая-то марокканская цветовая нарезка: белые стены, синие

двери, над дверями — латунные таблички с арабской вязью — перечнем колен живущего в доме рода — и опять белые стены, синие двери, синие окна. Куча хвороста, угодившая в кадр, подтверждала, что мы находимся не в марокканском фоторепортаже журнала National Geographic, а в стране, требующей много хвороста и, значит, много тепла. Внезапно под ногами блеснула золотистая солома, запахло хлевом, и по правую руку вдруг открылись — как показалось мне — древние каменные сараи с кизяком, сушившимся под крышей на затянутом сеткой втором этаже. Кизяк — это главное топливо любого степного кочевья, любого поселения в горах. По крайней мере, в старое время. Я пригляделся. Кизяк я видел разный: сушеный лепешками и предварительно порезанный квадратами. Но здесь он походил скорее на прессованный табак или на темные, бурые, сильно смешанные с соломой сырцовые кирпичи. Может быть, такое впечатление создавалось потому, что он был уложен аккуратной кладкой, издалека напоминавшей грубую шерстяную вязку. При этом брикеты были совершенно ровными, ибо, как я догадался, предварительно были раскатаны каменной «скалкой» диаметром со средней толщины бревно.

— О черт, какой кизяк! — потеряв всякую осторожность в выражениях, воскликнул я, доставая фотоаппарат.

— Да, это кизя-ак! — одобрительно подтвердил Магомед. — Осталось совсем мало людей, которые еще умеют делать настоящий кизяк... — он помолчал, как будто считая. — Пять или шесть хозяйств.

Я сразу обратил внимание на слово «хозяйств» — язык сам выдал себя, сама архаика подобного словоупотребления: в Согратле «хозяйством» частенько называли семью, в том числе и городскую, давно переставшую быть единым хозяйственным организмом, как это было в патриархальные времена.

Дом Магомеда располагался в верхнем порядке; может быть, даже в последнем ряду домов под вершиной, и выстроен был заведомо позже, чем дома из желтого камня в центре. Это был обычный двухэтажный дом, встроенный в линию таких же домов: в первом этаже помещение для скота или для птицы, на худой конец, просто кладовая, второй этаж — куда поднималась наружная лестница — жилой. Кухня, гостиная и две небольшие комнаты. На площадке лестницы перед входом в дом стояла обувь, но вообще-то вид отсюда открывался отличный: белые занавеси Большого Кавказа все так же маячили вдалеке, как и в Хунзахе, только были, кажется, дальше.

Патимат, жена Магомеда, уже накрыла для нас чай перед открытым окном гостиной с видом на горы. Ну, а поскольку давно минуло время обеда, на стол были выставлены все яства, которые были в доме: пресная брынза, хлеб, мед и похожий на черное масло урбеч[16], и главное блюдо — традиционный мясной хинкал.

Мы, как того требует обычай, умылись с дороги и я, наконец, с удовольствием втянул крепкого чаю. Завязался разговор. Магомед говорил удивительно: ясно, аргументированно, четко, будто читал по книге, написанной хорошим автором. Через некоторое время я, слушая его, осознал, в каком месте происходит наше чаепитие. Прямо в окно, не вставая из-за стола, можно было увидеть на противоположном конце ущелья, на вершине одной из гор, крепость или развалины крепости. Это укрепление было выстроено еще во времена Кавказской войны по приказу Шамиля. Здесь двадцать лет спустя после его добровольной сдачи сражались до последнего против царских войск согратлинские повстанцы 1877 года, неудачно попытавшиеся вновь поднять на джихад вольные горские народы. Если же выйти на площадку над лестницей, то оттуда открывается вид на еще один памятник — посвященный разгрому в решающем сражении почти невероятного по мощи врага — персидского шаха Надир-кули. И все это сражение можно было нарисовать пальцем или взглядом прямо на склоне горы, видной с Магомедова «балкона». Чтобы русский читатель мог лучше представить себе, в каких обстоятельствах происходило наше чаепитие, нужно вообразить себе площадку, с одной стороны которой было бы видно Куликово поле, а с другой стороны — поле Бородинское. То есть места, где в полной мере проявился неукротимый дух и мужество народа.

— Вам, наверное, известно, — продолжал меж тем Магомед, — что Надир-шах — он был политическим деятелем и государственным строителем такого масштаба...

Если поставить на стол хорошо округлившуюся тыкву и положить рядом маковое зернышко — то будет проще представить «масштаб соответствия» тогдашней Персии и Андалала. И хотя Надир-шах поперхнулся-таки этим зерном на склоне горы, видной, как на ладони, и андалальскому обществу действительно принадлежит в этой победе выдающаяся роль, я позволю себе сделать о шахе Надире несколько замечаний, помимо тех, что сделал Магомед во время своего рассказа.

Надир-шах был из той породы благодетелей человечества, которых принято называть «завоевателями». Причем завоевать он хотел ни много ни мало, а весь мир. А это, извините за прямоту, диагноз. Правда, в представлении шаха Надира «весь мир» означал *изнутри Персии* примерно то же, что это сочетание слов значило для Кира, Ксеркса, Дария I и других воинственных персидских владык античного времени, для которых существовали довольно четко очерченные края Ойкумены: Малая Азия, Средняя Азия, Закавказье, Афганистан, Индия. Единственное новшество было, пожалуй, в том, что шах Надир дипломатическими усилиями добился выгодного мира с Россией, по которому она в 1735 году вывела свои войска с прикаспийских земель, отдав Баку и Дербент во власть Персии. Он желал владеть Каспийским морем (чего до него не добивался ни один завоеватель) и пригласил англичан для постройки на Каспии военного флота. Это почти наверняка привело бы его к столкновению с Россией, но он был настолько самоуверен, что думал, что без труда заберет у нее по крайней мере один нужный ему город — Астрахань. Во всем остальном он действовал стереотипно: в 1733 и 1735 годах наголову разбил турок, принудив их к возвращению всех прежде завоеванных у Персии провинций, включая Азербайджан; в 1737 году вторгся в Афганистан и разметал афганцев, считавшихся «непобедимыми». Из них же составил он ядро своего непобедимого войска, с помощью которого с примерной жестокостью усмирил восставший было Дербент, задавленный шахскими податями. Говорят, что у оставшихся в живых мятежников он повелел вырвать в назидание один глаз, сто семей из мятежного города он выслал в глубь Персии и собирался вовсе заменить население города на более благонадежное. Но завоевателю, решившемуся покорить весь мир, надо было выбирать, что делать: рвать глаза мятежникам или строить империю, не имеющую себе равных. В 1738 году Надир-шах через Герат вошел в Индию и наголову разбил войско Великих Моголов. Когда в Дели начался мятеж, он просто велел своему войску, не отвлекаясь на такие мелочи, как глаза, вырезать 200 000 его жителей. Из Индии он привез несметные сокровища, в том числе знаменитый «Павлиний трон», для которого самое время было построить подходящий дворец в любимой им крепости Келат.

В 1740 году настал черед Средней Азии. Бухарский эмир сразу уступил Надир-шаху земли до Амударьи и выдал свою дочь за его племянника; хивинский хан, не пожелавший сдаться, несмотря на яростное сопротивление, был разбит, и на его место посажен был брат рассудительного бухарского эмира. Таким образом пазл, издавна известный завоевателям как «Весь мир», был собран за какие-нибудь семь лет. Но что это была за империя? Все вновь приобретенные провинции кипели восстаниями. Вновь вспыхнул мятеж в Дербенте. Чтобы усмирить его, и усмирить примерно, шах отправил к стенам древнего города тридцатидвухтысячную армию под руководством своего брата Ибрагим-хана. Из похода вернулось едва ли восемь тысяч человек... И тогда Надир-шах решил сам возглавить карательную экспедицию в Дагестан. В истории «повелителей мира» часто обнаруживается роковая ошибка, роковой шаг — вместо запада — на восток, вместо востока — на запад; чудовищные силы собираются на второстепенных, стратегически не значимых направлениях. Нет сомнения, что, встав во главе своего войска, шах Надир вновь взял бы Дербент, чтобы избавиться от смуты в государстве. Но разве для этого нужно было стотысячное войско? Эта громада не могла уместиться в городе между двух стен, она физически переполняла его, как тесто, перла во все стороны и растекалась по окрестностям. Кроме того, войско, собранное для похода и для резни, требует похода и резни, и, повинуясь этому порыву, повинуясь запаху свежей крови, доводившему его до помра-

чения ума, Надир совершил роковую ошибку: он переступил дербентскую стену и ступил в Дагестан. Первый же шаг в горы Табасарана был грозным предупреждением: несмотря на то, что силы Повелителя мира и табасаранцев никак нельзя было соизмерить, кровавая битва, в которой никто не мог одержать верх, продолжалась три дня, и сам Надир-шах только поражался «мужеству и жажде к победе» первого же повстречавшегося на его пути горского племени. Через несколько дней табасаранцы вновь подстерегли войско шаха и, укрепившись на вершинах гор, так осыпали его стрелами, что за два часа восемнадцать тысяч персов покинули этот беспокойный мир, и армия вынуждена была отступить. Узнав об этом, Надир-шах пришел в такую ярость, что велел сбросить с горы командующего армией и еще четырех пятисотников. Когда к началу сентября 1741 года Надир-шах прорубил себе путь на территорию Андалала, в этой немыслимой резне с горцами уже был сокрушен главный противник — лакский Сухрай-хан. И хотя сыновья Сухрай-хана были отправлены за помощью на север, в Хунзах, откуда была родом их мать, с письмами к вольным горским обществам, их отец, Сухрай-хан, ехал при шахе уже в качестве пленника.

Согратлинцы получили от Надир-шаха грозное письмо, в котором тот давал андалальцам три дня, чтобы изъявить покорность и прислать к нему в лагерь аманатов (почетных заложников). Вместе с письмом посланниками шаха был доставлен мешок пшена, что на символическом языке должно было показать количество воинов, готовых, как поток зерна, затопить Андалал...

Магомет пьет чай и с каждым словом все больше воодушевляется, вспоминая безупречность поведения предков, как будто и сам был среди них.

— Получив это письмо, кадий Андалала Пир-Мухаммад созвал военный совет представителей каждого селения и сначала поставил вопрос: дать отпор или сдаться на милость врага? Конечно, все ответили: мы даем отпор. Будем биться до конца. Немедленно снарядили гонцов во все стороны, чтобы все, кто могли, присоединялись к андалальцам. И написали ответ. Три слова и всего шесть букв: «ин ва ин» — это означало — «или-или». Если Всевышнему будет угодна наша победа — мы победим. А если Всевышнему будет угодна ваша победа — победите вы. Что будет — неизвестно. Но в ответ на ваше пшено мы посылаем специально ощипанного петуха: пшено может выклевать и этот петух, это для нас не проблема. Повсюду были посланы послы, это был крик помощи: сегодня, мол, мы, а завтра — если мы не выступим общими усилиями — будете вы. Враг силен. Надир-шах ведь имел здесь шестидесятитысячную армию.

— А сколько мог выставить Андалал?

— Андалал мог выставить пять-шесть тысяч воинов, и то, если бы половина набиралась конных, то это было бы хорошо. Я имею в виду всех мужчин от пятнадцати до пятидесяти лет. Первыми пришли на помощь соседи — ныне Чародинский район, мы называем его вольное общество «Королал». Сразу оно приступило. Кадий был уже в военных доспехах. Важно было не дать врагу использовать конницу, не дать врагу использовать артиллерию. Поэтому, сохранив при себе личную гвардию, кадий разбил всю свою армию и армию всех, кто приходил на помощь, на мелкие мобильные отряды. Давал им свободу действий с одним предписанием: нападать со всех сторон. Вы же были у плотины, где Гунибская ГЭС? Так театр военных действий начинался в этом ущелье и доходил до границ соседнего ханства. И всем ополчениям ставилась такая задача: воевать наскоками, постоянно наносить удары врагу и тут же отходить. Распылять, раздергивать армию Надир-шаха. Это была главная тактика, выработанная Пир-Мухаммадом. Он прекрасно понимал основную причину поражения Сухрай-хана: тот позволил Надир-шаху сразиться лоб в лоб. В народной песне Дагестана есть такие слова: «Самый богатый правитель Дагестана Сухрай-хан смог выдержать только до полудня...». Если такой сильнейший правитель выдержал в сражении с Надир-шахом до полудня, то андалальцы в лобовом бою смогли бы выдержать в лучшем случае полчаса. Были разные военные хитрости. Женщинам было приказано ходить по кручам, по скрытным таким склонам, а оттуда спускаться с ишаками, рассыпать золу, песок так, чтобы шах думал, что к андалальцам приходят все новые и новые подкрепления...

Меж тем один за другим отряды Надир-шаха попадали в ловушки. Самую крупную победу одержали горцы в Аймакинском ущелье: отряд Надир-шаха с трех сторон окружали скалы, с четвертой — войска мехтулинского хана и хунзахского нуцала. Не имея возможности развернуться и выстроиться в подобие боевого порядка, прославленные и непобедимые воины Надир-шаха в сумятице давили друг друга, а горцы просто резали их как баранов.

Другая засада — и от четырехтысячного отряда уцелело едва пятьсот человек. Еще одна — шестьсот из шести тысяч.

Мы вышли на «балкон», откуда виден был монумент в честь победы над Надир-шахом.

— А что же произошло на этом склоне? — спросил я. — Когда-то ведь горцы должны были встретиться с Надир-шахом в решающей битве?

— Вот эта вот скала, видите? Чуть выше, там, где темная осыпь, был шатер Надир-шаха. И вместе с лакским Сухрай-ханом они оттуда наблюдали. По преданию, двое богатырей на речке сначала бились, наш воин вырвал у врага сердце, разрезал, пустил кровь в реку — и это было доброе предзнаменование...

Главной задачей андалальцев было не дать шаху Надиру использовать конницу, тяжелую пехоту, артиллерию — то, в чем имел он преимущество. Надо было их заманить в пересеченную местность, так, чтобы конница не могла действовать...

Но ослепленный гневом Надир-шах уже двинул вперед свое войско. Огромной лавиной оно скатилось на место, где сейчас построен мемориал. Там изначально стояло объединенное войско дагестанцев. Но когда эта лавина достигла этого ровного, словно специально предназначенного для битвы места, там не оказалось никого. И тут же со всех сторон из-за скал, из ущелий на войско Надира напали горцы. Со всех сторон напали! И строй непобедимой армии был сломан. Никто в персидском войске не понимал, что происходит. Так тактика Пир-Мухаммада победила огромную армию Надир-шаха. Тактика постоянной войны...

Поражение было чудовищным.

За Кумадагским перевалом арьергард Надир-шаха настиг сын Сухрай-хана Муртаза-Али-бек и нанес ему последний удар. В результате Надир-шах вернулся в Дербент с третью войска, лишившись казны, артиллерии и тридцати трех тысяч верблюдов и лошадей.

Разумеется, Надир-шах, властелин «всего мира», был не из тех, кто прощает такие обиды. Он сделал Дербент своей резиденцией, построил дворец в цитадели Нарым-Кала, собрал новую армию, разместив ее в военном лагере под городом, и отсюда стал посылать военные экспедиции в Кайтаг, Табасаран, Аварию и другие области Дагестана. Жестокость развилась в нем неправдоподобно: он заподозрил своего старшего сына в подготовке заговора против него и лично выколол ему глаза. Раскаяние и упреки совести довели Надира до умоисступления. Но он не умел побороть эти состояния почти буквального помешательства, ибо был целиком объят скорлупой зла: ничего другого он не видывал и сам не умел поступать иначе. «В отместку» за ослепленного сына он велел казнить пятьдесят ближайших придворных («недоглядели»!»). Взбунтовавшиеся города он вырезал до последнего человека, так что, заслышав о приближении Надир-шаха, все жители заранее бежали в горы. Жадность и мелочность шаха во взыскании налогов не знали равных себе. Он обозлил не только завоеванные окраины мира, но и собственно Персию. Его стали ненавидеть.

Закончилось тем, что в 1745 году во время очередного похода в Дагестан он был наголову разбит на прикаспийской равнине уцмием Кайтага Ахмед-ханом при участии сильного отряда табасаранцев, которые ничего не забыли и не простили ему.

Потерпевший невиданное поражение шах, своею жестокостью внушавший только ужас, больше не был нужен и в 1747-м был убит в результате заговора, составленного его племянником...

IX. Уроки свободы

Пора было возвращаться в Гуниб. У меня и так голова совершенно раскалывалась от объема поглощенной информации. Магомед действительно оказался блистательным знатоком старины. Расшифровки наших с ним разговоров за один этот день по возвращении моем из Дагестана заняли несколько дней — а ведь мне еще предстояло расспросить Ахмеда про современное Согратлинское общество. И все же, несмотря на усталость, я настолько был поражен Согратлем, что не мог отказаться от последнего козырного пункта нашей программы — посещения музея, хранителем и собирателем которого был Магомед.

Мы отправились осматривать селение.

— Есть множество версий происхождения названия «Согратль», — рассказывал Магомед. — Одна из них связана с арабским словом «сугур» — «поселение на утесах». Есть и другой вариант, выводимый из арабского — «приграничное селение», но наиболее вероятен третий: от аварского названия домотканого сукна — «сугур» — которым в XVII—XVIII веках славился Согратль. Существовал рынок этого сукна — здесь его производили, здесь его и продавали в розницу. Так что «Согратль» (это русская транскрипция) в любом случае происходит от слова «сугур»...

В Магомеде мне сразу понравилась глубина в проработке любого вопроса.

В одном месте он остановился и постучал палкой по стене дома.

— А вот это следы огня...

Выходит, я не ошибся, посчитав черные тени на желтых камнях зданий «подпалинами».

— После восстания 1877 года старый Согратль был полностью сожжен и разрушен и потом заново отстроен на новом месте, чуть в стороне. При постройке использовали и обожженный огнем камень, который остался достаточно крепок. Так что нынешнему Согратлю не так уж много лет...

Теперь я понял, почему мечеть на центральной площади показалась мне «перестроенной»: она ведь и возведена была всего чуть больше ста лет назад.

Я шел, глядя по сторонам со смутным чувством вины, будто причастен к трагедии, которая произошла здесь в 1877-м и о которой непрестанно напоминает крепость на северном склоне горы, парящая над Согратлем.

Но какой был смысл выступать через одиннадцать лет после того, как сам Шамиль признал борьбу проигранной? По логике здравого смысла — никакого. Восстание было заранее обречено на поражение, у него не было предводителя (в конце концов, согратлинец Гази Магомед, избранный четвертым имамом Дагестана и Чечни, был просто ученый-богослов); повстанцы хотели иметь во главе авторитетного человека, а уж потом придать ему полководца. К выступлению готовились больше пятисот селений, но выступил только Согратль[18] — и сразу угодил под картечь экспедиционного корпуса М.Т.Лорис-Меликова, который за одержанную победу получил от Александра II пост министра внутренних дел.

Но согратлинцы далеко не всегда руководствовались логикой здравого смысла, которая так часто заводит «здравомыслящих» в настоящую погибель соглашательства и приспособленчества. Нет, в своих убеждениях они шли до конца. Это помогало им, по крайней мере, ясно осознать свой выбор. За который они со всей прямотой готовы были заплатить жизнью. Один пример поможет яснее понять это. Недалеко от Согратля есть «кладбище дураков». Оно расположено особняком от основного сельского погоста. И с середины XIX века могил на нем не прибавилось: их как было, так и осталось двенадцать. А дело вышло вот какое: когда Шамиль был избран имамом Дагестана и Чечни и стал создавать подобие государства с наместниками (наибами), налогами и тому подобным, часть согратлинцев решила выступить против Шамиля. Не потому, что они хотели помочь русским. И не потому, что они отказывались признать в Шамиле верховного духовного и военного вождя. Они отказывались признать в нем *главу государства,* который благодаря одному лишь волшебному слову — «государство» — получал возможность командовать ими. Они — настоящие анархис-

ты — стояли за извечную свободу Андалала. Они собрали отряд и выступили против Шамиля. И, естественно, потерпели поражение. Оставшиеся в живых привезли в Согратль трупы двенадцати убитых товарищей. И тут начался спор: хоронить их на сельском кладбище или нет? Одни говорили: конечно, они же мусульмане, отцы их похоронены тут... Другие отвечали: будь они мусульманами, не пошли бы воевать против имама...

Мало кто понял, что они вышли сражаться не против имама, а за свою свободу, которую с тех пор, как их зарыли в землю, Согратль утратил навсегда.

И тогда у меня вопрос: а были ли дураки дураками?

Сейчас, когда с позиций «здравого смысла» оправдывается все что угодно, не пора ли с благодарностью вспомнить этих храбрых людей с чистой детской душой, подобных которым в наш век уже не бывает, и сказать им «спасибо» просто за то, что они были. Да здравствуют дураки, мысль которых так же чиста, как и их отвага! Слава дуракам, отрицающим «здравый смысл» во всем его свинцовом величии! Да хранит Господь безумцев мира сего...

Пока мы шли по улицам, я заметил, что городок почти пуст. Некоторые дома как будто погрузились в сон: не было сомнения, что внутри они все еще хранят уют для уехавших куда-то хозяев, но не было уверенности, что сами хозяева оценят эту застывшую верность. Сколько ни слышал я разговоров о возвращении в Согратль, как в своего рода потерянный рай — а об этом говорил и Али, и Ахмед, — увы, было ясно, как глубоко втянуты они в город, как нелегко, на самом деле, будет им вернуться, даже если они действительно захотят...

— Чем сейчас живут люди в Согратле? — спросил я.

— Заняться почти нечем, — грустно произнес Магомет.

— А сельское хозяйство?

— Хозяйств пять или шесть еще держат коров, овец для продажи. А остальные — уходят на заработки, перебиваются сезонными работами, тем и живут...

— Сколько же семей здесь осталось — пятьсот, шестьсот?

— Шестисот не наберется. Меньше! Более тысячи семей сейчас в Махачкале. Тридцать шесть — в Москве. Мы начали возрождение Согратлинского общества с того, что посчитали, сколько нас, согратлинцев.

— Ну, и сколько?

— Получается, тысяч шесть. Когда-то, — Магомед выводит разговор в более оптимистическое русло, — в Согратле каждый клочок земли был на учете. При этом Андалальское общество считало, что среди сельчан не должно быть бедных. За счет вакуфа (общественных пожертвований) они построили тридцать домов с хозяйственными постройками в долине, где хорошие земли, пастбища, сенокосы, пашни. И что сделали? Образовали комиссию из числа авторитетных общинников, выбрали тридцать семей, которые жили беднее других, отдали им эти земли, а они обязались обрабатывать их, обогащаться, стать на ноги. Общинные земли давали на пять лет. Пять овцематок давали бесплатно и корову в ссуду. И эти люди трудились. По истечении пяти лет та же комиссия ходила и проверяла: стали они на ноги или нет? Если старались, но не смогли — их оставляли на второй срок. А если они по лени или по другим причинам не встали — их возвращали обратно. На их место следующие бедные семьи посылались туда. Вот так вот через каждые пять лет происходила смена: общество заботилось о неимущих за счет общинных средств. Многие из них встали на ноги. В основном согратлинцы были середняками. Среди них не было бедняков... А если попадались неисправимые, то их содержала община...

Внезапно Магомед остановился и поковырял палкой вымощенную камнем мостовую, в одном месте изрядно подрасшатавшуюся.

— А вот это обязаны были мостить хозяева близлежащих домов.

— Но я это мостил, — попытался оправдаться Ахмед.

— И как считаешь — хорошо?

Внезапно все вместе мы начинаем смеяться...

Интересно, что даже после революции здесь, в Согратле, долго сохранялись принципы самоуправления. Не принято было просить что бы то ни было у государ-

ства. Понадобился мост — сами и построили «методом народной стройки»; тем же методом построили школу, минарет мечети...

В первом зале музея, разместившегося, как я понял, в нескольких классных комнатах, выходящих в общий коридор, — металлические шкафы с древними книгами на арабском. Несколько грамматик арабского языка, поэтические сборники, сочинение по стихосложению, астрономии, мусульманскому праву, суфизму... Отдельно в череде наук надо поставить логику. Согратлинцы ревностно следили за правильностью построения мысли и выводов из исходных предпосылок. Махди Мухаммад (умер в 1837 году), признанный специалист по древнегреческой философии, оставил два сочинения по аристотелевой логике: «Рисалат фи-л-мантик» («Послание по логике») и «Рисалат ат-тахлис фи шараф ал-мантик» («Исследования о достоинствах логики»). Разумеется, никакого понятия о более современных и парадоксальных логиках, связанных с именами Бейеса (1702—1761) и Геделя (1906—1978), совершившими в науке о мышлении настоящий переворот, никто тут не имел ни малейшего понятия, с чем мне пришлось считаться, когда я через несколько месяцев приехал в Согратль и позволил себе немного поспорить с Магомедом[19].

Зато нетрудно представить себе, что здесь процветали науки, традиционно укорененные в арабском мире, — комментарии к Корану, догматика, мусульманское, семейное и земельное право, математика, докоперниковская астрономия с Землею в центре мироздания. В Согратле было несколько медресе, одним из них руководил Шафи-Хаджи, окончивший самое престижное в мусульманском мире учебное заведение Ал-Азахр в Египте. В медресе Согратля ежегодно училось сто пятьдесят-двести человек, приезжавших со всего Дагестана...

— Когда я учился в институте, — с горечью произнес Магомед, — один человек предложил мне на год бросить это дело. Взять академический отпуск и помочь ему разобраться с книгами. У него было несколько тысяч рукописных книг. И, между прочим, письмо Надир-шаха, которое тот прислал когда-то в Согратль...

— И что же? — нетерпеливо вскрикнул я.

— Тогда я был молод и глуп, — сокрушенно сказал Магомед. — И я отказался. В 1975 году он умер, отдав нам свою библиотеку, но письма Надир-шаха среди переданных книг не было... А сын... Он занимается совсем другими вещами, и даже если это письмо попадет к нему в руки, он просто ничего не поймет... Правда, здесь у пятишести человек есть еще коллекции. У нас не самая богатая. Но, к сожалению, нет специалистов, которые могли бы систематизировать, оцифровать все это.

Как самые ценные экспонаты заперты в металлических шкафах: ржавая монгольская сабля, однозарядное ружье горца образца 1850 года, шпага... А далее — думал, запомню, но не запомнил — всю эту удивительную утварь цивилизации натурального хозяйства: различную, на все виды погоды, обувь, сапоги, черкески с мерками для пороха и молотильные доски (в точности такие же я видел на юге Франции, где хлеб обмолачивают не цепами, а широченной доской, снизу утыканной мелкими речными камешками: лошадь или осел возит доску взад-вперед по колосьям и так обмолачивает зерно). Утюги. Часы. Кусок складня со сценами из жизни двенадцати апостолов. Даже бумагу делали в Согратле, хотя и рыхловатую; видимо, пресс был слабый...

А вот экспонаты поинтереснее: астрономический прибор — простой отвес, по которому любой человек, не поленившись и произведя нехитрые вычисления, мог определить свои координаты по отношению к Солнцу...

Лампы-чирахи — не такие крупные, как в Азербайджане, но все же безусловно узнаваемые...

— Нефть доставляли сюда на арбах, запряженных быками... Поначалу, разумеется, она использовалась только для освещения, но потом, — возвышает голос Магомед, желая быть услышанным, — один согратлинец, работавший на бакинских нефтяных промыслах, доставил сюда оборудование для небольшой электростанции. Вы не заметили при въезде дом на скале? Это она и есть. Так что в начале XX века в Согратле уже было электрическое освещение...

А вот привет из 30-х годов: трест РАЙТОРГ ТАБАККО. Его согратлинцы полнос-

тью обеспечивали табаком. Делали ножницы для стрижки овец, которые до сих пор еще можно обнаружить где-нибудь в Монголии. Согратлинский сугур — домотканое сукно. Образец грубоват, но не грубее русского холста. А была гораздо более тонкая, мягкая, по-своему изящная выделка.

Далее целая выставка женской одежды, обуви...

— Подошва-то из чего?

— Из кожи... Когда к нам приезжала обозреватель «Новой газеты», Вика ее звали...

Я затаился, предчувствуя неизбежное: Вика уже побывала тут до меня, но почему-то ничего не написала про Согратль.

— Ивлева?

— Ивлева!

— Это моя подруга.

— Мы с ней целые сутки спорили... Она все спрашивала: как согратлинцы могли создать такую цивилизацию?

— Ей трудно понять, — сказал я. — Вика — горожанка. А у меня бабушка была из крестьянской семьи и для меня во всей этой утвари, кроме отвеса, извините, нет ничего ни необычного, ни даже неожиданного. Такая же резьба по дереву, половники деревянные, дуршлаги, шкафчики вот такие же и прялки, и мялки, ткани разные — всего было в достатке.

— Я показывал ей утюги, отлитые здесь, в горах. Люди нуждались в утюгах — эти вот «дикари». Или полудикари, как ты говоришь... (Я не говорил. Вика, что ли, говорила?) Но во что она так и не смогла поверить, так это в то, что в Согратле был свой водопровод. А это не так уж сложно сделать: наши мастера-каменотесы сооружали трубы из бревен: сверлили, соединяли между собой и два километра длиной провели водовод...

Можно было, вероятно, не один час еще бродить по музею, но тут я увидел, что называется, «свой» экспонат. Это была здоровенная, очищенная от коры дубина с тяжелым концом, напоминающая какое-то первобытное оружие.

— А! — возликовал Магомед. — Эта штука действительно производит грозное впечатление, да и те, кому приходилось иметь с нею дело, вряд ли бывали рады. Это — «палица позора». Если человек набедокурил, избил жену, подрался, выпил и вышел на общество, куражился — ему такую вешали над входом в дом, а не били ей по лбу. Награждал этой палицей совет старейшин. По всем улицам села двенадцать старейшин ходили и оповещали всех: мы идем награждать этой палицей такого-то человека. Обычно рядом бежала ватага детей, провинившемуся вручали эту палицу и обязывали повесить ее на самом видном месте дома. И он не имел право ее снять, пока тот же совет не выносил оправдательный вердикт...

Выцветшая фотография: руководители восстания 1877 года. Они в кандалах. Цепи. Тринадцать человек из них решением гунибского военно-полевого суда были казнены через повешение. В их числе и четвертый имам Дагестана и Чечни, согратлинец Гази Магомед. А остальные были сосланы в ссылку во внутренние губернии России. Только через четыре года, в честь коронации императора Александра III, вышла амнистия, и те, кто не умерли от сурового климата Вятской губернии, были отпущены.

И тут же — герои Согратля советского периода. Долбоев Магомет Омарович — испытатель образцовой авиационно-космической техники — герой соцтруда. Долбоев Тагиб Омарович — и поныне летчик-испытатель авиационной техники. Дядя Али — Камир Магомедов, — ставший героем труда за то, что в годы войны обеспечивал Красную Армию лошадьми...

Как сложно переплетено все в Согратле! Как измучена незаживающими ранами память, как контрастируют в сознании свет и тени, как величественно прошлое Андалала, как печален его закат...

— Вика все спрашивала, когда мы сидели ночью, — словно поймал мою мысль Магомед, — почему чохцы — государственники, а согратлинцы, в моем лице, не

государственники? Она говорила: я вижу, что вы не любите Россию, а они, говорит, любят... А между вами — всего девять километров. Я ей ответил: за одну ночь в 1841 году двадцать чохцев получили офицерские звания, с соответствующими последствиями: жалованьем, возможностью учиться в военных корпусах и высших учебных заведениях, жить в любых городах империи... А мы, говорю, вот что получили: сожженное селение и фотографии людей, которых убили... Составьте собственное мнение, скажите, как мы должны относиться к тому, что делала и делает для нас Россия?

— Магомед, — сказал я. — Давайте оставим в покое прошлое. Что такого плохого сделала для вас Россия сегодня?

— Ну, я так и знал! — горестно воскликнул Магомед. — Не хотелось говорить на эту тему. Но раз вопрос задан, я должен на него ответить, ведь так? Пусть Ахмед расскажет, что здесь творилось после принятия закона против ваххабизма. Обыски, доносы, списки, аресты... И что характерно: здесь поблизости нет ни одного человека с оружием. Человек с оружием — мой враг. Но постоянно дергать человека за то, что он Богу молится? Или, может быть, он неправильно молится, а они знают — как правильно? И потом: что им сделал ваххабизм? Ваххабитов называют «пуритане в исламе». Помните пуританское движение в английской буржуазной революции? А «пуританин», как ты, наверное, знаешь, — от слова «pure» — «чистый»...

Я знал, что Магомед представил ваххабизм в необычайно розовом свете, оставив в стороне ту оторопь, которую явление ваххабитов вызвало с самого начала в исламском мире, и те усилия, которые исламский мир предпринял, чтобы преодолеть это отнюдь не единственное претендующее на чистоту ислама движение. Но тут уж было не до ваххабизма. Магомед полюбился мне: давно не видел я людей столь бескорыстных, прямых и при этом неравнодушных, наделенных большой нравственной силой.

Чуяло сердце, давно пора было уезжать. Я никак не ожидал, что мои симпатии обратятся к человеку, который называет себя ваххабитом. Но тут уж, как говорится, выбирать не приходилось. Раз уж ваххабит пришелся мне по сердцу — ничего с этим не поделаешь. На языке аристотелевой логики этот силлогизм содержал в себе неразрешимое противоречие. Но сложная система неполна, если она не противоречива. А что может быть сложнее честных человеческих взаимоотношений? Что может быть сложнее попыток понять друг друга? Разумеется, я понимал, что Магомед — типичный согратлинский интеллектуал, потомок здешних богословов и догматиков. А реальные экстремисты ислама — они не из породы ученых. Зато у них есть другие аргументы. Интересно, автомат Калашникова — достаточно ли он «чист» для исламского пуританина?

— Я схожу, подгоню машину, — сказал Ахмед, который (надо отдать ему должное) практически на целый день самоустранился из нашего общения, давая мне время немного войти в тему.

На Согратль спускались сумерки.

Удаляющийся звук шагов по мощеной камнем улице походил на ритм разминающегося танцора-чечеточника.

— Я тебе скажу, Василий, почему нас, согратлинцев, называют ваххабитами. Потому что мы в основном не идем на поводу у властей, мы не кричим «ура» по всякому поводу. Имеем свое собственное мнение обо всем происходящем. Тебе, наверное, Али и Ахмед говорили, что существует согратлинский общественный совет. Это наш парламент, и все наши проблемы решаются в нем. Разумеется, есть официальный глава администрации района и другие люди, которые наделены государственной властью. И им может не понравиться, что мы обращаемся в совет, а не к ним. Нас называют ваххабитами только потому, что мы в этом государстве не являемся послушным стадом... Вот скажи: обязан ли я любить, допустим, Путина?

— Нет...

— Нет, конечно. Обязан ли я любить президента Дагестана? Нет, конечно.

— Я тоже.

— И я не пойду за ним. Другое дело, я не имею возможности противостоять его

политике. Я вынужден подчиняться силе, да. Но хотя бы словесно, хотя бы в душе я имею право быть не согласным с этой политикой.

Я все-таки набрался духу, чтобы возразить:

— Вы не согласны по-своему, а молодежь — по-своему. Не боитесь, что террор связан как раз с таким несогласием, которое не знает другого выхода, кроме насилия?

— Если вы так боитесь инакомыслия — истребите всех несогласных. Но я тебе скажу вот что: благодаря деятельности Согратлинского общества из нашего селения ни один человек не уходит в лес с оружием в руках. Потому что мы стараемся решить свои проблемы сами, своими силами. И если у кого-то из молодых людей есть проблемы, мы их поддержим, чтобы они не пошли в лес. Из нашего селения ни одного человека там нет. Такое самоуправление, конечно, властям не нравится. Наших представителей несколько раз принимал предыдущий президент Дагестана. Несколько раз — нынешний. Они чувствуют добро, которое делает наше общество. Знают, что оно держит под контролем всех согратлинцев — а нас более шести тысяч человек. Но в то же время власти считают, что за нами нужен глаз да глаз... Вот поэтому нас называют «ваххабитами»: им удобнее, чтобы за нами что-нибудь да было. Другого языка они не знают. Они демократической формы правления не знают. И боятся ее.

X. Почти позабытая мечта

Было уже темно, когда мы въехали в Гуниб. По-моему, Ахмед, как и я, тоже невероятно устал, но не подавал виду.

Гуниб после пленения Шамиля был полностью разрушен. В этом они побратимы — Гуниб и Согратль. Только гунибцев еще и выселили в другие районы, не дали отстроить село, *вырвали с корнем*. Поэтому то селение, что существует сейчас, — не более чем заново отстроенная декорация к драматическим событиям прошлого. Верхний Гуниб — обширное плато на северном отроге хребта Нукатль, со всех сторон окруженное каньонами притоков Каракойсу и отороченное, словно крепостной стеной, естественными, порой совершенно отвесными, склонами. Помню, что в одном месте мы ехали по дороге, настеленной на рельсы, глубоко внизанные в горный склон. Когда этой дороги не существовало, Верхний Гуниб, куда русские войска загнали Шамиля с пятьюстами мюридами, был фактически неприступен. Но солдаты уже так долго воевали в горах, что по сноровке не уступали горцам, и когда на предложение сдаться Шамиль ответил отказом, Ширванский и Апшеронский полки пошли на штурм, пробираясь наверх по проточенным водой руслам и трещинам одновременно, прикрываемые непрерывным ружейным и артиллерийским огнем.

Если бы в пленении имама была бы допущена хоть одна неточность — здесь я говорю уже не о военном просчете, а скорее о нравственной безупречности церемонии, — это место навсегда осталось бы незаживающей раной. Но главнокомандующий Кавказской армией Барятинский принял сдачу имама, великолепно зная кавказский этикет. Главное — он ни на секунду не позволил себе относиться к шестидесятитрехлетнему имаму как к побежденному. Шамилю было оставлено оружие. В противном случае, как потом говорил сам Шамиль, он готов был немедленно заколоть себя на глазах у русских. Сдавшихся мюридов распустили по домам, не пытаясь задержать их или «взять в плен», а Шамиля с семьей, сопровождаемого конвоем и почетным эскортом, доставили в Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск), откуда он проследовал до городка Чугуева (в Харьковской губернии). Сюда навстречу ему выехал император Александр II. Встреча произошла 15 сентября, когда царь проводил смотр войскам.

— Я очень рад, что ты, наконец, в России; жалею, что этого не случилось ранее. Обещаю, что ты не будешь раскаиваться, — произнес император и, как свидетельствуют очевидцы, обнял и поцеловал Шамиля.

По сути, это был единственный способ «разблокировать» психологически невы-

носимую ситуацию и отправить своеобразное послание народам Дагестана, которое можно интерпретировать, например, так: вы храбро сражались, геройство ваше оценено высоко, теперь пришла пора замириться, быть с Россией, в чем вам не придется раскаиваться...

Если бы сегодня кто-нибудь мог произнести такие слова! Только кто? Кто сегодня обладает внутренним правом на это? Мы все так запятнаны, начиная с чеченской войны, что речь можно вести только об очищении. Мы причинили столько зла друг другу, что для дальнейшего сосуществования вместе, в рамках одного государства, одного исторического проекта, — покаяние необходимо. Понимает ли кто меня? Покаяние и очищение — дело свободного выбора, всю Россию каяться не заставишь — а по правде сказать, это и бесполезно будет, и срамно — как очередное «государственное мероприятие». Очищение — путь человека, желающего оставаться свободным, человека с живой душой...

Мы взбираемся над Гунибом все выше и выше. Повороты на горной дороге ночью кажутся фрагментами какой-то компьютерной игры, когда надо резко отвернуть от внезапно возникшей на пути стенки... Дом Ахмеда, купленный пополам с другом, оказывается на самом краю скупо застроенной немощеной улицы, у темной границы то ли леса, то ли парка, раскинувшегося под звездным небом.

Едва мы остановили машину, прибежали две собаки, большие, толстые...

— Просят меня дать им поесть... Я им обычно обрезки мяса привожу, а тут забыл...

— А может, дать им хлеба?

Я стал крошить хлеб, одна собака только обнюхала его, но есть не стала, другая подобрала и с аппетитом съела несколько кусков.

— Этот, большой, ее гоняет, поэтому она и голодная, — пояснил Ахмед.

Мы внесли вещи в дом. Было довольно прохладно.

— АГВ не работает, — сказал Ахмед. — Но спать можно и под двумя одеялами.

Я растопил камин в гостиной, где мы решили накрыть стол для трапезы, поскольку тут же находился и телевизор: хоккейный матч Россия—Швеция должен был поставить точку в финале этого бесконечного дня.

— Ну, что тебе рассказать про Согратлинское общество? — вздохнул Ахмед, заметив, что я достал диктофон.

— Только самое главное. Магомед мне кое-что уже рассказал.

— Не удержался, — улыбнулся Ахмед. — Ну, тогда что же? Эта организация не выдумана, не назначена чиновниками, она существует по инициативе жителей селения, Согратля. Чтобы не было наркомании, чтобы не было преступности, чтобы не было «лесных», чтобы не было агрессивных действий — мы организовались. Цель общества, так же как когда-то Андалала, — забота о гражданах своих. Ничего более демократичного сейчас не может быть. Председатель, то есть я, доступен всем — руководителям, депутатам, рабочему, инженеру, студенту — не важно, кому. Любой важный вопрос любого человека, его боль — обсуждается. И мы совместно решаем, как ему помочь. Вот и все.

Я почувствовал сильное волнение. Пойми, читатель, я — представитель своего поколения рожденных в 60-е, и вместе с ним переживший как самые радужные «демократические» надежды, так и самое черное разочарование. На политику я «забил» в 94-м, когда уровень общего безобразия в стране привел к тому, что разразилась чеченская война. Отгородиться от всего, связанного с политикой, уехать на северный остров и на протяжении десяти лет жить только им — иного выхода сохраниться как мыслящее существо я тогда для себя не видел. И тут вдруг — «Согратлинское общество»... Согратль... Не то эхо ацтекского языка, не то отголосок юношеской мечты о правде и достоинстве, о мужестве и свободе, которые неожиданно воплотились здесь, в Дагестане. Согратлинцам некуда было бежать от «проклятой политики». И они решили бороться... С чем? Надо разбираться. Я всей душой не хотел разбираться в политике. Потому что там, где начинается политика, — начинается опасность. Начинается грязь. Вообще черт знает что начинается! И я бы ни за что не

сунулся туда, если бы ни эта звездочка по имени Согратль, которая сквозь мутное небо *сегодня* мерцала мне отраженным светом надежд моего юношества. Нет, я не надеялся найти здесь свободу французских анархических коммун, после 68-го года нашедших свою экологическую нишу как раз в горах. Ислам несовместим с анархизмом. И свобода Андалала — она опиралась на свод законов весьма строгих и обязательных к исполнению. Но что тогда значит — «свобода»? Я знаю, читатель, это слово теперь так истерто и опошлено, что произносить его – уже непристойность. Но тут уж надо выбирать: либо забыть о свободе и согласиться с той ролью презренной черни, которую брезгливо отводит всем нам современное государство, либо — подступиться к этой теме чуть более серьезно, чем на заре туманной юности.

В годы Первой чеченской войны Дагестан вынужден был участвовать в экономической блокаде Чечни: из-за этого начался распад системных связей, которые «держали» экономику, и неизбежный развал всей системы хозяйства. Остро возросли безработица, нищета и изолированность сельских, в особенности горных районов от столицы — Махачкалы — где, напротив, набрали силу коррупционные и другие хищнические процессы обогащения. На произвол властей население, отреагировало попытками уйти в фантастическое убежище некоего неискаженного, изначального, справедливого ислама. Причем на этот раз — в его ригористически-суровой, средневековой форме, которую предлали ваххабиты. Подобный экстремальный духовный выбор по сути, есть последовательное отречение от власти, ее законов (или ее беззакония), отречения от ее лживой «политики», образования, и вообще, в широком смысле, от всех светских («западных») ценностей. Взамен — уход в исконные добродетели ислама и теократия вместо светского государства, оказавшегося и морально, и политически несостоятельным.

К началу Второй чеченской войны (1999) на территории Дагестана массовое исповедание ваххабизма — в противовес «официальному исламу», который мирно уживался с «неправедной» властью, стало очевидным. Тогда в Кадарском ущелье на территории республики при участии чеченских боевиков Шамиля Басаева была создана «отдельная исламская зона» под зеленым флагом, откуда была изгнана местная власть и милиция, установлены законы шариата, выставлены вооруженные блокпосты. Басаев обещал ввести свою бригаду в Дагестан, если против «Кадарской зоны» будут применены военные меры. И после того, как эти меры воспоследовали, он сдержал свое слово. Однако неожиданно вторжение в Дагестан в 1999-м обернулось для боевиков Басаева поражением в районе приграничного Ботлиха, где путь чеченцам преградили сами жители дагестанских аулов. Тогда население Дагестана, исповедующее мирный ваххабизм, не поддержало экстремистов, преследующих сепаратистские цели.

Но парламент Дагестана испугался и принял закон против ваххабизма. Таким образом силовые структуры, которые на территории России давно являются самостоятельными игроками на политической арене, получили, наконец, Дагестан «во владение». Немало неугодных (властям или просто криминальным кланам) было устранено под предлогом религиозного экстремизма. Начались рейды местной милиции и «федерального» спецназа в горы, когда одно селение за другим окружалось и затем «перетряхивалось» с ног до головы. Под видом ваххабитов задерживались все подозрительные, даже если единственным поводом для подозрений была мужская борода. Разумеется, практиковалось обычное издевательство над населением, над жилищем. Появились жертвы. Были и пытки. Ответы ваххабитов-активистов, отнюдь не чурающихся «грязной работы»[20], проходили под флагом «возмездия». О ситуации в Дагестане столица практически не была осведомлена. Только взрывы в самой Москве на время привлекли внимание московских СМИ, но результат этого внимания оказался скорее плачевный: страх и окончательное «замораживание» всех чувств россиян по отношению к Кавказу[21]. При этом осталось непонятным и нерасследованным, насколько различные теракты являлись экстремистской «самодеятельностью», а насколько — режиссурой более сложного порядка.

В 2011 году с приходом нового президента Магомедова закон против ваххабизма был отменен. Но механизм уже запустился: подполье существует. В него попрежнему уходит молодежь, тем более что многие теперь получили возможность

ездить на учебу в Саудовскую Аравию. «Лесные» открыто проповедуют идеологию джихада. Руки у всех развязаны. Сдерживающих факторов нет. Вся эта политическая кулинария напоминает приготовление кровавой отбивной. Полномочный представитель президента России на Северном Кавказе Хлопонин, получив в «управление» столь трудный регион, не придумал ничего лучшего, как охарактеризовать положение на вверенной ему территории, как «управляемый хаос», что было подхвачено разной сволочью, чтобы двумя словами объяснить всё: «исчезновение» бюджетных денег, насилие над населением, убийства неугодных, в том числе журналистов, видных исламоведов, шейхов суфийских духовных орденов, выступающих против насилия и т.д. В социальном плане Дагестан по-прежнему остается одной из самых бедных республик России (зарплаты в 5 или 3 тысячи рублей здесь — норма), в то же время правящая «верхушка» обладает миллиардными долларовыми состояниями.

Чтобы как-то разрешить эту тупиковую ситуацию, нужно, прежде всего, взять контроль над законностью. Это понимают все. Двадцать лет беззакония — это слишком даже для терпеливых дагестанцев! Или проще начать гражданскую войну внутри страны, чем обеспечить правопорядок? В таком случае Россия — гиблая страна. И мне непонятно, что это — обыкновенный (и обоюдный) идиотизм, когда «силовые генералы» полагают, что можно тут славно повоевать и получить большие звезды на погоны, не испозорившись перед Господом и перед всем миром, а «генералы леса» думают, возможно, что можно и победить, причем тем вернее, чем кровавее будут действия федералов? Или это дефект системы, не владеющей другими языками управления, кроме языка силы? Или военная тема проплачена извне? Мы ведь не знаем, что делается там, «под столом» большой политики. Политика — вещь беспринципная и беспощадная. Любые средства хороши, если они приводят к определенной цели. И если такая цель — война на Кавказе, то в принципе все равно, кому платить — силовикам или «лесу», лишь бы они действительно обеспечили побольше крови. Ситуация, когда выводы приходится строить «дедуктивным методом» Шерлока Холмса, чудовищна, но как иначе объяснить неуклонное сползание республики к гражданской войне?

Нет политической воли Москвы. Россия, не изжившая имперского апломба, утратила, однако, главное для империи самоощущение себя-как-мира, симбиоза. Только благодаря этому пониманию Дагестан в свое время смог существовать в рамках традиционного имперского проекта, а также в «империи Советов». Но граждане империи должны быть защищены. Этносам, встроенным в империю, должно быть *интересно и выгодно* быть частью именно этого целого. Именно этого исторического проекта. А какой проект осуществляет нынешняя Россия? Наиболее успешно — проект обогащения транснациональных элит. Каких же результатов мы ждем? При таком подходе регрессия — стремление обособиться или даже совсем избавиться от центра — неизбежна. И если политика правящей элиты не изменится... «Управляемый хаос» легко превратится в «неуправляемый», а неуправляемый хаос тем и отличается от революции, что убивать будут не сильных мира сего, создавших себе состояние и силу из преступлений, которым несть ни числа, ни имени, а всех подряд. Прежде всего — друг друга. Стравят русских с кавказцами, — а сами отчалят кто куда. Ну, а мы в этом неуправляемом хаосе останемся...

Вот какова общая картина. Рано или поздно мне все равно пришлось бы о ней рассказать. А теперь представьте несколько очень мужественных людей, которые улаживают ситуацию, решают ее миром, несмотря на окружающую мерзость, берут под защиту каждого земляка, каждого отдельно взятого человека — и вы поймете, что такое Согратлинское общество. Если бы у нас в центральной России образовалось такое — оно бы не смогло существовать: его бы просто задавили, завалили просьбами и жалобами — так давно и безнадежно разошлись пути власти и народа. Почему я и говорю: Согратль...

Ахмед продолжал рассказывать:

...В первую очередь человек должен защищать себя, свою семью, окружение, родственников, близких. Потом своих односельчан. И дальше: в первую очередь, должен быть у меня в семье порядок. Во вторую очередь, должен быть в моем обще-

стве согратлинцев порядок, должен быть в моем районе порядок, должен быть порядок в Дагестане, должен быть порядок в России. Это неотрывно одно от другого.

— Значит, вы действуете в рамках Конституции, уголовного закона?

— Только в рамках закона. Мы отстаиваем право своих людей жить достойно, иметь работу, исповедовать ту веру, которую они хотят. При том что это не противоречит законам и Конституции России.

— Тогда у вас должно быть немало врагов.

— Их немало.

— И что делать?

— В каком смысле? Ведь я уже объяснил... — несколько ошарашенно проговорил Ахмед. — То, что мы делали, то и будем делать. Расскажу один случай. Я в этом доме как раз находился, отдыхал один, когда здесь, в Гунибе, брали одного террориста фактически мировой известности — Вагабова. Был обстрел, целая спецоперация была, сожгли дом того, к кому он приехал, много шума наделали.

Но как только Вагабов был убит, послали несколько машин в Согратль с омоновцами — начали обыски. Мы услышали это, когда уже начались приводы. Что мы сделали? Быстренько направили сюда адвоката, а на следующий день я приехал с одним милицейским полковником в отставке прямо в районное отделение милиции. Попросил встретиться с нами прокурора. Прокурор был из другого района, оказался очень порядочный человек.

Мы говорим: «Уважаемый прокурор, вот опять пущены списки, которые в свое время уже были нами опровергнуты. Списки, шитые белыми нитками. А милиции было доложено, что Вагабов перед тем, как поехать в Гуниб, был в Согратле, заходил в мечеть, проповеди какие-то делал». Мы прямо спросили: «Кроме слухов, есть у вас информация о том, что согратлинцы в чем-то виноваты?». — «Нет». — «Милиция, что вы имеете против согратлинцев?». — «Ничего». — «Ничего — так оставьте общество в покое, друзья. Нам, согратлинцам, не нужны нарушители. Мы в этом смысле — ваши помощники и коллеги, уважаемые руководители спецслужб. Если у нас там есть кто-то, вы скажите — чт*о* он нарушает и чт*о* делает противоправное. Мы пойдем к нему, сделаем внушение. Не поймет — скажем его братьям-сестрам. Не поймет — скажем его родителям. Не поймет — скажем главному человеку его уважаемого тухума (рода). Не поймет — приведем лично сюда, скажем: посадите его по закону. Если нарушителей нет, не надо шельмовать общество».

Но мы на этом не остановились. Поехали в Согратль. В администрацию. Собрали людей. В том числе тех, которых они называют «неблагонадежными». Спрашиваем: «Был этот человек, Вагабов, здесь?». — «Не был». — «Были ли какие-нибудь проповеди от него?». — «Не было». — «Были ли какие-нибудь нарушения у людей, которых уже начали обыскивать?». — «Не было». — «Что было?». — «Пустили слух». — «Кто пустил слух?». — «А вот, эти женщины». Я говорю: «Ты, женщина, уважаемая глава администрации... По нашим законам, клевета — это нарушение закона. За это можно и под суд. И если вы будете такие вещи делать, мы в суд подадим». И они притихли. Хотя я знаю — терпеть нас не могут. Но если бы я этот вопрос так оставил? Сегодня будут обыскивать, завтра — приводить, послезавтра — сажать. Почему здоровый, мыслящий человек по желанию этих мерзавцев должен сидеть?..

Я выкурил на крыльце сигарету и вернулся в дом.

Телевизор в гостиной работал, Ахмед заснул напротив, даже не сняв очки. Что-то детское было в его круглом лице, в склонившейся набок большой голове...

Я чувствовал себя, как человек, которому крикнули: «лови»! И я поймал. Поймал что-то необъятное. О чем я даже не знаю, как рассказать. Во всяком случае как-то надо без пафоса. Потому что чего-чего, а пафоса нет в этих людях. Хотя они реально рискуют жизнью. Были времена, когда на всю верхушку общества пришел донос в ФСБ: работает, мол, под видом гражданского общества настоящая антиконституционная организация... Имена, фамилии, должности. Случись что — и никто бы не стал даже искать: куда делись?

Вдруг я подумал, что Москве недостает по отношению к Дагестану не только

политической воли — не это главное. Но больше всего — и непоправимо — любви недостает. Великодушия. Понимания. Или хотя бы попытки понять. Ну, кто сюда ездит? Несколько журналистов. Вот тот, да этот, да еще Вика и я. И теперь, вспоминая наш давний разговор, я подумал, что Вика права: о терроре не надо было писать. Только о любви. Как она и написала из своего Табасарана. А я вот не удержался, стал разбираться. Мужская психология. Но как мужчина — что могу я сказать? Я восхищаюсь вами, свободные граждане Андалала. И отныне я несу Согратль в сердце своем. Вы видели дагестанских женщин? Печать бедности и беды на их лицах? Глаза. Какая в них печаль. И эту печаль увезу я отсюда. Все увезу, что суждено было узнать. И эти испытывающие взгляды парней, в которых нет ни настороженности, ни вражды, только вопрос: кто мы с тобою, брат? Друзья или враги? И как мы будем с тобою дальше?

Что ты смеешься, друг-читатель? А ты приезжай сюда, в Дагестан. Только — чур! Своим ходом, один и без оружия. Привези сюда свое сердце. Сердце, говорю, привези!

XI. Свободный полет в облаках

Утром — медленное всплытие из глубины крепкого сна. Ночью должен был приехать сын Ахмеда — но то ли не приехал, то ли я так сладко спал, что ничего не слышал. Ну и денек был вчера! Я, в общем, даже плохо помню, о чем мы говорили. С какого-то момента (еще в Согратле) способность воспринимать информацию у меня иссякла, старания запомнить что-то сверх того, что я сумел, напоминали попытки вдавить зубную пасту в переполненный тюбик. И если бы не диктофон — надежная, хотя и неказистая китайская машинка — я оказался бы абсолютно беспомощным...

Я спустился вниз. Ахмед спал, но, кажется, звук моих шагов разбудил его, и он пошевелился под одеялом. Умывшись, я прошел на кухню и заварил чай. Потом с чашкой вышел на крыльцо. Наверх, по склону горы, террасами уходил заботливо ухоженный садик Ахмеда, засаженный молодыми плодовыми деревьями. Возле ворот стояла машина (какая-то серая иномарка) — значит, сын все-таки приехал. Рядом застыл старый трактор с распущенной гусеницей: обычная для Дагестана картина. Прямо перед домом белело камнями сухое русло ручья. Слева — было поле, обсаженное пирамидальными тополями, очень красивыми, там люди возились, похоже, сажали картошку... Справа — возвышалась заросшая молодым лесом гора. Перед пологом этого леса, на зеленом лугу, несколько рыжих коровенок пощипывали молодую травку...

Вскоре появился Ахмед. Довольно бодрый. Мы обсудили достоинства аккуратно разбитого при доме сада, но потом он посерьезнел, сказал, что ему «надо очиститься», и ушел куда-то в первый этаж. Я отдавал себе отчет в том, что вчера здорово напряг его, возможно, из-за меня он пропустил обязательные для мусульманина молитвы, что теперь тяготило его. Во всяком случае, от меня не укрылась некоторая сухость в его голосе, которой вчера не было. Потом мы позавтракали, я закинул все свои вещи в машину, сын, приехавший поздно ночью, так и не показался, и мы поехали. Сначала отвезли несколько мешков семенного картофеля к полю, где соседские женщины сажали картошку. От моих глаз не укрылось, что в Гунибе Ахмед из городского начальника превратился в делового, отзывчивого на нужды соседей сельчанина, которому не терпелось целиком отдаться сельским заботам. Поэтому экскурсия наша по гунибскому природному парку вышла непродолжительной. Царская поляна — где Александр II принимал войска и выслушивал рапорты — была просто частью красивого ландшафта. В этот день (была суббота) в верхний парк приехало на отдых немало людей. На оборудованных для приготовления шашлыка площадках обустраивались семьи, у всего происходящего был слегка легкомысленный и беспечный вид. Беседка Шамиля оказалась выстроенной из белого камня островерхой башенкой с арками. Разумеется, ее не было в последние знаменательные дни Кавказской войны: тогда среди берез на поляне лежал камень, на котором князь Барятинский и поджидал Шамиля. А беседка была построена позже, как и крепость,

укрывшая русский гарнизон на вершине плато. При этом, сколь бы строго ни исповедовались в Дагестане принципы *таухида* (веры в безусловно единого Бога; поклонения только ему и никому и ничему другому), здесь они были грубо нарушены: все деревья вокруг были увязаны ленточками, разноцветными женскими платками, четками и даже, за неимением лучшего, полиэтиленовыми пакетами, а стены самой беседки покрывали написанные углем или нацарапанные имена тех, кому «посчастливилось» расписаться в столь значительном историческом месте. Короче говоря, это был чистой воды пир, вроде тех, что видел я в Азербайджане, и никакие религиозные принципы не могли отвратить приезжающих сюда людей от почитания этого места и подвязывания ленточек, как это делается во всем мире, находя, по-видимому, какое-то глубокое соответствие в самой психологии человека.

На самом верху горы оказался пансионат, работающий сейчас как гостиница. Еще был — как казалось, заброшенный — санаторий для детей, страдающих легочными заболеваниями. Тут, в Гунибе, на удивление целебный смолистый воздух и триста солнечных дней в году! Пансионат... Санаторий... Когда-то ведь все это работало, составлялись графики заездов, люди стремились попасть сюда, чтобы побывать в горах и поправить здоровье, и никому даже в голову не могло прийти, что поездка в Дагестан может быть опасна...

Мои размышления прервал Ахмед:

— Сейчас я отвезу тебя на базарную площадь, оттуда поедешь дальше на юг... А мне еще сегодня надо заехать в Согратль...

Я не собирался уезжать так скоро, но, конечно, должен был освободить Ахмеда для собственных дел: ведь и у него было всего два выходных в неделю...

Я развернул на коленях карту. В Кубачи, древнее даргинское селение мастеров-оружейников, которое я в конце концов выбрал за удивительную историю и легенды, окружающие Зирихгеран (в переводе с персидского — «кольчужники»), можно было попасть двумя способами: вернуться в Махачкалу и оттуда по трассе, идущей вдоль моря, ехать почти до самого Дербента. Но не доезжая десятка километров, свернуть вправо, в горы и, углубившись километров на пятьдесят-шестьдесят, как указывала карта, добраться до Кубачей. Но были еще горные дороги, путь по которым, если опять-таки верить карте, был значительно короче. Правда, следуя этим путем, надо было преодолеть перевал Гуцабека, но я был уверен, что местные водители не сочтут это столь уж большой трудностью.

Проехав сквозь массивную башню ворот русской крепости, мы спустились в средний Гуниб. Рынок на площади потихоньку сворачивался, торговля замирала и народ, собрав товары, начинал разъезжаться. Я подошел к первому попавшемуся таксисту и, развернув перед ним свою карту, объяснил ему задачу. К моему удивлению, таксист наотрез отказался следовать предложенным маршрутом, сказав, что сейчас никто не знает, в каком состоянии горные дороги и можно ли в принципе добраться по ним до Кубачей. То же самое сказал и второй таксист, и третий. Мне как-то не приходило в голову, что этими дорогами никто, может статься, не ездит уже несколько лет. Равно и то, что на этих заброшенных дорогах может произойти роковая встреча с «лесом». Наконец, Ахмед самостоятельно решил дело, подсадив меня четвертым пассажиром в такси, которое через пять минут должно было отправиться все-таки в Махачкалу. И как ни противилась моя мысль такому повороту событий, делать было нечего, оставалось только радоваться, что проезд обойдется мне в четверть цены. Несколько торопливо мы попрощались с Ахмедом, который — это видно было по его глазам — весь принадлежал уже своему сельскому хозяйству, я сел на заднее сиденье, и мы поехали. Сзади нас ехало трое — одна женщина, один мужчина и я. Мужчина был плотной комплекции и не мог не придавливать меня, хотя и старался этого не делать. Но тут уж следовало во всем покориться обстоятельствам, и даже когда шофер, чтоб не скучать, на полную громкость врубил музыку, я только закрыл глаза, настроил сознание на максимальную тупизну и затих. Часа через полтора мне пришла в голову мысль, что на пересечении с трассой я мог бы вылезти, чтобы перескочить на другое такси и ехать прямо в Кубачи, не возвращаясь в Махач. Я спросил шофера, может ли он высадить меня на трассе, чтобы не делать

туда-обратно лишние восемьдесят километров. Он подумал и сказал, что на перекрестке в Манасе это можно попробовать. Больше того, он сказал, что километр стоит десять рублей, и чтобы я не давал больше, если будут просить. Его совет поддержал меня, а он еще оказался настолько любезен, что, когда мы доехали наконец до пыльного перекрестка, где возле двух-трех магазинчиков ждали пассажиров четыре автомобиля, он сам вылез из машины, чтобы устроить меня к местным таксистам. Однако здесь, несмотря на карту и ясную вроде бы цель, повторилась та же история, что и в Гунибе — шоферы ни за что не хотели ехать. Все они были трассовики (трасса Махачкала — Дербент) и сворачивать с трассы, по которой они годами носились вперед-назад, как ученые мыши, они ни за что не хотели. Оставалась одна машина — белый убитый «жигуль», который стоял отдельно. Шофер был русский, такой же тертый жизнью, как и его автомобиль. Не знаю, почему, но я решил, что он-то согласится. Деньги были. Водила, у которого нестерпимо пахло гнилью изо рта, выслушал меня. Это был хороший знак. Я спокойно объяснил ему задачу.

— Сколько? — спросил он.

— По километражу, да я накину.

— Ну, садись, — сказал таксист.

Бедность заставляла его биться за жизнь упорнее, чем боролись более молодые и более удачливые его собратья по профессии, обладатели новых скоростных автомобилей.

Я сбегал в магазинчик за бутылкой минералки, и мы поехали.

С тех пор как в 2004-м я проезжал по этой дороге, многое изменилось.

Заброшенная, заросшая тростниками долина слева у моря оказалась застроенной поселками, а плоские земли справа от шоссе — теперь были распаханы и превращены в прекрасные огороды. Неожиданно я ощутил необыкновенный прилив сил и даже что-то похожее на счастье: я находился в свободном полете! Я, наконец, был один! И меня окружали не слова, которые вчера просто расплющили мой мозг, а впечатления! По этой равнине на юг шли полчища хазар. И в обратном направлении, на север, — войска Тимура. Арабы, персы, скифы, ногайцы — все пронеслись здесь, не оставив даже теней... Мы ехали-ехали, и разбитая вдрызг машинка моего водилы, заштопанная изнутри заплатами из крашеного кровельного железа, показывала даже неплохие боевые качества на обгонах. Я достал блокнот, нашел номер, по которому следовало позвонить в Кубачи, чтобы меня встретили, и, услышав ответ, сказал, что еду по трассе и рассчитываю быть после обеда. Человек, от расположения которого теперь зависело, как я проведу следующий день, — звали его Гаджикурбан Гужаев — высказал бурную радость по поводу того, что я наконец объявился. Мое настроение утвердилось на высокой отметке: теперь я знал, что меня ждут и все должно быть в порядке. Только где, черт возьми, этот поворот? Мы мчались уже, можно сказать, прямиком в Дербент — а поворота все не было. Потом водила мой увидел какую-то дорогу, сворачивающую вправо, но как только мы на нее свернули, машина угодила в дыру в асфальте, ухнув при этом так, будто у нее оторвалась передняя подвеска. То был вдрызг разбитый проселок, когда-то, очень давно, к несчастью, заасфальтированный. Я попросил остановиться и добежал до магазинчика у начала поворота, чтобы узнать, туда ли мы едем.

— Вам куда надо? — поинтересовался продавец.

— В Кубачи.

— Ну, это и есть дорога на Кубачи.

Теперь следовало преподнести эту новость моему шоферу как можно более оптимистично, потому что после поворота лицо его сразу приняло безрадостное выражение, и я боялся, что он откажется ехать дальше.

— Все правильно! — бодро воскликнул я, вернувшись в машину.

— Заправиться надо, — ответил шофер, обнажая сточенные гнилые зубы.

— Я оплачу, — пообещал я. Теперь, чтобы заставить его двигаться вперед, я мог воспользоваться только одним способом — подвесить морковку впереди ишака.

Дорога стала задираться в горы, и это было даже живописно, но тут наполз туман и пошел дождь. Чем выше мы поднимались, тем больше сырости низвергалось на нас с неба, пока мы просто не въехали в облака. Асфальта на дороге теперь не

было — его нарочно не кладут на крутых спусках и подъемах, чтобы в зимний гололед машинам было все-таки за что цепляться. Вся дорога скоро покрылась слоем жидкой грязи, машину водило из стороны в сторону. Впереди порой можно было различить только дорожное полотно, а по обеим его сторонам — только туман. У меня сердце сжималось при мысли, что слева или справа таится обрыв, достаточный для того, чтобы разбиться вдребезги, но делать было нечего — приходилось чуть не за шиворот тащить в гору моего горемычного шофера: «Ничего! — подбадривал я его. — Видишь желтые газовые трубы? Они идут в райцентр, в Кубачи». Он угрюмо молчал, проклиная, видимо, тот день и час, когда согласился ехать в горы.

На бензозаправке в Маджалисе мы заправились. Бензин отпускал бородатый парень лет двадцати пяти в зеленой исламской шапочке. Он принял деньги, но не спешил выходить под мелкий противный дождь. Я сам взял бензиновый пистолет и сунул в горловину бака. Старый заправочный аппарат, похожий на напольные часы, стал отсчитывать нам литры, как минуты.

— Что же у вас с погодой-то? — спросил я у заправщика.

— Да уже две недели так, — спокойно отреагировал заправщик.

— А в Гунибе вот солнце светит, — сказал я.

— Ну не знаю, — философски ответствовал он. — Здесь люди не молятся, поэтому, наверно, так...

Мой шофер очень смурно реагировал на обстановку, и видно было, что ему не по себе. Я еще раз позвонил Гаджикурбану и сказал, что мы заправляемся в Маджалисе.

— А! — обрадованно воскликнул он. — Ну, значит, минут через сорок будете. Мы с сыном будем ждать вас на площади...

Какие сорок минут?! Я думал, от силы — двадцать пять! И решил ничего не говорить водителю... Ну, а дальше... Разумеется, мы все-таки приехали в Кубачи. Туман сгустился еще сильнее. Впрочем, я говорил уже, что это был не туман, а облака, в которых, слипаясь вместе, пылеобразные и почти невесомые частички воды рождают капли идущего ниже дождя, под которым мы недавно ехали. Поэтому сырость обволакивала все вокруг. Видимость была метров двадцать. Площадь? Я видел только закрытые лавки да еле проступающие дома по обе стороны дороги... Я набрал номер мобильника, и Гаджикурбан с сыном Мурадом немедленно возникли из тумана двумя размытыми фигурами. Я щедро расплатился с водилой, оплатив заправку и отсчитав еще пару тысяч за страх. По-моему, это сильно его ободрило; во всяком случае, он знал теперь, за что претерпевал столь страшные для него испытания.

XII. Зирихгеран

Машина ушла, и я оказался в ведении моих новых хозяев — чем-то похожего на Пикассо старика и его сына, Мурада, симпатичного молодого человека с залысиной, немножко даже еврейского вида, очень приветливого и немного застенчивого. Они тут же предложили мне пересесть в их автомобиль, чтобы уберечь меня, гостя, от непогоды. Мы стояли втроем под невидимо-мелким дождем на том слегка раздувшемся участке улицы, который они именовали «площадью». Я огляделся. Откуда-то из облаков выкатился мальчишка на велосипеде, поехал было на нас, но неожиданно лихо свернул под арку моста, за которым проступали очертания узкой, как ущелье, улицы. Оттуда же, из облаков, на нас надвигалась корова: еще невидимая, но уже различимая слухом.

— Ну что, пойдемте? — еще раз позвал Гаджикурбан.

Но я будто прирос к земле. Меня окружали декорации, которые мне еще не доводилось видеть в жизни. «Площадь», была, собственно, самой верхней точкой горного отрога, на котором было выстроено селение. От «площади» в разные стороны уходило вниз несколько улочек, но все они были несоразмерно коротки и круты и в конце концов превращались в лестницы, разделяющие аул по меридианам сверху вниз. Для горизонтального передвижения по селению служило несколько пробитых на разной высоте тропинок-траверсов, заросших крапивой и чистотелом, листья которых были осыпаны мелким бисером воды. Собственно улиц, где могла бы раз-

вернуться или хотя бы просто ехать машина, не было. И вся запутанная паутина спусков, переходов, лестниц и длинных горизонтальных проходов соединялась здесь, на площади, в единственном месте, где могло бы собраться несколько сот человек. Все это я понял, разумеется, очень не вдруг, а только пройдясь как следует по аулу. Но что пронзило меня сразу — так это ощущение остановившегося, спеленатого громадным пузырем воды времени. Корова спустилась из облака — довольно крупная черно-белая корова — остановилась в луже посреди площади и помочилась на землю. И этот звук, звук падающей струи, тут же растворяющийся, глохнущий в первозданной сырости — вскрыл, наконец, мое сознание. Вдруг различил я еще множество звуков, связанных с течением воды: стекая с крыш в водосточный желоб, капли на разные лады булькотали в подставленных под сливы тазах и бочках. А там, где ни таза, ни бочки не было, а только наполовину высовывался из земли черный от сырости камень, капли разбивались об него, как стекло, но только очень, очень тихо. Потом где-то в глубине тумана, в гуще прорастающих из него голых весенних ветвей прокричал петух. Корова на площади, будто очнувшись от этого призыва, побрела дальше, медленно моргая мокрыми ресницами. Дом, возле которого она стояла, был обезображен безликой пристройкой из дешевых бетонных блоков. Видимо, это была какая-то лавка, закрытая по случаю непогоды. Но вот сам дом, к которому это уродливое слепое строение, запечатанное железной дверью, было приделано, — это, стоило только приглядеться, был совершенно необыкновенный, будто всплывающий из далекого, не слишком ясно различимого прошлого двухэтажный дом. Хорошо был виден только второй этаж с огромной террасой во всю длину стены. Если вы хоть немного разбираетесь в террасах, то вы знаете, конечно, что главной прелестью этого рода построек является безупречность узора, задуманного мастером, который делал остекление. Такой мастер должен одинаково хорошо работать со стеклом и с багетом, чтобы создать неповторимый орнамент. Сейчас люди разучились этому ремеслу, но здесь память о мастере была еще свежа, ибо чарующ был рисунок остекления. Он соединял в единое целое ромбы, треугольники, целый ряд длинных, узких, зеленоватых — видно, старинных — стекол, а сверху и снизу был оторочен «поясами» из правильных квадратиков...

Ну, а слева от этого дома в дыму облаков проступал приземистый силуэт древней крепостной башни с узкими прорезями бойниц. О, мои предчувствия оправдались! Раньше таких башен было двенадцать, они вместе с крепостной стеной опоясывали весь аул, а четыре или пять закрывали самый опасный участок — со стороны перевала, то есть дороги, по которой мы приехали. Прорваться в «страну кольчужников» с этой стороны было совершенно нереально: охрана башен, как и вообще охрана селения, прилегающих к нему пастбищ и лесов, была в ведении неистовых воинов из закрытой мужской военной организации «Батирте», опирающейся на еще один, более широкий, мужской «орден» — гулалла Ак Бильхон — «Союз неженатых». Как и аварский Согратль, Кубачи вплоть до XIX века был столицей горской «республики», объединявшей семь поселений — Даца-Мажи, Дешлижила, Муглила, Анчи-Бачила, Кубасанила, Шахбана-махи, Бихай. Ежегодно общее собрание Зирихгерана избирало семь духовных и военных предводителей, на случай нападения врагов. А их у республики оружейников было немало: всего в десяти километрах по прямой в горах находился неприступный замок Кала-Курейш, в средние века — столица кайтагского уцмийства, крупного для Дагестана средневекового государства, правители которого вели род от арабов (уцмий — значит «знатный»), прорвавшихся на север от Дербента в начале арабо-хазарских войн. Да и сам Дербент, конечно, представлял собою опасность, пока крошечная республика оружейников исповедовала христианство (до 1305 года). Но дело, в конце концов, не в религии. Кубачинцы считались настолько свирепыми воинами, что посягать на них было немного охотников. Ну, а что до «батыров», набираемых в военный союз «Батирте», — то они призваны были заменить собою целую армию. Уже в юношеском возрасте старейшины Зирихгерана начинали присматривать сильных и бесстрашных мальчиков с разбойничьими наклонностями, которых потом рекомендовали в союз. Они должны были уметь подкрадываться, нападать из засады, действовать ночью, как днем, претерпевать любые лишения, владеть всеми видами оружия. Два запрета принима-

лись ими добровольно: запрет сдаваться в плен и жениться раньше сорока лет. И при том что таких воинов всегда было только сорок, слава о них заставляла соседей держаться от «республики оружейников» подальше. Ибо любой чужеземец, отправляющийся в набег на Зирихгеран, прекрасно знал, что, встретив одного из этих сорока, он встретится с собственною смертью.

К счастью для России, кубачинцы не приняли участия в военных операциях Шамиля, ибо Кубачи вместе с Дербентом были присоединены к России еще по Гюлистанскому мирному договору (1813), а поскольку слава оружейников Зирихгерана гремела по всему Востоку, очень скоро им был сделан поистине царский заказ: сработать сабли для драгунских полков империи. Так что, присоединившись к России, республика оружейников тогда, в начале XIX века, лишь выиграла, получив неистощимый рынок сбыта. Разумеется, к тому времени тайный военный союз кубачинцев перестал существовать. Но вот мужское братство «неженатых», равно как и причудливые, доисламские верования кубачинцев — вызывание солнца и дождя, весенний праздник «хождение по воду от сглаза», сопровождавшийся ритуальными шествиями и музыкой, культ деревьев, культ орла, ношение амулетов и талисманов — сохранились до XX века. В последний раз «союз неженатых», на котором лежал грозный отблеск былых времен, просуществовал до 1913 года, оберегаемый боязливым и почтительным молчанием.

— Ну что же вы?! — прокричал Гаджикурбан. — Надо хоть пообедать с дороги!

— Нет, нет, — пробормотал я, доставая из рюкзака фотоаппарат. — Надо поработать, надо сфотографировать это, пока светло!

— Да успеете, еще рано, — сказал старик, кажется, слегка задетый за живое пренебрежением к его гостеприимству.

Но тут уж было не до обид.

— Рано — не беда; беда — когда поздно…

— Хоть вещи в машине оставьте! — сдался хозяин.

Я бросил в машину сумку с вещами и, предложив Мураду следовать за мной, направился к башне. Как потом выяснилось, здесь, у площади, сохранился совсем небольшой кусочек старой части города: один странный, построенный как бы кругом, старинный дом, башня и крытый горизонтальный проход по склону, который выводил нас через арку моста опять на площадь. Все это подробно описывать нет ни смысла, ни места, но я был абсолютно околдован. Это был настоящий средневековый город! Больше всего это напоминало Лаграсс, крошечный городок на юге Франции, неподалеку от Каркассона. Когда я сказал об этом Мураду, он даже как-то порозовел, до того ему стало приятно за родные Кубачи. В общем, мы сняли дом и башню, силуэт Мурада в крытой галерее, а потом мне просто повезло: от изгиба галереи я заметил под аркой моста девушку, которая шла, укрывшись от водяной пыли какой-то клетчатой накидкой. На размышления и наводку фотоаппарата не было ни секунды, я снял навскидку — и попал. Средневековый силуэт в средневековых декорациях. Большей удачи нам в этом месте не светило, и я решил, что просто из вежливости надо заглянуть сейчас туда, домой, где поджидал нас Гаджикурбан, и после короткого обеда — идти и дотемна снимать то, что осталось от старого города.

По легенде, сложенной, по-видимому, не так давно, к числу наиболее знаменитых работ кубачинцев причислены «рогатый» шлем Александра Македонского (благодаря которому Александр получил на Востоке прозвище Зу-л-Карнайн — «Двурогий»), щит Александра Невского, сабля Надир-шаха и набор холодного оружия, подаренный царем Александром III британской королеве Виктории и ныне хранящийся в музее «Виктории и Альберта» в Лондоне. И сколь бы сомнительными ни были предания о шлеме и щите, бесполезно отрицать громкую славу кубачинцев, как оружейников, которым нет равных. Персидское название шестого века — Зирихгеран и турецкое — Кубачи, Кюбечи — пятнадцатого полностью синонимичны в переводе: «бронники», «кольчужники». Слава мастеров по оружию была настолько оглушительной, что ею оказались отодвинуты далеко на второй план другие ремесла Зирихгерана — изготовление медных ритуальных котлов, которые славились по всему Дагестану;

массовое производство металлической (медной и серебряной) посуды, изготовление ювелирных украшений из золота и серебра, златокузнечное и золотошвейное дело — всего не перечислишь. Среди прочих мастеровитых дагестанских селений Кубачи выделялись настолько, что его жители имели возможность заниматься сельским хозяйством лишь как подсобным промыслом. Вокруг Кубачей вы не увидите распаханной земли — в свое время здесь даже колхоз создавать не стали: переквалифицировать золотых дел мастера в пахаря так же трудно, как добиться обратного превращения. Но вот на мастерство высокой пробы у кубачинцев глаз был наметанный. В старое время гостиная в доме украшалась, с одной стороны, полкой с образцами металлической посуды из Египта, Персии, Сирии, а с другой стороны — такой же полкой с изделиями из керамики и фарфора из Ирана, Китая, Японии, России и европейских стран.

Правда, дом Гаджикурбана, к которому мы спустились, был устроен с патриархальной бережливостью и скромностью. Входная дверь — из-за крутизны склона, на котором стоял дом, — открывалась на классическую большую террасу второго этажа, которая служила и прихожей, и основным летним помещением, не говоря уже о том, что часть ее занимала кухня. Мне была отведена лучшая комната, гостиная, которую «украшал» только огромный плазменный экран, да весело потрескивающая дровами чугунная печка. Мы пообедали с дороги. Айша, жена Гаджикурбана, подала нежнейшие, почти прозрачные, хинкалики с мясом и какие-то вкуснейшие плюшки, но, по правде сказать, я не успел как следует вникнуть в суть гастрономической темы, потому что время поджимало — мне хотелось до конца светового дня поснимать «старые Кубачи», хотя бы и в тумане. По ходу дела мы обсудили несколько вопросов. Как нам всем не нравятся идиотские передачи современного ТВ. Как здесь, в Дагестане, думают (благодаря тому же ТВ), что в Москве деньги гребут лопатой. Я сказал, что не могу говорить за других, но я получаю тридцать тысяч рублей в месяц, а жена, работая в издательстве, — пятнадцать. Что для Москвы — minimum minimorum. И сразу почувствовал, что нас что-то сблизило. Положительно повлияло на настроение разговора и название журнала «Дружба народов», который в последний момент выписал мне командировочное удостоверение. Никогда не думал, что такие простые слова, как «дружба народов» могут нести такой сильный положительный заряд для людей. Словно воспоминание о чем-то почти утраченном, но на самом деле важном и добром.

Я сказал, что хотел бы поснимать мастера за работой. Думал, что для этого нам придется одеваться, куда-то идти, с кем-то знакомиться.

Но оказалось, все готово. Гаджикурбан и сам был известным мастером-ювелиром. И мастерская его размещалась тут же, в соседней комнате. Мы отправились туда. Он выложил на небольшой белый стол несколько готовых изделий и две-три заготовки: кинжал в изукрашенных серебряных ножнах, несколько браслетов и две заготовки для серебряных рюмок. Затем из ящика стола на свет лампы, освещающей рабочее пространство мастера, были извлечены: пробка из-под шампанского, в которую были воткнуты три или четыре резца по металлу, которые и сами являлись произведением искусства. Деревянная, отполированная до темного трубочного блеска кожей правой ладони ручка уже приняла форму руки мастера и отчасти напоминала грушу: широкая часть нужна была для нажима, а противоположная, узкая, схваченная латунной оковкой, удерживала стальное жало резца. Да, еще был брусок для очень мягкой, деликатной заточки инструментов. И все. Ни тисков, ни граверного станка, ни каких-либо других приспособлений, которые могли бы облегчить или усовершенствовать работу мастера, в мастерской не было. Только миска для серебряных крошек и другая миска с каким-то шлаком или углем. Гаджикурбан резал узор буквально на колене. Я старался не упустить ни одно его движение. Вот он взял рюмку, выбрал резец и, не слишком даже надавливая на его рукоятку, — чик!-чик!-чик! — пошел резать узор, каждый раз высвобождая из матового металла искру света. Потом я понял, что смысл работы во многом и заключается в том, чтобы при помощи резца так избороздить металл, чтобы вся его поверхность буквально горела белым огнем серебра. Это было потрясающе! Ножны кинжала, которые, как я понял, должны были явить все богатство приемов, которыми владел Гаджикурбан — ну, прости меня,

читатель! — просто не поддавались описанию. Нужно владеть специальной терминологией, чтобы внятно охарактеризовать это чудо. Я знал, что кубачинские мастера украшают свои изделия разными видами «накиша» — орнамента. Но эти ножны прошли не одну и не две, а несколько обработок прежде, чем по ним стали работать резцом. Сначала серебро было вычернено, потом появились какие-то наплавки и уж потом запущены орнаменты. Главным был, конечно, цветочный орнамент. Некоторые лепестки оставались черными, другие светились тем самым «белым огнем», который сразу загорается на свежих срезах серебра. Но что потрясающе? Что и вокруг этого орнамента мастер так вычистил резцом свободное поле, что над ним сиял уже не белый, а радужный блеск. Понимаете, ни один квадратный сантиметр этих ножен не остался непроработанным. Несколько орнаментов украшали их. А там, где излишнее узорочье было не к месту, были сделаны едва заметные насечки или точки — капельки света.

Не буду говорить про браслеты: здесь была та же картина, разве что к выразительным средствам добавилась глубокая «сквозная» резьба, создающая ощущение не просто красоты, но еще и невесомости изделия...

— Ну вот, — сказал Гаджикурбан. — Так мы и работаем.

Сильной и чуткой рукой мастера он сгреб со стола серебряные крошки в миску.

— А для чего уголь? — спросил я.

— Ну, это бывает нужно, когда много серебро плавим. А так... — он повернулся к сыну. — Мурад, покажешь?

Мурад, кажется, только и ждал того, чтобы показать свое умение. За обедом я узнал, что ему уже двадцать восемь, он мог бы и сам быть мастером. Но до времени я, с позволения читателя, не буду объяснять, почему он не женился, не выстроил дом, не стал мастером и все такое. Сейчас для меня важен плавильный стол — как еще один неповторимый натюрморт.

Ну, разумеется, не белый, наоборот, в темных, кубистических тонах стол на железной раме; рядом на полу — красный газовый баллон; в руках у Мурада медная газовая горелка, выбрасывающая конус синего пламени; два желтых огнеупорных кирпича, брошенный на них, перепачканный цветными пятнами кусок асбестовой ткани, кусочек тонкого листового серебра, похожего на олово, ножницы, хирургический пинцет с зажимом, тигель, куда Мурад мелкими полосками, как бумагу, нарезал немного серебра и, наконец, видавшая виды черная, массивная, скрученная болтами металлическая форма для отливки проволоки.

Мурад нажал ногой педаль под столом, и конус пламени газовой горелки, раскаляясь, стал изнутри синего белеть, потом Мурад направил пламя в тигель и он заиграл всеми оттенками алого, потом оранжевого, потом совсем светло-желтого...

— Слушай, — сказал я, когда дело было сделано. — Ну, а как отец, ты можешь?

— Могу.

— А почему не занимаешься?

Мурад поднял на меня какие-то виноватые и печальные глаза.

— Давай мы сейчас... Ты же хотел поснимать старые Кубачи... Я расскажу по дороге.

Ладно, расскажет по дороге. А то уже смеркаться начинает.

Мы вышли из дома, спустились на ярус ниже — и тут же опять угодили в какой-то сон. Или явь. Во всем виноваты были, конечно, облака, переваливающиеся через Кубачи такой густой массой, что видно было лишь в радиусе пятнадцати-двадцати метров. Мне казалось, что мы странствуем в мирах и в веках, но на деле прошли лишь несколько сот метров краем аула. Но, может быть, именно поэтому внимание мое было как никогда ясным и пристальным: я замечал на старых дверях замки доиндустриальной эры, свитые «восьмерками» дверные цепочки, граненые головки кованых гвоздей, россыпи ходов крошечных древоточцев, тесаные балки, на которые настилался пол из кругляка, изнутри дома уже выровненный досками и утепленный коврами, лишайник на камнях старых стен. Мы прошли крытой галереей и вышли на тропинку, идущую по самому нижнему ярусу селения верхом невысокой стены. Слева высились уступами дома, иногда причудливым образом как бы вмонтированные друг в друга, переходящие один в другой то остекленным переходом, то просто соприка-

саясь крышами или мансардами, для защиты от ветра или воды обитыми кусками бурого, ржавого железа. Ну, а справа город живых заканчивался и начинался город мертвых. Кладбище с вертикально стоящими надмогильными плитами, украшенными удивительной резьбой, тонированной пигментами цвета свежих васильков и загустевшей крови. Из серой гущи тумана, клубящейся там, где склон уже нельзя было различить, в одном месте до самых стен аула поднимался голый весенний лес, весь заросший мокрой блестящей травою; как призраки, стояли в тумане древние надгробия. В одном месте жизнь и смерть селения буквально переплетались: слева, на стороне живых, было несколько могил, вмонтированных прямо в стену, укрепляющую склон. Плиты в этой стене были изукрашены так искусно, что изысканностью расцветки и резьбы скорее напоминали ниши в интерьере какого-то дворца, нежели двери, запечатывающие странствия человека в земной юдоли. Когда туман делался особенно густ и дома на склоне пропадали из виду, ощущение, что мы действительно оказались во дворце, только совершенно заброшенном, делалось явственно ощутимым. Или это я путешествовал в литературной фантазии Маркеса? Весенние птичьи трели, несмотря на непогоду, оглашали это пространство, но ни одного обитателя этого города или дворца мы так и не встретили. Только вездесущие коровы то выглядывали из-за разрушенной арки, с равнодушием и, возможно, недоумением разглядывая нас, как невесть откуда взявшихся пришельцев, то с усилием поднимались по каменным ступеням, уже разбитым клиньями прижившейся в трещинах тесаного камня травы, то вдруг величественно шествовали уровнем выше, бережно неся переполненное молоком или туманом вымя...

Потом галлюцинация кончилась, туман разорвало порывом ветра, и мы увидели целый квартал сгоревших домов: их было пять или шесть, стоящих вплотную друг к другу. Все нутро, все, десятилетиями собираемое человеком для жизни и уюта, было начисто вылизано разыгравшимся здесь огнем. Сохранился лишь камень стен да прокаленное пламенем, слабое, ржавое железо крыш, рухнувших на землю. Я глядел на это опустошение и вдруг почувствовал боль кольнувшего меня предчувствия, что пожар, случившийся на этот раз, он был как бы *навсегда*, что никто не вернется разгрести обломки, перебрать стены, настелить новые полы для нового уюта и покрыть все это молодою жестью крыш, пустив по их краям и навершиям водосточных труб виртуозную веселую резьбу, достойную мастеров Зирихгерана. Слишком много я видел знаков, свидетельствующих о том, что могучий Зирихгеран пустеет, стареет и тихо-тихо, медленно-медленно дрейфует в направлении небытия. Пустые окна. Окна с потрескавшимися, а то и слепленными из двух-трех осколков стеклами; давно закрытые, и так будто забытые слепые ставни, давно не отворявшиеся двери с заржавевшими уже замками, механизм которых вряд ли и отзовется поворотам ключа...

Мне казалось, мы шли уже долго, очень долго. Наконец, как сказал Мурад, мы дошли до мечети. Не берусь утверждать, что это было за строение: возможно, мы подошли сбоку или вообще сзади, так как я видел только крытую галерею, поддерживаемую красивыми полукруглыми каменными арками, из-за чего на фотографии моя мечеть (если это была она) стала похожа на римский акведук. Идти дальше не имело смысла: тут вплотную к обрыву подступала стена, а обход был бы слишком долог. У нас оставалось буквально несколько мгновений светового дня.

Мы тронулись в обратный путь, слегка изменив маршрут, и тут наткнулись на совершенно синий дом, кое-как прилепившийся на косогоре. В Кубачах, как и везде на Востоке, любят синий цвет, и, разумеется, синие двери и синие оконные переплеты неустанно радовали мне глаз. Но я впервые видел дом, выкрашенный таким ослепительным синим кобальтом, что эта синева светилась даже сквозь невероятный вечерний туман. Правда, дом был настолько стар, что с одного боку у него выперло стену, будто изнутри кто-то дал по ней огромным кулаком. Беспорядок вокруг — две разворошенные и теперь уже рассыпавшиеся поленницы дров, кое-как прикрытых железом старой кровли, брошенная в саду тачка, заваленная теми же дровами дверь в подвал, — все свидетельствовало о том, что тот, кто живет сейчас там, внутри, уже не в силах поддерживать ни красоту в саду, ни порядок в хозяйстве,

ни сам этот дом, удерживаемый лишь мощной силой вложенного в него когда-то молодого труда в расчете на долгое и счастливое будущее. Но будущее мало-помалу сбылось, стало настоящим, а потом ушло в прошлое. Сначала в недавнее, вот, как будто вчерашнее прошлое, а потом — с каждым годом, с каждым днем, с каждым часом — в прошлое, существующее где-то на пределе забвения, в памяти какого-нибудь единственного старика, доживающего в этом доме цвета неба свой долгий и праведный век. И как только память этого старика — в которой синий дом продолжает существовать во всех своих временных ипостасях — оборвется, сам этот дом тут же рассыплется без следа и канет в небытие...

Я вдруг испытал чувство, которое бывает на похоронах. Глупо и бессмысленно повторять, что такие удивительные творения истории, как Кубачи или Согратль, или Хунзах, в котором я не был, но в который, по крайней мере, неудержимо стремился — все эти драгоценности культуры по-умному надо было бы обязательно сохранить. Но где ум, который понимает это? Мой ум понимает, но я не в силах дать своему пониманию возможность для осмысленного действия. А тот, кто в силах действовать, — не понимает. Вот почему вся эта удивительная горская цивилизация однажды исчезнет точно так же, как исчезла цивилизация русской деревни — и никто, как это было и с деревней, — даже не увидит в случившемся трагедии. Напротив! Только место освободится для современного архитектурного евроконструктора...

XIII. Конец города мастеров

Меж тем замшевые полуботиночки мои напитались водой, как губка. По счастью, поблизости оказался дом знакомых Мурада, и он предложил, не смущаясь, зайти к ним. Тем более что хозяин, Гаджи-Али, тоже был мастером, и я мог бы, если бы захотел, поснимать и его за работой. Долго уговаривать меня не пришлось, крепкий горячий чай после того, как мы надышались туманом, казался сущим спасением, так что через минуту-другую мы уже стучались в дом Гаджи-Али. К этому времени я уже так устал, что плохо помню этот визит. Встретили нас так, как будто давно ждали. Хозяйка — у нее было такое странное девчоночье имя, Бика, — удивительно веселая и даже смешливая, как девчонка, женщина, сразу напоила нас чаем и принялась ставить ужин. Хозяин, Гаджи-Али, тоже извлек из шкафа штоф коньяку, и потребовалось некоторое время, чтобы уговорить его обойтись без выпивки.

— Но вы ведь были в Аваристане, и вас, конечно, угощали? — пытался блокировать он мои аргументы, чтобы показать, что даргинцы не хуже аварцев сведущи в законах гостеприимства.

Я сказал, что, если он согласен, мне было бы интереснее поснимать его за работой.

Мы прошли в мастерскую. Отчетливо помню ощущение, будто все здесь немного остыло. Или покрыто тонким налетом пыли. Все было на своих местах — заготовки джезв (для приготовления кофе по-турецки) и другой серебряной посуды, плоскогубцы, напильники, наждачная бумага и серебряная проволока, какие-то присыпки, которые служили для прочности пайки, газовая горелка — и в то же время не оставляло ощущение, что мастерская так простояла дня два или три, не меньше, и сейчас хозяин соглашается позировать нам из вежливости, что ли. То есть он в любой момент готов приняться за работу, но как будто сомневается, есть ли в этом какой-нибудь смысл. Потом пришел сын Гаджи-Али, высокий, крепкий парень лет восемнадцати или двадцати, тоже Мурад. С первого взгляда ясно было, что он принадлежит уже к «потерянному поколению» впервые увидевших мир уже после 1991-го, а потому никаких иллюзий у него нет и продолжать дело отца он, в отличие от старшего Мурада, не собирается. Но мой фотоаппарат его заинтересовал. Я показал ему съемку, которую сделал в мастерской Гаджи-Али, и он оживился, увидев несколько удачно сделанных фотографий отца. Спросил, может ли он ненадолго взять у меня фотоаппарат, чтобы скачать фотографии на компьютер. Я почему-то не спросил, есть ли в его компьютере порт для флеш-карты или, на худой конец, провод, подходя-

щий для «Олимпуса», просто поинтересовался, знает ли он, как это делать, он ответил «да» — и я отдал ему фотоаппарат.

Потом мы пошли на кухню, где был уже накрыт для нас ужин, и долго толковали о том, что уже начал по дороге рассказывать мне Мурад. Все было до банальности просто: раньше торговая марка «Кубачинское серебро» была известна не только в России и не только даже в СССР. Коллекции кубачинского ювелирного искусства есть в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Раньше в Кубачинском художественном комбинате работала тысяча человек. Комбинат закупал сырье, платил зарплату, добивался участия в международных выставках, корректировал дизайн изделий и следил за спросом. Потрясает, сколь небольшой срок потребовался, чтобы все это разрушилось. Теперь в комбинате получают зарплату едва ли сотня мастеров. Остальные тоже числятся работниками комбината, но в действительности они «выпущены на рынок» и ничем не защищены. Мгновенно явились сомнительные в условиях «честного рынка» фигуры спекулянтов сырьем и торговых посредников. Дикие торговые надбавки довершили дело: любое серебряное изделие еще до того, как оно будет произведено, уже стоит так дорого, что мастер может добавить к этой цене лишь крошечную сумму собственно «за работу», достаточную, быть может, только «на хлеб». Так международная и даже общероссийская торговая марка «Кубачинское серебро» перестала существовать. Ее можно было бы развивать и продвигать в крупных городах вроде Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, но системные связи тоже оказались разорванными. Вся кубачинская ремесленная система подверглась глубочайшей деградации. И сейчас «город мастеров» удерживает вместе только одно: бедность. Нету денег сняться с места, уехать... Да и куда бежать?

Где искать работу, если ты — оружейник и мастер в шестидесятом, примерно, поколении? Вы только подумайте: с VI века, когда Зирихгеран был впервые упомянут в персидских летописях, город мастеров жил, не зная ни засух, ни неурожаев. Война шла всегда, кровь, в отличие от дождя, всегда и везде лилась щедро, и хороший доспех — он был так же жизненно важен, как хорошая сабля и отточенный кинжал. Разумеется, уже на рубеже XX века и кинжалы, и пистолеты изготовлялись как дорогие подарки. Но какого совершенства достигло ювелирное мастерство!

— Мы еще застали время, когда кубачинцы занимались искусством, — покачал головой Гаджи-Али. — Сейчас оказалось, что турецкая бижутерия из низкопробного серебра, с которым здесь никто бы и работать не стал, вытеснила наши изделия с рынка.

Слушая эти разговоры на кухне, я невольно ловил себя на том, что все это слышал уже в 93-94-м году, когда была обанкрочена и «приватизирована» вся российская промышленность и работу потеряли миллионы людей, часть которых обречена была погибнуть, просто спиться и сдохнуть в нищете, часть — пополнить собою преступный мир, часть — потерять рабочую квалификацию и уйти в охранники, в менты и на другие какие-то должности, на которые по своей воле человек просто не пойдет... И снова — это неотступное, сводящее с ума ощущение, что под видом «свободы» — за которую тогда, в августе 91-го, я готов был отдать жизнь — нас не просто предали, но еще и продали, оставив весь ненужный избыточный народ подыхать или выживать по своему личному, свободному усмотрению...

— Послушайте, — сказал я, невольно ощущая себя посланником Согратля. — А может быть, вам стоит побороться за свое дело? Объединиться, поискать продавцов сырья, послать кого-нибудь в Москву? Там есть еще специалисты. Там марка «Кубачинское серебро» еще не забыта...

Гаджи-Али и Мурад промолчали.

Внезапно ком еды застрял у меня в горле. Сын Гаджи-Али... Ну, младший-то Мурад... Все время, пока мы предавались невеселым размышлениям о судьбах родины и ремесла, его с нами не было. Он взял мой фотоаппарат и ушел в свою комнату. И засел там. Причем надолго, как бывает только в тех случаях, когда что-то не ладится... Я похолодел. Одно неверное нажатие кнопки — и вся моя съемка с

первого дня пребывания в Махачкале до последних кадров, снятых в дождливом сумраке Кубачей, исчезнет без следа и без возврата...

— Послушайте, — еле выговорил я. — А Мурад... Что он так долго? Может быть, сходить, проверить, как у него дела?

— Да все хорошо, — первым делом ответила Бика, взглянув на мою, перекошенную, видимо, физиономию и неожиданно прыснула. — Он, наверно, в компьютер заигрался просто...

— А что он засел играть-то? Мне фотоаппарат пригодился бы. Давайте, заглянем к нему, — попросил я.

— Ну, давайте заглянем.

Фотоаппарат стоял на столе, правая панель для флеш-карты была открыта, свет от экрана компьютера подсвечивал несколько жесткое, как у отца, лицо Мурада. Видно было, что компьютер переваривает какое-то необычное задание. Это несколько меня успокоило.

— Ну, что, получается? — несколько даже заискивающе спросил я, потому что, ну, представьте, если бы этот парень ответил: «Нет». Или, например: «Да тут, похоже, сломано чего-то...». Но Мурад сказал иначе:

— Да. Уже скоро. Просто телефон — он медленно качает...

В моей жизни не так-то много моментов, когда я чувствую себя... ну, не старым, а просто безнадежно устаревшим, безнадежно пятидесятилетним: это когда моя дочь и вообще все, кому еще не стукнуло двадцать, в два счета, без всяких инструкций, берут и начинают работать со всей этой современной электроникой, как будто у них в голове с рождения заложена программа, как с этим обращаться, а у меня искусственным образом имплантирована только какая-то доисторическая версия, которая грузится на понимание еще медленнее, чем качает этот телефон. Разумеется, когда мне было шестнадцать лет, мы тоже заменяли порвавшиеся пассики своих магнитофонов резинками от гондонов, что удивляло мою маму, но тут, согласитесь, не нужно было большой выдумки. А Мурад — он, значит, зарядил флешку из моего фотоаппарата в свой мобильник, где тоже было место для фотофлешки, поскольку какой-то объектив был вделан в крышку его телефона, — это оказался единственный способ соединить его компьютер с моим носителем изображений. Перекоммутировать систему.

Не скажу, что я сразу успокоился. Бика, возможно, и понимала, чего я боюсь, но она лучше знала своего сына и от души веселилась, покуда Мурад не принес на кухню фотоаппарат и я, включив режим просмотра, не убедился, что съемка цела.

Домой мы вернулись в глубокой темноте.

— Ну, слава Аллаху, пришли, — вышел навстречу Гаджикурбан и, словно извиняясь, добавил: — Боюсь я его ночью одного выпустить в селение... Ни разу еще не засыпал, пока он не придет или я не буду точно знать, где он. Наверное, такое же положение, как в Москве? Пока сын домой не придет — мать волнуется, она не думает, что он у друга сидит, просто отдыхает... Она думает: кто-то встретится, что-то плохое случится...

Старик и правда казался взволнованным, Айша быстро накрывала ужин.

— Ну, а что плохого может случиться в селении? — искренне удивился я.

— Вы знаете, всякое может случиться. Спецоперация была — застрелили мальчика пятнадцати лет, «ваххабит», говорят. Мы сказали: «Какой он ваххабит? Это мальчик, пятнадцати лет». — «Хорошо, виновный понесет наказание». А кто виновный? Они же все в масках... Вы не думайте, — опять тактично подправил разговор Гаджикурбан. — Я, когда в девятом классе учился, мог отсюда поехать на олимпиаду по математике в Нальчик или в Карачаевск. Один ездил, никто меня не сопровождал. Люди как братья жили... Никто ничего не боялся...

Но больше всего была расстроена Айша, когда я сказал, что мы уже поужинали у Гаджи-Али и больше съесть я просто не могу. А она на этот раз наготовила нам свои чудесные прозрачные хинкалики с начинкой из взбитого яичного белка, которые

нужно есть только свежими, и «аля-кутце», свежайшие, еще горячие пирожки с начинкой...

Я поглядел на нее и понял, что будет последним гадством оставить без внимания то усердие и чувство, которые она вложила в приготовленные ею блюда. Нигде еще в Дагестане я не видел еды, приготовленной с такой любовью.

— Тогда решено: садимся ужинать во второй раз, — сказал я и увидел, как морщины, собравшиеся в маску какого-то горестного недоумения на лице Айши расправились, и ее глаза с благодарностью сказали мне, что я поступил правильно.

За ужином Гаджикурбан рассказал, что они, оказывается, долго жили в Средней Азии, в Ташкенте. Там давно была кубачинская диаспора (выходит, переизбыток рабочей силы чувствовался так же давно), и некоторые переселились туда основательно, уехали еще в начале пятидесятых, вскоре после войны, и у них там если не дети родились, то уж внуки — точно. Корни пустили. Ну, а когда системные изменения в СССР привели к своего рода национальному радикализму — делать нечего, пришлось уезжать из Узбекистана. Погромы были. Не хотелось разделить судьбу турок-месхетинцев. Уехали. Здесь, на родине, никто особенно не обрадовался возвращению земляков. Народ огрубел, очерствел душой.

— Ну вот, с тех пор так и живем, — обвел он рукой свое жилище.

Я вдруг почувствовал тяжесть на сердце. Куда бы я ни приезжал, на меня обрушивалось горе и боль. Иногда это была только давняя память, причем искаженная, но столь сильно, столь остро пережитая, что людей просто корчило, гнуло от нее, как Магомеда в Согратле. А иногда люди просто ничего не хотели об этом говорить, как в Хунзахе. Но боль — она все равно чувствовалась и там. И разделять эту боль и это горе с людьми, которые доверяются и открываются тебе, как какому-то почти фантастическому посланцу, при этом наделенному если не особыми полномочиями — говорить правду — то, по крайней мере, особой миссией — эту правду выслушивать и знать — это по-человечески очень трудно. Я вздохнул и подумал, что день, несмотря ни на что, прошел как надо. Я выдержал испытание. Надо просто лечь спать, коль уж Гаджикурбан натопил в моей комнате печку самыми жаркими, дубовыми, специально для гостя, дровами, чтоб никакая сырость не добралась ночью до меня.

Ну, а завтра в полдень я буду в Дербенте, а там...

Я просто сяду на берегу моря и на время забуду не только то, что я узнал с тех пор, как прилетел в Дагестан — не-ет, забвение мое будет полным: прошлое исчезнет, останутся только блестки солнца в морских волнах, камешки и ракушки, которые моя ладонь нащупает на берегу. И это будет счастье. Короткий миг счастья, как и положено. Счастье ведь не может продолжаться вечно. Но точка в конце пути — она не должна быть ничем омрачена. Вот как я хочу. Я расстегнул рюкзак и стал аккуратно укладывать вещи.

Айша подошла своей неслышной походкой и протянула мне даргинские вязаные тапочки, похожие на короткие шерстяные носки.

— Возьмите, — улыбнулась она. — Вашей жене...

XIV. Дербент

Ну, вот и Дербент! Солнце, тридцатиградусная жара, горячий душ и вымытая, наконец, голова, выстиранная футболка, сохнущая на краешке раскрытого окна, и шторы. Великолепные синие шторы. Все-таки гостиница неспроста называется «Европейская» — еще Дюма, путешествуя по Кавказу, писал, что о такой роскоши, как шторы и нега в постели, европейцу в этих краях приходится на время забыть, первый же луч солнца, «как выражаются поэты, играет на ваших ресницах; вы открываете глаза, исторгаете стон или брань, в зависимости от того, склонны ли вы по характеру к меланхолии или к грубости». Я не могу делать подобных обобщений, но, во всяком случае, в отеле «Петровскъ» в Махачкале солнце регулярно будило меня в ранний час, а кисея — не помню уж, была ли там кисея — но она, во всяком случае, не спасала от пробуждения более раннего, чем хотелось бы. Кстати, Дюма принадле-

жит и одно из лучших описаний Каспийского моря: «Оно было цвета синего сапфира, и никакая рябь не пробегала по его поверхности. Однако подобно степи, продолжением которой оно казалось, море было пустынно». И этот синий сапфир лежал прямо за моим окном, отделенный на этот раз не степью, а рядами давно и плохо крашенных суриком железных крыш. Я уже говорил, что мой план был — дойти до моря. И остаться там некоторое время в полном покое. Тем более что я был в Дербенте, видел море с высоты цитадели Нарым-Кала, стремился к нему, купался в нем, но самого моря не видел. Во-первых, была ночь, а во-вторых...

Это отдельная история, случившаяся в 2004 году, о которой я обещал рассказать. Настал ее черед. В общем, тогда в Интернете или даже в газетах прошла информация о том, что при раскопках Дербентской стены ученые обнаружили Врата Ада. Не важно, как это называлось «Ворота в преисподнюю» или «Адские врата», но суть была одна: ворота найдены и можно туда реально спуститься. Спуститься в Ад. Ну, и описать, что ты там повидал. Сереге Мостовщикову, который был моим главным редактором, эта идея показалась забавной, командировку слепили в один день — я еле успел разыскать адрес и телефон Дербентской археологической экспедиции, которой руководил тогда как раз Муртузали Гаджиев, и дозвониться ему — и на следующий день уже летел в Дагестан, хотя и подозревал, что все это — обычный журналистский треп, а на деле все обязательно окажется не столь эффектно, как это любят преподносить СМИ. Остановился я в той же «Европейской». На ночь почитал какую-то более или менее толковую книжку: новости оказалось без малого триста лет. Короче, во время «персидского» похода Петра, оказавшегося очень удачным, поскольку никаких военных действий не происходило, Дербент и еще ряд территорий были присовокуплены к империи Российской. Петра, как легко предположить, в Дербенте больше всего заинтересовали стены, как предмет любимой им фортификации. Их он измерял — и высоту, и ширину. А вот секретарь его походной канцелярии молдавский беженец князь Дмитрий Кантемир чудесными в Дербенте почел не только стены: в частности, прослышал он, а прослышав, увидел и осмотрел необычное место, весьма чтимое мусульманами. Называлось оно «Ворота Судного дня». Что это такое, Кантемир, возможно, не понял. Однако сделал зарисовки, в том числе зарисовал и довольно необычные «клейма» строительных мастеров.

Потом, как водится, прошло немало лет, и археологи, прочитав дневники Кантемира, стали интересоваться: а где же это — «Ворота Судного дня»? Искать их следовало в северной стене Дербента — той самой, что когда-то приступом взята была хазарами. Но со времен петровых «культурный слой» по обе стороны стены так нарос, что высота стен «уменьшилась» с десяти до шести метров, и никаких признаков мистических ворот обнаружить не удавалось: все было погребено землею. Но достославен кропотливый XVIII век! Кантемир копировал клейма на стене, и вот по этим-то клеймам — одно напоминает первый советский спутник (знак мастера-зороастрийца), другое — крест — выдает строителя-христианина — и было предположительно определено место, где следует искать Врата Воскресения. Руководитель Дербентской археологической экспедиции, профессор Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН Муртузали Гаджиев эти ворота раскопал. Искажаясь по мере недопонимания, эта новость долетела до журналистов так, что открыты ворота в преисподнюю. Ну и так далее...

На всякий случай (не на случай встречи с чертями, разумеется, а на случай, если раскоп будет глубокий) я еще в гостинице поинтересовался у профессора: как там, в белых штанах — не запачкаешься?

— Да нет, — сказал он, — я и сам в белых.

Мы прошли через городской сквер, где без устали наигрывал на двухрядной гармонии, украшенной маленькими осколками зеркал, какой-то старичок в огромной кепке, и вышли за древние городские стены.

— Сюда, — позвал Муртузали, и мы оказались у подножия одной из крепостных башен. В самом углу раскопа и вправду был неширокий вход, ступени... Стены вокруг были действительно испещрены непонятными знаками. Внутри была яма, но не

глубокая, поросшая каким-то нежно-зеленым мхом. На стенах — изображения луков, нацеленных вниз.

— И что же, там и есть преисподняя? — спросил я.

— Наверное. Мы не стали вскрывать, — сказал профессор. — И вообще, это не вход, а выход. Выход для душ в Судный день, когда вострубит труба ангела Исрафила, и мертвые встанут из своих гробов.

— Ну а вход? — почему-то продолжал настаивать я. — Вход-то где же?

— А вход — это могила, — сказал профессор и повел рукой. — Тут вокруг нас везде могилы, древнее кладбище.

Когда-то, когда возводились эти стены и в Дербенте еще никто не верил в Аллаха, этот странный памятник был просто узким проходом сквозь стену, защищенным массивной дверью. Возможно, этим проходом пользовались для внезапных ночных вылазок против врага. Возможно, для тайного пропуска в город гонцов или лазутчиков. Потом все изменилось. Дербент стал крупнейшим торговым городом. Главенствующей религией стал принесенный арабами ислам. Здесь кипела активнейшая религиозная жизнь. Мощное развитие получил суфизм — мистическое и аскетическое течение в исламе. Именно тогда — в X—XI веках — суфии заложили одну сторону прохода и каким-то невероятным образом переосмыслили образовавшееся в крепостной стене пространство как «Ворота Судного дня».

Как святое место памятник почитался до начала XX века: отправляясь в паломничество, сюда приходили люди и вбивали в стену гвоздь. Если стена гвоздь принимала, паломничество обещало быть удачным. Последние гвозди, уже фабричного производства, забиты на четыре метра выше первых. Магическое превращение куска крепостной стены в святое место загадочно. Но что поразительно — едва «Ворота» были раскопаны археологами, они вновь стали объектом поклонения. Теперь сюда носят «записки Богу» и деньги. «Я хочу, чтобы мой папа никогда не пил», — дословная записка. «Я хочу, чтоб Фикрет пришел меня сватать, а я вышла замуж за хорошего человека». «Я хочу окончить школу "на отлично"». Такие записки кладут в щели между камнями и в паз, где раньше находился засов.

— Я был свидетелем, когда сюда приходила молиться женщина, не мусульманка, а христианка. Она говорит: «Место святое, Бог один, почему я не могу здесь молиться?» — помню, рассказывал Муртузали.

Что же говорить о древних мистиках? Они жили в близком предчувствии Судного дня, остро переживая несовершенство мира и тонкость нитей, на которых этот мир подвешен.

Я много думал о суде, который человечество предуготавливает себе, чтоб «перед Богом» рассчитаться за все, им самим содеянное. Будет ли этот Судный день таким, как написано в Коране или в пророчестве Апокалипсиса?

Или смерть — это просто не бытие? Сознание стирается — а тело просто кладется в землю. Не знаю почему, но мысль противится этому. Может быть, это свойство сознания?

Мне близка мысль, что рай и ад мы творим сами — каждый час, каждый день. Мы сами создаем себе ад и сами выбираем жизнь в этом аду. Разве не ад создаем мы себе из своих невыполнимых желаний? Из пьянства? Оскорбляя других людей, разве не погружаемся мы в огнь гнева, заодно стараясь и их, своих собратьев, распалить на обиду и мщение? Среди людей есть святые и ангелы — но есть и бесы, получающие удовольствие от изощренного, извращенного даже зла. Это угадал еще Достоевский. Что будет с ними за смертным порогом — Тайна. Может быть, они подвергаются полной аннигиляции там, на высших уровнях Бытия. Но я далек от мысли, что ради них будут возжены адские костры и Аллах *вечно* будет поить их гноем и кипятком... Вы уж простите, я лучшего мнения об Аллахе.

А может быть, Суд Божий творится непрерывно? Разве минувший век не был «судным веком»? Разве Гражданская война не была подлинной «пляской Смерти?» Разве коммунистические и фашистские лагеря не превосходят Страшный суд? А атомная бомба? А то, что мы сделали с природой? С человеческой душой? И вообще все то безумие, в котором мы и жили, и живем, и, похоже, будем жить — разве это не

Страшный суд? Или нужно еще что-то уже воистину непредставимое по гнусности, чтобы взревела труба Исрафила и небо свилось как свиток? Так оно, по гнусности превосходящее все представления о добре и зле, оно же происходит каждый день, а небо все не свивается и не свивается... Выходит, праведники держат его, даже не подозревая об этом...

Короче, осмотрев с Муртузали «Ворота Судного дня», мы отправились из нижней части города наверх, к цитадели, сквозь кварталы старого города, которые до сих пор еще по-арабски зовутся «магалами». Они ветхи, но в этой ветхости — какая-то несравненная достоверность. Когда-нибудь их снесут, но я всегда буду помнить этот старый Дербент, в котором побывал еще Марко Поло. Он видел тысячелетние платаны возле Джума-мечети всего лишь трехсотпятидесятилетними, но так ли уж много это меняет? Ведь когда солнце совершало половину пути по небу, трапеза оказывалась кефалью, приготовленной в белом вине, косые тени ложились, предвещая вечер, ремесленники подсыпали корму ловчим и певчим птицам, спрятанным от дурного глаза в глуби двора, детвора шумно носилась по улицам, и зачарованный разум путешественника увлекал его, точно так же, как и меня, в сгусток старого города, к его лавочкам и мастерским, погонщикам верблюдов из дальних стран, синим ставням и синим воротам, скрывающим внутреннюю жизнь дворов: развешенное белье, женские пересуды, мальчишек в шуршащих ветвях акаций.

Возле старой Армянской церкви, куда Муртузали зашел по какому-то делу, я заметил автомобильную ремонтную мастерскую, хозяин которой как раз запаивал прохудившийся радиатор. Он посмотрел на меня, держащего наизготовку фотоаппарат, а я — на него — в синей майке, на фоне красной двери мастерской. И какой-то мгновенный контакт состоялся в точке перекрестья взглядов. Понимаете, гуляя по страницам сказки «Тысячи и одной ночи», так хочется верить, что найдется дверь, которая откроется для тебя. Ни для кого больше. Несколько щелчков фотоаппарата по красным дверям вновь привлекли ко мне внимание мастера.

— Что ты снимаешь? — спросил он.

— Цвет. Настроение. Город. Тебя.

Мы познакомились. Его звали Али.

Подумав, он вдруг произнес:

— Ты знаешь, кто я такой? Я лудильщик. Хочешь посмотреть?

— Что?

— Пойдем...

И, проведя меня в глубь лавки, он открыл ту самую единственную дверь, за которой стоят... может быть, сотни... прекрасных дагестанских медных сосудов — кувшинов, казанов, кружек, чаш...

— Бери, выбирай...

Я взял себе за четыреста рублей маленький медный чайник, в котором, должно быть, заваривал себе чай какой-нибудь пастух в горах Табасарана. В этот момент мне верилось, что Судный день откладывается и наши души без всякого потустороннего вмешательства нежатся в прохладе садов Джанната — мусульманского рая...

Свою экскурсию мы с Муртузали закончили, разумеется, в цитадели Нарым-Кала, где пространство вдруг распахивается во все стороны — от Каспия до вершины Джалгана — и сонные ветры истории веют над остатками дворца Фетали-хана, космическими белыми куполами ханских бань и подземным водохранилищем, устроенным в древнем христианском храме, вырубленном в скале в форме креста. Здесь — тайна, и много тайн накопил Дербент за пятьдесят веков своего существования.

Ну, а потом случилось непоправимое. Солнце совершило половину пути по небу, трапеза оказалась той самой кефалью, приготовленной в белом вине, место, куда мы с Муртузали зашли своячком, как и я уже освоился заходить, сопровождая его в Дербенте (разумеется, он знал тут всех), оказалось уединенной в сосновой роще резиденцией, где отмечал свой день рождения директор коньячного завода. К своему стыду, я даже не помню, дербентского или кизлярского. Обстановка была скромная: терраса с видом на «голубой сапфир» и всего несколько приглашенных.

Но коньяк является для меня нокаутирующим напитком. Поэтому уже после кефали я изыскал способ, чтобы вежливо покинуть собрание. Сознание выключилось. Но, как выяснилось, человек может отлично обходиться и без сознания. Об этом свидетельствуют мои снимки:

1) Жилистый загорелый рабочий, раскапывающий вход в подвал.

2) Пожилые люди, играющие в нарды.

3) Старик, в белоснежной вязаной шапочке, читающий учебник математики за пятый класс, которому я в своей статье приписал чтение Корана.

4) Старики под древними воротами Дербента: они собираются тут, чтобы после рабочего дня поговорить о главном — о детях, о хлебе...

5) Собственно дети, застигнутые за торговлей каким-то ширпотребом; живописный перекресток улицы, повсюду газовые трубы, купол какого-то сооружения, напоминающего квартальную мечеть.

6) Еще раз — старики, играющие в нарды (снято со вспышкой).

Тут и улица была широкая, без уклона, древо познания добра и зла (вот я уверен, что, если бы мы умели читать мысли деревьев, мы имели бы о добре, о зле, да и о себе самих более многогранные представления) росло — в свете вспышки — раскидистое, полносочное. В общем, многое в этом снимке при его внимательном рассмотрении указывало на близость мою к морю. Я шел, шел, шел, через какие-то шпалы, через какие-то трубы, собаки, явно потомки дурных перерождений, лаяли на меня, под конец я забрел уже совсем в непроходимый ночной мрак и вдруг... Я услышал. Море, черное, как южная ночь, как мои глаза, как плоды древа Зуккум, растущего из глубин мусульманского ада. Помню, я сорвал с себя одежду и бросился в воду, но море с омерзением выплюнуло меня с полной головой песка. Я кое-как вытерся майкой, надел джинсы на голое тело и каким-то трансцендентальным образом вновь оказался у дверей гостиницы «Европейская». И, если читатель будет милостивым, на этом мне хотелось бы закончить рассказ о своей первой невстрече с Каспием.

Теперь предоставлялся второй случай. И я решил, что, какие бы преграды ни стали на моем пути, я первым делом увижу море, а уж потом — Дербент в майском цветении и все такое. Правда, как и в первый раз, выйдя из гостиницы, я сразу пересек сквер у знаменитой крепостной стены и направился... Туда, где я пережил свои первые мгновения в Дербенте. Стена, казалось, еще глубже вросла в землю: теперь подле нее был разбит небольшой огородик, а наверху лепился какой-то курятник, служащий спасением от солнца человеческому существу. Как странно все-таки устроена память! Ведь тогда вел меня Муртузали, и я не запоминал приметы на нашем пути, но вышел к проему в стене сразу и точно. Вот здесь сидел этот старичок, с гармоникой, украшенной осколками зеркал. Его не было. Вообще ничего не было, какой-то пыльный парк. А вот и сами «Ворота»... Что-то издалека подсказало глазу, что пир утратил жизненную энергию: рядом не было ни людей, ни их следов. Я подошел поближе: камни поросли мхом, но никто больше не совал меж камней записочки и не втискивал монетки. Разумеется, пик интереса к необычному объекту, вызванный прессой за те первые годы, иссяк, пропаганда ислама, основанного на единобожии, а не на поклонении разным сомнительным объектам, сделала свое дело — ну и вот результат. Я обернулся и пошел искать свой голубой сапфир, свое море. При этом расчеты мои были просты: в прошлый раз я спускался от цитадели Нарым-Кала очень узким коридором, не выходящим за пределы стен (хотя новый город давно уже разросся по разные стороны) — значит, где-то там, в старом городе, и следовало искать море, в котором я так неудачно искупался. Я пошел вниз, в старые кварталы, когда-то примыкавшие к дербентской гавани, потом, как пишет А.Дюма, там были казармы, я же шел вдоль различной степени заброшенности довоенных двух-, трехэтажных домов, жадно впитывая в себя эпоху и стиль, каждый пучок антенн, каждую трещинку в стене, в стекле... Я погружался в какой-то спящий беспробудным сном город, где отчаянным золотом вдруг мелькнула главка русской церкви, а потом опять потянулась эта ни с чем не сравнимая пыль забвения... Не странно ли, что этой архитектурой люди всего несколько десятилетий назад пытались выразить свою надежду на лучшую жизнь. Надежду на Будущее. И дома эти сияли... ну, как

букеты того времени. А сейчас те же самые дома, с теми же самыми, частично, жителями выражали лишь недоумение старости, как-то нечаянно забытой, и забытой навсегда. Вместе с вывеской лавчонки, невесть откуда высунувшейся из времен Ильфа и Петрова: «Часовая-Ювелирная. Ремонт часов всех марок. Изготовление и ремонт ювелирных изделий». Маршрутка с разбитым ветровым стеклом и выдранным мотором, казалось, венчает этот уголок запустения, но тут я поглядел вперед, увидел рельсы железной дороги, надпись «Гастроном» и за нею сапфир — мое море. Казалось, оно вот, за переходом. Но не тут-то было. За переходом начинался болотистый, частично заросший участок, по которому в море стекал бурный ручей бурлящей и пенящейся жидкости, ни серый цвет которой, ни отвратительный запах сероводорода не оставляли сомнения в том, что именно подтачивает мой голубой карбункул. Перепрыгивая по нескольким автомобильным покрышкам, брошенным в проклятую смердящую плоть этого места, я выбрался наконец на берег. Так вот, значит, место, где угораздило меня в прошлый раз искупаться! Другого быть не могло. Да и действительность подтверждала это: в стороне от главного стока канализации в прибрежной воде плескались люди! Со всех сторон рядом (в том числе и в устье потока канализации), как хищные птицы на бетонных плитах, стояли люди с удочками. Как ни мало я видел каспийских берегов, но бетонные плиты — я умоляю вас, попробуйте вникнуть в тщету и безликость цивилизации, выдумавшей эти конструкции из бетона! — так вот, бетонные плиты были на всех берегах. Даже на тех, где их по идее не должно было быть. Я понял, что свидание не состоялось. Сапфир! Вы понимаете, когда я решил пойти по берегу и отыскать хоть один нормальный, чистый уголок пляжа без сливов канализации и без бетона, мне это не удалось! Я перешагивал десятки труб, каждая из которых изрыгала в море отходы. Ну, и плиты тоже. Потом я сообразил, что забрел в район прижатых к морю бывших заводов или автобаз, и часть плит, ну, это как бы расшатанные морским ветром, а может быть, и зимними штормами заборы этих самых заводов, которые море постепенно стаскивает к себе.

Я ушел с берега и вышел на пустынную площадку брошенной автобазы. Вы не поверите: даже в трещины в асфальте сочилась канализация: весь этот город со всеми его гнилыми трубами испражнялся здесь! Тогда я решил уйти от вони. И так, пройдя какие-то некрашеные, проржавевшие до дыр ворота, оказался на улице Приморской. Великолепное издевательство! В смысле близости к морю, эта улица, конечно, была приморской. Но вот в смысле приморскости? Есть особая поэтика заброшенности, нищеты, гетто, которая иногда попадает даже на страницы глянцевых журналов. Куры, собаки у мусорных баков, тут же скелеты этих собак, раздавленных проносящимися здесь машинами, проржавевший вентиляционный короб, человек в кепке, заинтересованно читающий газету, сидя на рельсах запасного пути, снятый с колес вагон, превращенный в жилье, и бетон, бетон заборов и стен в его каком-то прямодушном солдатском усердии держать форму, выдуманную, бля, архитектором — форму прямоугольного параллелепипеда. Форма еще удерживается, но уже ничему не служит. Форма без содержания, если не считать содержанием пустоту, гулкое эхо и одичавших голубей, заляпавших полы и проемы окон своим пометом. И все это никому не нужно, как пожелтевшая газета, забившаяся в ржавый куст. Стекла брошенных цехов разбиты, на почерневших воротах сохранился рисунок — член с невероятно гипертрофированной головкой, да надпись ЖБК-6. В проеме ворот просматривается кусочек морской синевы, не столь, может быть, изгаженной людьми. Людьми. Их трое. Они выпили и зачем-то пришли посидеть у этих ворот, на запустелую окраину города, как будто душа их ищет, ищет и нигде не может найти себе соответствия, кроме этой вот улицы на задворках мира, будто специально ищет неуюта и, только обретя его, успокаивается, в пространстве/времени между бытием и небытием, памятью и беспамятством, воплощением и развоплощением... Может быть, и один, и другой, и третий — все когда-то работали на этом комбинате, производящем строительные блоки. Но ты, чужестранец, зачем ты зашел на этот брошенный берег? Вслушиваться в ветер забвения? Играть в жмурки с судьбой?

— Э, ты откуда?

— Из Москвы.

— Ох, и заебали вы, москвичи...

Один потоньше, понервнее, позадиристее.

— Может, я вас лучше сфотографирую?

Он криво смеется и вынимает из внутреннего кармана пиджака три тонкие рыбки длиной с ладонь:

— На, закуси. Ты не думай, она — самая жирная на всем Каспии.

Я прохожу внутрь ворот ЖБК-6, обнаруживаю замусоренный пляж, где и оставляю рыбок, представив себе, на каких кормах они нагуливали свой жирок...

Внезапно что-то становится противно. Все противно. Противно находиться здесь, в этом желто-сером колере.

Я бы хотел сейчас куда-нибудь в Панаму, на риф, понырять там, изумляясь невероятной изобретательности природы. Или лечь под навесом над морем в ресторанчике у Паке в гамаке, заказать крепкий кофе и small sigar. Или вот что, оказаться на этом же берегу, только с другой стороны моря, в пустыне, на совершенно диком берегу вдвоем с женой... Остались ли еще у этого моря дикие берега? Чистые цвета: желтый и изумрудный. Следы ящерки на песке. Пучок травы. И железный метеорит величиной с лошадиную голову, упавший за миллион лет до нашего здесь появления... Хорошее место для медитации...

Я повернулся и пошел в обратную сторону.

На первом же перекрестке взял такси и поехал, минуя *магалы,* сразу к цитадели Нарым-Кала. Есть даже что-то роскошное в ниспадании складок ее мощных стен от Джалгана до надвратного бастиона, где они образуют над городом неприступную твердыню.

Я прошел сквозь массивные, окованные железом ворота.

В пустынном пространстве крепости стояла благословенная пора весны: цвели нарциссы, высаженные вдоль дорожек, цвел розовый осот — сорная трава, но в этот день, в этот час будто вбрызнутая на полотно живописца-авангардиста скоплениями густых лиловых пятен; да и сами деревья — то были ясени — выпуская свои первые, коричневато-желтые, с красными прожилками листочки, будто распускались каким-то невиданным цветом...

Я прошелся по стенам, глядя вниз, на расплывшийся, растекшийся по всему побережью Дербент, потом на горы позади. Оттуда светило солнце, озаряя белоснежные купола ханских бань, которые — в который раз уже говорю об этом — напоминали мне НЛО, по случайности приземлившиеся на этой негостеприимной планете. А, впрочем, с высоты в ней не заметно было негостеприимства: крыши человеческого жилья лепились друг к другу, как испугавшиеся дети; даже безблагодатный квартал на побережье издали казался не то чтобы сносным — красивым. Гаснущее синее море плыло над ним, как небо, а в середине картины, как настоящий, пробирался тепловозик с красной звездой на лбу. Я долго смотрел на вечереющий город, пока не почувствовал, что пора уходить.

Мысль полежать на траве сама собою приходила в голову в этот чудный солнечный вечер, я вышел из цитадели, где уже обжимались парочки и, чтобы никому не мешать, зашел с тыльной ее части. И вдруг обнаружил три большущих костра. Жгли, видимо, ветки сосен, обломившиеся за зиму. Но вблизи эти костры выглядели отчасти даже угрожающе: жар пылал в их сердцевине, ветер швырял на стены рыжие космы огня и даже как будто оторвавшиеся пучки пламени. Изображение стен плавилось, становилось зыбким, и я, забыв о намерении мирно полежать на травке, вдруг представил себе колоссальные кипящие котлы с нефтью, приготовленные для катапульт Тамерлана, огненные кочаны напитанной нефтью пакли, черных от сажи солдат и эти пылающие стога огня, к которым подносили все новое и новое топливо артиллеристы. Пытаясь сделать изображение выразительнее, я стал подходить к кострам все ближе и ближе, пока не стал мешать подносящим ветки (да это были целые стволы!) рабочим-азербайджанцам. Внезапно их бригадир, мужик лет пятидесяти, позвал меня. Я встал, тоже что-то как будто припоминая...

— Послушай, а не ты несколько лет назад с Муртузом заходил к нам на дачу...

— Дача — это там? — показал я на темное пятно хвойного леса на фоне горы.

— Ну да...

Невероятно. Ведь столько лет прошло... И все же...

— Так это ваша была форель в белом вине?

Мужчина расплылся в благодарной улыбке, польщенный моею памятью о форели:

— Ну, да... Я, вообще, повар, вот, в Москву собираюсь...

Я не стал спрашивать почему. В Москве хватает поваров. Но он на что-то, видимо, надеется. А разрушать надежду нельзя.

Ну вот, а потом я пошел вниз, в *магалы,* к Джума-мечети, наблюдая всю вечернюю жизнь, выплеснувшуюся на улицы в этот час: разве что под аркой главных ворот в компании стариков сидел теперь другой старичок в белоснежной вязаной шапочке (да и компания была уже вся другая), и он стреканул по мне острым взглядом джигита, когда я остановился запечатлеть на фоне вечности все их собрание. Этот взгляд был жгуч, как хорошая плеть — а ведь дед был всего-навсего булочником, торговцем хлебом, что выяснил я наутро, на прощанье гуляя по городу.

Напоследок я зашел к Али. Своему мастеру-лудильщику. Красная дверь его мастерской была пыльной, будто ее не отпирали сто лет. Я постучал. Никто не ответил. Уехал в Москву или ушел в лес? Или, что еще хуже, заболел и умер, или просто был подхвачен тысячей разных обстоятельств, которым подвержен одинокий трудящийся человек, беззащитный в общем-то перед всеми, и был унесен — я даже не знаю куда — ветрами своей, моей, нашей общей жизни?!

В полночь я приехал на пляж далеко за городом. Парочки перешептывались в темноте. Машина ждала. Я выкупался, выкурил сигарету и вдруг отчетливо ощутил, что все это не то: весь расклад не тот, и море не то, и купание, и сигарета, и машина... Не то место, чтобы ставить точку. Придется вернуться к этому морю, чтобы что-то додумать, дочувствовать правильно. И преподнести своей любимой настоящий подарок — сапфир моря в драгоценной оправе золотых песков пустыни...

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Перевод с аварского Н.Гребнева.

[2] Табасаран — часть южного Дагестана, по долине реки Рубас, населенная особым племенем кавказских горцев — табасаранцев. В начале XIX века часть их была свободными землевладельцами, часть находилась в подчинении у местных беков арабского происхождения, которым они платили разные повинности обыкновенно натурою за право пользоваться землею. Занимаются земледелием, садоводством и скотоводством. Добавим, что слово «Табасаран» не является ни табасаранским, ни вообще кавказским. Часть современных исследователей возводит происхождение табасаранцев к иудеям, другие — к племени таваспаров (табатаранов), которые участвовали в совместных походах гуннов, маскутов и других кочевников, появившихся в районе Каспийских ворот в период Великого переселения народов (IV—VII века). В переводе с персидского языка форма множественного числа от «табасаран» буквально означает «предводители войска», «военачальники».

[3] На территории Дагестана находилось несколько ханств, хунзахское нуцальство, кумыкское шамхальство, кайтагское уцмийство.

[4] По приказанию Сталина турки-месхетинцы, проживающие на юге Грузии, были выселены в Узбекистан, в Ферганскую долину, откуда они были жестоко изгнаны узбеками в 1989 году во время становления «национального сознания» узбекского народа перед распадом СССР.

[5] Хосров I Ануширван («Справедливый» или «Благословенный» (531—578). Выдающийся сассанидский правитель Персидской империи. Приказал перевести на персидский язык лучшие сочинения Платона, Аристотеля и других греческих философов. Основал школы, покровительствовал земледелию, улучшил судопроизводство и систему земледелия и поднял благосостояние страны. Он вел счастливые войны с Византией и расширил свое царство от Инда до Средиземного моря и от Яксарта до границ Египта. Предпринял строительство укреплений, которые воспрепятствовали бы северным варварам проникать в тогдашний «цивилизованный мир». По жестокой иронии судьбы после смерти Хосрова все его достижения погибли в годы правления его неумного, но жестокого и тиранического сына Гормизда IV (578—590).

[6] Ранний суфизм — мистическое течение в исламе — совершил свой духовный прорыв *вопреки* прямым запретам толковать Коран, *вне* установлений закона (шариата), и часто кажется, что вообще *вне* исламской традиции (скорее было очевидно влияние буддизма, особенно в Персии). За это суфии не раз обвинялись в ереси и были бы раздавлены

правоверными мусульманами, не будь мистическая составляющая суфизма широко принята народом. А сам суфизм после монгольского нашествия был назван «сердцем» ислама.

[7] В Дербенте была кафедра католикоса Кавказской Албании; владели им персы, арабы, ширваншахи, потом снова персы; Петр I зарился на Дербент и даже был здесь в 1722 году, но, как выяснилось, это была лишь рекогносцировочная прогулка царя. Российским владением Дербент стал тогда же, когда и Баку, в 1806 году в результате русско-персидской войны, завершившейся Гюлистанским миром (1813).

[8] Гамзат-Бек (...— 1833) — второй имам Дагестана и Чечни, считавший, что главный вред чистоте веры и независимости Дагестана наносит местная аристократия, которая охотно идет на контакт с русскими, принимает подарки, военные чины и жалованья...

[9] «Кавказская война» (1817—1864) — война Российской империи с горцами Северного Кавказа и в особенности Дагестана и Чечни, объединенных под руководством имама Шамиля (1833—1859), которая закончилась поражением горцев и добровольной сдачей Шамиля в плен.

[10] Сленговое название Махачкалы, в 1921 году получившей свое название (вместо прежнего — Петровск) в честь дагестанского революционера Махача Дахадаева.

[11] Суфийского наставника. Интересно, что древнейшие захоронения в Аварии, как и в Азербайджане, однозначно определяются, как зороастрийские.

[12] В с. Пирогово Тульской области находится филиал музея-усадьбы Л.Толстого. Здесь жила сестра Толстого, Мария Николаевна. Как-то раз, будучи у нее в гостях, Толстой, возвращаясь с прогулки, увидел смятый плугом, разорванный, но еще живой куст татарника, который и послужил образным ключом ко всей повести «Хаджи-Мурат».

[13] Мукденское сражение было крупнейшим сражением Русско-японской войны (1904—1905), в котором на сопках Маньчжурии пало 90 тысяч человек, что, в совокупности с другими военными неудачами царского правительства, предопределило скорое окончание войны в пользу Японии. На Калке русские и половцы впервые в 1223 году столкнулись с монгольскими отрядами Субудая и Джэбе, которые не смогли взять Дербент, и, в результате «рикошетом» унесенные в поднепровские степи, отпраздновали победу на костях побежденных русских князей, живыми уложенных под пиршественный помост.

[14] Не буду взвешивать аргументы в пользу того, чем был знаменитый «теракт» 11 сентября 2001-го — невиданной по дерзости атакой «исламистов» или мастерски срежиссированным спектаклем ЦРУ. Но, в любом случае, США на 300 процентов сумели использовать «исламистскую угрозу» в своих интересах. Эти теракты развязали Америке руки: Ирак, Афганистан, даже невинная Ливия, невероятные объемы украденной нефти и колоссальные возможности манипулирования людьми и идеологиями — в том числе и «исламским экстремизмом» — вот что получила Америка за 11 сентября...

[15] Кадий — в исламе судья, толкующий законы шариата; в Андалале — по сути верховный правитель, задачей которого было следить за исполнением законов шариата и законов Андалала.

[16] Урбеч — размолотые льняные семена с маслом и медом. Обычно намазывается на хлеб домашнего приготовления.

[17] Черкасский Алексей Михайлович (1680—1742), князь, канцлер при императрице Анне Иоанновне (1693—1740).

[18] На самом деле все сложнее: восстание подготавливалось к началу Русско-турецкой войны (1877—1878), где, как было известно, генералом турецкой армии служит сын имама Шамиля. Да и в выступлении принял участие не только Согратль, а целый ряд аулов, хотя восстание так и не стало массовым. Но в памяти Магомеда Согратль остается единственным, неповторимым и непобежденным. Это его небесный град. Можем ли мы осудить его за это?

[19] «Если арифметика непротиворечива, то она неполна» — это утверждение следует из замечательной теоремы Геделя о неполноте (1931). Так неожиданно закончился длившийся около 300 лет период почти безграничной веры европейской науки в силу логического мышления. Из теоремы Геделя следует, что мышление человека богаче его аксиоматически-дедуктивной формы. Всякая строго формально построенная логическая система будет содержать мысли, которые в рамках этой системы недоказуемы. Так, например, нельзя доказать непротиворечивость данной логики. В отличие от древнегреческой логики, мысль древней Индии открыто признавала и, более того, подчеркивала невозможность однозначного и непротиворечивого восприятия смыслов.

[20] Взрывы в кафе и барах, поджоги магазинов, в которых продается спиртное, взрывы на пляжах («рассадниках разврата»), убийства целителей и гадалок, похищения охотников и егерей, рэкет, убийства суфийских имамов и шейхов, убийства представителей власти.

[21] Девятого декабря 2003 г. террористка-смертница подрывается в Москве возле отеля «Националь». По-моему, она была первая дагестанка, подорвавшаяся в столице. Три крупнейших теракта — два взрыва 29 марта 2010 г. в московском метро и 24 января 2011 в аэропорту «Домодедово» — (в общей сложности 75 убитых и 268 получивших ранения) связаны с дагестанским подпольем, что всячески подчеркивается официальными версиями расследования этих преступлений.

Гурам Сванидзе

Бремя раздвоения

Эссе на темы социологии

Развитие нации — противоречивый процесс. Он всегда представляет собой единство и противостояние этнической общины, общества граждан и государства. Дело в степени остроты означенной коллизии. В период модернизации или в момент кризиса она становится критической.

Сегодня современное правозащитное законодательство наделяет индивида правом свободно идентифицировать себя с этнической группой. Это правовое положение отражает определенные исторические реалии, обусловленные упомянутым противоречием. Бывает и так, что этническая культура, не выдержав испытания модернизацией, вытесняется в своего рода резервацию и становится экспонатом краеведческих музеев, в лучшем случае — бытовым атрибутом. Примеры «несостоявшихся государств» показывают, что может происходить, если частный интерес этнической группы остается непреодолимым барьером для строительства государства и формирования гражданского общества. Имеется в виду негибкость общины, ее слабая способность к изменению. Между тем именно способность этноса к внутренним переменам не только повышает возможности его адаптации к изменяющимся внешним условиям, но и содействует становлению гражданского общества и государства.

В некоторых случаях мы наблюдаем шизофреническое раздвоение культур. В качестве примера обычно приводится современное турецкое общество, где гарантом и проводником вестернизации являются официоз и преимущественно военное сословие, а остальная часть населения ориентирована на традиционные ценности ислама. Такой баланс подвержен срывам и нестабилен.

Между тем творческое взаимодействие этнической традиции и стандартов модернизации может приводить и к синтезу. В этой связи интересен опыт финнов. Финляндия еще в начале прошлого века представляла собой далекую периферию Европы. Теперь ее социальная организация является одной из образцовых на континенте. Пройдя через внутреннюю перестройку, финский этнос, не утратив своей самобытности, содействовал в то же время становлению общественных и государственных институтов.

Очевидно, что грузинский этнос обладает высокой степенью способности к выживанию. Несмотря на многочисленные вторжения и сильный ассимиляторский пресс со стороны могущественных империй, ему всегда удавалось отстоять свою культуру, религию и язык. Даже в самых тяжелых условиях его идентичность не

Сванидзе Гурам Александрович — родился в 1954 году в Тбилиси, окончил факультет журналистики Тбилисского государственного университета и аспирантуру Института социологических исследований АН СССР в Москве, где защитил кандидатскую диссертацию. Работал в различных отраслевых социологических службах в Тбилиси. В последнее время работает в Комитете по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии. Г.Сванидзе — автор многочисленных социологических исследований и научных статей по проблемам глобализации, гражданской интеграции, эмиграции, а также сборников рассказов «Городок» и «Тополя». Неоднократно публиковался в русских, американских, израильских и грузинских интернет-журналах.

только сохранялась, но и обогащалась. Более того, в той или иной мере сохранялись территория и политический суверенитет Грузии.

Однако способность к выживанию не есть нечто неизменное. Она может как наращиваться, так и становиться неадекватной в изменившихся условиях. Чем больше издержек с ее осуществлением, тем выше себестоимость и драматизм исторических процессов, в которые включен этнос.

Сегодня грузинский этнос стоит перед новым вызовом: вестернизацией и ассоциируемыми с ней модернизацией и глобализацией.

Издержки и польза

Промежуточной формой противоречия является **двойной стандарт**.

Он может представлять собой основную стратегию выживания этноса. В таких случаях уже вся система являет собой предмет сделки между традиционными структурами (community), с одной стороны, и обществом (society) и государством (state) — с другой. Такую стратегию выживания этноса можно назвать защитной. Но с ее осуществлением связано множество неудобств, чтобы не сказать вероятностей фатальных последствий.

Сделку нельзя путать с общественным договором и согласием. Последние предполагают единообразное толкование ценностей, которые сплачивают социальные группы и индивидов, а не возможность быть исключением из правил. Как бы «по умолчанию» при двойном стандарте предполагается пиетет по отношению к официозу и его установлениям, но реально отдается предпочтение частным ценностям и интересам.

В кризисных ситуациях двойной стандарт порождает дефицит легитимности, или аномию. В стране ощущается нехватка согласия относительно законности конкретных действий истеблишмента и доверия к ним. Общественное мнение напоминает детектив, в котором постоянно муссируются сплетни о заговорах, в ситуации двойного стандарта «нет ничего святого», так как все происходящее обусловливается коррупционной сделкой неких «групп интересов».

По большому счету, гарантом легитимности системы должно выступать гражданское общество, подкрепленное демократическими институтами. Оно представляет собой системное качество, нечто самодостаточное по отношению как к государственным институтам, так и к традиционным общинам. Слабость гражданского общества приводит к тому, что оно превращается в механический конгломерат соперничающих друг с другом или в лучшем случае не связанных друг с другом социумов и индивидов. Общественность активно ищет моральные авторитеты. Есть общества, где традиционные этнические ценности, пусть даже те представляют пережиток, остаются главным аргументом против хаоса.

В полиэтничном государстве аномия чревата противостоянием титульного этноса и этнических меньшинств.

Двойной стандарт создает трудности в деле налаживания эффективной государственной машины, происходит эрозия правового сознания. Законам трудно конкурировать с традициями партикулярных сообществ. Традиции для замученных раздвоенностью людей выглядят более убедительно, нежели бумажные предписания официоза.

В соответствии с логикой развития двойного стандарта коррупция власти ведет к ее криминализации. Власть смыкается с «блатным» миром, с гангстерскими синдикатами (наркомафией и др.), которые создают так называемые «эскадроны смерти» и устраивают несудебные расправы над противниками режима.

На этом фоне «полезными» выглядят военные перевороты, цель которых «погасить дефицит легитимности». Армия иногда являет собой последний оплот стабильности государства, гаранта сохранения государственности как таковой. Под лозунгами борьбы с коррупцией, охватившей гражданские институты, она захватывает власть. Другое дело, что правление военных клик не отличается ни демократичностью, ни эффективностью.

Дефицит легитимности заполняется, когда на арену вступает «вождь» — харизматический лидер, который за счет личного авторитета и выдающихся способностей

призван придать законность (легитимность) системе. Имидж вождя обретает облик этнического героя, если консолидация в рамках этнической группы представляется обществу как путь к спасению. Излишне говорить, что обретенная подобным образом легитимность не отличается устойчивостью. Вождь уязвим, и сами массы с готовностью развенчивают его.

Решающее значение может иметь внешний фактор. Если его начинают воспринимать как единственную альтернативу внутреннему разброду, то общество по существу расписывается в своей несостоятельности и неспособности к самоуправлению.

Однако двойной стандарт не является чем-то безусловно отрицательным. Этот феномен может быть вынужденным и даже «полезным». Например, он может стать спасительной стратегией для этнического меньшинства, находящегося в окружении иной культуры, тем более если это меньшинство испытывает на себе ассимиляторское давление.

Или, в условиях неполного суверенитета или его отсутствия, двойной стандарт представляется защитной реакцией на чуждый этносу истеблишмент. Отношения с ним оцениваются как неизбежное зло и становятся, следовательно, также неизбежно конформистскими.

Так на всем протяжении грузинской истории из-за постоянной угрозы агрессии и геноцида центральная власть нередко становилась предметом сделок с империями. Манипуляции вокруг царского трона приводили к сбоям династического наследования, что подрывало легитимность верховной власти. После тяжелых кризисов, связанных с вторжениями завоевателей, в осадке всегда оставались исторические этнические или субэтнические общины. Крушение этого последнего бастиона привело бы грузинский народ к исчезновению.

В этой ситуации православная религия фактически взяла на себя роль хранительницы языка, культуры этноса и служила главным объединительным фактором. Она объективно не могла участвовать в государственном строительстве ввиду отсутствия соответствующих условий. Ее этатистских тенденций хватало лишь на то, чтобы поддерживать в народном сознании идею о неделимой и единой стране и воспоминания о «золотом веке» — то есть сохранять потенциал для объединения страны, воссоздания нового общества и государства.

Впрочем, этатистским идеалам противостояла реальная тенденция партикуляризации. Она усугублялась тем, что в Грузии центральная власть — царь — была заложницей интриг удельных князей, это продлило здесь период феодальной раздробленности. Благие намерения некоторых царей-объединителей порой трактовались как попытка установления господства того или иного субэтноса. Сказывается также то, что Грузия не знала абсолютной монархии, а ведь именно она стала фундаментом государственных устоев современной Европы. Не говоря уж о сакрализации государственных институтов, которую можно наблюдать в дальневосточных конфуцианских культурах.

Имели значение географический рельеф страны, неразвитость коммуникаций между регионами, отсутствие внутреннего рынка. В тех условиях, когда не существовало ни экономических, ни политических предпосылок для общенационального интереса, партикуляризм был действительностью, а мечты о едином государстве казались недосягаемым идеалом. Сегодня, в более благоприятных исторических условиях, некоторые проявления местнического интереса тех времен рассматривают как вопиющие акты предательства общего дела. Однако не исключено, что в ту пору они воспринимались иначе, чем и объясняется их многочисленность.

Вехи

Нельзя сказать, что влечение к двойному стандарту фатально. Он как носитель «перекрестного давления» в общественной психологии и культуре сам по себе — бремя, которое становится тяжелее в быстро меняющихся условиях.

Более нормальным является стремление к монизму, который снимает внутреннее напряжение в обществе. Но и здесь должна существовать своя мера. Здоровый монизм не предполагает полного исключения противоречий между общим и частным интересами.

То, к каким катастрофическим результатам могут привести крайние формы

монизма, демонстрирует эпоха Сталина. Властная вертикаль в ту эпоху доминировала безраздельно и подмяла под себя и общество, и традиционный сектор. Семья — связующее звено между обществом и общиной — была «огосударствлена». Нечто подобное происходило и с традиционной общиной, которую пытались загнать в колхозы и совхозы. Тотальное доносительство в пользу государства породило феномен Павлика Морозова. Этот «герой того времени» «сдал» властям богатых общинников и даже членов собственной семьи.

Интересно, что сталинский монизм исключал существование элиты. Она так и не состоялась. Ротация номенклатуры происходила регулярно, иногда эта номенклатура просто «отстреливалась». Известный факт: не было такого члена тогдашнего Политбюро, который не стал бы заложником системы, поскольку у всех ближайшие родственники подвергались репрессиям. Фигура Сталина выступала единственным непогрешимым и неподкупным гарантом легитимности совдепии. Даже в периферийной Грузии формирование «революционных» кланов не было явно выражено. Борьба с кумовством, местническими интересами, семейственностью велась постоянно. Едва давший было о себе знать этнорегиональный партикуляризм раздавили безжалостно. Имеется в виду «мингрельское дело», возбужденное НКВД в 1951 году.

В послесталинский период, во времена хрущевской «оттепели» и брежневского застоя, уже не генсек, а коллективный орган — партийно-хозяйственный актив стал гарантом легитимности. Во времена Хрущева появились первые признаки двойного стандарта. Из сталинского прошлого были позаимствованы внешние атрибуты почитания официоза, выторгована мера личной пользы для себя. В пору правления Брежнева порожденные двойным стандартом «теневые структуры» разрослись непомерно.

Наиболее очевидные формы двойной стандарт принял в социалистической Грузии. После сталинской диктатуры он оживился здесь как ни в одной другой республике СССР. В стране особенно ощущался такой его элемент, как дефицит государственного мышления. Более того, считалось правилом хорошего тона козырять анархистскими замашками. Но к власти стремились, чтоб с ее помощью наживаться. Коррупция стала «всенародной» и фактически работала на укрепление традиционных этнических структур.

В самом обществе возродился дух круговой поруки. Позиции традиционного образа жизни укрепились. Кумовство как механизм консолидации традиционной структуры перед лицом государственного истеблишмента по-прежнему воспринималось как ценность и совсем не ассоциировалось с негативным понятием непотизма.

Однако последствия сталинского правления давали о себе знать в кадровой политике государства. Разного рода «групповщина», основанная на кровнородственных, клановых узах (региональных или субэтнических) открыто себя на высшем уровне не проявляла. Рецидивы «мингрельского дела» не допускались. Правда, в народе шутили, называя здание ЦК КП Грузии гостиницей «Гурия» — по наименованию региона, откуда был родом Шеварднадзе. Первый секретарь построил свою карьеру на том, что активно боролся с «антиподами» (термин, использовавшийся во время «чисток» в 70-е годы прошлого века). В качестве наиболее одиозного проявления деятельности антиподов был объявлен протекционизм. Однако «борьба с негативными явлениями» носила характер «крестовых походов» и была обречена, так как имела своей мишенью конкретных людей, а не систему.

Вместе с тем в Грузии наибольшего развития достигли мафиозные группы, построенные по отраслевому принципу, — «винные», «цитрусовые», «табачные», «курортные». Они представляли собой теневые образования партийно-хозяйственного актива. Их деятельность была тесно связана с коррупционными структурами в имперском центре. Монопольно высокие цены на «экзотическую» продукцию из Грузии устанавливались и утверждались там. В этих группировках этнорегиональное представительство обусловливалось географией соответствующих отраслей промышленности.

Двойной стандарт в Грузии достиг своего апогея, когда коррупция стала переходить в криминал. Произошла негласная реабилитация преступного мира. Если образ казнокрада казался будничным, то с фигурой «вора в законе» связывали «блатную романтику». В качестве «свадебных генералов» открыто фигурировали «воры в законе». Известен случай, когда на похоронах одного колоритного тбилисского горо-

жанина академиков и министров было столько же, сколько известных казнокрадов и... представителей преступного мира.

Двойной стандарт в условиях независимости

а) Крайности этнонационализма

Если функциональность двойного стандарта, вызванную необходимостью выживания народа, еще как-то можно объяснить и допустить, то его деструктивность в процессе строительства независимого государства не вызывает сомнений.

Попытку преодолеть двойной стандарт предпринял Гамсахурдиа. Он предложил народу борьбу как с самой партийно-хозяйственной номенклатурой, так и с ее теневым образованием — мафией. Энтузиазм, с каким участвовали в процессе преобразований широкие массы населения, обусловливался не только идеей государственной независимости, но и привлекательностью лозунгов борьбы за социальную справедливость, против засилья мафии.

Симптоматично, что из обихода освободительного движения напрочь исчезла лексика, связанная с классовой борьбой. То есть борьбе за социальную справедливость не придавался классовый характер. Взамен Гамсахурдиа предложил модель монизма, основанного на идеологии этнонационализма. Принято считать, что эта доктрина была защитной реакцией на политику пролетарского интернационализма, которая на местах воспринималась как ассимиляторская. Однако вместо того, чтобы предложить новый вариант строительства гражданского общества, национально-освободительное движение впало в крайности этноцентризма, что повлекло за собой дробление общества. Это дробление дошло до уровня «мегрельского сепаратизма», «сванского трайбализма» и так далее, то есть возникла угроза целостности грузинского этноса как такового. Не говоря уже о сепаратистских движениях в Абхазии и Южной Осетии и скрытом ирредентизме[1] в Джавахетии и Нижней Картли — в местах компактного проживания меньшинств.

Более того, в стране произошла тотальная атомизация общества, его распад на маргинальных индивидов. Общество все более походило на калейдоскоп многочисленных неустойчивых связей. Такой «бесконечный плюрализм» не предполагал наличия готовности к диалогу и консенсусу.

Характерно, что вместе с тотальным кризисом общества распадался и двойной стандарт, который также предполагает консенсус, пусть и двусмысленный. Правда, в пылу борьбы с коммунистической мафией новые власти не заметили опасности возникновения нового партийно-хозяйственного актива «круглых» (от названия доминантного политического движения «Круглый стол»). Однако новая мафия не успела состояться.

Существует мнение, что «старая» мафия взяла реванш и легко расправилась с обессилевшим от раздоров обществом и подорванной государственной машиной. На самом деле могущественные «отраслевые» мафии экономически были ослаблены ввиду быстро наступившего организационно-экономического коллапса курируемых ими отраслей. Впрочем, недооценивать ее роль в свержении Гамсахурдиа не приходится. Общество, ставшее на путь саморазрушения, легко поддавалось манипуляции.

На фоне всеобщего распада общества набирал силу этнорегионализм. Актуализировался «тбилисский шовинизм», противостоявший этнорегиональному партикуляризму, стихии «гоимизации». Так называли явление, связанное с процессом этнизации общества (преимущественно с мегрельским акцентом), что ассоциировалось у тбилисской интеллигенции с засильем провинциализма. Военные акции в Мегрелии в тот период чем-то напоминали «мингрельское дело» 1951 года.

---

[1] Ирредентизм (от итал. *irredento* — «неискупленный», «неосвобожденный») первоначально — политическое движение в Италии конца XIX — начала XX века, направленное на присоединение к Итальянскому королевству пограничных территорий Австро-Венгрии с итальянским населением. В настоящее время термин ирредентизм используется для обозначения политики государства, партии или политического движения, выражающейся в этнической мобилизации, при которой поднимается вопрос о воссоединении территории, на которой проживает ирредента, с титульным государством, в котором их этнос составляет большинство.

Альянс тбилисской интеллигенции с криминальной группировкой «Мхедриони» и гвардией, возглавлявшейся политическим деликвентом Тенгизом Китовани, был столь же чудовищным, сколь и вынужденным. В стране не было сильного военного сословия, которое в некоторых странах третьего мира выступало гарантом сохранения государственности. Трудно понять, чего было больше в действиях командующего гвардией Китовани — попыток государственность сохранить или ее разрушить. Наиболее активным «свергателем» Гамсахурдиа стал именно «Мхедриони». Ситуация не покажется парадоксальной, если учесть, что паразитирующий на теле общества криминал может быть заинтересован в сохранении истеблишмента. В конце концов, действия гвардии и «Мхедриони» только ускорили процесс распада государства и общества.

Скоротечный режим Гамсахурдиа явил собой пример не только несостоявшегося государства или несостоятельности строительства этнического государства, но и пример того, как с гибелью государства и общества теряет свой смысл и двойной стандарт.

б) Размытый фундамент

«Призыв во власть» Эдуарда Шеварднадзе, жившего в Москве, стал шансом спасения грузинского общества и государства. На смену этнонационализму во времена Шеварднадзе-демократа пришли лозунги строительства гражданского общества. Опытный политик долгое время полагался только на свои силы, пока не убедился, что без собственной партии власти ему не обойтись. Впоследствии оказалось, что созданное им политическое движение «Союз граждан» по своим ухваткам и склонности к коррупции мало отличалось от КПСС. Его основу составили бывшие члены старого партийно-хозяйственного актива, быстро обретшие буржуазный лоск.

В пору Шеварднадзе Грузия утвердилась в своем выборе в пользу западного вектора развития. Во времена коммунистов лозунги в поддержку такого выбора сочли бы проявлением инфантилизма. Во времена Гамсахурдиа их находили вполне реальными. При Шеварднадзе-демократе они стали актуальными, что было подтверждено включением Грузии в европейские структуры и экономические мега-проекты.

Шеварднадзе справился с наиболее одиозной формой мафии — криминалитетом. Иоселиани был изолирован. Но стареющий политик не смог совладать с ее респектабельной формой. Чего стоили бесчинства энергомафии, в течение 15 лет державшей население на голодном пайке, подвергая его пытке холодом и тьмой в зимние периоды. Вместо приватизации страна получила «прихватизацию» в ее самых циничных формах.

Умение Шеварднадзе балансировать позволяло сохранить status quo. Распад государства прекратился или принял вялотекущие формы, на смену ему пришли такие же вялотекущие формы развития и застой. В общественном сознании ощущение «дефицита легитимности» оставалось острым. В 2003 году стало ясно, что правлению Шеварднадзе не вынести испытания таким стрессом, как «революция роз». Ему не удалось мобилизовать государственные институты, которые рухнули как карточный домик. Не защитила Шеварднадзе и его партия «Союз граждан». В последние дни его режима были зафиксированы массовые перебежки из его стана. Многие из узнаваемых лиц победоносно заявляли об этом в телеэфире.

Этнонациональный сектор сильно ослаб. Наступило разочарование в его возможностях. Его хватало теперь только на жалобы: дескать, национальные ценности находятся в опасности, угроза идет от вестернизации. Хотя в ту пору трудно было еще судить, насколько основательно утвердились в Грузии «завоевания» прозападных сил, могли ли они стать фактором национального развития.

Однако заслугой Шеварднадзе стала закладка во времена его правления сектора неправительственных организаций (НПО). Сектор финансировали международные фонды. Кроме того, чтобы стать главным проводником западного влияния, он должен был содействовать самоочищению общества от элементов двойного стандарта. Эта общественная сила была призвана подвести основу под будущее гражданское общество с его механизмами самоуправления и контроля над государством. Надежды связывались с молодежью, получившей образование на Западе (с «испившими вод океана»). Молодежь составляла основную массу людей, включившихся в неправительственный сектор. В Грузии обозначились контуры ювентизации — политики омоложения руководящих кадров.

Именно благодаря развитости этого гражданского сектора Грузия снискала себе симпатии как страна молодой демократии.

Но возникал вопрос: удалось ли явлению ювентизации в лице НПО и «испивших вод океана» избежать капканов двойного стандарта и выполнить свою миссию?

Не исключено, что мы столкнулись с пережитками недоверия, тянущегося из прошлого. Причиной для сомнений могло стать и то, что иностранные фонды, вместо того чтобы печься о расширении социальной основы НПО, содействовали возникновению непроницаемой «демократической касты» с сопутствующей ей «демократической коррупцией» в данной сфере. Со временем база ее воспроизводства сокращалась.

Даже стали актуальными различия между теми молодыми людьми, кто получил образование в англоязычных странах, и теми, кто учился в неанглоязычных странах. Местный непотизм теснее смыкался с исторически выработанным навыком втираться в фавориты к спонсорам.

Западные эмиссары должны были понимать, что любая монополизация есть признак наступающей стагнации, которая знаменовала бы их поражение в деле развития в Грузии гражданского сектора и демократии в целом.

Остается гадать, было ли конкретной и единственной целью Запада привести к власти в Грузии своих адептов, и не оставалась ли пропаганда строительства гражданского общества только прикрытием. Может быть, за кордоном решили, что при помощи фондов в стране заложена достаточная основа для того, чтобы сектор НПО самовоспроизводился, и что в обществе уже сформировалось осознание важности этого института. Но после «революции роз», в результате рокировки элиты НПО во власть, сектор сильно ослаб. То есть сработала одна из особенностей двойного стандарта — после себя оставлять пустошь.

Экономия на грузинской демократии со стороны иностранных фондов сослужила еще одну дурную службу. Оставшись у разбитого корыта, НПО не замедлили политизироваться. Это обстоятельство ослабило остававшийся еще гражданский сектор и не усилило оппозицию.

Сегодня раздается много критики в адрес оппозиционного политического спектра. Причин для недовольства накопилось немало. Но не следует упускать из виду урон, который понесло гражданское общество. Именно по этой причине оно не смогло создать сильный политический класс. Пестрота политического спектра есть отражение мозаичности частных интересов многочисленных групп, составляющих общество.

Эксперты заговорили об апатии, охватившей народ. На самом же деле, несмотря на очевидные поводы для недовольства, он бездействует за неимением организующего начала в виде политических движений. Чехарда среди политиков еще больше отчуждает народ от оппозиции. Общество, усвоив уроки двадцатилетней истории независимости, воздерживается от спонтанных действий. То, что во время манифестаций в Грузии не бьют витрин, не жгут автомобилей, не покушаются на частную собственность, можно оценить как достижение в развитии политической культуры общества. Но достижение недостаточное. Организованность, умение составить и предложить продуманную программу действий, способность объединить вокруг ее лозунгов массы людей — это уже следующий этап развития политической культуры гражданского общества. Пока главным аргументом грузинских манифестаций остается многочисленность их участников, а не реалистичность выдвигаемых ими требований.

Не остается не замеченной в обществе привычка некоторых партий через сделку с истеблишментом приватно решать свои проблемы.

Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов инерцию прошлого и возможность обратимости процессов. По-прежнему актуальными могут быть модели поведения, характерные для общинника, но не для представителя гражданского общества.

В этой связи интересной иллюстрацией служат материалы исследования поведения грузинских мигрантов за рубежом. Оказавшись в экстремальной ситуации, они прибегают к характерным стратегиям выживания. Замечено, что они не участвуют в организованных профсоюзами и разными НПО акциях в защиту прав мигрантов, а стараются решать свои проблемы внутри мигрантской общины или идут на сделки с миграционными властями, или изобретают невероятные способы, чтобы обойти закон. Еще одна особенность — грузинские мигранты пассивно ждут новых законов,

которые смягчили бы режим их пребывания в стране, и не задаются вопросом, насколько справедливо или несправедливо их положение. Это — типичная манера поведения общинника, но не члена гражданского общества, на менталитет которого рассчитывают НПО, организующие акции в поддержку мигрантов.

Можно сделать оговорку, отметив, что подавляющее большинство мигрантов не имеют легального статуса в стране пребывания. Однако с не меньшей вероятностью можно допустить, что энергичная часть населения предпочитает получить такой статус, а не бороться за улучшение условий своей жизни на родине, и еще то, что ее стратегия выживания за рубежом в значительной мере повторяет стратегию, к которой они прибегают у себя дома.

в) Что сегодня?

С приходом к власти Саакашвили произошло укрепление государственных институтов. Их строительство является одним из главных достижений правления молодого президента. Ведь Грузии хронически на протяжении всей ее истории недоставало устоявшихся, сильных государственных институтов. По существу произошел исторический прорыв в этом отношении. В стране работает стройная административная система. С ее помощью удалось обеспечить эффективное взимание налогов, благодаря чему резко увеличился государственный бюджет. Сильный удар был нанесен по криминалу. Очень долго в стране существовали сомнения в возможности создания в Грузии элементарно дисциплинированной боеспособной армии. Однако положение и в этом плане заметно изменилось в лучшую сторону.

В заслугу государству ставится искоренение коррупции. Относительно недавно британский журнал «Экономист» опубликовал статью, где говорится о ментальной революции в нашей стране. Главным основанием для такого столь приятного нашему уху заявления является то, что грузинская полиция перестала брать взятки.

Чуть ли не революционный характер имела реформа высшего образования. Благодаря ей система высшего образования стала наиболее широким каналом для вертикальной мобильности индивида, исключив возможность протекционизма при вступительных экзаменах в вузы.

Но политическая оппозиция видит в усилении государственной машины и другую сторону медали. По ее мнению, непомерно разросшийся и привилегированный полицейский аппарат, недостаточно независимый суд представляют опасность для свобод и прав граждан, поскольку охраняют в первую очередь власть и себя. Главным недостатком нынешней власти оппозиция называет возвращение в обществе «совковых» страхов в отношении полиции и сыска.

Отсутствие криминала, безопасность — плод политики «нулевой толерантности» к правонарушителям. Достигается это не за счет сотрудничества соответствующих органов и гражданского общества, а за счет практики административных органов, исходящей из принципа «всех за решетку».

Оппозиция не верит тому, что проблема коррупции решена окончательно и бесповоротно. Не исключено, что сомнения идут от убежденности: с этим «антиподом» борются «всем миром», а не только посредством административных органов.

Народная мудрость также подсказывает, что коррупция — явление вездесущее, искорененная в низшем и среднем звеньях, она по законам сообщающихся сосудов перемещается на верхние этажи власти. Поэтому в обществе говорят о существовании элитной коррупции. Темой отдельного изучения должно стать, происходили ли провалы в экономике по причине некомпетентности или по причине коррумпированности высших государственных чиновников. Засилье импорта в Грузии общественное мнение объясняет неспособностью юных министров развивать собственную экономику и стремлением наживаться за счет дистрибьюторских услуг, которые они оказывают иностранному капиталу.

Множит сомнения относительно возможности искоренения коррупции и то обстоятельство, что в стране так и не сложился рынок, свободный от государственного протекционизма и административного пресса. Если в пылу борьбы с коррупцией под административным прессом был раздавлен малый и средний бизнес, то большой бизнес власть «крышует», а это приводит к возникновению монополистических тенденций в деловой сфере.

В стране дала ростки «детская болезнь правизны». Партизаны правой идеологии договорились до того, что стали оправдывать монополистские тенденции в эконо-

мике. Дескать, они — плод свободного рынка. Оппоненты же считают, что они возникли в результате сращения правительственных и бизнес-структур.

Обиженная часть политического спектра заявляет, что «Национальное движение» легко переросло в партократию — в до боли знакомое наваждение, преследующее наше общество. Как в свое время шеварднадзевский «Союз граждан» монополизировал власть, так и националы узурпировали право быть «главным прорабом» грузинской «перестройки». Почему не допустить, что таким образом было «узурпировано» и право на единоличный доступ к рычагам коррупции? Вполне можно предположить, что коррупция начинается и кончается в высших эшелонах и выражается в привилегированном доступе к механизмам распределения и перераспределения собственности, к иностранным инвестициям и прочая, прочая.

Итак, в схеме национального развития фактически ведущим звеном преобразований является номенклатура, созданная Саакашвили и прошедшая смотрины на Западе. Не последнее место в ней занимают региональные элиты. Саакашвили как реальный политик понимал, что при создании своей номенклатуры ему необходимо было заручиться поддержкой этих элит. Такая политика обеспечила ему победу в выборах на периферии, где о демократии имеют приблизительное представление, в то время как его успехи в сравнительно более продвинутом в этом смысле Тбилиси более скромны. Мало кто верит, что километровые караваны из определенного региона, вовремя прибывшие в Тбилиси на помощь «революции роз», были вдохновляемы идеалами демократии и прозападного выбора.

Допущение, что происходящие в стране процессы носят «верхушечный» характер, не кажется достаточным. Не исключено, что народ участвует в этом процессе, но не как гражданская, а как этническая общность. В пользу этого предположения говорит такая особенность текущих процессов как отсутствие аналитического дискурса. Единственным обоснованием выбора в пользу западного вектора по сей день остается мифологический посыл о родстве грузинской и европейской культур. Можно предположить, что мы находимся на стадии первичной адаптации этноса, когда ориентирами развития являются мифы, а не научно обоснованные программы. Более высокий уровень адаптации возможен только в условиях развитого гражданского общества, которое нам еще предстоит создать. Оно обладает большими, чем этническая группа, внутренними свободой и мобильностью за счет большей индивидуализации его членов. Именно это является условием более высокого адаптационного потенциала всего социума. Здесь речь идет уже не о простой адаптации, а об интеграции в новый контекст, которая не приемлет двойного стандарта.

Склонность к рефлексии проявляют от случая к случаю только защитники традиционных ценностей и представители религиозных кругов. Как заметил один публицист, носители «нового» мышления не задаются досужими вопросами, какими быть грузинам в будущем. Их больше занимают вопросы обустройства личной карьеры. «Испившие вод океана» на удивление легко поддаются ассимиляции.

Заключение

Следует отдать должное общественному сознанию — оно имеет четкое представление об отрицательных и положительных сторонах двойного стандарта. В нем в равной степени представлены воспоминания как о светлых, так и о темных сторонах нашего исторического бытия. На все случаи жизни существовала отговорка: мол, потребительское отношение к истеблишменту у грузинского этноса объясняется не отсутствием вкуса к государственности, а чуждостью ее навязанных форм. Сделанный выбор ко многому обязывает, и отговорками уже не обойтись. Рационализация, которую несут с собой западные принципы, по идее должна безжалостно ломать двойной стандарт. Если во времена брежневского «развитого социализма» гражданину приходилось раздваиваться между официозом и традиционными структурами, то ныне выхолощенные пережитки прошлого заменила энергичная рационализация, не терпящая двусмысленных связей, весьма похожих на адюльтер.

Тбилиси
Декабрь, 2011 г.

ПРОШЕДШЕЕ В НАСТОЯЩЕМ

Эльчин

Что дал нам соцреализм?

К постановке вопроса

1

Хронологически долгий и содержательно насыщенный период азербайджанской литературы XX века был связан теснейшими узами с литературным методом социалистического реализма, иными словами наша литература на протяжении 70 лет была художественной продукцией именно того периода. Соцреализм вошел в литературу и общественную мысль не органично-естественным путем, а был внедрен административно, диктатом сталинской системы, и за исключением пространства СССР, соцстран, такого прецедента в истории мировой литературы не было.

Да, все это неоспоримая истина, однако истинно и то, что 70-летняя история нашей литературы протекала под императивом этого метода и наше 70-летнее литературное существование, хотим мы того или нет, было втиснуто в эти колодки. Потому мы должны отложить в сторону аллергию, злость и ненависть к соцреализму (и Системе!), объективно проанализировать и пропустить через фильтр научной классификации литературное наследие пережитого периода.

Первое условие свободы художника, вообще специфика искусства в том, что эстетические пристрастия, выбор художника определяются его талантом, характер, ядро таланта превращает творчество в проявление реализма, или импрессионизма, или же постмодернизма и других течений, создает новые художественно-эстетические направления; т.е. это результат поисков, выбора таланта.

Если взять литературу советского периода вкупе, то ее, так сказать, художественно-эстетическая трагедия заключалась в том, что этот выбор сугубо индивидуального свойства, привилегию таланта, брала на себя Система, приведшая соцреализм к господству как обязательный творческий метод, и между 1926—56 годами — со времени формирования литературной идеологии до доклада Хрущева на XX съезде КПСС против культа личности Сталина — вся творческая интеллигенция, не только литераторы, но художники, композиторы, зодчие, режиссеры и т.д. были людьми, «обреченными» на соцреализм.

Система стремилась превратить литературу в одну из исполнительных структур Советского Союза, и эти попытки с большим или меньшим эффектом продолжались до краха советского строя.

В 1925 году Система провела первую всероссийскую конференцию пролетарских писателей, учредив РАПП, и это было, по сути, начальным этапом создания структуры, задуманной в перспективе как наркомат литературы, — Союза писателей СССР.

Публикуется с сокращениями.

СП идеологически был продолжением и развитием РАППа, и не случайно, что долгие годы Союзом писателей руководили бывшие лидеры РАППа Владимир Ставский и Александр Фадеев. После упразднения РАППа приказом Сталина Николай Эрдман написал известную эпиграмму, которая ему дорого обошлась:

По воле грозного сатрапа
Не стало РАППа
Не радуйся, что умер РАПП,
Ведь жив сатрап.

И сатрап, и деяния его и его предшественников и преемников, по сути, и являли собой Систему.

Судьба художественного творчества всецело зависела от Системы (прохождение через цензуру, печатание, одобрение (восхваление) или развенчание (поношение) и т.д.: лауреаты премий, в том числе Сталинской, определялись не по литературно-художественным критериям, а по соответствующим колодкам (стереотипам) Системы, как и прочих депутатов СССР и союзных республик, писателей-депутатов также определяла Система, она же вводила и выводила их из состава ЦК, сочинения их включались в учебники по указанию Системы, юбилеи их проводила Система, бытовые их заботы решала она же, посмертные издания книг (или их неиздание) осуществляла она, установку памятников санкционировала (или не санкционировала) Система и т.д. и т.п.

Постепенно художественно-эстетические критерии были совершенно отброшены прочь и участь литературы начало решать «разоблачительство». Граждане, занимавшиеся «разоблачительством» не на требуемом Системой уровне, в том числе литераторы, стали третироваться как «гнилые либералы», а так как дистанция от «гнилого либерализма» до «врагов народа» была короткой, то «кровожадность» в этих поношениях проявлялась с большой энергией и усердием.

И настал год 1937-й.

Ленину принадлежал известный лозунг: «Долой литераторов беспартийных!», а реальность порой заменяла слово «долой» вердиктом «к стенке!» — и приводила в исполнение. Напомним расстрел в 1920 году Фиридунбека Кечарли (по сути, обозначавший начало террора в азербайджанской литературе) или расстрел большого русского поэта Николая Гумилева. В 37-м ситуация дошла до апогея, Система рассматривала идеологическое инакомыслие как безусловно смертный грех, и тут даже партийность не гарантировала индульгенцию.

Когда в 1937 году на печально известном «разоблачительном» пленуме СП Азербайджана Юсиф Везир Чеменземинли с обреченным видом просил (по сути, умолял!), мол, «перевоспитайте нас» (то есть не посылайте на смерть), Союз возглавлял и пленум вел Сейфулла Шамилов; Али Назим был критиком, более всех политически «песочившим» и даже обвинявшим Ахмеда Джавада, а в одной из статей приклеивший Микаилу Мушфику ярлык «поэт молл»; рьяным радетелем «пролетарского искусства» (литературы) выступал Мустафа Гулиев с кличем «долой Физули!», «долой Вагифа!», «долой тар!»; одним из тех, кто поносил Гусейна Джавида за отношение к Системе, был Халил Ибрагим.

И что сталось с этими активистами?

Система перемолола и критикуемых, и критиков, отправив кого к стенке, кого в Сибирь.

Перелистывая периодику тех лет, вы можете увидеть, что одним из двух наиболее критикуемых («разоблачаемых») людей был «махровый авербаховец Мехти Гусейн», а второй мишенью — Микаил Рафили, исключенный из рядов Союза писателей «за сокрытие вредоносной идеи, реакционной сути сочинений Фиридунбека Кечарли», «пропаганду пантюркистских идей» и близкую дружбу с контрреволюционером Рухуллой Ахундовым (Мехти Гусейн был переведен из членов в кандидаты.) Но и Мехти Гусейн, и Микаил Рафили выжили, и то, что они уцелели, не были расстреляны как «враги народа» — пример парадокса, результат страшной жеребьевки.

Эти парадоксы 37-го были характерны не только для Азербайджана, но и всего

Союза. Система, например, объявила классиком соцреализма графа Алексея Толстого, успевшего в эмиграции побаловаться и эротическими писаниями, но не пощадила крестьянина Николая Клюева, еще в начале 20-х издавшего книгу стихов о Ленине. Классик грузинской литературы XX века Константин Гамсахурдиа (1891—1975), отец первого президента Грузии, восстановившей свою независимость, Звиада Гамсахурдиа, был князем, но Система «великодушно» позволила ему прожить 84 года, а, скажем, Паоло Яшвили довела до суицида.

Художественно-эстетический коэффициент соцреализма как литературного течения, метода был чрезвычайно низким, и причина ясна, — в истории мировой литературы политика, официальная идеология не вторгалась в какое-либо литературное течение в той степени, как соцреализм. Удар был сокрушительным физически и нравственно. Творческое наследие многих больших писателей, оказавшись под двадцатилетним запретом, было выключено из духовного обихода и лишено возможности влиять на воспитание новых поколений, на развитие общественной мысли.

2

Говорить об участии Союза писателей в административной имплантации соцреализма в литературу, в «разоблачительной» кампании, охватившей страну, в искажении шкалы литературных ценностей псевдоэстетическими критериями Системы означает ломиться в открытые ворота; но вместе с тем нынешнее стремление рассматривать деятельность СП в масштабах СССР, а особенно в союзных (скажем, в Азербайджане) и в автономных республиках (Татарстане, Башкирии, Дагестане и т.д.) только как объект критики, далеко от исторической объективности и есть показатель верхоглядства. Я особенно акцентирую роль писательских союзов в союзных и автономных республиках, ибо здесь речь идет о значении этих организаций в развитии национальных языков, даже создании первых образцов письменной литературы в некоторых регионах. Если на каком-то языке появляется первый рассказ, то в соотнесении со значимостью факта, по-моему, не важно, каким литературным «методом» он написан.

Я написал уже особо об исключительной роли Союза писателей Азербайджана не только в сбережении, но и в развитии нашей национальной «самости», литературно-художественных ценностей (см. «Союз писателей, наша литература и мы сами», «525-я газета», 18 февраля 2010 г.), и не хочу повторяться. Могу сказать только, что для меня лично бесспорна знаменательная роль Союза писателей Азербайджана, при всех противоречиях, сложности, парадоксах, а порой и уродствах пути к возрождению национальной независимости, в пору апофеоза Системы — в 1930—50-е годы.

Эпитет «знаменательная» не случаен. Что такое литература? Если в двух словах: самоизъявление таланта. Стремление Системы управлять литературой по сути есть корыстное стремление управлять талантом.

Обладателя таланта можно ликвидировать (Микаил Мушфик), политически-идеологически ангажировать (Мехти Гусейн), частично «приручить», но талант, отдав дань панегирикам, артвождям и кремлевской звезде, предпочитал выводить на сцену гордого поэта и государственника Вагифа (Самед Вургун), говорить о боли разобщенной нации («Южные стихи» Сулеймана Рустама) или же взрывать укоренившиеся каноны новым художественным мышлением («Краски» Расула Рзы); таким образом, практика соцреализма еще раз доказала, что всецело и окончательно «зомбировать» талант невозможно.

Конечно — Система была сильна, и чтобы выстоять перед ее натиском, требовалась адекватная сила и эквивалент таланта. Порой складывалась странная картина: в одном и том же произведении находят воплощение конъюнктурные припарки в угоду соцреализму и художественные прорывы таланта, отнюдь не уживающиеся с предписаниями метода.

Вспомним роман «Манифест молодого человека» Мир Джалала: с одной стороны как фон — революционная тема, с другой стороны — художественно впечатляющая трагедия азербайджанского «Гавроша» Бахара, любимого героя нескольких по-

колений. Или — «Вешние воды» Ильяса Эфендиева: фон — коллективизация, строительство колхозов, и тут же — художественно-психологический анализ богатого внутреннего мира председателя колхоза Алхан-киши. Именно поэтому мир естественных человеческих чувств и переживаний Угура и Шафаг в этой пьесе, написанной в 1948 году — в пору послевоенного метастаза сталинизма, и поныне горячо воспринимается зрителями театров независимого Азербайджана.

В литературном хозяйстве соцреализма, наряду с бездарной конъюнктурой встречалась конъюнктура талантливая; как бы странно это словосочетание ни звучало, тем не менее оно точно.

Да, эти произведения с точки зрения политической конъюнктуры служат единой цели — изображению победы большевистской революции, социалистического общества и счастливо-благополучного развития этого общества, но в художественном отношении они никак не равноценны; думается, наше постсоветское литературоведение не должно упускать из виду этот вопрос.

Романы типа «Мингечаура» Авеза Садыха, «Тайны недр» Манафа Сулейманова, «Нины» Сабита Рахмана — это безвкусные афиши, в лучшем случае, плакаты на темы, востребованные господствовавшей идеологией; а романы типа «Слияния вод» («Большой опоры» Мирзы Ибрагимова), «Внуков старой Тамаши» Абульгасана, «Утра» Мехти Гусейна были попытками наделить художественной плотью и кровью актуально-конъюнктурные темы.

Самым примечательным (и удивительным) обстоятельством было то, что талантливо написанные образцы соцреализма в куда большей степени служили прогрессу общества, нежели развитию литературы, и эта роль была значима и важна с точки зрения культурного движения нации.

Вспомним «Севиль» Джафара Джабарлы. Как художественному образу, Севили можно предъявить множество претензий: суха, плакатна, скорее социологическая модель, нежели художественная индивидуальность и т.д. Но сценическая Севиль сыграла исключительную роль в социальном самоутверждении азербайджанской женщины, и сравнительно слабый художественный образ превратился в мощный общественный стимул. Сегодня весь мир занимается гендерными проблемами, а Севиль начала это еще в 1928 году, выйдя на сцену. Статую «Освобожденной женщины», воздвигнутую в Баку, народ до сих пор именует «Памятник Севиль».

В свое время, особенно в юные годы, я относился к Павлу Корчагину иронически, и это действительно наглядный образец героя соцреализма. С уходом соцреализма в небытие — вместе с СССР — «Как закалялась сталь» и в нашей, и в русской, и, полагаю, в литературной критике других постсоветских стран превратилась в символ антиискусства. Но вот смотрите — минуло двадцать лет после распада СССР и коллапса соцреализма, а Корчагин не забывается; да и отношение русской критики к нему постепенно умягчается, нет былой агрессивности. А все дело в том, что Корчагин, не будучи художественно-эстетическим событием, стал событием социокультурным, мощно влияющим на умы и сердца.

То же можно сказать и об образе Алмас в одноименной пьесе Дж.Джабарлы, поставленной на сцене в 1932 году и ставшей важным социальным стимулом в отстаивании прав азербайджанской женщины, в утверждении ее гражданских прав и роли в жизни общества.

Все это наводит на мысль, что соцреализм не смог сыграть эффективную художественную роль в сохранении Системы, но сослужил серьезную службу общему развитию социума.

На днях в разговоре с одним из известных режиссеров я узнал, что он намеревается сделать новую постановку «Алмас», ибо сегодня на эту пьесу надо посмотреть «совершенно новым взглядом», и он хочет дать Имамяра, директора школы Мирзу Салмана в «положительном плане». Я считаю (и сказал об этом другу-режиссеру), что нет никакой нужды в подобном «новом прочтении» Дж.Джабарлы и этот «новый взгляд», по сути, не взгляд глазами искусства, а взгляд глазами новой конъюнктуры: вчера конъюнктура вывела Алмас на сцену, художественно «иссушив» ее, а сегодня та же конъюнктура видит художественно многомерного («отрицательного») Имамяра в «положительном» свете. Художественно-эстетическая сущность конъюнктуры такова,

что для нее «положительное» и «отрицательное» сопряжены более с императивом эпохи, чем с убедительностью художественного решения, и потому эти оценочные атрибуты — факты эпохи, а не художественности.

«Алмас» и сегодня надо ставить на сцене как есть, и этот спектакль, думаю, может быть весомым художественным документом для раскрытия и характера, и ауры времени — это уже зависит от меры таланта и широты режиссерского мировидения.

Опыт «Севили» и «Алмас» свидетельствует, что неприятие соцреализма не должно приводить к отрицанию успешных художественных решений в период владычества этого метода или утаиванию соцреалистического опыта в творчестве тех или иных писателей. Я твердо убежден, что, скажем, стихи Самеда Вургуна о Сталине, поэма о 26 Бакинских комиссарах, поэма Мушфига о Сталине или многие «идейные» (т.е. «партийные») медитации Сулеймана Рустама, поэма Расула Рзы «Ленин» не должны замалчиваться литераторами, издателями, редакторами, искренне любящими и почитающими этих мастеров слова. Это творцы, которые занимают неоспоримое и непреходящее место в азербайджанской литературе XX века и не нуждаются ни в каких «косметических операциях».

Давайте не забывать, что между Системой и соцреализмом была органическая связь. Система заставляла даже Анну Ахматову поддакивать хору «соцреалистов» — «Где Сталин, там свобода!», побуждала Михаила Булгакова написать пьесу о Кобе, и мы встречаем немало примеров подобного рода и в творчестве других крупных художников.

Или взять тех, кто «истинно веровал». Выше я говорил о Павке Корчагине, и у меня нет сомнения в том, что Корчагина, его безоговорочную, искреннюю веру сотворили и породили не корыстные, меркантильные мотивы прикованного к постели, парализованного, слепого человека, а явила на свет целостная натура, убежденный фанатизм борца «за освобождение человечества». Николай Островский награждается орденом Ленина и пишет благодарственное письмо вождю: «Любимый товарищ Сталин! Я хочу сказать несколько сердечных слов великому вождю и учителю страны, дорогому для меня человеку: я нанесу врагу удар другим оружием. Тем оружием, которым меня вооружила ленинско-сталинская партия».

Этот же больной парализованный человек в одном из писем сообщает другу: «Как можно жить вне партии в такой великой, такой необъятной жизни?» Эти слова идут от сердца, и потому-то Николай Островский достоин уважения. Именно эта непоколебимая вера, эта убежденность подвигла его написать «Как закалялась сталь». Вера подвигает, а творит произведение все-таки талант.

Мехти Гусейн на первых этапах писал небольшие романы (повести) — такие, как «Ненависть» или «Крик», художественно, может, не дотягивающие до высокой планки, но, во всяком случае, и не являвшиеся всецело плодами соцреализма; однако идущая от сердца вера в идеи социализма впоследствии привела к появлению романов «Апшерон» и «Черные скалы», поставив автора в ряды классиков соцреализма.

Повесть «Пери-хала и Ленин» Мирзы Ибрагимова — детище его «соцреалистического» видения, забудется сама собой, по причине искусственности фабулы, но его роман «Наступит день» останется, ибо здесь соцреализм позволил (вынуждаемый автором) ввести в нашу литературу идеи национального самостояния, национальной свободы.

Не забудем и то обстоятельство, что за 70 лет административного приложения соцреализма к искусству наряду с произведениями (талантливыми и бесталанными), созданными по лоциям этого метода, появлялись, в особенности после XX партсъезда, произведения, написанные вне его принципов, те, что Система не могла (а возможно, уже подсознательно и не хотела) распознать, «раскусить», оставляя их авторов в покое после основательной критической взбучки, а порой ограничившись угрожающим рычанием.

3

Что же дал соцреализм за семидесятилетний период азербайджанской литературе (что мы обрели) — и чего лишил он литературу (что мы потеряли)? Если поставить эти вопросы на чаши художественно-эстетических весов, я совершенно убежден, что обретенное нами будет не меньше потерь, а возможно, даже перевесит.

Сначала разберемся в потерях.

Самая большая потеря — то, что монополизированный Системой соцреализм и близко не подпускал никакие иные литературные течения, стремясь втиснуть в общие колодки индивидуальное художественное самовыражение. Многие литературные течения, возникшие в мировой литературе XX века, от абстракционизма и экзистенциализма до модернизма и постмодернизма, от неореализма до абсурдизма — остались вне азербайджанской литературы (да и литератур народов всего СССР). Это конечно же привнесло в литературу однообразие — и идейно-философское, и художественно-эстетическое, многие произведения этого периода кажутся произведенными конвейерным способом, по определенным трафаретам. В этом контексте вспоминается известное суждение Андре Жида — «искусство более энергично в пору тирании, нежели в пору свободы». И я подумал, что в эпоху соцреализма это умозаключение не очень-то оправдало себя. Правда, благодаря той самой энергичности искусства создавались произведения истинной литературы, выходящие за рамки соцреализма, но это были достижения (порой большие достижения) «традиционной» литературы, как «Тихий Дон» или «Доктор Живаго», или же произведения вышедших на всесоюзную арену «шестидесятников». «Энергичность искусства» не смогла выразить себя всесторонне. А в тот период «на свободе» появлялись пьесы наподобие «Лысой певицы» Ионеско или «В ожидании Годо» Беккета и сформировался «театр абсурда»; Сартр, Симона Бовуар, Кобо Абэ создавали образцы экзистенциальной прозы.

Другая потеря — соцреализм с его доминантой идеологического критерия создал благодатную почву для разгула бесталанного сочинительства. Для Системы не важна была художественная несостоятельность, прикрытая актуальной темой (перевыполнение плана по хлопку или выращиванию гусениц шелкопряда, ударное строительство Мингечаурской ГЭС, счастливая жизнь рабочих и колхозников, разоблачение капитализма и т.д. и т.п.); более того, конъюнктура принималась, превозносилась, поощрялась Сталинской премией, включалась в учебники, графомания возводилась в ранг искусства... Понятия «большой поэт», «выдающийся писатель», «талантливый художник», «живой классик» превратились в должности, и Система назначала на них угодных ей авторов. Сталин своей известной фразой (по сути, вердиктом) — «Горький — вождь советской литературы» — назначил художника, прошедшего противоречивый, тернистый жизненный путь, официальным руководителем литературы.

Такая «раздача слонов» создавала в литературе сюрреалистическую картину наподобие часов Сальвадора Дали; но это быль, и нет нужды доказывать ее перечислением имен. Творческая участь многих назначенных «великих художников», «новых классиков» известна, их крах одновременно с Системой, их освобождение «от занимаемых должностей» произошли у всех на глазах.

Соцреализм спровоцировал изображение человека в двух полярно противоположных плоскостях — как «положительные и отрицательные» образы, рассортировав богатство характеров, их противоречивость, нюансы и многообразие в вечной борьбе Добра и Зла, размежевав в меру своего понимания на «приемлемые» и «неприемлемые» макеты.

Конфликт романов, пьес, поэм свелся к противоборству этих «положительных» и «отрицательных» персонажей, причем классификация их зиждилась не на художественно-этико-психологических, а на политических критериях. Образ, олицетворявший господствующую идеологию, не мог являться «отрицательным», а персонаж, допускающий поступки и действия, чуждые этой идеологии, никак не мог быть «положительным». В литературе выросла галерея «положительных героев», увешанных «золотыми звездами», и соцреализм так экипировал и обстругал этих героев, что они

напоминали участников военного парада, проходившего перед вождями Системы, стоявшими на трибуне мавзолея 7 ноября.

Даже в исторических произведениях классификация образов основывалась на классовом подходе, и этот принцип, являвшийся одним из ключевых в азербайджанской литературе советского периода, стал изживаться лишь в 60-е годы: в нашей драматургии был создан образ Беюк-бека («Песня осталась в горах» Ильяса Эфендиева), в прозе — Джахандар-ага («Буйная Кура» Исмаила Шихлы), Кербалаи Исмаил («Последний перевал» Фармана Керимзаде). Все эти персонажи были живыми, полнокровными художественными характерами, созданными в большей степени человеческими отношениями, нежели отношениями классовыми.

Поляризация литературных героев породила деформацию во вкусах читателей, и практика показывает, что эта деформация до сих пор не изжита. Впрочем, сегодня в классовом подходе обозначилась иная крайность — беки, ханы должны быть непременно «положительными», а с точки зрения художественности это оказывается другой ипостасью соцреализма.

Но не будем удаляться от темы.

Возникла пропасть между жизнью и литературой: если в любом обществе и при любом строе жизнь состояла из тысяч забот, трудностей, проблем, то предметом литературы становилась надуманная идиллия, не имеющая ничего общего с реальной жизнью. Стоило литературе (таланту) спуститься с идиллических небес на грешную землю и вторгнуться в жизнь — раздавались осуждающие окрики блюстителей метода.

Установки соцреализма обусловили однобокость в развитии нашего литературоведения, в ряде случаев история литературы и общественной мысли в целом подверглась дискриминационной деформации (например, были изучены «Молла Насреддин» и школа, связанная с этим журналом, — что само по себе архиважное событие, но публичный оппонент знаменитого журнала — «Фьюзат» и его школа остались в тени, стали мишенью субъективной критики); хотя была проделана большая работа по изучению и преподаванию классиков, в ряде случаев верх брали вульгарно-социологические выводы (например, «Книга Праотца Горгуда» в определенный период оценивалась с точки зрения классовых отношений (!), Низами, Физули представлялись чуть ли не атеистами, а Вагиф — как основоположник критического реализма).

И наконец, еще один важный вопрос, на котором хочу остановиться: соцреализм, с одной стороны, выставлял явления «китчевого» характера в искусстве как проявление буржуазного мышления, коварное заигрывание капиталистического общества с «пиплом»; с другой же — изо всех сил стремился популяризировать искусство, литературу. «За лозунгом искусство принадлежит народу» стояла попытка адресовать народу не истинную жизнь, а ее «художественный» суррогат. Искусственная жизнь — то бишь фальшивая торжественность, дутый пафос, показушный оптимизм, картинная печаль, весь этот фальшивый коктейль был призван увлечь читателя в далекий от реальности мир, сыграть роль допинга энтузиазма, бурной радости или сентиментальных слез. Практика нашей постсоветской литературы показывает, что такая вот «соцреалистическая» туфта в той или иной степени продолжает оставаться содержанием литературы. Одновременно — в том-то и беда — это соответствует эстетическим запросам самих читателей.

Вот главные, на мой взгляд, потери, остальные же издержки, думается, в той или иной мере связаны с ними.

А теперь давайте рассмотрим наши обретения.

Есть ряд жанров, которые в досоветское время отсутствовали или существовали в зачаточном состоянии в азербайджанской литературе. Например, жанр романа. Некоторые литературоведы ведут отсчет истории национального романа с поэм Низами, другие первыми образцами романа у нас считают «Рашид-бек и Саадет-ханум», Исмаил-бека Куткашенского, третьи — «Осел, навьюченный книгами» Абдулрагима-Аги Талыбова...

Но истина в том, что именно соцреализм превратил жанр романа в факт национальной азербайджанской литературы.

Даже окончательное формирование рассказа, его эстетическое насыщение и утверждение в рядах ведущих жанров нашей литературы — после «Жалобы» Физули, «Книги аскера» А.Бакиханова, «Обманутых звезд» М.Ф.Ахундова, после Джалила Мамедкулизаде, Абдуррагим бека Ахвердова, создавших превосходные образцы рассказа, — стало возможным благодаря соцреализму. Такие рассказы, как «Прошение о воде» Сулеймана Рагимова, «Соперники» Мехти Гусейна, «Кирщик и красный цветок» Ильяса Эфендиева, «На пляже» Исы Гусейнова, «Палые листья» Салама Кадырзаде, «Аробщик» Сабира Ахмедова, «Фото «Фантазия» Юсифа Самедоглу, «Сердце — такая штука...» Акрама Айлисли, «Последняя ночь уходящего года» Анара характеризовали не только индивидуальное творчество того или иного автора, но и азербайджанский рассказ в целом как художественно-эстетическое понятие. Примечательно, что часть этих рассказов, по сути, выходила за рамки соцреализма, другая часть вообще была написана вне этих рамок; однако установки соцреализма не возвели преграду (вернее, не смогли возвести) перед ними, соцреализм принял их, даже поставил в пример, и таким образом азербайджанский рассказ вышел на арену как мощный приток нашей литературы.

Истина в том, что самовыражение азербайджанской литературы во всех жанрах — от стихотворений в прозе до свободного стиха, от повести (по европейским меркам, «малого романа» или, по-турецкой терминологии, «большого рассказа») до трагикомедии и фарса стало возможным при непосредственном участии соцреализма.

Конечно, может возникнуть вопрос: неужели, не будь соцреализма, в контексте развития мировой литературы и сильных интеграционных тенденций в XX веке не возникли бы эти жанры? Весьма вероятно, возникли бы. Но факт остается фактом: хотим мы того или нет, соцреализм вошел в историю азербайджанской литературы XX века.

С одной стороны, из-за вульгарно-социологической «экспансии» соцреализма в фольклор, в народное творчество, в ашугскую поэзию, появлялись уродливые образчики актуального версификаторства. Вот строфы из ашугских стихотворений в форме «Гошма», опубликованных в газете «Коммунист» (6 августа 1937 г.). Цитирую в подстрочном переводе.

Дорогого Шмидта отправил ты в далекие края,
Самолетом вылетел, выведал дороги он.
Водрузили алый стяг на ледяные горы,
Иностранцам стало не по себе, Сталин...
(Ашуг Авак)

Сталинский маршрут, живи тыщу лет,
Джигиты твой план довели до конца.
Орден Ленина прикрепили к груди,
Каждый стал командиром корпуса.
(Ашуг Мирза)

Я в газете прочел и узнал обо всем.
Террорист учинил этот шум (переполох)
Ты уничтожил, разгромил шпиона,
Вредителя, живущего химерами, Сталин!
(Ашуг Асад)

Даже в русскоязычной официальной партийной прессе появлялись ашугские вирши на азербайджанском языке (см. «Бакинский рабочий», 8 августа 1937 г.):

На весь мир она одна — Сталинская Конституция
Двадцать первая статья — право граждан на образование,
Сто двадцатая статья — вот подспорье старикам.
Сто двадцать пятая гласит — свобода слова и печати.
Мы услышали, как их зачитывали на собраниях.
(Ашуг Бахман)

Ясно, что ашугский стих дискредитировать более беззастенчиво невозможно; однако при всех этих холопских непотребствах соцреализм инициировал системное изучение (пусть и тенденциозное) фольклора и классической литературы; наши дастаны, сказки, баяты и другие образцы не замкнулись озвучиванием на меджлисах, торжествах, и не ограничились только изданием — они были пропущены через научный анализ, таким образом складывалась теоретическая картина национальных эстетических ценностей и основ (Ханафи Зейналлы, Мамедгусейн Тахмасиб, Ахлиман Ахундов, Вагиф Велиев, Паша Эфендиев, Мирза Аббаслы, Гасан Касумов и др.).

Очень значимым, а может, важнейшим событием было то, что соцреализм сыграл исключительную роль в формировании азербайджанского литературного и художественного языка. Его синтаксические и эстетические принципы, пребывавшие в зыбком, неустоявшемся пространстве между языком «Моллы Насреддина» и языком «Фьюзата», в раздоре между языком Мирзы Фатали, Мирзы Джалила, Сабира и, с другой стороны, языком Алибека Гусейнзаде, Ахмедбека Агаева, Мохаммеда Хади, постепенно кристаллизовались, определились, и эту миссию выполнила фактически азербайджанская литература, создававшаяся в тридцатые годы минувшего века, — а это были образцы соцреализма.

В сороковые годы азербайджанский литературно-художественный язык нашел ярчайшее выражение в творчестве Ильяса Эфендиева и Энвера Мамедханлы. Масштабы лексического богатства, стилистической индивидуальности и полифонии обозначились непохожестью и самобытностью письма Самеда Вургуна, Сулеймана Рагимова или, скажем, Али Велиева, Мирзы Ибрагимова, Ахмеда Джамиля или, например, Исы Гусейнова.

Благодаря условиям, инициированным движением «соцреалистической» литературы, пошли вперед лингвистика и филология, за семьдесят лет наши ученые проделали работу, на которую в России и в европейских странах тратилось гораздо больше времени.

Именно в период соцреализма мы добились гигантского научного прорыва — от подготовки и издания фундаментального толкового словаря нашего языка до многих двуязычных и терминологических словарей, выявивших богатый лексический потенциал азербайджанского языка.

Соцреализм сыграл большую роль в формировании общественной мысли, усилении национального мышления в Азербайджане, не воспрепятствовал превращению сугубо национальной проблематики в одну из основных тем нашей литературы. Эта проблематика вышла на ключевые позиции и по географическому, и по духовному охвату. Система цинично отвратилась от Южного Азербайджана, но тема Аракса — тема разобщенного народа — вошла в болевую точку нашей литературы; Система переиначила название древней Гянджи в Кировабад, но наша поэзия говорила о первозданной Гяндже; Система широко пользовалась ярлыком «националист», в иные времена превращая его в палаческий вердикт, но соцреализм не цеплялся за «национальную форму», надеясь отыграться на «социалистическом содержании», и потому, например, гимн любви к родине — стихотворение «Азербайджан» Самеда Вургуна стало всенародно любимым и передавалось из уст в уста, из поколения в поколение.

Быть может, соцреализм — его идеологи — стремился «приватизировать» и эти святые темы, использовать их в политических целях, но, так как в национальном мышлении эти темы оказались неподвластными никаким спекуляциям, эффект получился обратный: они подмяли, сковали соцреализм.

Одно из больших достижений периода соцреализма связано с переводной литературой, и при объективном взгляде на вопрос мы убедимся, что современная азербайджанская школа художественного перевода — детище соцреализма. С некоторыми исключениями идеологического порядка, все знаменитейшие творения классики и современной литературы зазвучали на нашем языке, и азербайджанский читатель получил возможность читать на родном языке самых разных авторов — от Гомера, Фирдоуси, Данте, Гете, Льва Толстого и Достоевского до Ремарка и Хемингуэя, Белля и Маркеса. Думаю, нет нужды говорить о значении такого масштабного диапазона чтения. С другой стороны, были переведены на родной язык творения представителей азербайджанской литературы, писавших на арабском и на фарси (Хагани, Мехсети, Низами); одновременно и наша классическая и современная литература была переведена на иностранные языки.

Правда, языковые контакты в переводческом процессе носили географически односторонний характер, мировая литература шла к азербайджанскому читателю преимущественно через переводы с русского, а не с языков оригинала, и азербайджанская литература в основном переводилась на русский язык; но и значение этого мощного канала, с учетом высокого профессионализма русской переводческой школы, трудно переоценить.

Был создан мост с двусторонним движением между западной и русской литературой и — современной азербайджанской духовностью.

В мае 1937 года, в разгар «большого террора», из Москвы в Баку прибывает большая бригада «знаменитых русских поэтов» — Владимир Луговской, Константин Симонов, Павел Антокольский, Павел Панченко, Маргарита Алигер, и их принимает всесильный «хозяин» Азербайджана — первый секретарь КП(б) Мир Джафар Багиров вместе с председателем писательского Союза республики Сейфуллой Шамиловым.

Прием длится два часа. Речь шла о том, что по инициативе самого М.Дж.Багирова был поднят вопрос о подготовке и издании «Антологии азербайджанской поэзии», и инициатива такого всесоюзно авторитетного лидера не могла остаться без внимания. С этой миссией — реализовать идею антологии — и прибыли в Баку московские знаменитости. То, что М.Дж.Багиров уделил время для обстоятельной аудиенции — на фоне пасмурной и зловещей «репрессивной» погоды, — говорит о значении, которое придавал «хозяин» теме разговора. Во время приема Луговской читает свои переводы стихотворений Вагифа и Видади «Журавли», Антокольский — фрагменты из «Лейли и Меджнуна» Физули, Павел Панченко озвучивает свои переводы сатирических стихов Сеид Азима и Сабира. В официальном сообщении говорилось: «Переводы произвели впечатление на товарища Багирова. Товарищ Багиров в речи, длившейся около часа, говорил о важном значении антологии и особо отметил ее большую роль в показе творческого облика нашего народа» («Адабият газети», 16 июня 1937).

Этот факт, думается, говорит о многом.

Наконец, ведь и «шестидесятники» пришли, когда соцреализм еще правил бал.

Но об этом, по-видимому, надо вести отдельный разговор.

4

Порой наша критика и литературоведение отождествляют литературу, создававшуюся в 60-е годы, с литературным поколением, дебютировавшим в те годы, — «шестидесятниками», и это вносит путаницу и неточности в художественно-эстетическую градацию.

В результате «оттепели», возникшей в обществе после XX партсъезда, в конце 50-х и в 60-е годы в азербайджанской прозе появились произведения, по теме и художественному качеству отличавшиеся от художественного хозяйства предыдущих десятилетий — «Подземные реки текут в море» (Мехти Гусейн), «Ивы над арыком», «Мостостроители» (Ильяс Эфендиев), «Буйная Кура» (Исмаил Шихлы), «Телеграмма», «Саз», «Келлу Кеха» (Иса Гусейнов), «Телефонистка» (Гасан Сеидбейли), «Знак на холме» (Сабир Ахмедов). Примечательные неординарные удачи ощущались и в поэзии, и в драматургии (выше я, попутно, говорил о них).

В то же время в литературу вступала новая смена, это была не просто смена поколений, а художественно-эстетическое событие, и речь идет не о качестве письма того или иного отдельного автора, а о новой волне в художественном мышлении, о наметившемся переломе в отношении к стереотипам соцреализма, об обретении талантом внутренней свободы...

Именно эта новизна, раскрепощение творческой мысли, внутренняя свобода, с одной стороны, определили новаторство «шестидесятников», с другой стороны, возвели мосты между их новаторством и корневой традицией большой литературы. И в движении этой традиции обозначилось органичное двуединство двух начал: связь с национальной литературной традицией и с опытом мировой литературы.

И еще один мост был перекинут: через предыдущие десятилетия — к фольклору, и если некоторые рассказы Сулеймана Рагимова, Мехти Гусейна, Ильяса Эфендиева, Энвера Мамедханлы были отдельными (единичными) образцами, выдержанными в фольклорной поэтике, то в творчестве «шестидесятников» фольклор превратился из цитатного антуража в сущностное выражение. Это качество творчества

«шестидесятников» сыграло большую роль в изживании искусственности, ходульности и фальши, которые пытался внедрить и отстаивать в литературе соцреализм.

Такой мост преемственности с классической национальной литературой, с литературной школой «Моллы Насреддина», с азербайджанским просветительством XIX—XX веков создал живую, я бы сказал, кровную связь предтеч с «шестидесятниками»; вместе с тем отдалил последних от перспектив космополитической безадресности, определил национальные координаты и принадлежность их творчества. Если многие представители старшего поколения в первые годы своего творчества — в 1920—30-х годах — под прессом или страхом Системы или же под влиянием революционной эйфории, большевистского фанатизма питали к классической литературе «классовое отношение», если в творчестве великого Джалила Мамедкулизаде искали «мелкобуржуазные элементы» или в творчестве Абдуррагимбека Ахвердова пытались высмотреть «сущность пролетарской революции», то «шестидесятники» сумели усвоить классический опыт, в особенности, уроки Джалила Мамедкулизаде, феномен «Моллы Насреддина» в нашей общественной мысли как художественно-эстетическое достояние и высокую планку гражданственности и патриотизма, и это, с одной стороны, определило национальную доминанту их творчества, а, с другой стороны, умение выразить это национальное качество на современном художественно-эстетическом уровне, проистекавшем из их творческих исканий, не позволило им никоим образом замыкаться в узконациональных параметрах.

Классическая и современная мировая литература и опыт теоретико-эстетической мысли, став предметом изучения «шестидесятников», обеспечили почву для развития качественного обновления их творчества, для перетекания новаторства из формы в содержательную плоть произведения.

«Шестидесятники» стремились вырваться из пут соцреализма не только подсознательно, они были готовы приложить к этому немалые усилия. Парадокс же заключался в том, что, хотя соцреализм оказывал серьезное сопротивление этим «посягательствам» в партийной и комсомольской печати, на официальных собраниях разных уровней метал громы и молнии, стращал вульгарно-социологическими нападками, не гнушаясь при этом поддакиваний «литературных обывателей», пересудов и наветов узколобых болтунов из чайханы, остановить этот новый процесс не получилось.

Кстати, оговорюсь: хотя соцреализм как литературный метод потерпел крах, канул в Лету, как перевернутая страница истории искусства, но то примитивное «чайханинское» словоблудие, «литературные сплетни», обывательские наветы оказались живучими, и пока живет искусство, возле него с постоянством Кощея Бессмертного будут оживать очернительские «ансамбли», ибо как у искусства есть своя миссия, так и у этих черносотенных «златоустов» — своя...

Но вернемся к нашей теме.

Творчество «шестидесятников» по своей природе было чуждо соцреализму, это было, видимо, неожиданным и вызвало переполох в рядах охранителей соцреализма. Конечно, немалую роль сыграло и то обстоятельство, что в «брежневские», «застойные» времена, совпавшие с формированием «шестидесятников», соцреализм в значительной мере ослаб, и это, естественно, было на пользу художественности, в том числе и азербайджанской литературы.

Система, с одной стороны, третировала, преследовала, выживала и выдворяла из страны диссидентов (Солженицын, Аксенов, Некрасов, Гладилин, Синявский, Даниэль и др.), с другой стороны, в контексте ослабления и расшатывания догм соцреализма создавалась, утверждалась оппозиционная его теоретико-эстетическим принципам литература и, невзирая на ортодоксально-партийную критику (а может, благодаря обратному эффекту ее усилий), завоевывала широкое признание и славу (в русской литературе на примере таких авторов, как Трифонов, Распутин, Евтушенко, Белов, Вознесенский, Ахмадулина и другие; в Азербайджане заявляли о себе свои «шестидесятники»).

Ясное дело, что наши «шестидесятники» — Фикрет Садых, Юсиф Самедоглу, Фикрет Годжа, Акрам Айлисли, Максуд Ибрагимбеков, Анар, Рустам Ибрагимбеков, Иси Меликзаде, Иса Исмаилзаде, Вагиф Насиб, Вагиф Самедоглу, Сабир Сулейманов, Алекпер Салахзаде, Фарман Керимзаде, Мансур Векилов, Ариф Абдуллазаде, Чингиз Алекперзаде и другие не писали на равно высоком уровне, но их опыт в совокупности отражал качества, отмеченные мною выше.

Постепенно «шестидесятники» стали рассматриваться не в строго хронологических рамках десятилетия, это понятие уже охватывало художников, вступивших в литературу ранее и позднее, речь шла скорее о явлении, не поколенческом, а художественно-эстетическом.

Хочу отметить одно обстоятельство, связанное с литературной позицией и поведением новой генерации: «шестидесятники», образно говоря, умели, «сидя на корабле, спорить с капитаном».

В советское время существовала цензура — так называемый главлит, и это «недреманное око» проникало во внутренний мир большинства пишущей братии, у одних оно отбивало охоту к писательству, других заставляло идти на сделку с совестью, третьи всецело подчинились внутреннему цензору. Талант «шестидесятников» в этом противоборстве с внутренней цензурой вышел победителем; они писали правду, которая имела не только социальный смысл, — она, возможно, в еще большей степени имела человеческий, нравственный смысл.

«Шестидесятники» не на словах, а творчеством своим отвергли один из краеугольных принципов соцреализма — о литературе «национальной по форме, социалистической по содержанию» и создали литературу «национальную и по форме, и по содержанию». Знаменательно, что это не привело к замыканию в национальном, напротив, творчество «шестидесятников» стало эффективной художественной иллюстрацией концепции — «путь к общечеловеческому проходит через национальное».

Интеллектуальный потенциал лидеров этой волны дополнял их талант, они умели даже с самых высоких партийных трибун отстаивать свою позицию и заставляли идеологические инстанции считаться с собой.

Наверно, тут важную роль сыграло и то, что авангард «шестидесятников» за короткое время снискал известность и заслужил широкую читательскую поддержку. Их произведения издавались большими тиражами; они активно участвовали в общесоюзном литературном процессе, эффективно выступая и позиционируя себя на различных печатных площадках — от Средней Азии до Сибири, от Прибалтики до Кавказа.

И все это было достигнуто не за счет конъюнктурной лояльности соцреализму, а за счет таланта, и соцреализму, повторяю, пришлось смириться с талантливыми «еретиками».

Наконец, остановлюсь еще на одном моменте. Оппозиция вердиктам соцреализма создала особую ауру духовной солидарности между «шестидесятниками», и эта общность сыграла немалую роль в их самоутверждении. Они сумели заступаться друг за друга, они были первыми читателями коллег-«шестидесятников». В те годы свежеотпечатанные на машинке гранки автора этих строк шли на суд Яшара Гараева и Юсифа Самедоглу, Акрама Айлисли и Анара, и я был одним из первых читателей их еще неопубликованных работ.

То, что мы писали, поощрительные отзывы и пожелания наши не имели никакого отношения к соцреализму. Соцреализм был «обречен» терпеть присутствие «шестидесятников» — и терпел.

* * *

Таким образом, мы совершенно не должны замалчивать и упускать из виду ущерб, нанесенный соцреализмом развитию азербайджанской литературы XX века, мы должны определить масштабы потерь и постараться заполнить пустоты.

В то же время развитие азербайджанской литературы в эпоху административного доминирования соцреализма составляет в ее истории очень важный и принципиальный этап, и мы должны видеть, исследовать, дать научно-теоретическую классификацию этого процесса, уметь воздать должное и обретенным художественно-эстетическим ценностям.

С азербайджанского. Перевод С.МАМЕДЗАДЕ

Неоплаканная боль

Рубрику ведет Лев Аннинский

И п**У**стошь здесь, и там пуст**О**шь,
Куда ни глянь — одно и то ж.
Акрам Айлисли

Я не без удивления принял весть с почты, что на мое имя пришла бандероль из Баку: за 20 лет Перестройки, Развала и Инноваций моя переписка со столицей независимого Азербайджана практически сошла на нет.

Развернув бандероль, я ахнул от удивления, уже приятного: с обложки толстого тома глянул на меня Акрам Айлисли! Да-да, тот самый, когда-то — лукавый сказочник, «Акрам из Айлиса»... «В стране чудес», — сострил я в послесловии к его однотомнику 1965 года. Тогда же пришлось брать поправки — не с автором английской «Алисы» переглянулся айлисец на библиотечной полке, а с нашим Шукшиным, с горькой русской деревенской прозой, с исповедью послевоенного поколения, слезами сквозь смех писавшего свою летопись.

Так путь продолжен?! Что же там, на обложке? — «Грандиозная пробка. Нетрадиционный роман в трех повествованиях». И улыбка никуда не делась! — в ситуации «пробки» это особенно ценно.

А тираж? Тут мое удивление достигло стадии остолбенения. 50 экземпляров. Это как? Да он четверть века назад по моему внутреннему читательскому ощущению уже был — как «живой классик»!

Первая моя реакция — просто рассказать о новой книге нашему многомиллионному всесо... прошу прощения: нашему российскому читателю... уж какой тираж ему ни светит... А главное — понять: что же произошло в душе Акрама, вписавшего когда-то свой Айлис в наши души? Что происходит сегодня?

Вот по порядку и начну. С «первого повествования», меченого 1991 годом.

Время действия («исторический момент») обозначено снайперскими пробоинами, кое-где наводящими на мысль о бутафорской подначке. «Отвратительные анекдоты о Леониде Ильиче» еще в ходу, но важнее слухи, что «Горбачева скоро снимут». Имя Молкаган еще поддается расшифровке («то есть Молотов — Каганович вместе взятые»), зато без всякой расшифровки идут в дело рассуждения жены главного героя: «больше всего на свете она не любит двух вещей: мулл и Советскую власть».

Возможно ли было раньше увидеть в печати вместе взятые эти две вещи?

Возможно. В жанре Ильфа и Петрова. Теперь же — всерьез. Как и то, что жена главного героя «не подчиняется фыхтывным (фиктивным) указаниям этой (Советской) власти».

Все правильно. В военное время указания отнюдь не фиктивны, ибо подкрепляются угрозой расстрела. А во время всеобщего раздрая фиктивность указаний возникает не из-за того, какие люди, плохие или хорошие, издают указы, а от общей свалки, где фикция и реальность все время меняются местами.

Жена главного героя, женщина практичная, это хорошо чувствует. Главный герой — не очень. Он, кажется, все еще пребывает в том стабильно-мечтательном

состоянии, в каком оставался, работая при Советской власти ректором крупного института.

Теперь его с того места выперли молодые конкуренты (из бывших комсомольских активистов), а муаллиму (учителю) только и осталась эта уважительная приставка к его имени. Да воспоминания, в которых не поймешь, чего больше: реального страха или бутафорской подначки.

Смертным шрамом в памяти — эпизод советских времен, когда во время зарубежной поездки недруги (мнимые друзья) распустили слух, будто муаллим попросил в чужой стране политическое убежище. Страна та была — Йемен. Однако власть была — не шуточная. Пронесло тогда муаллима: оставили его в покое.

То есть оставили в убеждении, что, несмотря на все глупости, этот мир создан для добра и справедливости, что страна, несмотря ни на что, идет к лучшему и что наши героические космонавты в союзе с американцами («Нил Армстронг, облаченный в скафандр... над ним, наподобие вертолета — «Аполлон-11») все тайны вселенной откроют скоро.

Обескураженный тем, что Нил не обнаружил на Луне чаемого поэтами цветущего сада, а одну только черную пыль, — муаллим все-таки пытается сохранить в душе традиционную интеллигентскую доброту, но чувствует, что вместе с другими интеллектуалами проваливается в беспросветную депрессию.

Хуже того: душу ученого охватывает безотчетный ужас.

Сам-то автор-рассказчик отдает себе отчет в том, откуда этот ужас на пороге закатывающегося XX века. На пороге долгожданного Третьего Тысячелетия. На грани эпох. На рубеже эр. На вершине чаемого учеными прогресса цветущего человечества.

И что же там?

Быть резне.

«Скоро живых людей начнут резать».

«Верные сыны родины, жаждущие свободы, по ночам храбро охраняют площадь, где днем митинговали».

Это кто же? Народ? Или враги народа?

А если народ, то чего он ищет?

«Ищет, кого освистать».

Освистать новоявленного лидера за то, что тот вознамерился стать диктатором? Или за то, что тот не сумел им стать?

Впрочем, передам лучше слово самому Акраму для трех объемных зарисовок.

«...Уже несколько месяцев *на* улицах Баку не только по вечерам, но даже и днем нельзя было увидеть людей, идущих поодиночке или парами. Сейчас люди по городу шли стадами, толпами. И полновластное право говорить, кричать и славословить было дано лишь этим людям, идущим стадами и толпами... Словно в городе никто не существовал сам по себе. Будто где-то наделали тысячи копий десятка существ, лишенных сердца и мозга, Бога и личности, и выпустили их на улицы города, и еще страннее было то, что количество слов, которые денно и нощно выкрикивали эти существа, было примерно равно количеству слов, которые использовали во время охоты первобытные люди:

— Сво-бо-да!

— От-став-ка!

— Ка-ра-бах!»

«...Город погибал. Повсюду бастовали. Почти все бакинцы, собравшись перед Домом Советов, митинговали там с утра до вечера... Дом Советов был похож на Бутырку, Центральный Комитет — на огромный базар, а Совет Министров на шекинскую баню. Баксовет же был превращен в Смольный... Сафалы-муаллим, потерянный, бродил по длинным, полутемным коридорам превратившегося в Смольный Баксовета».[1]

«В Губернаторском саду повсюду ощущался дух перестройки. Несколько женщин, глаза которых — и изнутри, и снаружи — горели священной жаждой свободы и

[1] Эту часть романа перевел М.Гусейнзаде.

желанием избить Абдурахмана Везирова, шли по противоположной стороне улицы к зданию Центрального Комитета занять свои места в пикетах... Здоровенный верзила лет двадцати пяти-тридцати с бычьей шеей, которую не взял бы никакой топор, и могучими мышцами с бесконечной радостью и гордостью увлеченно валил наземь стоявшие в Губернаторском саду каменные фигуры».

Верзила вряд ли останется в памяти историков. Боюсь, что и каменные фигуры в этом экстазе потеряли имена. А вот к фамилии человека, которого так жаждут избить женщины с горящими глазами, дана сноска: «Последний первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана. Бежал из Баку в январе 1990 года». Сноска говорит о том, что его должны забыть сразу, как только он сбежит. Только и остается нам для эмоций акрамов фирменный каламбур: «последний первый». Да еще вопрос, повисший в воздухе: а все-таки — хорошие или плохие люди ходят толпами, орут лозунги, митингуют и дерутся на улицах и площадях города?

Оставив этот вопрос для дальнейших размышлений, Акрам переносится в мыслях (и снах) в родной Айлис, где застыла в ожидании ответов его любимая малая родина.

Она по-прежнему хороша. Среди переполненных шакалами и змеями гор — райский уголок. Благоустроенность поселка, побудившая именовать его когда-то «малым Парижем», а то и «малым Стамбулом». Армяне и азербайджанцы от веку живут здесь братски-мирно, в тени двенадцати церквей, возведенных среди ручьев и родников...

«На каждую из церквей ушло при строительстве, может, по тонне золота...»

Это уточнение, кажущееся венцом похвал, уже предвещает беду. А почему все церкви в Айлисе построены армянами? А откуда у армян столько золота?

Быть резне?..

Кровавая мета — 1919 год. Отряд турок окружает жителей Айлиса и, отделив мусульман от армян, открывает по последним шквальный огонь. Оргия длится до того финала, когда выживших добивают кинжалами. Река становится красной от крови...

Весть об этой расправе доходит до генерала Андраника Озаняна, командующего армянской частью, и он, мстя за своих, устраивает ответную резню кафанских и каждаранских мусульман.

Это происходит через четыре года после страшного 1915-го, необъяснимый ад которого до сих пор боятся объяснять историки в Армении и Турции. Наверное, и Андраник несет за эту трагедию свою долю ответственности: никак не мог талантливый и решительный армянский военачальник найти свое место в чересполосице Первой мировой войны. В конце концов обрел свое историческое место — как национальный герой армянского народа.

«Маленькая глава чистой романтики в страшной книге балканских событий», — пишет об этой эпопее Троцкий. В глазах турок Андраник, вечно бунтовавший против них и часто на их территории, — не герой, а враг. Когда масса армян, формально подданных Османской империи, фактически открыто встала на сторону генерала, — ненависть с его погон соскользнула в народные массы...

Сколько ни спорь теперь, был ли то геноцид или нет, тень геноцида все равно стоит над пепелищем. Камни надгробий, дыбом вставшие в памятнике павшим армянам и в памяти их потомков, никогда не исчезнут. Время успокоит души, предложит историкам взвешенную формулу: весь этот ужас мог случиться именно в ситуации мировой войны, в кровавой ауре Двадцатого века. Можно сказать, что армяне оказались между молотом и наковальней, — как в следующую мировую войну в такой же смертельной ситуации — поляки и югославы... о евреях и говорить нечего: им история такие тупики готовит на каждом шагу.

Так как же поминать тот ад ненависти, в который война обрушила оба народа, так славно существовавшие в раю Айлиса?

Я не могу пересказывать эти описания из романа Акрама Айлисли. У меня духу не хватает. Я боюсь прикасаться к шрамам. Я говорю об этих событиях, «по-интеллигентски» снижая голос почти до шепота. Я не понимаю, как решается Акрам подымать из праха эти тени... вскрывать эти могилы... читать эти предсмертные записки...

Старушка Грета Саркисовна бросилась с балкона и разбилась насмерть. А может, ее столкнули. В аду ненависти можно столкнуть любую армянку, старушку ли, девочку ли или вообще новорожденную, — и объявить, что «сама упала». Никто разбираться не станет.

Но если старушка, прежде чем броситься с балкона, оставила предсмертную записку, — придется прочесть.

Догадываюсь, что пережил Акрам, читая, — меня потряс и текст, и факт:

«Я ненавижу себя за преступления, которые армяне учинили в Сумгаите. Я презираю свой народ и потому больше не хочу жить на свете. Карабах принадлежит Азербайджану. Да здравствует Азербайджан!»

С обеих сторон должно идти покаяние, и с обеих сторон люди должны переступать в себе через ненависть.

Это — главная, кровоточащая тема романа Айлисли, его центральной части; начинается эта часть со сцены уличного убийства. Старик вышел купить хлеба, и тут же, распознав в нем армянина, несколько оголтелых подростков начинают его добивать. На глазах у всех. Никто не вмешивается. Стоят и молча смотрят.

Впрочем, один вмешивается. Пытается остановить избиение. Между прочим, не армянин, а коренной азербайджанец, весьма известный в городе человек. Начинают избивать и его, так как агрессоры его не знают, то есть не узнают, да и не хотят знать, а хотят только выместить на нем свою ярость. Повествование строится на том, *что* мог бы подумать обо всей этой истории азербайджанец, если бы оставался в сознании. В финале повествования он умирает, не придя в сознание (старик-армянин, за которого он вступился, уже на кладбище).

Осознавать произошедшее приходится доктору, к которому доставили искалеченного. Спасти не смог, но хочет в доступные ему социальные характеристики вписать убийц:

— Кто все это сделал?

— Это *еразы*, — отвечают ему. — Беженцы, прибывшие из Армении.

Ну, вот. Социологам — очередная загадка с разгадкой. Беженцы-азербайджанцы из Армении.

Но ведь подобные же озверевшие от вражды подростки-беженцы бегут и из районов Азербайджана, населенных армянами... спасаясь от кровавых разборок и устраивая кровавые разборки.

Есть ли конец у этой беды? Нельзя ли жить, не смешиваясь, не соприкасаясь, не контактируя на этих райских клочках земли, среди гор, населенных шакалами и змеями?

Нельзя. Диффузия неизбежна. Из-за любви, кроме которой ничего не захотят знать молодые люди с обеих сторон. Из-за полукровок, рождающихся от этой любви. Из-за общего ощущения, что народам друг от друга никуда не деться, не скрыться, не спрятаться.

Но как же?! Ведь сказано: народы, распри позабыв, в единую семью соединятся.

Не соединятся. Разве что на какой-то блаженный миг в какой-то богом хранимой точке земли.

А потом — все равно жить настороже, готовясь к худшему, спасая обреченных и понижая голос до шепота, чтобы не пробуждать бесов ненависти.

Что делать писателю, не умеющему ни молчать, ни понижать голос?

А то и делать, что делает Акрам Айлисли, вставший поперек ненависти.

«Не может промолчать даже в такое опасное время...

Говорит: это не армяне, а мы сами плохие.

И не боится!»

В финальном повествовании своего трехчастного романа Акрам Айлисли пытается объяснить себе и читателям, что это значит: *мы сами плохие.*

Слово «плохие» мне вообще не нравится: оно ситуационно-цитатное. А вот вопрос: «Какие мы?» — нравится. На него Акрам Айлисли и отвечает в заключительном повествовании своего романа: подхватывая ситуацию первого повествования и замыкая мелодию.

Муаллим, оставшийся не у дел в начале 90-х годов, чувствовал, как его охватывает страх, внезапный и безотчетный.

В начале 2000-х страх становится всеобщим и постоянным.

Кажется, исчез сам воздух: «его место занял огромный страх: густой и темный, напоминающий болото безысходности и безвыходности».

Страх, «заполнивший все живое и неживое».

Страх, вытеснивший без остатка все чувства. Или их прикрывший (расчет, коварство). Страх, прокравшийся во все поры бытия...

И в поры повествования?

«О, читатель, ты не оставляй меня один на один с моим страхом!» — запускает Акрам в дело свою фирменную шутливость, и страх становится не только острым стержнем изображаемой реальности, но и своеобразной ловушкой, из которой надо искать выход.

Народ — ищет выход? Нет. У народа на все это нет «ни времени, ни охоты». Кто выпадет из народа — тот ищет. Потому что боится. Кто остается в толпе, в массе, в группе, тот не боится. Потому что знает, что его дурачат, но не одурачат.

«Любое указание сверху — это дьявольский ход, и не в человеческом разумении хоть чуточку разобраться в нем».

Жена муаллима на исходе Советской власти формулировала эффектнее: эти указания — *фыхтывные.* Но суть та же: власть указывает бояться, а ты забиваешься в толпу и не боишься. Рецепт бесстрашия.

Но в принципе эмоциями людей управляет страх. Чем выше ты занимаешь положение, тем он отчетливее. На самом пике пирамиды возвышается над толпой главный человек, которого в повествовании именуют по-русски «Хозяин» или по-тюркски — «Раис». Он — бесстрашен?

Вряд ли. Свою адову работу он выбрал не добровольно:

«Туда его насильственно загнали люди, и за это он вовсе не обязан любить людей».

Ох, с любовью тут дело хитрое. Amor fati — полюби судьбу.

« — Все вы мне врете! — орет он сверху, так что лязгает хрустальный бокал. — Да что ж это с вами творится? Что заставляет вас врать мне?»

Известно, что. Страх, переходящий в любовь.

А это бывает?

Акрам Айлисли находит точку отсчета для психологического анализа ситуации. Эта точка — как бы посередине между «верхом» и «низом». Бесконечно далеко от «народа», знающего, что его дурачат, и дурачащегося в ответ. И опасно близко от «власти», то есть от Раиса (не выбиравшего, как помним, свой жребий, а обреченного на это страхом народной любви).

В центре акрамова повествования — высокопоставленный, ближайший к Раису сотрудник, ответственный за его безопасность, а теперь ожидающий увольнения и опалы. В его ситуации страх и любовь пронизывают друг друга. И рождается от этого взаимопроникновения чувств то самое вранье, о котором орет Хозяин.

Вранье непрерывное, повседневное и искреннее.

«Лгать надо убежденно».

Эта смесь лживости и искренности — принципиальное, я думаю, художественное открытие Акрама Айлисли, помогающее понять современный человеческий универсум.

Если человек намерен начисто освободиться от лжи и хочет иметь дело только с правдой, — он должен будет почувствовать весь ужас человеческого существования, всю невыносимость чистой правды, так что руки опустятся, слова не вымолвит, шагу не сделает.

Если же решит человек спастись в пределах чистой лжи, — он тоже шагу не сделает, потому что мгновенно и безнадежно запутается в этой сплошной лжи.

Что делать?

Верить, не веря.

Выбрать какую-то систему относительных истин и в нее *поверить,* понимая, что

где-то на дне бытия эта система ни на что не опирается, кроме... «общественного договора», замешенного на словесах.

Или так. Выбрать какую-то систему условного вранья и в нее — *поверить*, понимая, что это вранье есть реальность, по законам которой люди живут в данной точке времени и пространства.

Если люди верят в ситуацию как в действительную, то она действительна по последствиям. Теорема Томаса. Американский социолог сформулировал ее для первой половины XX века. Что думает на этот счет азербайджанский писатель в первой половине века XXI?

По законам художественной неуемности он упорно лезет в душу Хозяина, Раиса (вождя, дуче, фюрера и т.д.), чтобы понять: а в этой душе — что происходит? От нее весь этот страх или от реальности, в нее вселившейся?

«*Хозяин* слегка усмехнулся и провел указательным пальцем по тонким усикам. Этому пожизненному притворщику, ослепленному тщеславием, были одинаково противны и правда, и ложь. Но все-таки он предпочитал ложь правде. Потому что ему легче было понять обманывающих его ради какой-то собственной выгоды, и он никак не мог взять в толк, ради чего люди должны говорить ему правду...»

Знаете, тут я умолкну. Ибо Акрам Айлисли предупредил в начале своего третьего повествования:

«Это повествование не о КОМ, а о ЧеМ».

После такого предупреждения только и делаешь, что ищешь: о ком. И по причине точности акрамова пера — и не хочешь, а находишь. И невольно влезаешь в такую жуткую ситуацию, когда любое твое рассуждение становится вмешательством во внутренние дела другого государства.

Боже упаси меня от этого. Умолкаю.

Лучше вернусь к той ноте в мелодии Акрама, которая потрясла меня сразу и окончательно, — к посвящению:

«Памяти земляков моих, оставивших после себя неоплаканную боль».

Summary

Presentation of young (sometimes not so young but yet unknown for the readers) authors from CIS and Baltic countries is one of the most important traditions of our magazine. We are pleased and proud seeing that the names opened by us begin to show up in critics' articles, short-lists of Russian and international literary prizes and often — in the lists of their winners. In addition to our own search, gathering more and more authority competitions, forums and festivals of the young writers — from already famous «Lipky» to Kocktebel's «Voloshin-fest» — are also supplying «DN» with new interesting authors.

Practically all sections of this issue are dedicated to the works of the young poets and fiction-writers from Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belorussia, Moldova, Estonia and to the materials telling of the youth of these countries.

Poetry of this issue is diverse both in geography and in the timbres of poetical voices: NATA SUCHKOVA from Vologda presents an example of «restrained «northern» realism» style; ANDREY BAUMAN from St-Petersburg is tightly connected with the Russian History and culture by native roots and direct inheritance; YOUGASYA KALYADA from Minsk being published in our magazine for the first time comes out to the readers with her urban nearly water-colours; GOUZAL BEGIM from Tashkent like an exotic flower in trepidation of love and doubts opens herself to meet the life.

BORIS DUBIN. «The Youth Raises a Claim to the Future»

What anxieties does today's Russian youth live by, is it interested in politics and culture, how does it see its future, does it want to learn, what professions does it choose, who are its heroes, what and how does it read?.. These questions are being discussed by one of the leading Russian sociologists and culturologists Boris Dubin and the chief-editor of the critical section of «DN» Natalya Igrunova.

TEMUR VARKI. My Tajiks

How did Tajiks open America? Why do they love so much Indian cinema? What is Pamir chid and sandaly? About all this and about Tajiks at large: their traditions and virtues of their national character, the vicissitudes the people had to overcome during its long History and its nowadays life one may read in the essay of Tajik poet and journalist, connoisseur of traditions, languages and History of his country Temur Varki.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2012 году
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.
Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.
E-mail: dn52@mail.ru, http://magazines.russ.ru/druzhba/

Сдано в набор 20.01.12. Подписано в печать 22.02.12. Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 23,1. Уч.-изд. л. 23. Тираж 2000 экз. Заказ 7984. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Можайский полиграфический комбинат», 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93; тел.: (496)20-685; (495)745-84-28; факс: (49638)21-682; www.oaompk.ru, e-mail: oaompk@oaompk.ru